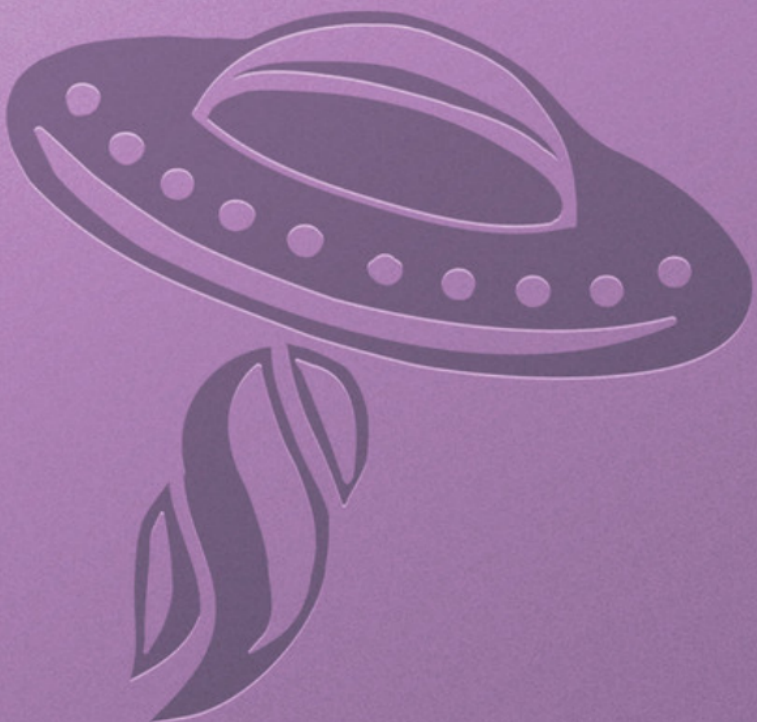
Петр Люкимсон

Последний Бес. Жизнь и творчество Исаака Башевиса-Зингера



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — не просто монография, а захватывающий литературоведческий роман, рассказывающий о жизни и творчестве Исаака Башевиса-Зингера (1904–1991) — одного из самых великих и загадочных писателей XX века. Прослеживая пути формирования личности Зингера, знакомя читателя с малоизвестными, порой очень интимными, а порой и мистическими страницами его биографии, автор показывает, каким образом и в повседневной жизни, и в произведениях писателя его гиперсексуальность сочеталась с целомудрием, цинизм — с глубокой верой в Бога, мистика — со скептицизмом. Одновременно в книге впервые дан подробный анализ произведений Башевиса-Зингера с позиций еврейской культуры, позволяющий проникнуть в те глубины их смысла, которые до сих пор были совершенно скрыты от широкого читателя.

- Петр Люкимсон
  - Предисловие
  - Часть 1
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
  - Часть 2
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
  - Часть 3
    - Глава 1

        - Глава 2
        - Глава 3
        - Глава 4
        - Глава 5
        - Глава 6
        - Глава 7
    - Список использованной литературы
    - Литература о жизни и творчестве Исаака Башевиса-Зингера
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34

- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

Петр Люкимсон
Последний Бес. Жизнь и творчество Исаака Башевиса-Зингера

Автор выражает глубокую признательность
Александру Бродскому
Наталье Рудзской-Бибергал
Леониду Школьнику
Даниэлю Пукшанскому
за помощь в написании и подготовке этой книги

Предисловие

Когда осенью 1978 года Шведская Академия приняла решение о присуждении Нобелевской премии по литературе писателю Исааку Башевису-Зингеру, в еврейском мире разразился грандиозный скандал.

Всем было понятно, что на этот раз премия дана не просто конкретному писателю. Она символизировала признание миром непреходящей ценности культурной цивилизации, созданной в течение нескольких столетий евреями Европы и практически уничтоженной немецким нацизмом.

Но именно поэтому многие писатели, критики и литературоведы и выражали свое возмущение решением Нобелевского комитета. Бащевис-Зингер, по их мнению, никак не мог считаться символом идишской литературы XX века.

Не мог и потому, что он счастливо избежал и концлагеря, и участия в войне, то есть, в отличие от многих других еврейских поэтов и прозаиков, не разделил судьбы нации.

Не мог по той причине, что его творчество не вписывалось ни в одно из магистральных направлений идишской литературы. Напротив — оно явно находилось на ее обочине, в отличие, скажем, от гениальной поэзии Якова Глатштейна[1] или великолепной прозы Хаима Градэ[2].

Не мог потому, что, как казалось многим, все его произведения самим фактом своего существования опровергали расхожее представление о том, что такое подлинная еврейская литература и — шире — еврейская культура.

Любопытно, что с этим мнением — о незаслуженности присуждения Нобелевской премии — был отчасти согласен и… сам Исаак Башевис-Зингер.

В беседе с сыном Зингер с присущим ему сарказмом заметил, что факт получения им Нобелевской премии подтвердил его давние предположения, что шведы, как и большинство северных народов, являются… патологическими антисемитами.

— С чего ты это взял? — искренне удивился Замир.

— А почему, по-твоему, они дали Нобелевскую премию именно мне?! — ответил Зингер. — Что они вообще могли понять в моих книгах?! Им просто понравилось, что в них действуют еврейские воры, проститутки и жулики, то есть евреи в них предстают такими же, как и все другие народы, и даже хуже. Такие евреи им нравятся куда больше, чем те, какие мы есть на самом деле, так как соответствуют их представлениям о евреях. Все остальное понять им просто не дано!

И все же да будет позволено автору этих строк высказать мнение, что Нобелевский комитет не ошибся.

Он действительно присудил премию одному из самых великих еврейских писателей XX века, всю мощь и все значение творчества которого еще предстоит оценить и человечеству, и — прежде всего — соплеменникам мастера.

Ибо для миллионов поклонников, читающих его произведения на самых разных языках, восторгающихся его «метафизическим реализмом», «модернистским мистицизмом» и прочими придуманными литературоведами «измами», истинный, глубинный смысл произведений художника остается сокрытым.

Не исключено, что именно в этом и кроется загадка его всемирной славы: подсознательно читатель чувствует, что автор вложил в эти книги нечто такое, чего он понять просто не в состоянии. И вот эта-то неразгаданность вновь и вновь влечет его к Башевису-Зингеру, подобно тому, как запертая дверь влечет к себе ребенка, и тот снова и снова приникает к замочной скважине, силясь рассмотреть, что же скрывается за этой дверью.

Но проблема как раз и заключается в том, что читатель, действительно способный понять и оценить творчество Исаака Башевиса-Зингера, отшатывается от его книг с большим ужасом и отвращением, чем от куска свинины[3].

Для тех, кто сегодня еще говорит и читает на идиш, Зингер с его повышенной сексуальностью и мистицизмом — мамзер, выблядок еврейской литературы, не имеющий никакого права числиться в качестве ее представителя.

Для сторонников реалистического направления в идишской литературе его произведения недостаточно реалистичны.

Для адептов нравственно-религиозной беллетристики романы и рассказы Зингера — не что иное, как глумление над еврейскими моральными и духовными ценностями, причем зачастую они приходят к подобному выводу, даже не дочитав эти произведения до конца.

Исаак Башевис-Зингер ушел из жизни таким же неразгаданным и непонятым, как герой его рассказа «Гимпл-дурень».

Между тем нет в еврейском мире другого писателя, который сумел бы столь же пронзительно рассказать обо всем, что произошло с еврейским народом в XX веке и передать само мироощущение тех, кто сумел выжить в аду Холокоста.

Нет у евреев и другого писателя, который сумел бы так точно поставить в своих книгах основные вопросы их национального бытия после пережитой Катастрофы[4].

Нет у них другого художника, который заключил бы в вечные,

завораживающие слова память о еврейском местечке, о погибшей вместе с ним великой идишской цивилизации.

Наконец — вопреки мнению всех недоброжелательных критиков и ненавистников Башевиса-Зингера — нет и не было в еврейской литературе XX века писателя, который больше, чем он, был бы связан с еврейскими духовными ценностями.

Как обратил внимание читатель, эта книга названа «Последний Бес» — по названию одного из лучших рассказов Башевиса-Зингера.

Написанный от имени черта, так и не сумевшего соблазнить праведного раввина из Тишевиц, этот рассказ на самом деле представляет собой настоящую поэму в прозе; спетую на едином дыхании песню в память об ушедшем в небытие польском еврействе и его верности Торе.

И Бес в этом рассказе, конечно, не простой бес, а еврейский. Как и полагается еврейскому Бесу, он является не только Искусителем и Соблазнителем, но и большим знатоком Священного писания, умеющим по достоинству оценить всю глубину познаний, праведность и духовную стойкость «раввинчика» из Тишевиц.

Исаак Башевис-Зингер и в своей жизни, и в своем творчестве во многом напоминает этого самого Последнего Беса.

Подобно Бесу из Тишевиц, он не соблюдал в жизни практических заповедей иудаизма (ибо, как объясняет Эльхонон в «Тойбеле и ее демоне», эти законы не распространяются на нечистую силу), но вместе с тем до конца жизни сохранил веру в Бога и оставался блестящим знатоком Торы[5] и Талмуда[6].

И, рисуя проявления чувственной, животной стороны человеческой натуры, Башевис-Зингер в итоге поднимал своего читателя до постижения важнейших Божественных истин. «Богохульный клоун», как назвала его однажды его ненавистница Инна Градэ, он считал одной из главных задач литературы возвращение людям веры в Бога, и — опять-таки вопреки общему мнению — честно пытался реализовать эту задачу даже в тех своих рассказах, которые объявлялись критикой «порнографическими».

В самой гиперсексуальности Исаака Башевиса-Зингера, в том поистине магическом влиянии, какое этот невысокий, лысый, широконосый еврей с водянистыми глазами оказывал на женщин, по общему мнению, было что-то иррационально-демоническое. Зингер никогда не отличался особо привлекательной внешностью, а в старости стал откровенно некрасив. И, тем не менее, даже в очень пожилые годы ему не составляло особого труда увлечь собой какую-нибудь экзальтированную студентку

университета, а в 1985 году, когда писателю было за 80, его включили в список «10 самых сексуальных мужчин Америки».

Читая его произведения, в которых действуют духи, демоны, бесы и другие представители неких потусторонних сил, порой складывается впечатление, что писатель был с ними на короткой ноге и даже числил себя в их близких родственниках. Да и разве идиш, язык, на котором он упорно продолжал писать до конца жизни, не превратился после Холокоста в значительной степени в язык привидений, духов, чертей и ангелов?!

Но самое главное заключается в том, что, подобно Последнему Бесу, судьба предопределила Башевису-Зингеру стать Последним Певцом европейского еврейства.

Как и его Последний Бес, Зингер навсегда застрял в том времени и в месте, где оборвалась печальная и прекрасная история евреев Польши, Литвы, Белоруссии, Украины и Бессарабии. Живя в США, разъезжая с лекциями и публичными чтениями по всему миру, он так и не сумел почти до последнего десятилетия своей жизни выехать за пределы Люблина, Замостья, Билгорая и Крохмальной улицы в Варшаве, навсегда оставшись там со своими героями.

Он спел этим евреям последнюю колыбельную.

Он отчитал по ним заупокойную молитву.

Он подарил им вечную жизнь в своих книгах и заставил говорить с ними их потомков, даже если этим потомкам не очень хотелось говорить с мертвыми…

Именно в этой глубокой укорененности Башевиса-Зингера в еврейском мире и в еврейских проблемах и кроется универсальное, общечеловеческое значение его творчества и интерес читателей всего мира к его личности. Через свою собственную судьбу и судьбу своего народа Зингер сумел поставить важнейшие вопросы о природе Бога и человека, которые в равной степени волновали и будут волновать человечество до тех пор, пока оно существует.

В литературоведческих кругах принято считать, что вся проза Зингера предельно автобиографична, и потому нет особой нужды в биографии писателя. Отчасти созданию такой точки зрения способствовал сам писатель. Известно, к примеру, что в 1978 году вместе с Башевисом-Зингером на церемонию вручения Нобелевской премии увязался и его биограф Пауль Креш. Однако когда Креш попросил Зингера достать ему пригласительный билет на церемонию встречи новых лауреатов с королем Швеции Густавом XVI, Зингер наотрез отказался это сделать.

«Мне не нужны биографы, — пояснил он. — Всю свою биографию я изложил в своих книгах. Замените имя любого героя

моего романа на мое — и вы получите рассказ о том или ином эпизоде моей жизни!»

На самом деле Зингер в очередной раз лукавил.

Да, конечно, в его писательском тигле всегда переплавлялись и факты его собственной биографии, однако он всегда примешивал в этот тигель и истории из жизни многих его друзей и знакомых, не забывая при этом щедро приправить их художественным вымыслом.

Документальная, почти журналистская точность его прозы, ее автобиографичность о которой любят писать авторы предисловий, не более чем иллюзия, намеренно порожденная Мастером, и к анализу того, что стоит за этой мнимой точностью, мы еще не раз вернемся на страницах этой книги.

Реальная история жизни Исаака Башевиса-Зингера и в самом деле стоит любого романа. Это — история мальчика из глубоко религиозной еврейской семьи, пытавшегося порвать с породившей его средой и в результате превратившегося в ее вечного пленника. Это — история нелегального эмигранта, подбиравшего чужие объедки в кафе, и в итоге поднявшегося на вершины славы и успеха.

Это — история писателя, долгое время жившего в тени известности своего старшего брата и учителя; испытывавшего по этому поводу немало комплексов и сумевшего выйти из этой тени только после внезапной смерти последнего. Выйти, чтобы превратиться в подлинно большого писателя, куда более талантливого и самобытного, чем этот старший брат…

И все же меньше всего настоящая книга представляет собой жизнеописание Исаака Башевиса-Зингера.

Скорее, перед вами — первая попытка проникнуть в глубинный смысл творчества этого великого художника и если не открыть, то хотя бы приоткрыть те самые двери, которые в течение стольких лет остаются наглухо закрытыми для большинства читателей его книг.

В связи с этим у автора книги, которую вы держите в руках, был слишком велик соблазн при анализе произведений Башевиса-Зингера сосредоточиться именно на их трансцендентном, тайном смысле. К счастью, я вовремя вспомнил, что в свое время подобную попытку уже предпринимал Дм. Мережковский по отношению к творчеству Достоевского. И закончилась она полным фиаско, так как стремление свести произведения Достоевского к неким мировоззренческим схемам и символам невольно принижало Достоевского как великого художника, создавшего не ходульные, а подлинно живые, великие литературные образы, отразившие в себе все конфликты и

духовные поиски своей эпохи.

То же и с Башевисом-Зингером. Во всех его книгах чувствуется дыхание самой жизни, они притягивают к себе читателя именно предельной жизненностью и достоверностью тех ситуаций, в которых оказываются их герои, проникновением в глубины человеческой психологии.

Но и когда А.Зверев в своих статьях о Зингере утверждает, что попытки отыскивать глубинный смысл произведений писателя с помощью ассоциаций и цитат из Талмуда и других еврейских источников кажутся ему натянутыми, он, безусловно, допускает ошибку.

Приведу только один пример.

Во многих своих произведениях, говоря о природе чисто животной сексуальности человека, Зингер прибегает к сравнению людей с червями. «В лагере люди лезли друг на дружку, как черви», — говорит один из персонажей рассказа «Кафетерий». Эта же фраза повторяется и в ряде других рассказов, и в романе «Мешуга», да и в повести «Раскаявшийся» героиня утверждает, что для Бога сексуальные игры людей напоминают копошение червей — и потому Ему нет до этого никакого дела. В конце концов, пристрастие писателя к этой метафоре даже начинает раздражать — неужели ему трудно было придумать, что-либо другое, более оригинальное?! Но в том-то и дело, что это отнюдь не метафора самого Зингера. Талмудический трактат «Сангедрин» в отрывке, посвященном соблазнению еврейских мужчин моавитянками, говорит, что «евреи блудили, как черви». Таким образом, в сознании знакомого с еврейской традицией читателя это сравнение мгновенно вызывает в памяти вполне конкретный эпизод священной истории и является символом необузданной, низводящей человека на самую низшую животную ступень похоти. Без знания Талмуда или соответствующего комментария к вышеназванным произведениям Башевиса-Зингера это понять невозможно, а, значит, невозможно и проникнуть в сокровенный смысл его текста.

И так — почти со всеми его произведениями.

Следует признать, что всей своей проблематикой, своими образами, именами героев, сюжетными поворотами и т. д. творчество Башевиса-Зингера было связано с многовековой еврейской религиозно-культурной традицией — с Библией, Талмудом, каббалой, высказываниями великих раввинов и т. д. Не зная этих источников, не находясь в поле их культурного притяжения, нельзя и открыть ту самую дверь, которую писатель на самом деле и не думал закрывать, — ведь писал он для тех, кто говорил с ним на одном языке во всех смыслах этого слова;

кто с детства читал те же книги, имел тот же круг житейских и литературных ассоциаций, и этому читателю достаточно было полунамека, чтобы понять, к чему клонит «мешугене литератэр»[7]; какую сверхидею он хочет до него донести на этот раз.

И потому автор считал своим долгом открыть читателю те культурные коды, которыми пользовался Башевис-Зингер, и уже с их помощью распахнуть потайные двери его книг. Разумеется, не всех — творческое наследие Исаака Башевиса-Зингера огромно, его полное собрание сочинений до сих пор не выпущено ни на одном языке и для подробного анализа даже половины его произведений не хватит и куда более толстой книги, чем эта.

И все же, если автору удастся хотя бы приподнять завесу над тайной личности и творчества этого великого писателя, он будет считать свою задачу выполненной.

Часть 1
Мальчик с планеты Штетл

Мне звезда отрадна эта
Чистотой и силой света,
Тем, что ни одно светило
Свет подобный не струило,
Тем, что блеск ее ночной
В капле заключен одной…

…Мне звезда отрадна эта
Щедростью безмерной света,
Тем, что, свет ее вбирая,
Я безмерность постигаю,
Тем, что сразу отдана
Небу и земле она.

Самуил Галкин. (Пер. А. Ахматовой)

Глава 1
«Час зачатья я помню не точно…»

Согласно старым добрым канонам литературной биографии, эту главу следовало бы начать словами: великий еврейский писатель Исаак Башевис-Зингер родился 14 июля 1904 году в Радзимине в аристократической еврейской семье.

Но проблема заключается в том, что мы… не знаем точно, когда именно родился Башевис-Зингер, да и весьма приблизительно представляем себе, в каком географическом пункте Польши он появился на свет. И, таким образом, даже с самим фактом его рождения связана некая тайна.

В одних биографических справочниках в качестве места рождения будущего писателя называется небольшой городок Радзимин, в других — крохотное еврейское местечко Леончин, а в третьих и вовсе родина его деда со стороны матери Билгорай.

Следует признать, что все три эти населенных пункта в равной степени могут претендовать на место рождения одного из самых загадочных писателей XX века.

Сам Зингер в книге «В суде моего отца», этого романа в новеллах о своем детстве и отрочестве, утверждает, что родился он на самом деле в Леончине, а в регистрационные книги вместе с младшим братом Мойше был записан уже после переезда семьи в Радзимин — отсюда, дескать, и берет свое начало вся эта путаница.

Но если это так, то невольно возникает мысль об ошибочности того, что Зингер родился в 1904 году, как это значится в радзиминских архивах.

Весьма вероятно, что данное событие на самом деле произошло двумя, а то и тремя годами раньше. В те времена евреи вообще предпочитали заносить сыновей в запись актов гражданского состояния как можно позже — с тем, чтобы их реальный возраст превышал «документальный», пытаясь таким образом отложить на как можно более поздний срок призыв ребенка в армию. Благодаря этой уловке, многие еврейские юноши к моменту призыва были уже женаты, и это обстоятельство автоматически освобождало их от армейской службы.

Версия о том, что Исаак Башевис-Зингер на самом деле родился не в 1904, а в 1903 или 1902 году, впервые возникла у автора этих строк еще в начале 90-х годов, сразу после прочтения все той же книги «В суде моего отца». Думаю, у любого ее

читателя невольно возникает ощущение, что автор (если считать эту книгу почти документальной автобиографией) был не по возрасту развит и смышлен, и именно так — как к куда более старшему по возрасту — к нему относятся родители. Если же принять во внимание временной сдвиг в один-два года, то все становится на места. Будущий писатель при этом по-прежнему предстает вундеркиндом, но все, что он рассказывает о себе, звучит уже куда более правдоподобно, чем рассказ о семилетнем мальчике, шутя осваивающем сложнейшие религиозно-философские тексты или отправляющемся по соседям собирать причитающиеся его отцу деньги.

Подтверждение этой версии я нашел в книгах официального биографа Башевиса-Зингера Пауля Креша и его секретарши и помощницы Дворы Менаше-Телушкиной — оба они утверждают, что на самом деле Башевис-Зингер родился 21 ноября 1902 года.

Как бы то ни было, со всей однозначностью мы можем сказать только одно: Исаак Зингер действительно родился в начале XX века в Польше в аристократической еврейской семье.

Его отец Пинхас-Менахем-Мендель Зингер был урожденным коэном, то есть потомком священников, служивших в Иерусалимском Храме, и, одновременно, вел свой род от самого царя Давида: к этому легендарному еврейскому царю восходила родословная знаменитого «варшавского мудреца», рабби Иссерлиша, автора книги «Святое послание», внуком которого и был Самуил Зингер — отец Пинхаса-Менахема-Менделя Зингера.

Познания Самуила Зингера во всех областях иудаизма были столь велики, что при желании он с легкостью мог получить место раввина в любом городе Польши. Однако вместо этого прадед писателя предпочел посвятить свою жизнь изучению Каббалы — еврейского мистического учения, призванного постичь высший, тайный смысл Священного Писания.

Большую часть своего времени дед Исаака Башевиса-Зингера проводил в сосредоточенном погружении в кабалистические тексты, посте, молитвах и каких-то тайных подсчетах (видимо, как и многие каббалисты того времени, он пытался вычислить время прихода Мессии). Таким образом, все заботы по обеспечению семьи и ведению хозяйства легли на мать Пинхаса-Менделя — Тэмерл (Тамар). Впрочем, достаточно пролистать книги Мендель Мойхер-Сфорима, Шолом-Алейхема, Ицхока-Лейбуша Переца и других классиков еврейской литературы, чтобы убедиться, что таком порядке вещей евреи того времени не видели ничего исключительного.

«В те годы, — писал сам Башевис-Зингер, — считалось вполне

нормальным, что женщина рожает и воспитывает детей, готовит, ведет хозяйство, да еще и зарабатывает на жизнь. Наши бабушки и не думали жаловаться — наоборот, они благодарили Господа за то, что Он им дал в мужья ученых людей. Ближе к старости, когда бабушка уже не могла кормить семью, мой дед, наконец, согласился стать раввином».

Черты этого деда писателя легко просматриваются в его гениальном рассказе «Плагиатор», а в сыне главного героя рассказа, тоже каббалисте и раввине, угадывается незадачливая и, одновременно, величественная фигура отца писателя раввина Пинхаса-Менахема-Менделя Зингера.

Незадолго до своей смерти Самуил Зингер сжег все свои сочинения, но те, кому довелось прочитать сохранившиеся чудом несколько листков из них, утверждали, что они были поражены глубиной и смелостью его мысли, открывающихся на них величайшими тайнами мироздания.

Жена Самуила Зингера Темерл также происходила из знаменитого раввинского рода, но, пожалуй, куда более знаменитой, чем все эти раввины, была ее мать Гинда-Эстер. Подобно всем другим еврейским женщинам того времени, Гинда-Эстер вела хозяйство и держала лавку по торговле ювелирными украшениями для того, чтобы прокормить семью. Однако одновременно эта женщина превосходила многих мужчин в знании не только Торы, но и Талмуда, а также еврейского религиозного законодательства — Галахи. Познания ее в этой области были столь велики, что, по словам современников, когда Гинда-Эстер пришла на прием к знаменитому раввину Шалому Бельцеру, тот лично предложил ей сесть и о чем-то долго с ней беседовал. Это была неслыханная честь, так как, по понятиям того времени, женщина вообще не имела права садиться в присутствии раввина, а тот, должен был, не глядя на нее, выслушать тот вопрос, с которым она к нему пришла, дать ответ и как можно скорее с ней распрощаться. Ну, а в присутствии такого великого авторитета, как Шалом из Бельца, стоять полагалось исключительно всем. Предложив Гинде-Эстер сесть, рав Шалом-Бельцер, таким образом, отдал ей дань уважения за ее глубокие познания в Торе, признал ее равной себе.

Кроме того, Гинда-Эстер явно была в определенном смысле феминисткой и никак не вписывалась в представления своего, да и сегодняшнего времени о глубоко религиозной еврейке. К примеру, она не только, как заправский раввин, принимала женщин и давала им советы по ритуальным и другим вопросам, связанным с соблюдением заповедей иудаизма, но и постоянно

надевала поверх платья малый талит — специальную нательную рубаху с кистями цицит, которую носят только мужчины! Уже сам этот талит на женщине был по тем временам вызовом принятым нормам — и немалым вызовом!

Я намеренно столь подробно останавливаюсь на фигуре прабабушки писателя Гинды-Эстер, потому что именно она (а не знаменитая Люблинская дева, как часто принято думать), по всей видимости, и послужила прототипом образа Йентл — героини одного из самых знаменитых рассказов Башевиса-Зингера.

Черты Гинды-Эстер легко просматриваются и в образах некоторых других эпизодических героинь писателя — например, в образе прабабки Асы-Гешла — главного героя романа «Семья Мускат».

Пинхас-Менахем Зингер в итоге оказался достойным потомком своих предков. Он рано проявил выдающиеся способности в изучении Торы в том широком смысле, который вкладывался евреями в это понятие. Он блестяще овладел всем корпусом текстов Священного Писания (ТАНАХа), а также многочисленными комментариями к ним; был великолепным знатоком Галахи; столь же хорошо знал все трактаты Талмуда и большую часть времени посвящал анализу талмудических текстов, иссекая из них все новые и новые искры мудрости.

При этом Пинхас Зингер долгие годы был совершенно оторван от реальной действительности, не имел никакого понятия ни о коммерции, ни о каких-либо других областях жизни, и не знал никаких языков, кроме идиша, иврита и арамейского. Вдобавок ко всему, он никогда не носил никакой одежды кроме традиционного еврейского лапсердака, так как считал, что еврей ни в коем случае ни в чем не должен походить на неевреев.

Будучи мастером литературного портрета, Башевис-Зингер часто придавал наиболее любимым своим героям внешние черты отца, и уж, само собой, они без труда угадываются в облике тщетно соблазняемого бесом раввина из «Тишевицкой сказки»:

«Окошко в бес-дине[8] раскрыто. Все, как положено: арн-койдеш[9], книги, мезуза[10] в деревянном футляре. Раввин, молодой человек с русой бородой, с голубыми глазами и рыжими пейсами, с высоким, в залысинах, лбом, сидит на своем раввинском стуле, кисэ-рабонес, углубившись в Гемару. Он при полном облачении: ермолка, пояс, филактерии, цицес…»

Согласно семейному преданию, отец Зингера был самым настоящим «маменькиным сынком». После того, как почти все рожденные Темерл дети умерли, а оставшиеся в живых предпочли

заняться торговлей и не оправдали ее надежд, всю свою любовь Темерл обратила на младшего сына, искренне веря, что он воплотит в жизнь ее самые заветные чаяния и станет знаменитым раввином. Темерл откровенно баловала Пинхаса и тряслась над ним, так что даже в жару он по настоянию матери ходил с перевязанным шарфом горлом. Пинхасу-Менахему было уже больше 20 лет (весьма солидный возраст для еврейского жениха), когда родители решили посватать его к Батшебе — дочери знаменитого билгорайского раввина Якова-Мордехая Зильбермана.

Это опять-таки было совсем необычное для того времени сватовство. Необычное, хотя бы потому, что проведшие всю свою жизнь в Томашове родители Пинхаса-Менделя были верными последователями хасидизма[11], в то время как билгорайский раввин считался его противником.

Но нужно признать, что и Батшеба была не совсем обычной даже необыкновенной для своего времени еврейской девушкой. Она не только знала иврит, но и могла, как уверяет Башевис-Зингер в своих автобиографических книгах, цитировать наизусть целый куски из ТАНАХа и Мишны. К 15 годам она прочла все книги в обширной отцовской библиотеке, то есть была для своего времени и круга чрезвычайно образованной особой — ведь, в отличие от юношей, образование девушек у евреев, как правило, ограничивалось умением читать на идиш да знанием четырех действий арифметики. И, вдобавок ко всему, она считалась первой красавицей в Билгорае!

Когда 15-летнюю Батшебу спросили, с кем бы она хотела познакомиться — с сыном нищего каббалиста из Томашова, или богача из Люблина, — девушка задала тот вопрос, который был для нее главным: а кто из них ученее, то есть кто из этих двух претендентов на ее руку более сведущ в Торе? И услышав в ответ, что «томашовский», заявила, что желает для начала познакомиться именно с ним, и, если он придется ей по душе, то она выйдет за него замуж.

Когда же высокой, стройной Батшебе Зильберман представили полноватого, рыжеволосого Пинхаса-Менахема с его вечно перевязанным шарфом горлом, который, вдобавок, оказался ниже ее ростом почти на полголовы, многие думали, что смотринами все и закончится. Однако, вопреки этим мрачным прогнозам, молодые люди понравились друг другу, и дочь билгорайского ребе подтвердила свое согласие на свадьбу.

Так был заключен брак, в результате которого на свет появились сразу три знаменитых писателя, и один пусть и совсем не знаменитый, но самый что ни на есть настоящий раввин,

закончивший свои дни в степях Казахстана, куда он был сослан как «служитель культа».

Так родилась еще одна еврейская семья, которой большую часть жизни пришлось терпеть голод и лишения, но в которой духовные и нравственные идеалы всегда ставились выше материального благополучия. И, как отмечают все биографы Зингеров, несмотря на то, что старшие дети Пинхаса-Менделя и Батшебы, писатели Исраэль-Иешуа Зингер и Эстер Крейтман, еще в молодости отошли от религии, оба они до конца жизни, порой сами того не сознавая и не желая, сохраняли верность тем принципам, которые восприняли в родительском доме.

* * *

Те же биографы любят заострять внимание читателя на том, что родители Исаака Башевиса-Зингера не только внешне не подходили друг другу, но и обладали совершенно разными характерами и различными взглядами на жизнь.

Пинхас-Менахем был, дескать, типичным рохлей, романтиком, человеком не от мира сего, не знавшим ничего, кроме своих книг, и вдобавок легковерным и склонным к мистике человеком.

Батшеба же, напротив, обладала практическим складом ума, была законченной рационалисткой и, несмотря на свою глубокую религиозность, пыталась во всех явлениях жизни разглядеть их естественные, а не некие мистические причины. Это «единство противоположностей» родительских характеров, их принадлежность к разным ветвям иудаизма (хасидской, то есть эмоциональной и мистической, и «литовской», то есть более холодной и рациональной) и определило, якобы, будущее их детей.

Старшие — Исраэль-Иешуа и Эстер-Гинда — выросли, как мать, рационалистами, и в итоге отошли от религии и стали убежденными материалистами.

Младший, Мойше, полностью оказался под влиянием отца и пошел по его стопам, сделавшись ортодоксальным раввином. А вот средний, Иче-Герц, будучи равно близок и к отцу, и к матери, так и застрял «на полпути», достаточно далеко оторвавшись от иудаизма в своем внешнем образе жизни, но внутренне оставшись глубоко религиозным человеком.

Дело даже не в примитивности, схематичности такого объяснения — дело в том, что оно неверно по сути!

Ярлык «рационалистки до мозга костей» своей матери

приклеил опять-таки сам Башевис-Зингер, причем сделал это от имени отца во входящей в книгу «В суде моего отца» новелле «Почему кричали гуси».

В этой новелле, напомню, рассказывается о том, как мать будущего писателя отказалась поверить в то, что мертвые гуси кричат потому, что в них вселились души грешников. Вместо того чтобы поддаться всеобщему священному трепету, она просто извлекла из их тушек дыхательное горло, издававшее при нажатии эти странные звуки, и тогда Пинхас-Менахем-Мендель сказал среднему сыну: «Твоя мать вся в твоего деда, билгорайского раввина. Он великий ученый, но рационалист до мозга костей. Меня предупреждали перед помолвкой…»

Но в этом и заключается весь Башевис-Зингер.

Впитав с детства характерный талмудический стиль мышления, он во многих своих произведениях нередко выдвигает изначально некий вполне убедительно звучащий тезис, но только для того, чтобы затем всей логикой повествования выдвинуть не менее, а возможно, и куда более убедительный антитезис. Правда, в отличие от Талмуда, Зингер далеко не всегда приводит антитезисы к синтезу, предоставляя проделать эту работу читателю, но суть метода та же.

В том же «Суде моего отца» Зингер рассказывает, какое огромное значение придавала его «рационалистка»-мать своим снам, как из одного из таких снов она поняла, что ее старший сын дезертировал из русской армии, а из другого — то, что ее отец в эту ночь скончался.

Таким образом, если Батшеба Зингер и была рационалисткой, то очень условно — разве что в сравнении с мужем. Что же касается «практического склада ума» матери Башевиса-Зингера, то чтобы понять, в чем он заключался, достаточно вспомнить, как она выбирала жениха — прагматичным такой выбор явно не назовешь.

Да и читая о том, как Пинхас-Менахем Зингер вершил суд по законам Торы; как умело он управлял еврейской общиной Крохмальной улицы; в каких сложнейших жизненных драмах ему приходилось разбираться, понимаешь, что он отнюдь не был ни рохлей, ни оторванным от жизни кабинетным ученым. Да, возможно, это знание жизни и человеческой природы пришло к нему с годами, но ведь пришло!

Словом, если даже Пинхас-Менахем и Батшеба Зингер и были в чем-то разными людьми, то в главном они однозначно сходились. И вот эта-то несомненная близость мироощущений и жизненных ценностей и помогла им в итоге стать, говоря языком еврейской мистики, той самой «истинной парой», какой они

предстают со страниц всех автобиографических произведений писателя.

* * *

Впрочем, профессор Джанет Хадда в своей книге «Исаак Башевис-Зингер. Биография» утверждает, что атмосфера в семье Зингеров была весьма далека от той идиллии, которую рисует сам Башевис в своих книгах. По ее мнению, отношения между мягким и непрактичным Пинхасом-Менахемом и куда более жесткой и прагматичной Батшебой порой были весьма напряженными. В значительной степени, считает Хадда, прочность их брака основывалась на сексуальной, а не духовной гармонии между ними. Вывод о том, что родители Башевиса-Зингера были удовлетворены своей интимной жизнью, Хадда основывает на том благословении, которое Пинхас-Менахем дал дочери перед свадьбой: он пожелал Эстер-Гинде, чтобы та всегда была столь же желанной для мужа, как ее мать, и чтобы ее муж всегда желал ее так же, как ее отец.

Далее Дж. Хадда приходит к выводу, что Пинхас-Менахем и Батшеба были не очень хорошими родителями. Образованной, жизнелюбивой Батшебе было, по ее версии, крайне тяжело жить полной ограничений и запретов жизнью ультраортодоксальной еврейки. Поэтому она, дескать, часто пребывала в депрессии и мало уделяла внимания детям, что особенно остро чувствовала, прежде всего, дочь — Гинда-Эстер. Трещина в отношениях Батшебы со старшей дочерью с годами лишь возрастала, постепенно превращаясь в настоящую пропасть, которую ни одна из сторон так и не смогла перешагнуть и которая отчетливо прочитывается во многих книгах Эстер Крейтман.

Бунт Батшебы против традиционного еврейского образа жизни, продолжает Хадда, проявлялся в том, что она читала светскую литературу и исподволь подталкивала старших детей к разрыву с религией.

Что же касается Пинхаса-Менахема, то он любил Бога и свои священные книги куда больше, чем детей, и занимался их воспитанием исключительно потому, что в нем говорило чувство долга. Эстер-Гиндой он не занимался вообще, так как в традиционных еврейских семьях отец не должен был заниматься воспитанием дочери, и Пинхас-Менахем по отношению к ней такого чувства не испытывал.

Все это и привело к тем особым отношениям внутри семьи Зингеров, которые потом определили жизнь каждого из них:

Эстер-Гинда, по сути дела, сразу после замужества окончательно порвала с родительским домом; Исаак-Иче Зингер видел в Исраэле-Иешуа не только старшего брата, но и отца, а Исраэль-Иешуа чувствовал всю жизнь ответственность за судьбу старшего брата. И все они — и Эстер Крейтман, и братья Зингеры выплескивали сформировавшиеся у них из-за родительского невнимания комплексы в своих книгах.

Однако достаточно вспомнить, что писал о родительском доме не только Исаак Башевис-Зингер, но и Исраэль-Иешуа Зингер, какое огромное влияние они оба уделяют образу отца, его наставлениям и рассказываемым им историям; с какой нежностью говорят о матери, чтобы понять всю натянутость и несостоятельность этой «психоаналитической» концепции.

Да, Пинхас-Менахем и Батшеба Зингеры, возможно, не были идеальными родителями, но он, безусловно, были хорошими, по-настоящему заботливыми отцом и матерью, и лучшим доказательством тому являются их дети. Во всяком случае, одной генетикой феномен семьи Зингеров не объяснишь…

* * *

Согласно принятым в те времена условиям брачного договора, тесть Пинхаса-Менахема Зингера взял на себя полное обеспечение его семьи в течение первых восьми лет брака — чтобы зять мог полностью посвятить эти годы углубленному изучению Торы.

За время жизни в Билгорае у Пинхаса и Батшебы родилось четверо детей, но выжило только двое — Исраэль-Иешуа и Эстер-Гинда. Две девочки, родившиеся после старшей дочери, оказались необычайно болезненными, и молодым супругам приходилось постоянно ездить с ними в больницу, оставляя старшую дочь на соседку. Однако все их усилия оказались тщетными — девочки скончались. Но, видимо, именно с этого времени у Гинды-Эстер появилось ощущение, что родители любят ее куда меньше других своих детей, и это ощущение стало в итоге определяющим в ее отношениях с матерью.

Оставаться в Билгорае по окончании восьми «контрактных» лет супруги не могли. Причем не могли именно по причине огромных познаний Пинхаса-Менахема — эти познания делали его довольно опасным конкурентом для старших братьев Батшебы, также претендовавших на раввинские посты в городе, но явно уступавших своему шурину в религиозной эрудиции.

Это обстоятельство привело к тому, что уже в первые годы

брака между Пинхасом-Менахемом и его тестем вспыхнул острый конфликт. Рав Яков-Мордехай Зильберман настаивал, чтобы, пока зять сидит на его шее, он подготовился бы к экзамену на казенного раввина[12] и, сдав его, убрался бы из Билгорая подальше. Однако Пинхасу-Менахему претила подобная карьера, само изучение русского языка, знание которого было обязательным для казенного раввина, казалось ему пустой тратой времени, в ущерб изучению Торы и Талмуда, и это его упрямство привело старого билгорайского ребе в ярость. Он стал требовать от дочери, чтобы та развелась с мужем, но для Батшебы, прикипевшей всем сердцем к Пинхасу-Менахему, такой шаг был просто немыслим.

В результате, чтобы прокормить семью, рав Пинхас Зингер стал «магидом» — странствующим проповедником. Кроме того, ради заработка он стал переводить с иврита на идиш различные религиозные сочинения, а также написал в эти годы две собственные книги — «Новые проповеди» и «Собрание жемчужин», принесшие ему известность среди раввинов Европы.

Одновременно Пинхас Зингер не переставал искать для себя место раввина, и, в конце концов, нашел его в расположенном неподалеку от Варшавы крохотном местечке Леончин, где и появился на свет Исаак Башевис-Зингер, получивший при рождении имя Иче-Герц, или, если полностью, Ицхок-Герц.

И уже из Леончина семья Зингеров перебралась в Радзимин — ко двору «радзиминского ребе» Аарона-Менахема-Мендла.

Алчный, недалекий и, одновременно, властолюбивый Аарон-Менахем-Мендл был третьим и последним представителем хасидской династии радзиминских раввинов-чудотворцев. Мгновенно оценив талант Пинхаса-Менделя Зингера как религиозного писателя и ученого, Аарон-Менахем-Мендл за нищенское жалование назначил его главой местной иешивы[13] и, одновременно, заставлял его «редактировать», а по сути дела, писать за него религиозные трактаты, призванные принести радзиминскому ребе славу великого знатока Торы.

Словом, радзиминский ребе был живым воплощением того самого фанатизма, корыстолюбия, невежества и ханжества священнослужителей, которых клеймили в своих сочинениях «передовые» еврейские писатели. И не удивительно, что 12-летнего Исраэля-Иешуа Зингера наблюдение за этим «цадиком» побудило усомниться в правдивости тех рассказов о хасидских праведниках, которые он постоянно слышал в хедере и дома.

Эти сомнения порождали все новые вопросы, и в результате фигура радзиминского ребе вызвала у старшего сына Пинхаса и Батшебы глубочайший духовный кризис, приведший в итоге к его

полному разрыву с религией и религиозным образом жизни.

У Иче-Герца, с раннего детства находившегося под сильнейшим влиянием старшего брата, этот кризис принял несколько иной характер. Чуть забегая вперед, замечу, что Башевис-Зингер сохранил связь с духовным наследием предков именно потому, что для него воплощением практического иудаизма стал не радзиминский ребе, а его родители Пинхас-Менахем и Батшеба, для которых следование всем ритуальным и нравственным предписаниям иудаизма было так же естественно, как дыхание.

Отец так и остался для Башевиса-Зингера тем подлинным носителем духа иудаизма, тем образцом еврея, в котором и проявляется все величие еврейского народа во всех аспектах и смыслах этого слова. Трансцендентальную связь с отцом Зингер пронес через всю свою жизнь, и не случайно во многих его произведениях в момент решающего нравственного выбора перед героем предстает образ его отца.

Так это происходит и с Яшей Мазуром в «Люблинском штукаре», и с Ареле Грейдингером в «Шоше» и «Мешуге».

Впрочем, к чрезвычайно сложным взаимоотношениям Зингера-младшего с иудаизмом и к факторам, определившим эти взаимоотношения, мы еще не раз вернемся. Пока же для нас чрезвычайно важно отметить, что Радзимин был типичным штетлом — еврейским местечком.

Причем не простым местечком, а хасидским. Последнее обстоятельство, в свою очередь, означало, что повседневная жизнь обитателей этого местечка была щедро приправлена мистикой.

Жители Радзимина, к примеру, верили, что их ребе запросто общается с мертвыми. Они «твердо знали», что к любому человеку может «прилепиться» душа того или иного покойника или просто злой дух — диббук; что по Радзимину и днем, и ночью бродят различные демоны и бесы, вмешивающиеся в жизнь людей и становящиеся видимыми только в случае, если они сами этого пожелают и т. д.

Ночи в Радзимине были длинными — укладывались спать в нем рано, а засыпали поздно, коротая целые часы в темноте за рассказами переселении душ, о чертях, пытающихся сбить с пути праведного великих раввинов, о демонах, приходящих под видом мужчин к честным вдовам; о дьяволице Лилит, мучающей по ночам холостяков…

Да и в Билгорае, куда Зингеры время от времени приезжали в гости, то и дело происходили какие-то чудеса. Маленький Иче-Герц, к примеру, на всю жизнь запомнил, как в городе появилась

девушка, одержимая диббуком — вселившимся в нее злым духом некого еврейского еретика. Сама эта девушка не умела читать и писать, однако вселившийся в нее дух так и сыпал цитатами из различных священных книг, порой намеренно их перевирая, но заметить эту фальсификацию мог только тот, кто сам был досконально знаком с этими текстами.

В один из приездов Зингеров в Билгорай в городе произошел грандиозный скандал со «столоверчением». К тому времени новые веяния, несмотря на все усилия старого билгорайского ребе, уже проникли в город, и многие евреи, наряду с чтением светской литературы увлеклись все более входившим в моду спиритизмом.

Появился в Билгорае и свой медиум — у одной из его жительниц вдруг открылась способность вызывать души умерших. Причем общались они в ее доме не только с помощью банального блюдечка с вычерченной на нем стрелкой, но и порой отвечали голосами, в которых билгорайцы с трепетом узнавали голоса умерших родственников и знакомых.

Это обстоятельство привело к тому, что на каждый сеанс спиритизма в доме «медиумши» собирались десятки людей, а потом на рынке долго обсуждались ответы «духов». Все это крайне не нравилось тогдашнему билгорайскому градоначальнику. Потомственный русский дворянин, человек образованный и прагматичный, он был твердо уверен, что эта женщина просто дурачит легковерную публику, нагнетая в городе массовый психоз. Сам он был твердо уверен, что голоса призраков искусно имитирует какой-то человек, спрятанный либо под столом, либо в подвале, либо в каком-то другом месте дома, и решил во что бы то ни стало разоблачить вредное суеверие.

Вечером, в то самое время, когда в доме шел спиритический сеанс, в него ворвались десятки солдат. В поисках спрятанного помощника медиумши они перевернули весь дом вверх дном, заглянули в самые потаенные его уголки, но так никого и не нашли, что еще больше убедило билгорайцев в истинности спиритизма.

Сама эта атмосфера, все эти ночные сказки и истории, непреклонная убежденность жителей Радзимина и Билгорая в том, что не существует никакой четкой и непреодолимой границы между нашим материальным миром и потусторонними мирами, заселенными ангелами, демонами, неприкаянными душами и т. д., вне сомнения, оказали огромное влияние как на личность, так и на мировоззрение Исаака Башевиса-Зингера.

Он действительно с детства и до конца жизни искренне верил как в реальность существования потусторонних сил, так и в то,

что они могут вмешиваться в дела нашего материального мира. Во всяком случае, когда на многочисленных встречах с читателями ему задавали вопрос о том, действительно ли он считает, что в мире существуют демоны, бесы и другие герои некоторых его произведений, Башевис-Зингер не только отвечал утвердительно, но и добавлял, что убежден в том, что рано или поздно наука докажет их существование.

Многие исследователи творчества Башевиса-Зингера пытались подвергнуть сомнению искренность этой пронесенной им с детства веры в сверхъестественные силы и в переселение душ, не понимая, что именно силой этой веры во многом и объясняется художественная мощь его произведений на «мистические» темы.

Во всяком случае, сын Башевиса-Зингера Исраэль Замир вспоминает, что отец (подобно профессору Збигневу Эдельбишу, герою рассказа «Голуби») любил во время прогулки по Бруклину кормить голубей. Во время одного из таких кормлений к писателю подошел полицейский и потребовал, чтобы он прекратил разбрасывать крошки по тротуару, так как это запрещено законом.

— Как знать, может, когда-нибудь эти голуби были людьми? Может быть, внутри них сидят человеческие души?! — заметил в ответ Зингер.

— Да, мистер, — произнес озадаченный таким ответом полицейский. — Но все равно кормление птиц в данном районе противозаконно, и в следующий раз я вынужден будут вас оштрафовать…

— Как знать, — продолжил Башевис-Зингер, словно не слыша обращенных к нему слов, — не станем ли мы с вами в следующем воплощении вот такими же уличными голубями?! И, может быть, тогда, когда мы с вами будем страдать от голода и холода, нам тоже кто-нибудь подбросит немного крошек!

Когда во время одной из прогулок с сыном Зингер повторил свою фразу о том, что «кто может поручиться за то, что в следующем воплощении он не будет птицей», его сын Исраэль Замир решил, что пришло время поговорить с отцом на эту тему.

«Я понял, что эти слова являются для него чем-то вроде символа веры, выражающие его убежденность, что высшие и низшие миры не отделены, а неразрывно связаны друг с другом, — пишет Замир в своей книге «Мой отец Башевис-Зингер». — Рядом со мной шел человек, ноги которого ступали по асфальту XX века, но одновременно внутри него звучали некие неслышимые для всех остальных голоса.

— Ты и в самом деле веришь в существование потусторонних сил? — спросил я его во время нашей очередной прогулки по Нью-Йорку спустя примерно две недели после моего приезда.

Он улыбнулся.

— Да, я действительно верю в реальность существования таких сил. Мы их не видим, но они, безусловно, присутствуют в нашей жизни. Конечно, я не знаю, кто из них — дух, а кто — демон. Все эти слова — не более чем имена, которые дали им мы, люди, но которые не отражают их природы. Однако духи и демоны являются неотъемлемой частью действительности. Если хочешь, это изнанка, обратная сторона реальности. Я убежден, что в будущем люди еще убедятся, что все эти силы — отнюдь не только герои фольклора, их реальность будет доказана».

Спустя какое-то время Замир решил вернуться к этому разговору — на этот раз, когда они сидели в любимом нью-йоркском кафе Зингера «Штинбург». Вот как Замир передает эту беседу с отцом в своих воспоминаниях:

«— Смотри, никто нас сейчас не подслушивает, и я клянусь тебе, что если ты доверишь мне эту тайну, я никогда никому ее не выдам. Ты и впрямь настолько наивен, что веришь в существование чертей и духов, или это просто литературный прием, своего рода трюк, помогающий поставить некие волнующие тебя проблемы, не имеющие рационального решения?

Он посмотрел на меня с улыбкой и положил ладонь на мою руку. По всей видимости, он понял, что спорить со мной на эту тему — все равно, что биться головой об стенку.

— Я знаю, что такие материалисты, как ты, видят в чертях и привидениях исключительно плод человеческой фантазии. Так знай, что многие ученые признают, что им приходилось сталкиваться с фактами, объяснить которые они, несмотря на все их старание, оказались бессильны.

Затем он добавил, что материализм изобрел для этих сил разные маскирующие их суть названия: телепатия, интуиция, инстинкты и т. д.

— Но на самом деле эти силы сосуществовали с человеком всегда, — продолжил он. — По сути, без них нет человека. Без них нет любви. Я, к примеру, знаю, что в Израиле тебя ждет девушка. Это так?

Я кивнул головой, подтверждая эти его слова. В одном из писем к нему я писал об этой девушке. По его теории, если мужчину и женщину связывает подлинная любовь, они способны читать мысли друг друга. Нет любви без телепатии — он был в

этом абсолютно уверен. Он посмотрел на меня и спросил:

— У тебя не бывало так, что ты прекрасно знал, о чем думает твоя девушка, хотя она тебе об этом ничего не говорила?

— Да, иногда такое случалось, — признал я.

Отец подцепил вилкой кусочек яблочного пудинга, отправил его в рот, запил кофе и затем, после длинной паузы, продолжил разговор. Если его послушать, то выходило, что в жизни то и дело происходят различные истории, которые нельзя объяснить с рациональной точки зрения. Так, в детстве он слышал рассказ о женщине из небольшого местечка под Билгораем, которой приснился сон о том, что ее муж выиграл 500 злотых в лотерею, которая разыгрывалась в Люблине. До этого сна она вообще не знала, что такое лотерея. Утром она рассказала об этом сне мужу, а через неделю он направился в Люблин и там действительно выиграл в лотерею названную сумму.

— У тебя есть объяснение этой истории? — спросил отец.

— Нет. А ты уверен, что все именно так и было?

— Я был знаком с этой женщиной. На следующий день после этого сна она пришла к нам домой и рассказала о нем матери, которая не поверила в то, что такой сон может сбыться. Кстати, существует поверье, что по ночам души мертвых покидают могилы и присоединяются к демонам и привидениям. Гиги (так Башевис-Зингер называл сына в первые годы его жизни, а затем в минуты, когда чувствовал с ним особую близость. — П.Л.), ты мог бы встретить полночь на кладбище в Квинсе? Тебе не было бы страшно?

— Нет, мне не было бы страшно. Хотя это, конечно, не самое приятное место для того, чтобы провести там ночь. Но я проводил ночи и в менее приятных местах. Например, в Западном Негеве, стоя в карауле напротив египетских блокпостов…

Он продолжил свои рассуждения. В его понимании люди вроде Ньютона делали открытия не столько в силу собственной гениальности, сколько при помощи неких тайных сил, «которые вы называете озарением, инстинктом и т. д.»

— Ты можешь объяснить мне, что такое инстинкт? — спросил он.

В это время в ресторанчик влетела пчела. Громко жужжа, она сделала несколько кругов над отцовским пудингом. Отец следил глазами за ее полетом, словно пытался понять, что именно эта пчела делает в «Штинбурге». Наконец, она села на его тарелку и стала медленно подползать к пудингу.

— Мы знаем, что пчела производит мед! — сказал отец, уставив на меня палец. — Ты можешь объяснить, как именно она это делает? Почему она иногда перелетает от растения к

растению в поисках какого-то определенного цветка, проделывая иногда для этого путь в несколько километров? Наука утверждает, что в данном случае пчела повинуется своим инстинктам, но при этом она не объясняет, что это такое — инстинкт!

Неожиданно пчела взлетела и стала проделывать круги над его лысым черепом.

Отец помотал головой, отогнал ее рукой и добавил:

— Кто знает, почему именно этой пчеле так хочется ужалить старого еврейского писателя?

Люди входили и выходили из кафе «Штинбург». Время от времени слышались разговоры на идиш. Вдруг отец поднял голову к потолку и сказал, то ли обращаясь ко мне, то ли разговаривая сам с собой:

— Если бы сейчас в этом кафе приземлился ангел Всевышнего, ученые дали бы этому какое-нибудь рациональное объяснение. Однако, по сути дела, кроме того, что они заменили слово «Бог» словом «Природа», ученые пока не сделали ничего. Но что такое «Природа»? В чем суть ее животворящей силы? Что побуждает ее создавать живые существа? Вся разница между нами и религиозными людьми в том, что мы называем все непознанное «Природой», а они — Богом. Все наши знания основываются исключительно на практике. Мы знаем лишь, как использовать некоторые законы природы, да и то это весьма поверхностное использование».

Да простит мне читатель столь длинную цитату, но именно в ней содержится ключ к мировоззрению Башевиса-Зингера и к пониманию его творчества.

Бесы, демоны, души мертвых, вселяющиеся в тела живущих, отнюдь не были для Башевиса-Зингера исключительно фольклорными персонажами. Нет, он действительно верил в реальность их существования, и именно этой, впитанной им в самом раннем детстве верой и объясняется та предельная реалистичность, которой пронизаны самые мистические из его рассказов — «Эстер-Крейндл Вторая», «Ханка», «Корона из перьев», «Сестры» и др.

И вера эта, как мы увидим, не только не ослабевала, но и укреплялась с годами, в равной степени подпитываясь интересом писателя как к оккультизму, так и к достижениям современной науки; заставляя его в любых, порой самых незначительных бытовых происшествиях усматривать игру неких потусторонних сил.

Но эта первая, мистическая составляющая его творчества

была бы просто невозможна без другой — реалистической, опирающейся на глубокое знание писателем жизни евреев Польши.

* * *

«Территория между Белостоком, Люблином и Варшавским гетто была для него, как Йокнапатофа для Фолкнера — тем клочком с земли величиной с почтовую марку, который требует от художника напряжения всех сил, чтобы было сказано хотя бы самое основное, что об этом космосе следует сказать», — утверждает А.Зверев в своей замечательной статье «Pentimento: Зингер и история».

Зингер действительно является прежде всего певцом того Космоса, которое представляло собой еврейское местечко причем не только в узком, но и в самом широком смысле этого слова. Как известно, само слово «местечко» происходит от польского «мястечко», что в буквальном переводе на русский звучит как «городок», а на идиш — «штетл».

Но Штетл для еврея — это нечто куда большее, чем некий абстрактный городок. Это вообще не географическое, а культурологическое понятие, вмещающее в себя весь мир восточноевропейского еврейства.

С этой точки зрения — и деревушка Леончин, где родился писатель, и заштатный Радзимин, где прошло его раннее детство, и Крохмальная улица в Варшаве, на которую Зингеры переехали после того, как рав Пинхас-Мендель получил приглашение стать на ней духовным раввином, и Билгорай, куда раббанит[14] Батшеба вернулась вместе с младшими сыновьями в годы Первой мировой войны — это все различные населенные пункты, расположенные на одной отдельно взятой планете по имени Штетл, почти никак не связанной с планетой под названием Земля.

Пожалуй, лучше всего вся обособленность и самодостаточность планеты Штетл проступает в рассказе Зингера «Сын из Америки». Его герой, Сэм, покинувший родное местечко Леонсин и перебравшийся в Штаты еще подростком, спустя много лет возвращается к родителям, с гордостью везя на родину деньги, собранные им и его земляками на благотворительные цели. Но оказывается, что никому в местечке эти деньги попросту не нужны. В нем никто не голодает, в нем нет ни невест-бесприданниц, ни оставшихся без присмотра стариков; оно не нуждается ни в новой синагоге, ни в богадельне. Оно вообще ни в

чем не нуждается и ничего не собирается просить от окружающего его мира!

Более того — как выясняется, деньги, которые Сэм посылал родителям все эти годы, так же оказались им совершенно не нужны. Отец Сэма Берл показывает сыну в субботу собранные им за это время золотые монеты, несмотря на то, что еврею категорически запрещено прикасаться в этот день к деньгам. Но Берл, в сущности, и не преступает этот запрет, так как для него это как бы и не совсем деньги — ведь он не собирается их когда-либо потратить…

Жизнь на планете Штетл в течение столетий шла своим чередом, разительно отличаясь от жизни омывающих эту планету стран и населяющих их народов.

Подавляющая часть населения этих стран была безграмотна — на планете Штетл еврейский ребенок в три года уже должен был уметь бегло читать молитвенник, а в пять приступал к изучению Библии. Игры, в которые играли дети Штетла, ассоциации и аллюзии, которыми они при этом пользовались, резко отличались от тех, что были в ходу у их сверстников из соседней польской, белорусской или украинской деревни. Мальчики и девочки из Штетла слабо представляли себе, что такое лапта, горелки или игра в дочки-матери, но зато играли в Давида и Голиафа или в царя Соломона и царицу Савскую.

К 10–12 годам, когда те же польские и украинские дети уже наравне со взрослыми работали в поле, еврейские мальчики в Штетле склонялись над толстыми томами Талмуда, стараясь постичь истинный смысл спора между рабби Акивой и Бен-Зомой[15].

Если что-то и нарушало течение жизни в Штетле, то это кровавые погромы и резня, устраиваемые не ведающими жалости, опьяненными жаждой крови «пришельцами».

В целом же два этих мира долго жили, почти не сталкиваясь друг с другом. Можно было прожить всю жизнь в еврейском квартале той же Варшавы и так и не выучить за всю жизнь ни одного польского слова. И не случайно сама поездка в польскую часть Варшавы была для еврейского мальчика и в самом деле в чем-то сродни путешествию на другую планету. Вот как описывает Зингер свое путешествие по Варшаве с другом его отца, молочником реб Ашером:

«Путешествие продолжалось несколько часов, и я был в восторге. Я ехал среди трамваев, дрожек, подвод. Маршировали солдаты; полицейский стоял на посту; мимо нас проносились пожарные машины, кареты скорой помощи, даже легковые

автомобили, которые уже начали появляться на улицах Варшавы. Но мне ничто не грозило. Я был под защитой друга с кнутом, а под ногами у меня тарахтели колеса. Мне казалось, что вся Варшава должна была умирать от зависти. И действительно, прохожие с изумлением взирали на хасидского мальчика в бархатной ермолке, с рыжими пейсами, который осматривал город с телеги молочника…

…Лошадь поворачивала голову и с изумлением на меня взирала… Больше всего я боялся, что она может внезапно встать на дыбы или пуститься вскачь. Лошадь, как-никак, не детская игрушка, а гигантское существо, бессловесное, дикое, наделенное огромной силой. Случалось, мимо проходил иноверец, смотрел на меня, смеялся и что-то произносил по-польски. Я не понимал его языка, и он не меньше лошади внушал мне ужас: он тоже был большой, сильный и загадочный…»

Согласитесь, что слово «иноверец» в данном отрывке звучит почти как «инопланетянин».

Исаак Башевис-Зингер появился на свет в то время, когда история планеты Штетл подходила к концу. Новому поколению ее жителей надоело жить наособицу. Им хотелось стать частью Большого мира, и дувшие над планетой ветры срывали с хасидов их шляпы и лапсердаки, облачая их в одежды современного покроя, а брадобреи-«инопланетяне» избавляли их от старозаветных бород и пейсов.

И все же планета Штетл продолжала жить и жила вплоть до того времени, пока эсэсовские айнзацгруппы не отправили уже в совершенно иные миры ее последних жителей.

И вот после того, как планета Штетл была стерта с лица земли, тех, кто на ней родился и вырос, а затем сумел уцелеть в кровавой мясорубке Холокоста, железной хваткой взяла за горло ностальгия.

Как всякая ностальгия, она приукрашивала, идеализировала прошлое, представляя жизнь Штетла в совершенно идиллическом свете. И, как всякая ностальгия по несуществующему, она была неизлечима.

В эссе, посвященных Башевису-Зингеру, часто проводится параллель между его творчеством и творчеством Марка Шагала, основанная на кажущемся авторам этих работ сходстве художественных методов этих двух мастеров, их тяге к метафористике, основанной на глубинных пластах Библии, еврейского фольклора и самого языка идиш, его пословиц и поговорок.

Однако главное сходство между ними заключается в том, что,

как и Шагал, Исаак Башевис-Зингер тоже до конца своих дней оставался мальчиком с планеты Штетл, в сущности, так с нее и не уехавшим. В отличие от многих других, он ее не идеализировал, а потому и никогда не скатывался до лубочной патоки и патетики. Но любил и знал он эту планету не меньше, а то и куда и больше, чем многие другие еврейские писатели.

Хотя бы потому, что у него был тот опыт, которого у этих писателей не было.

Глава 2
Пожиратель книг

Первые детские впечатления Иссака Башевиса-Зингера, рассыпанные по различным его книгам, связаны с жизнью семьи Зингеров в Радзимине.

Здесь он впервые столкнулся лицом к лицу со смертью — одна за другой умерли две его средние сестры, а затем в семье появился младший брат Мойше. Здесь у него появились первые друзья по играм, и здесь же он, под руководством отца, окунулся в мир Торы и Талмуда с его истовой верой в приход Мессии[16], за которым непременно последует воскрешение из мертвых и восстановление царства царя Давида.

Едва ли не с трех лет маленький Иче-Герц наизусть заучил свою родословную от рабби Иссерлиша до — через великого комментатора Библии Раши — до царя Давида.

Как он признается в первой книге своей автобиографической трилогии «Мальчик в поисках Бога», ребенком он часто представлял, как после воскрешения мертвых он с родителями на правах родственника будет жить в Иерусалиме, во дворце царя Давида и называть его «дедушкой»…

К началу 1910-х годов, когда отношения между отцом писателя и радзиминским ребе окончательно испортились, Зингеры решили перебираться в Варшаву, где Пинхасу-Менахему предложили место главы раввинатского суда («бейс-дина») на густонаселенной евреями Крохмальной улице.

Само это предложение было не случайным — на Крохмальной жили, зачастую с трудом сводя концы с концами, множество выходцев из Радзимина. Многие из них были хорошо знакомы с главой тамошней ешивы равом Пинхасом Зингером, и потому у них не было никаких сомнений в его квалификации как раввина.

Хотя официально должность Пинхаса-Менделя и называлась «председатель раввинантского суда» («бейс-дина»), на самом деле, он был простым раввином Крохмальной улицы — одной из многих еврейских улочек Варшавы. Это означало, что ему приходилось не только разбирать судебные тяжбы и различные бытовые и имущественные споры между жителями этой улицы, но и консультировать их по различным религиозным вопросам.

А так как иудаизм касается абсолютно всех сторон жизни еврея, то вопросы эти были самыми разными. Одна их часть была связана с кашрутом, то есть многочисленными законами о

запрещенной и разрешенной пище. Другие вопросы касались самых различных размолвок внутри семьи. Третьи — интимной жизни, которая у евреев также строго регламентируется Торой.

Со всеми этими вопросами, исповедями, проблемами жители Крохмальной улицы и шли к раввину. На склоне лет Башевис-Зингер любил повторять, что его отец выполнял на Крохмальной улице роль священнослужителя, судьи, семейного психолога, психотерапевта и сексолога одновременно, и со всеми этими обязанностями справлялся вполне профессионально. Возможно, добавлял Зингер, даже куда лучше, чем те, кто имеет соответствующие университетские дипломы.

И вот эта-то деятельность отца и давала Иче-Герцу поистине бесценный опыт и материал для будущих книг. Устроившись в углу отцовского кабинета и делая вид, что он поглощен чтением Талмуда, мальчик внимательно слушал все, что рассказывали пришедшие к отцу визитеры, и следил за тем, как отец разбирает их дело. Слушал — и запоминал, ибо с детства обладал поистине феноменальной памятью (когда ему было уже далеко за 80, Башевис-Зингер любил похвастаться тем, что даже в этом возрасте может воспроизвести по памяти порядок книг, стоявших в книжном шкафу в доме у его деда в Билгорае).

В случае, если мужчина или женщина приходили к раввину с какой-нибудь очень деликатной проблемой, касающейся их интимной жизни, отец приказывал Ицхоку выйти из комнаты, и тот послушно выполнял это указание. Но при этом (в чем Башевис-Зингер сам с лукавой улыбкой признается в книге «В суде моего отца») он почти всегда подслушивал ведущийся в кабинете разговор, узнавая таким образом многие не подлежащие огласке секреты взрослых.

Пинхас Зингер, кстати, знал, что его средний сын страдает чрезмерным любопытством, а потому разговоры на некоторые, особо интимные темы вел с посетителями в своем кабинете полушепотом.

Именно благодаря своему любопытству и чутким ушам, маленький Иче оказался посвященным в те стороны жизни, которые были неизвестны многим взрослым дядям и тетям. Видимо, в этой столь ранней просвещенности в подобных вопросах и следует отчасти искать объяснение тому значению, которое Зингер придавал сексу и в реальной жизни, и в своем творчестве, делая сексуальную коллизию центральной во многих своих произведениях.

Сама эта коллизия до Зингера крайне редко встречалась в еврейской литературе. Читая еврейских классиков, можно было решить, что евреям вообще не знакома, скажем, такая

занимающая писателей других народов тема как супружеская измена. И объясняется это отнюдь не только тем, что данная тема считалась полузапретной. Дело еще и в том, что большинство еврейских писателей, включая сторонников жесткого реализма, было искренне убеждено, что данной проблемы у евреев… не существует — так, во всяком случае, подсказывал им их личный жизненный опыт.

Однако из подслушанных за отцовской дверью разговоров Башевис-Зингер рано понял, что и евреи часто сталкиваются с теми же проблемами, что и другие народы — есть среди них и неверные жены, и насильники, и извращенцы, и сексуальные маньяки. Да, возможно, масштаб этих явлений в еврейской среде был значительно меньше, чем у неевреев, но вот ощущение того, что их не было вовсе, возникало исключительно потому, что есть тайны, которые евреи поверяют только Богу и раввину, всеми силами стремясь не допустить их огласки.

Более того — именно эти обстоятельства способствовали тому, что секс играл в жизни еврея особую, куда большую роль, чем в жизни представителя какого-либо другого народа. Скажем, роман с нееврейкой или замужней женщиной входил в столь трагический диссонанс с самими основами еврейской жизни, что вполне мог привести совершающего подобный грех еврея на грань безумия.

Зингер был первым, кто заговорил об этих тайнах во всеуслышание, за что и критики, и другие еврейские писатели не раз обвиняли его в том, что он вынес грязное еврейское белье на всеобщее обозрение.

Другой, не менее важной жизненной школой для Башевиса-Зингера была сама Крохмальная улица, отражавшая в себе в миниатюре весь еврейский мир.

Здесь бок о бок существовали синагоги и публичные дома; в расположенных на ней магазинах и лавках не только покупали различные товары, но и до хрипоты спорили о марксизме, сионизме, дарвинизме и прочих мудреных вещах. На мостовой Крохмальной и во дворах ее домов толклись уличные торговцы, бродячие артисты, уголовники, старьевщики, дети, не ведая, что всем им предстоит стать героями книг странного раввинского сынка, отнюдь не спешащего присоединиться к играм других детей, пугливо озирающегося по сторонам и вообще явно чувствующем себя неуютно в столь людном месте.

Зингер и в самом деле в детстве с большим трудом вступал в контакт со сверстниками, не очень любил гулять по улице и вообще старался выходить их родительской квартиры как можно реже. Но, может быть, поэтому каждый такой выход становился

для него событием и врезался в память?!

Вспомним хотя бы его собственный рассказ о том, как он однажды, всего лишь раз в жизни, поработал сборщиком денег для своего отца. Будучи духовным, а не казенным раввином на Крохмальной, отец писателя находился на содержании общины. Это означало, что каждый живущий на улице еврей жертвовал на содержание раввина столько, сколько мог и сколько считал нужным. Однако деньги эти, как правило, собирал специальный сборщик, прикарманивавший значительную часть этой суммы. И как-то раз маленький Иче-Герц вызвался сам собрать отцовскую зарплату. Но, пройдясь по Крохмальной, заглянув в квартиры ее обитателей, мальчик столкнулся с таким морем человеческой нужды и горя, что впечатлений этого одного дня ему хватило на всю жизнь. И на всю жизнь он остался верен полученному им в те дни уроку:

«…Вытащив квиток, я спросил:

— Где живет Ента Фледербаум?

— В сральне…

В Варшаве так называли темные закутки. Я был трусоват, но в тот день что-то со мной произошло, и я расхрабрился. Спотыкаясь и задевая за какие-то ящики и корзины, я брел по неосвещенному коридору. Слышалось громкое шуршание, словно за стеной скреблись мыши. Я зажег спичку и увидел, что на дверях нет номеров и. похоже, ни одна не заперта. Толкнув первую попавшуюся, я замер, пораженный открывшимся мне зрелищем. На полу лежало тело, завернутое в простыню, возле головы стояли две свечи, а рядом на низкой скамеечке сидела женщина. Она рыдала, заламывая руки, и что-то выкрикивала. Зеркало на противоположной стене было завешено. От страха у меня бешено заколотилось сердце, я попятился обратно в коридор и захлопнул дверь; перед глазами плясали огненные круги, в висках стучало. Я кинулся бежать, но зацепился не то о корзину, не то о ящик. Как будто кто-то схватил меня за полу и потянул назад; в меня вцепились костлявые пальцы, я услышал жуткий вой. Весь в холодном поту я рванулся вперед, только затрещала моя капота. Все, больше я никаких денег собирать не стану. Меня трясло, потом вырвало. Монеты оттягивали карманы, мешая идти. Мне казалось, что за один день я стал старше на десять лет…

…И вдруг я понял, что взялся не за свое дело. И я принял решение, которому следую до сих пор: никогда ради денег не делать ничего такого, к чему не лежит душа, а также избегать одолжений и подарков…»

* * *

И все же главную роль в становлении личности Ицхака Башевиса-Зингера, безусловно, сыграли книги.

Одержимый страстью к чтению, он мог проглотить в день сразу две, а то и три книги из отцовской библиотеки, постепенно подбираясь к тем полкам, где стояли книги по каббале[17] и к которым отец категорически запретил ему приближаться. Лишь после тридцати лет, объяснил ему отец, да и то в случае, если будет женат и сведущ во всех других областях Письменной и Устной Торы, он может начать читать эти книги, содержащие в себе величайшие тайны мироздания.

Нужно ли говорить, что после такого предупреждения эти полки притягивали к себе Иче-Герца, как магнитом?! Как только отец отлучался из дома, мальчик немедленно доставал один из стоявших на этой полке фолиантов и погружался в чтение. Свободное знание иврита и арамейского без труда позволяло ему проникать в смысл текстов, пугавших и притягивавших его к себе одновременно. Одним из самых ошеломляющих из сделанных восьмилетним Иче-Герцем открытий стало то, насколько широко авторы каббалистических сочинений использовали сексуальную символику для разъяснения своих идей. Из этих книг следовало, что почти все в мире можно объяснить соитием мужского и женского начала и их стремления к получению высшего наслаждения.

Даже взаимоотношения между Богом и еврейским народом уподоблялись в них отношениям между мужчиной и женщиной, а сами эти отношения представали с их страниц едва ли не главной движущей силой человеческой истории: если бы Авраам не вошел к Саре, Исаак к Ревеке, а Иаков к двум своим женам и наложницам, то не было бы и еврейского народа; если бы Всевышний не пробудил у Иегуды неодолимого желания овладеть притворившейся блудницей Тамар, то на свет никогда бы не появился Перец, от которого должен был произойти царь Давид и будущий Мессия…

Правда, каббалисты постоянно подчеркивали, что многие из используемых ими сексуальных образов не следует понимать буквально; что они используют их исключительно для того, чтобы разъяснить на доступном для людей языке некие понятия духовного мира, но эти слова как раз пролетали мимо сознания ребенка.

Эротический заряд этих сочинений невольно будил его воображение, порождал в воображении картины и образы, которые отнюдь не соответствовали возрасту мальчика. И в

книгах по Каббале, вне сомнения, заключен еще один источник той гиперсексуальности, которой была буквально пронизана почти до самых последних дней личная жизнь великого писателя и все его творчество; не раз изображавшего сексуальное влечение как основную движущую силу всех поступков человека.

Заслышав в коридоре шаги отца, Иче поспешно захлопывал книгу, возвращал ее на полку и бежал играть на улицу со своей соседкой Шошей, считавшейся больной, отстающей в развитии девочкой. Что любопытно — это были самые примитивные, простые игры в «камень, ножницы, бумагу», «в семью» и т. д., из которых многие мальчики его возраста к тому времени уже выросли. Ицхок же играл в них с таким же увлечением, как и «полоумная» Шоша, ничуть не стыдясь того, что это — «игры для маленьких». Не исключено, что его тянуло к Шоше, прежде всего как к благодарной слушательнице, которой он мог пересказать все только что прочитанное и поделиться с ней своими тайными мечтами. Например, мечтой о том, что когда он вырастет, то станет Мессией, и у него будет, как у царя Соломона, бесчисленное число жен и наложниц.

Эту свою доверенную Шоше детскую мечту, Зингер потом не раз вспомнит на страницах самых различных своих книг, и, конечно же, в псевдоавтобиографическом романе, в котором сделает ее главной героиней:

«Дня не проходило без того, чтобы я не прибежал к Шоше с новой историей. То я вдруг придумывал такой напиток, что если выпьешь его, то станешь сильным, как Самсон. Я уже выпил его, потому теперь могу выгнать турок из Святой земли и стать царем евреев. То оказывалось, что я нашел шапку-невидимку и собирался, когда вырасту, стать мудрым и сильным, как царь Соломон, а он понимал даже язык птиц. Рассказал я Шоше и о царице Савской…

…Шоша приподняла юбочку и посмотрела на свои ножки, а я сказал:

— Шоша, ты прекраснее царицы Савской.

И еще я сказал, что если бы я был помазан и воссел на Соломоновом троне, то взял бы ее в жены. Она была бы царицей и носила бы на голове корону из бриллиантов, изумрудов и сапфиров. Другие жены и наложницы склонялись бы перед ней до земли.

— И много жен у тебя было бы? — спросила Шоша.

— Вместе с тобой — тысяча.

— А зачем тебе так много?

— У царя Соломона была тысяча жен. Об этом говорится в «Песне песней».

— А разве это разрешено?
— Царь может делать, что хочет…»

Таким образом, вопреки тому, что утверждали многие недоброжелатели Башевиса-Зингера, та свобода, которую он позволял себе на протяжении всей жизни в отношениях с женщинами, для него самого отнюдь не была вызовом еврейским ценностям, а, как ни странно, именно в них и коренилась. С детства на примере жизни библейского праотца Иакова, царей Давида и Соломона и др. будущий писатель уверился, что мужчина может одновременно с равной страстью любить сразу нескольких женщин…

* * *

Не меньше, а возможно, и больше, чем страницы, рассказывающие о природе Бога и устройстве мироздания, мальчика привлекали и разделы Каббалы, посвященные перевоплощению душ, которые, если верить этим книгам, могли в следующем своем рождении оказаться в теле не только человека, но и животного или растения, а то и вовсе оказаться заточенными в неживой материи — в камне, или, скажем, в крыльях мельницы.

Там же рассказывалось, что, помимо людей, в мире существует еще множество ангелов, демонов, бесов и других существ и говорилось о том, как вступать с ними в разговор или даже в деловые отношения; как подчинять их себе или как от них избавляться. Многие из этих созданий назывались по именам и описывались так, как будто каббалисты были знакомы с ними лично и хорошо знали их сильные и слабые стороны, а также чего от каждого из них можно было ждать.

Для Иче-Герца все это отнюдь не было сказками — книги лишь подтверждали те рассказы о всяких потусторонних силах, которые он в свое время слышал в Радзимине и Билгорае. А потому он старательно запоминал имена высших и низших ангелов, демониц-жен Асмодея, бесов, служащих у него на посылках и т. д., тщательно скрывая эти свои познания от взрослых.

Когда Иче-Герцу (во всяком случае, согласно официальной дате его рождения) было примерно девять лет, он наткнулся на принесенные старшим братом книги на немецком языке и, благодаря тому, что немецкий похож на идиш, быстро, в течение пары месяцев, освоил его и стал на нем свободно читать. Вскоре он проглотил «Антологию немецкой поэзии», из которой

наибольшее впечатление на него произвели «Лесной царь» Гете и «Лорелея» Гейне. В том, что два этих поэта с такой силой описывали потусторонние существа, мальчик увидел еще одно доказательство правдивости каббалистических книг.

Тем временем в семье Зингеров стали происходит перемены, которым предстояло в немалой степени предопределить мировоззрение героя этой книги.

* * *

Как Пинхас-Менахем Зингер ни пытался удержать своих старших детей от того, что в его глазах было падением в глубочайшую бездну, Исраэль-Иешуа и Гинда-Эстер с каждым днем все дальше и дальше отходили от еврейской религии и еврейского образа жизни.

Открывшийся им в Варшаве огромный мир с его соблазнами и возможностями манил к себе; проснувшиеся в обоих творческие способности искали выхода и признания. Исраэль-Иешуа стал все чаще и чаще по целым дням пропадать из дома. Вскоре он сблизился с обретающейся в Варшаве еврейской богемой — молодыми художниками, писателями, актерами, большинство из которых если и не состояли официально в польской компартии, то открыто ей сочувствовали. В этом кружке старший сын четы Зингеров активно расширял свой кругозор, проглатывая все рекомендуемые ему товарищами книги.

При этом он не только не скрывал происходящих в нем перемен от родителей, но и всячески их подчеркивал, принося домой «еретические» книги, газеты на идиш и на иврите, а также то и дело заводя с отцом и матерью споры на мировоззренческие темы.

А на страницах газет того времени тоже кипели жаркие не только политические, но и философские споры, они подробно рассказывали о последних открытиях в области физики, биологии, химии, стремительно менявших представление людей о самом устройстве мироздания.

И маленький Иче-Герц, несмотря на все протесты отца, прочитывал эти газеты с первой до последней страницы. Именно из газет он узнал о теориях Мальтуса и Дарвина, о том, что Вселенная — бесконечна и планета Земля — лишь крохотная точка на карте нашей галактики… Все это, естественно, вызывало живой интерес у мальчика, будило его воображение, порождало все новые вопросы.

Еще больше вопросов возникало у него во время жарких

дебатов старшего брата то с отцом или матерью, то с ними обоими сразу.

Исраэль-Иешуа говорил, что никакого Бога нет и в помине, что евреи — отнюдь не избранный, а такой же народ, как и все остальные, разве что более несчастный; что если внимательно прочитать Библию, то выходит, что ее герои, которых евреи считают праведниками, на самом деле не такие уж праведники, а подчас и самые настоящие злодеи и убийцы…

— Но как же мог мир возникнуть сам по себе, из ничего?! — спрашивал Исраэля-Иешуа отец. — Должен был быть Некто, кто его создал, и это Некто и есть Бог!

— А кто тогда создал Бога? — ехидно вопрошал Исраэль Зингер. — Где вообще доказательства Его существования?!

— Два миллиона евреев стояли у горы Синай и воочию видели явление Творца — об этом сказано в Торе! — возражала мать.

— Откуда ты это знаешь? — парировал Исраэль. — Ты что, там в этот момент была?!

— Мы видим проявления Бога во всем окружающем мире, — продолжали настаивать на своем родители. — В самом факте того, что он избрал наш народ, избрал нас…

— Да в чем проявляется эта избранность? В том, что евреи страдают больше, чем другие народы? И если твой Бог действительно так бесконечно добр, как ты утверждаешь, то почему в мире так много зла и несправедливости? Или твой Бог несет в себе зло?! — не давал матери докончить фразу Исраэль-Иешуа.

В какой-то момент этого спора у Пинхаса-Менделя сдавали нервы.

— Замолчи, еретик! — говорил он. — Я не желаю больше этого слышать! Пожалей свою бессмертную душу!

— Да нет никакой души, отец! — отвечал Исраэль-Иешуа. — Все наши мысли и чувства — это исключительно функция нашего мозга.

Иче-Герц обычно не встревал в эти споры, но внимательно к ним прислушивался.

Его симпатии были в них на стороне брата — ведь то, что тот говорил, в целом совпадало с тем, что написано в газетах. И про себя маленький Ицхок-Герц решил, что он будет таким же еретиком, как и Исраэль-Иешуа — тоже перестанет молиться, будет одеваться так же, как неевреи, и даже — хотя это и очень страшно! — зажигать огонь и ездить на извозчике в субботу.

Однако для того, чтобы принять на веру все слова брата и окончательно перейти на его сторону, Иче-Герц обладал слишком

острым и критическим умом. К тому же уроки Талмуда, которым он занимался под руководством отца, приучили его к тому, что любой вопрос следует рассматривать с самых разных точек зрения, ища контрдоводы на любое, даже кажущееся предельно логичным и бесспорным утверждение. И, руководствуясь таким подходом, мальчик обнаруживал в утверждениях брата немало слабых сторон.

Теория сотворения мира из ничего, само собой, без вмешательства Бога, да и теория эволюции Дарвина при ближайшем рассмотрении оказывались столь же малоубедительными и бездоказательными, как и рассказ Торы о происхождении мира. Вслед за братом он мог задать авторам этих теорий все тот же сакраментальный вопрос — «А ты что, там в это время был?!»

О том, правда ли, что у человека нет никакой души, а мысли и чувства — это лишь следствие работы мозга, мальчик размышлял, поедая жареные мозги, — это блюдо часто готовилось в доме Зингеров из-за его дешевизны. Выходило, что точно так же можно приготовить на сковороде и его собственные мозги, но значит ли это, что он сам со всеми его знаниями и вопросами перестанет после этого существовать? И если никакой души нет, то что же тогда произошло с той девушкой в Билгорае? И кто отвечал в доме на вопросы медиумши — ведь русские солдаты никого не нашли…

Но вот в словах Исраэля-Иешуа о том, что многие герои Писания отнюдь не так святы и праведны, как принято думать, и что Бог, если Он есть, и в самом деле отнюдь не так всемогущ, вездесущ и благ, как это утверждает отец, Иче-Герц находил немалую долю правды. Вопрос о том, почему в мире так много зла и несправедливости и что нужно сделать, чтобы его исправить, по собственным уже поздним признаниям Зингера, буквально сжигал его в этом возрасте, и он размышлял над ним непрестанно.

В поисках ответа будущий писатель снова обратился к книгам, и вскоре нашел в отцовской библиотеке любопытную книгу «Сефер ха-Брит» («Книгу завета»), написанную одним виленским раввином в конце XVIII века. Будучи широко образованным для своего времени человеком, автор этой книги рассматривал через известные на тот момент научные открытия и философские учения с позиций иудаизма. Причем свой анализ западной философии он доводил до Эммануила Канта.

Книга эта также сыграла весьма важную роль в духовной биографии Башевиса-Зингера — это видно хотя бы по тому, сколько страниц рассказ о ней занимает в повести «Мальчик в

поисках Бога». Но и она не разрешила мучавших Иче-Герца вопросов, а только еще больше запутала его.

«Сефер ха-Брит» доказывала, что новейшие научные открытия не только не опровергают существования Бога и истинность Торы, а лишь еще больше подтверждают это, и нет в мире большей мудрости, более глубокой философии, чем та, которую несет в себе каббала.

Поверяя свои знания о последних достижениях науки методом автора «Сефер ха-Брит», Ицхок пришел к выводу, что тот во многом прав.

К примеру, наука доказывала, что вся материя в мире строится из одних и тех же микрочастиц — но разве это единство материи не говорило о том, что у нее есть только один Творец?! Ученые, в отличие от каббалистов, делили всю природу на живую и неживую, но одновременно говорили, что даже в камнях и кусках металла молекулы находятся в непрерывном движении. Но если взять за основу утверждение, что движение и есть жизнь, то выходило, что те же камни не так уж и мертвы, то есть каббалисты опять правы…

Однако на главные вопросы — о том, почему человек и общество устроены именно так, а не иначе, «Сефер ха-Брит» ответов все равно не давала. Когда же он решился напрямую задать этот вопрос старшему брату, тот ответил, что этими вопросами занимаются философы и ответы на них есть в книгах по философии.

С того дня желание достать книгу по философии стало навязчивой идеей маленького Ицхока.

* * *

Тем временем началась Первая мировая война, а вместе с ней в квартиру Зингеров на Крохмальной улице пришли голод, холод и страх.

Исраэль-Иешуа был призван в российскую армию, но дезертировал из нее, вернулся в Варшаву и стал прятаться по домам своих друзей и знакомых, изредка появляясь у родителей. Если бы его нашла полиция, он был бы по законам военного времени расстрелян на месте, и Пинхасу и Батшебе Зингерам не оставалось ничего другого, как истово молить Бога о том, чтобы Он сохранил им не верующего в Него сына. Иче-Герц, молившийся вместе с отцом и невольно проникавшийся силой его веры, начал думать, что в том, что Исраэль-Иешуа до сих пор счастливо избегает облав, и в самом деле объясняется силой

родительских молитв.

Отсутствие брата в доме позволяло Иче-Герцу беспрепятственно рыться в его вещах и книгах. Так он и нашел книгу, взятую Иешуа-Исраэлем в центральной еврейской библиотеке Варшавы, которую тот так и не удосужился сдать. Это навело Ицхока на мысль, что, сдав эту книгу вместо брата, он может получить взамен в той же библиотеке книгу по философии. Понимая, что он поступает плохо, очень плохо и что когда брат узнает об этом, то придет в ярость и, возможно, даже изобьет его, мальчик все же взял эту книгу и в один из дней, раздираемый самыми разными страхами, отправился в библиотеку.

Вот как он сам описывает этот свой поход в «Мальчике в поисках Бога»:

«Держа в руках книгу, я вышел на Новолипецкую улицу. Было холодно. Немцы к тому времени так близко подошли к Варшаве, что на улице были слышны звуки их артиллерии. Я представил, как каждый снаряд убивает тысячу солдат. Вдруг резко похолодало и мой нос стал таким твердым, словно был сделан из дерева. Перчаток у меня не было, и я сжимал книгу совершенно окоченевшими руками. Я боялся, что в библиотеке на меня могут накричать или, того хуже, начнут надо мной смеяться. Даже брат мог случайно оказаться там. Я шел против ветра и голос внутри меня кричал: «Я хочу знать истину! Единственную и вечную истину!»

Я вошел в библиотеку и поначалу ничего не увидел. Меня словно ослепило, и голова у меня закружилась… Но вот головокружение прошло, я снова начал видеть, и мне открылся зал, полный с пола до потолка книгами. По ту сторону широкой стойки стоял толстый человечек, с усами, с лысой головой и длинными волосами одновременно, увлеченно наклеивающий бумажные ленточки на корешки книг. Казалось, целый час он не поднимал глаз, а когда, наконец, заметил меня, его большие черные глаза оказались, вопреки моим ожиданиям, вполне дружелюбными.

— Что тебе, парень? — спросил он.

Мне понравилось, что он назвал меня парнем. Это был знак, что я уже почти взрослый.

— Я хочу вернуть книгу, которую взял брат, — ответил я.

Библиотекарь протянул руку и взял у меня книгу. Затем заглянул внутрь и наморщил лоб.

— Исраэль-Иешуа Зингер — это твой брат?

— Да, мой старший брат, — ответил я.

— Что с ним случилось? Он взял эту книгу больше года назад, а книгу нельзя держать у себя больше месяца. За это время

набежал большой штраф, он съел весь оставленный им задаток…

— Брат в армии, — сказал я, и сам пришел в ужас от собственного вранья…

— Где он, на войне?

— Да, на войне.

— И у вас нет от него никаких известий?

— Ни словечка.

Библиотекарь помрачнел.

— Что они от нас хотят, эти фараоны? Почему им так нужны невинные жертвы для устраиваемых ими кровавых войн?

Он говорил как будто с самим собой, а затем снова обратился ко мне:

— Твой брат — очень талантливый молодой человек. Он отлично пишет, да и рисует хорошо. Талант. Талант от рождения! Ну, а ты, как я вижу, конечно же, учишься в бейт-мидраше[18], а?!

— Да, я учусь. Но я хочу знать обо всем, что происходит в мире, — ответил я, чувствуя, как мои губы сами, без меня, произносят эти слова.

— О! И что же ты хочешь знать?

— Физику, географию, философию, все на свете…

— Что значит все на свете? Нет человека, который бы знал все на свете.

— Я хочу знать тайну жизни, — сказал я, и сразу же устыдился собственных слов. — Мне хотелось бы прочитать книгу по философии.

Библиотекарь наклонился.

— Какую книгу? На каком языке?

— На идиш. Но я читаю и на иврите.

— Ты имеешь в виду святой язык?

— Мой брат читал «Ха-Цфира»[19], и я читал ее тоже.

— И твой отец разрешает тебе читать такую еретическую газету?

— Он не видит меня, когда я ее читаю.

Библиотекарь закашлялся.

— У меня есть кое-что о философии на идиш, но мальчик в твоем возрасте должен изучать какую-нибудь профессию, а не философию. Чтение это будет для тебя трудновато, и вдобавок от него не будет никакого проку.

— Я хочу знать, что говорят философы о том, почему в мире так много страданий и как его исправить.

— Философы и сами этого не знают. Ладно, подожди…

Он начал искать между полками и даже залез на лесенку. Когда он слез, в его руках было две книги, и он показал их мне. Одна

была на идиш, другая — на иврите.

— У меня есть кое-что для тебя, — сказал он. — Но если эти книги увидит твой отец, он порвет их.

— Папа их не увидит. Я их хорошо спрячу.

— Клиент нашей библиотеки должен оставить задаток и заплатить за чтение книги за месяц вперед. Но у тебя в кармане, как я вижу, нет ни гроша. Ладно, заплатишь как-нибудь в следующий раз. Береги книгу. Если ты сдашь ее вовремя и в хорошем состоянии, я найду тебе еще кое-что. Когда мальчик хочет узнать тайну жизни, ему надо помочь.

Он улыбнулся и что-то записал на карточке. Я с трудом удержался, чтобы не поцеловать ему руку…»

Книга на идиш, представлявшая краткую историю философии, была прочитана Иче-Герцем в тот же день.

Ничего, кроме разочарования, она ему не принесла. Имена некоторых великих философов, таких, как Аристотель, Демокрит, Платон и др., учения которых излагались в этой книге, были ему уже знакомы по трудам Рамбама и прочих и никакого интереса у него не вызвали. Но, самое главное, ему показалось, что, когда дело доходит до главных вопросов, большинство философов предпочитает просто жонглировать мудреными терминами, а не отвечать на них. Таким образом, книга пополнила его познания в философской терминологии, но не более того. Единственная ее глава, которая действительно произвела на него впечатление, была посвящена философии Спинозы. Сама идея пантеизма была для него не нова — ее выдвигали и каббалисты, и многие еврейские философы, начиная с основателя хасидизма Бааль-Шем-Това. Но мысль Спинозы о том, что Богу нет никакого дела до людей, до их судеб, до человеческой истории, поразила его, так как открыто вступала в противоречие с главными постулатами Торы.

Стоит заметить, что если в начале XX века на европейскую интеллигенцию философия Спинозы уже не производила особого впечатления, так как ее умами в тот период уже властно овладевало новое поколение философов, то влияние Спинозы на еврейскую молодежь все еще было огромно — в первую очередь, благодаря его критике Писания, на котором эта молодежь выросла.

Не случайно, Аса-Гешл, главный герой саги «Семья Мускат», с юности и вплоть до последних страниц романа оказывается под влиянием философии Спинозы, которая в итоге и приводит его к полному жизненному и моральному краху. Сам Башевис-Зингер утверждал, что он лично очень быстро освободился от влияния

Спинозы, но не стал освобождать от него Асу-Гешла исключительно потому, что ему хотелось воссоздать в романе мировоззрение и судьбу типичного еврейского интеллигента своего времени.

В то же время и спустя более шестидесяти лет, давая пространное интервью о своей жизни и творчестве американскому профессору Ричарду Бурджину, Башевис-Зингер будет довольно часто вспоминать «Этику» Баруха Спинозы, цитировать ее и основывать на ее положениях многие свои рассуждения. Так что можно сказать, что и он, как и его Аса-Гешл, пронес приверженность многим идеям этого философа через всю жизнь.

* * *

Нужно ли говорить, что с того дня подбиравшийся к своему 13-летию Иче-Герц стал частым гостем в библиотеке на Новолипецкой улице.

К началу XX столетия значительный корпус русской и мировой классики уже был переведен на идиш, и будущий лауреат Нобелевской премии по литературе часами пропадал в читальном зале, поглощая книги Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Диккенса, а заодно учебники по математике, физике, астрономии.

Те книги, которые он не мог достать на идиш, он читал по-немецки. Тогда же Башевис-Зингер, видимо, начал осваивать и польский язык — чтобы читать польскую классику в оригинале и свободнее общаться на улицах.

В этот же период выявилась еще одна удивительная способность мальчика — его «врожденная грамотность». Многим профессиональным филологам хорошо знаком этот феномен: есть люди, которые уже в раннем возрасте, даже не будучи знакомы с правилами грамматики, никогда не сверяясь с ними, просто на основе прочитанных ими книг, пишут практически без орфографических и пунктуационных ошибок. Именно так писал Башевис-Зингер на идиш, и эта способность потом очень пригодилась ему в жизни.

К этому же периоду относятся, по всей видимости, и его первые литературные опыты. Точнее, если верить тому, что Башевис-Зингер пишет «В суде моего отца», первые стихи и короткие рассказы он начал писать еще в 1913 году.

Вне сомнения, этому способствовала сама атмосфера, царившая в доме. Книги — религиозные книги, разумеется, —

считались в семье Зингеров высшей ценностью, а интеллектуальный труд — единственной достойной уважения деятельностью человека.

Сам Пинхас-Менахем Зингер тоже, как уже говорилось, по сути дела, был литератором — значительную часть своей жизни он писал книги, посвященные открытым им новым глубинам Торы и Талмуда. В годы Первой мировой войны, страшно стыдясь своего поступка, он утаил от жены 30 из 50 марок, присланных богатыми родственниками, чтобы оплатить набор своей новой книги. Ну, а когда старшие брат и сестра стали пробовать свои силы в литературе, то Иче-Герц тоже невольно заразился их страстью и начал таскать у отца из ящика чистые листы и исписывал их своими сочинениями.

Причем это занятие так увлекло его, что он прекращал сочинительство лишь на субботу, когда евреям категорически запрещено писать. Но при этом будущий классик с трудом дожидался исхода субботы, чтобы снова вернуться к тому, что он сам потом назовет «детским бумагомарательством».

* * *

Если в духовной пище в уже занятой немцами Варшаве у Иче-Герца и в самом деле не было недостатка, то этого никак нельзя сказать об элементарных продуктах питания. Обедневшие евреи Крохмальной улицы больше не могли поддерживать своего раввина, да и, все дальше и дальше отходя от традиционного еврейского образа жизни, все меньше нуждались в его услугах. И в 1917 году на семейном совете было решено, что Батшева отправится вместе с двумя младшими сыновьями в Билгорай в надежде, что родственники не откажутся взять ее и детей на какое-то время на содержание. Сам же рав Пинхас-Менахем и старший сын Исраэль-Иешуа пока останутся в Варшаве и попытаются найти какой-то источник пропитания.

Так Иче-Герц спустя много лет снова оказался в доме деда в Билгорае.

Глава 3
Билгорайские вечера

В Билгорае Ицхак-Башевис Зингер прожил почти два года, и этому периоду его жизни посвящена значительная часть книги «В суде моего отца».

Уже в поезде, везущем ее с младшими сыновьями в родной город, Батшева Зингер узнала, что приснившийся ей сон, в котором отец пришел с ней попрощаться, был вещим — старый ребе умер в Люблине, куда билгорайские евреи были высланы российскими властями.

Вместе с ним, казалось, умер и старый добрый Билгорай. Сменивший отца на посту главного раввина города дядя Иче-Герца не отличался ни отцовским религиозным рвением, ни его ученостью, ни — что было, пожалуй, главное — его высокими нравственными качествами. И если, подчиняясь огромному авторитету и харизме старого раввина, билгорайские евреи в своей массе, по меньшей мере, внешне хранили верность всем требованиям иудаизма, то теперь в городе дули совсем другие ветры.

Все больше и больше евреев города отдавали своих детей не в хедеры и в бейт-мидраши, а в светские еврейские школы, основываемые либо сионистами[20], либо бундовцами[21]. Еврейская молодежь устраивала вечеринки с танцами, после которых парни провожали своих девушек, держа их под руку. До большего, правда, не доходило, но и этого было более чем достаточно — ведь на протяжении тысячелетий еврейский жених не мог помыслить не только о том, чтобы потанцевать со своей невестой, но и даже прикоснуться к ней. Попробовал бы кто-нибудь вот так, под ручку, пройтись по Билгораю при жизни старого раввина — на следующее же утро тот метал бы в синагоге по адресу «развратников» громы и молнии, а их пристыженные родители устроили бы обоим чадам такую выволочку, что те запомнили бы ее на всю жизнь…

Но следует признать, что на молодежных еврейских вечеринках в Билгорае не только танцевали и пили дешевое вино, но и ожесточенно спорили о происходящем в мире — прежде всего, разумеется, об Октябрьском перевороте и о том, что он несет России, человечеству и евреям. Как и в Варшаве, среди билгорайских евреев можно было найти представителей всех партий и философских течений — коммунистов, бундовцев, меньшевиков и даже… польских националистов, убежденных, что

после получения Польши независимости евреи смогут добиться в ней культурной автономии.

Об этом же говорили и билгорайских иешивах и синагогах, но смысл ведущихся там дебатов сводился к тому, можно ли считать свержение царя в Петербурге предвестием прихода Мессии, или нет; является ли проносящаяся над миром война той самой последней войной между Гогом и Магогом, и если и это и в самом деле так, то кто может потянуть на роль Мессии — неужели Лейб Троцкий?

В те дни отрок по имени Иче-Герц Зингер разрывался между двумя этими мирами.

Его знание иврита вскоре сделало его своим человеком среди сионистов, и даже дало пусть скудный, но все-таки какой-никакой заработок — внука Старого Ребе стали приглашать в сионистские семьи давать уроки иврита.

Ну, а когда стало известно, что сей одаренный вьюнош еще и пишет стихи (хотя сам Зингер об этих своих опытах всегда отзывался крайне уничижительно), то его стали приглашать во все дома, где собиралась «просвещенная» молодежь. И под осуждающие взгляды матери и других родственников Иче-Герц теперь все чаще и чаще вечерами уходил из дому.

Ему нравились ведущиеся на таких вечерах разговоры; нравилась та свобода, с которой держались все участники и, само собой, нравилось, что вокруг было много девушек, к которым он давно уже испытывал отнюдь не платоническое влечение. Это был его мир — мир, где много говорили о книгах, читали стихи, влюблялись и не скрывали этих влюбленностей…

Но с первыми лучами солнца, повинуясь привитому с детства инстинкту, Иче-Герц снова оказывался в бейт-мидраше, читал от первого до последнего слова утреннюю молитву, а затем брал с полки «Путеводитель заблудших» Рамбама, «Кузари» Иегуды Халеви или «Вечность Израиля» Магарала и с головой погружался в чтение. Уже немало узнавший и прочитавший, он вновь и вновь поражался глубине мыслей еврейских мудрецов и философов; с удовольствием слушал споры стариков по тому или иному талмудическому вопросу, восторженно охал вместе со всеми, услышав никогда прежде не слышанный мидраш[22] или новое толкование запутанного места Торы.

Это тоже был его мир; мир, с которым он был связан миллионами невидимых нитей, без которого — и в этом Иче-Герц был абсолютно убежден! — просто не представим еврейский народ, ибо этот мир и есть сосредоточие его культуры, источник его силы и самобытности.

В эти минуты Иче-Герц начинал думать, что его преследует

некий бес, который задался целью соблазнить внука и сына раввина, оторвать его от Торы и служения Богу, и этот бес и толкает его каждый вечер на «греховные вечеринки». Чтобы избавиться от привязавшегося к нему черта, юноша пытался с головой погрузиться в священные книги, с азартом участвовал в талмудических дебатах, проявляя порой поистине выдающиеся знания.

Однако если поначалу в иешиве отдали должное глубине познаний гостя из Варшавы, то с каждым днем к нему относились все более и более холодно. За юношей прочно закрепилось прозвище «Эпикойрес»[23], а от эпикойреса, как известно, Талмуд советует держаться подальше.

* * *

Атмосферу еврейских молодежных вечеринок в Билгорае Башевис-Зингер впоследствии прекрасно передал в своей новелле «Фаталист», представляющую поистине блестящий образец этого жанра, если следовать словам Гете, что «новелла — это не что иное, как рассказ о случившемся неслыханном происшествии».

Захватывающая история о споре между местечковым фаталистом Биньямином Шварцем и красавицей Хейеле Минц, закончившаяся тем, что поезд, который должен был раздавить Шварца, остановился в метре от него, после чего Хейеле не оставалось ничего другого, как выйти замуж за высмеиваемого ею парня, как обычно, позволила Башевису-Зингеру поставить перед читателем целый ряд вопросов о природе любви и страсти, о свободе выбора и предопределении и т. д.

Построенный, подобно многим другим новеллам Зингера, как «рассказ очевидца», «Фаталист» завораживает точностью своих деталей, естественностью диалогов, такой зримостью всего происходящего, что в результате и в самом деле возникает ощущение, что речь идет не о художественном вымысле, а о действительном происшествии, едва ли не о документальном очерке. Но вместе с тем в этой короткой, точно рассчитанной на одну газетную полосу, новелле Зингеру удалось и создать несколько необычайно ярких, запоминающихся образов, и запечатлеть сам мир еврейской молодежи эпохи Первой мировой войны; ее настроения, развлечения, волновавший ее круг проблем:

«У молодых людей был свой клуб, и приезд образованного человека был хорошим поводом собраться. В честь Биньямина

устроили вечер вопросов и ответов. Бумажки с записанными на них вопросами положили в коробку, а он должен был их вынимать и отвечать. Одна девушка спросила, верит ли он в Провидение, и вместо того, чтобы сказать несколько слов, он рассуждал целый час. Оказалось, что в Бога он не верит, но зато верит в предопределение. Если кто-то на ужин съел лук, то произошло это потому, что он должен был съесть лук на ужин. Так было решено миллион лет назад…

…Он говорил слишком долго, но слушатели не потеряли интереса к теме, и последовала бурная дискуссия.

…Мы-то думали, что все эти разговоры о предопределении скоро утихнут, уступив место реальным проблемам. Тем более что и сам Биньямин сказал, что это явление невозможно постичь логически. В предопределение можно верить или не верить. Но почему-то наши молодые люди приняли этот вопрос близко к сердцу. Бывало, мы устраиваем собрание, посвященное правам на Палестину или образованию, а вместо этого все обсуждаем фатализм. А тут еще местная библиотека приобрела роман Лермонтова «Герой нашего времени» в переводе на идиш о фаталисте Печорине…»

* * *

Чувствуя равное притяжение к обоим мирам — светскому и религиозному, — юноша в равной степени чувствовал себя чужаком как в том, так и в другом, и трудно сказать, как бы он жил в Билгорае, если бы не местный часовщик Тодрус. Обладатель большой библиотеки, человек образованный, Тодрус пригласил внука покойного раввина давать уроки иврита своей 16-летней дочери. Разумеется, Иче-Герц втайне влюбился в свою ученицу, но так и не решился признаться ей в этом, опасаясь, что такое признание может закрыть перед ним двери единственного дома в Билгорае, в котором он себя чувствовал по-настоящему уютно.

Домашняя библиотека Тодруса позволяла ему значительно расширить свой кругозор. Художественная литература в этой библиотеке соседствовала с философской, и именно у Тодруса Зингер впервые прочитал труды входившего во все большую моду Зигмунда Фрейда и «Капитал» Карла Маркса.

Если первый действительно произвел на него сильное впечатление, хотя многие идеи Фрейда и показались ему откровенно заимствованными из каббалы, то Маркс оттолкнул от себя своей казуистикой, полной оторванностью своих идей от

жизни, непониманием подлинной природы человека, превращающих все его учение в опасную утопию.

Разочаровали юного Зингера и произведения чрезвычайно популярных в те годы Томаса Манна и Ромена Роллана. После их прочтения он окончательно утвердился в мысли, что таких крупных художников, какими были Гоголь, Толстой, Достоевский и Чехов, в мировой литературе после них так и не появилось.

Но еще большее разочарование принесло ему знакомство с современной еврейской литературой.

Тодрус выписывал множество литературных журналов и газет на идиш и иврите, выходивших в самых различных странах, и все они тем или иным путем добирались до его дома. Однако, по мнению будущего писателя, подавляющая часть еврейских писателей того времени «были ужасающе примитивны и провинциальны». Два этих эпитета — «примитивная» и «провинциальная» — были для него, по-видимому, принципиальны, так как он снова и снова повторяет их в самых разных своих книгах. Причем если в идишской поэзии 1910-1920-х годов, по его мнению, еще были интересные фигуры, то в прозе ситуация была совсем удручающей. Ни один современный идишский писатель, по его мнению, так и не сумел даже приблизиться к тому проникновению в «диалектику души», до которого поднимались в своих книгах великие русские писатели. Даже у считавшихся классиками Менделя-Мойхера Сфорима, Шолом-Алейхема и Ицхока-Лейбуша Переца, а также у лучшего, по мнению многих, еврейского писателя того времени Шалома Аша, характеры героев, на взгляд Иче-Герца, были «плоскими» и однообразными, а сюжетам их книг не хватало широты и общечеловеческого звучания.

Размышляя над причинами столь бедственного положения еврейской прозы, Иче-Герц нашел объяснение этому в целом ряде взаимосвязанных причин.

Первая из них, по его мнению, заключалась в том, что секулярная еврейская литература начала развиваться чрезвычайно поздно и за спиной еврейских писателей попросту не было той литературной культуры, которая уже сформировалась в XIX веке в русской, английской, немецкой и французской литературе.

Но самым большим злом для еврейской литературы Зингер уже в те годы считал чрезмерную заидеологизированность еврейских писателей, их почти повальное увлечение социалистическими идеями и — как следствие — категорический отказ от того культурного багажа, который накопил еврейский народ за тысячелетия своей истории. Все, что было связано с

еврейской культурой и традицией, с их точки зрения, было достойно в лучшем случае осмеяния; религиозная литература, продолжавшая оказывать огромное влияние на мироощущение и сам образ мышления большинства евреев того времени, должна была быть как можно скорее списана на свалку истории.

Но, отказываясь от всего этого, еврейские писатели обедняли и язык, и жанровый диапазон своих произведений. К примеру, жанр исторического романа и в литературе на идиш, и в нарождающейся литературе на иврите отсутствовал начисто. А ведь то, какие возможности таит в себе этот жанр, можно было понять хотя бы по «Войне и миру» Толстого!

Пройдут годы — и именно Башевис-Зингер подарит миру «Сатану в Горае», «Раба» и целый ряд других произведений, которые с полным правом можно отнести к вершинам мировой как эзотерической, так и исторической прозы.

Но тогда он поделился этими своими размышлениями лишь все с тем же Тодрусом, в беседах и спорах с которыми он провел многие свои вечера. Убежденный материалист и атеист, Тодрус не принимал увлечения своего друга мистикой, статьями о спиритизме, телепатии, паранормальных явлениях, и уж тем более веры Иче-Герца в Бога, в переселение душ, в демонов и т. д. Любую рассказываемую Зингером подобную историю он тут же пытался объяснить некими вполне естественными причинами, и даже если не находил такого объяснения, то все равно стоял на своем. Вместе с тем Тодрус, безусловно, симпатизировал своему юному другу, сознавал всю неординарность его личности, находил многие его мысли о литературе достаточно верными. Эта симпатия была, несомненно, взаимной, и оказала немалое влияние на становление личности Исаака Башевиса-Зингера — не случайно он посвятил Тодрусу столько страниц книги «В суде моего отца»; не случайно его черты угадываются в личности того часовщика, который стал духовным наставником главного героя роман «Семья Мускат» Асы-Гешла.

* * *

Тем временем Пинхас Зингер получил место раввина в небольшом галицийском местечке Джикува, и вскоре туда же отправились из Билгорая Батшеба с младшим сыном Мойше. Оставаться после этого в Билгорае Иче-Герцу не имело смысла, и он должен был для себя решить, что ему делать дальше — вернуться в Варшаву, как это сделал после многих приключений на Украине и в России его брат Исраэль-Иешуа, или пожить

какое-то время у родителей.

Письмо от старшего брата вроде бы не оставляло никаких сомнений: ехать надо в Варшаву.

В своем письме брат рассказывал о том, как в 1918 году оказался в Киеве, где принял самое деятельное участие в литературной жизни, свел знакомства со всеми местными еврейскими писателями и поэтами, сам активно писал и издавался. Затем он оказался в Москве, некоторое время работал там в идишском журнале, но, в конце концов, окончательно разочаровавшись в коммунистических идеях, в 1921 году вернулся в Варшаву. И вот после этого брат сообщал о самом главном: в Варшаве он стал соредактором журнала «Литературешен блаттер» («Литературные страницы»), и, если Иче еще не оставил своей детской мечты стать литератором, то он — помня о его врожденной грамотности — готов помочь ему устроиться в этом журнале корректором, а его дальнейшая карьера будет зависеть от него самого.

Все это звучало крайне заманчиво, но в итоге Исаак Зингер все же решил сначала поехать в Джикуву, проведать там мать и отца, а затем уже принять предложение брата. Однако судьбе было угодно помешать этим его планам: приехав в Джикуву, юноша свалился в постель с тяжелым воспалением легких. Несколько недель он провалялся в постели между жизнью и смертью и еще долгих девять месяцев приходился в себя.

Но нет худа без добра — в доме родителей Иче-Герц снова окунулся в традиционную еврейскую атмосферу. Все жители местечка были крестьянами и ремесленниками; представителей интеллигенции в нем не было и в помине, и единственными собеседниками юноши были все эти месяцы только брат и родители.

Само собой, в отцовской библиотеке не было никакой светской литературы, и Иче-Герц снова с головой погрузился в чтение каббалистических книг, сочинений Рамбама, Рамбана, Магарала, Рамхаля и других еврейских философов.

Эти книги, а также сама атмосфера родительского дома, невольно способствовали укреплению его пошатнувшейся было вере в Бога. Вновь и вновь он сверял свои впечатления от мыслей еврейских религиозных мыслителей с уже прочитанными книгами западных философов, и вновь и вновь убеждался, что логика и сила аргументации первых ни в чем не уступает вторым.

Однако наибольшее впечатления на Исаака Башевиса-Зингера в те дни произвели книги рабби Нахмана из Бреслава[24]; точнее, сказки, притчи, проповеди великого философа и каббалиста, записанные его учениками. Мысли рабби Нахмана о личной

ответственности человека за все происходящее в мире, его равноправном партнерстве с Богом в сотворении собственной судьбы и т. п. потрясли его. Но вместе с тем сама трагическая история жизни рабби Нахмана и ранняя смерть этого, как пишет Зингер, «абсолютного праведника» стала для него еще одним доказательством того, что от Бога нельзя ждать милосердия и справедливости в человеческом понимании этого слова.

«После всего прочитанного я не мог не верить в существование Бога, но и любить Его я тоже не мог. Я пришел к выводу, что возможна вера в Бога и без любви к Нему»

— пишет он в романе «Мальчик в поисках Бога», подводя итоги своего пребывания в родительском доме.

Знакомство с книгами рабби Нахмана из Бреслава привело Зингера еще и к мысли о том, что тот, помимо всего прочего, был еще и великим писателем, самые простые, подчас даже примитивные, на первый взгляд, произведения которого полны глубочайшего философского смысла. И вместе с этим пришло понимание того, в чем заключается, может быть, главная проблема современной ему еврейской литературы — ей не хватало глубины, многозначности, полифоничности. Тех самых «вторых» и «третьих» трансцендентных смыслов и сверхидей, которыми были пронизаны все произведения Достоевского и Стриндберга. Отсюда неминуемо следовал ее примитивизм: еврейские авторы так яростно и так прямолинейно проталкивали в своих произведениях те или иные идеологические догмы, что ни о какой многоплановости их опусов не могло быть и речи. Все это было тем более нелепо, что именно еврейская литература еще с библейских времен накопила огромный опыт и построения, и анализа текстов так, чтобы в нем открывались при каждом новом прочтении все новые и новые смысловые пласты. Это, в свою очередь, означало, что он был прав, когда в разговорах с Тодрусом в Билгорае утверждал, что низкий художественный уровень еврейской литературы в значительной степени связан с отказом ее творцов от собственной духовной и культурной традиции.

19-летний Исаак Зингер уезжал из Джикувы, этого забытого Богом еврейского местечка с твердым намерением стать великим еврейским писателем.

Он еще не знал, какие именно книги напишет. Он еще даже не определился с тем, на каком именно языке он будет их писать. Но он твердо знал одно: это будут ДРУГИЕ книги. Они вберут в себя не только весь опыт великих русских и западноевропейских

писателей, но и еврейскую традицию, весь мир тех понятий, образов, культурных кодов, которыми мыслили и мыслят евреи, все их проблемы, от повседневного до вселенского масштаба.

Это должно было помочь ему проникнуть в самые главные тайны еврейской души. А так как евреи — это неотделимая часть человечества, то значит и в тайны человеческой души вообще — этого самого главного и великого творения Бога, в которого он верит, но которого отказывается любить.

Это будут по-настоящему интересные, даже захватывающие книги, свободные от любой идеологической шелухи.

Словом, это будет НАСТОЯЩАЯ ЛИТЕРАТУРА.

* * *

До Варшавы Иче-Герц Зингер добирался на поезде, и во время поездки в нем произошел инцидент, отголоски которого можно найти в романе «Семейство Мускат» и о котором он подробно рассказывает в «Мальчике в поисках Бога».

Группа польских хулиганов пристала в вагоне к нескольким десяткам своих еврейских попутчиков и, глумясь, потребовала, чтобы они хором начали петь «Леха, доди, ликрат кала» («Пойдем, мой друг, навстречу невесте») — поэтический гимн, которым евреи встречают субботу в синагогах. Несколько молодых еврейских парней попытались было дать им отпор, но женщины удержали их от этого шага — они напомнили, что в соседнем вагоне едут вооруженные польские солдаты, и нетрудно догадаться, против кого они используют свое оружие, если в вагоне вспыхнет драка. И сидевшие на скамьях вагона пожилые евреи хором запели «Леха, доди», постепенно все больше и больше погружаясь в песню и уже не замечая сидевших рядом с ними хулиганов, даже забыв о том, почему они начали ее петь.

Иче-Герца Зингера в те минуты бил озноб и от пережитого только что унижения, и от восхищения перед той отрешенностью и силой веры, которая была написана в этот момент на еврейских лицах. И что самое любопытное — похоже, даже хулиганы вошли в транс под это пение, вдруг притихли и перестали отпускать свои шуточки.

Наверное, если бы молодой Зингер был сионистом, он увидел во всем происшедшем еще одно доказательство того, что евреям необходимо свое государство, где они могли бы защитить себя от антисемитов. Но Иче-Герц Зингер сионистом не был, и мыслил совсем другими категориями. Он думал в тот момент о вечном противостоянии Исава и Иакова; о том, что грубой физической

силе Исава потомки Иакова всегда противопоставляют свою высокую духовность, и в итоге одерживают самую главную — духовную — победу над всеми своими врагами. И каждой клеткой тела он чувствовал в те минуты свою причастность к великому гонимому народу, у которого свой, особый путь в истории; который уже немало дал человечеству и в будущем, возможно, даст еще больше…

Это был его народ, который он знал и любил. А ведь писатель должен писать только о том, что он по-настоящему знает и любит.

Глава 4
Путь мистика

Послевоенная Варшава встретила Исаака Зингера знакомой сутолокой улиц, дребезжанием трамвая, многоголосицей рынка и призывными рекламными плакатами на витринах только что открывшихся магазинов. Город расцветал на глазах и был полон новых жителей.

Многие из них, как и сам юный Зингер, вернулись в город, оставленный на время войны. Другую часть составляли эмигранты из разных уголков рухнувшей Российской империи, бежавшие от Советской власти. Немало было и тех, кто прибыл в столицу Польши в поисках лучшей доли — в надежде найти здесь работу и помочь оставшейся в обнищавшей провинции семье.

Но — самое главное — Варшава была те годы одним из крупнейших культурных центров Европы. Во все еще ведущем полуголодное существование городе работали театры; выходили книги; устраивались грандиозные художественные выставки; в кафе и клубах кипели нешуточные страсти. Причем культурная жизнь на идиш была не менее интенсивной, чем на польском. Для того чтобы понять это, достаточно вспомнить, что в 1921–1939 г. в Польше было 1500 газет, журналов и альманахов на идиш, около 700 из которых выходили именно в Варшаве. Центром жизни польских литераторов стал писательский клуб, расположившийся на улице Тломацки, неподалеку от самой большой варшавской синагоги.

Старший брат сдержал свое слово: он устроил Исаака корректором в «Литературешен блаттер». Однако о том, чтобы поселиться в его квартире не могло быть и речи — Исраэль-Иешуа вместе с женой и детьми ютился в крохотной двухкомнатной квартирке, деля ее вместе с тестем и тещей. Значит, надо было срочно искать съемную квартиру, а из-за наплыва приезжих жилье в Варшаве стоило крайне дорого. Большинство домохозяев делили в те годы свои квартиры на множество комнат-клетушек, в которых с трудом помещалась кровать, а все удобства размещались во дворе, кишевшем крысами. Одну из таких клетушек и снял на первых порах Исаак Зингер, да и то на ее оплату у него уходила большая часть нищенской зарплаты корректора. На еду денег почти не оставалось, и бывали дни, когда будущий классик довольствовался одной ватрушкой, составлявшей сразу завтрак, обед и ужин. Обратиться за помощью к брату и, тем более, столоваться у него Исаак не решался — он

знал, что тому и без того тяжело кормить семью.

И все же, несмотря на минимальную оплату, у работы корректором было свое преимущество. Считаясь штатным сотрудником редакции, Исаак получал право на вход в закрытый еврейский клуб писателей, где можно было встретить как маститых, так и начинающих еврейских литераторов, а также окололитературных барышень, желающих всеми фибрами своей души и тела быть причастными к «литературному процессу».

Здесь, в этом «Дворце идишской литературы», как называл писательский клуб сам Зингер, читались лекции на самые различные, подчас крайне далекие от литературы темы. Здесь, в этом клубе шумно обсуждались последние литературные новинки. Здесь вспыхивали и гасли романы с теми же «барышнями». Здесь под патефон танцевали невиданные Ице-Герцем прежде модные танцы — танго, фокстрот, чарльстон. Здесь завязывались новые знакомства, которые могли перерасти как в дружбу, так и в смертельную вражду.

Никого здесь не интересовало, что собой представляет юный Исаак Зингер, пишет ли он что-либо или собирается писать. Для всех он был прежде всего братом талантливого писателя Исраэля-Иешуа Зингера и представляли его именно как «брата того самого Зингера».

В то же время, когда молодые писатели узнавали о том, что этот брат к тому же работает корректором в литературном журнале, отношение их к нему резко менялось. Многие из них жаждали увидеть свои стихи или рассказы напечатанными, и ради этого были готовы пойти на что угодно. Думая, что от корректора в какой-то степени зависит отбор произведений для публикации, они, сами влача полунищенское существование, нередко приглашали его в клубное кафе на чашку кофе — в надежде, что юный Исаак замолвит за них словечко перед редактором.

Зингер понимал, что эти чашечки кофе с сахаром являются своеобразной взяткой, но принимал эти взятки хотя бы для того, чтобы просто не упасть однажды в клубе в голодный обморок. К тому же он не чувствовал угрызений совести, так как прекрасно знал, что никакого влияния на редактора не имеет, ничьих произведений в печать «пробить» не может и прямо говорил об этом. Ну, а если ему не верили, так он в этом был не виноват.

К тому времени Исраэль-Иешуа Зингер уже ушел из «Литературешен блаттер», окончательно рассорившись с его придерживающимся прокоммунистических взглядов редактором. Большую часть публикуемых на страницах этого журнала произведений составляли революционные вирши, воспевающие

пролетариат, классовую борьбу, Советскую Россию и ее лидеров, ведущих мир в светлое коммунистическое будущее. Эти стихи перемежались рассказами о тяжкой доле простых еврейских рабочих, их братских отношениях с польскими пролетариями и страстном желании свергнуть власть панов и капиталистов.

В таком же духе была и публикуемая в «Литературешен блаттер» публицистика. Каждый день Исаак Зингер прочитывал гору таких рукописей, и ему было прекрасно известно, что произведения его новых знакомых по клубу ничуть не хуже, но, увы, и ничем не лучше всего этого потока прокоммунистической графомании, не имеющего никакого отношения ни к литературе, ни к реальной жизни.

К этому же периоду жизни Зингера относятся события, о которых он не очень любил вспоминать даже в своих автобиографических сочинениях, но которые самым непосредственным образом относятся к тому глубочайшему душевному кризису, через который он прошел в 20-е годы.

Решив сдержать данное отцу перед отъездом из Джикувы обещание, после приезда в Варшаву Иче-Герц Зингер решил совместить работу корректора в прокоммунистических «Литературных страницах» с учебой… в Танкхемонской раввинской семинарии и даже в какой-то период стал активно готовиться к сдаче экзамена на звание раввина. Причем, как он признался однажды сыну, эта учеба доставляла ему огромное удовольствие. Он был одним из первых учеников в своей группе. По версии уже упоминавшегося на этих страницах Пауля Креша, Башевис-Зингер учился в этой семинарии с перерывами с 1920 по 1923 годы, то бросая учебу и уезжая в Билгорай, то снова возвращаясь в Варшаву, чтобы погрузиться в вычитку корректуры и мир талмудической мудрости.

В том 1923 году он вновь стоял на перепутье, чувствуя равное влечение как к миру многих поколений своих предков, так и к тому свободному не только от религиозных заповедей, но и подчас от всяких условностей образу жизни еврейской богемы, которая проходила перед его глазами в писательском клубе.

Ему вот-вот должно было исполниться двадцать. В его жизни еще не было ни одной женщины, но жажда обладания женским телом сжигала его, несмотря на голод, дни и ночи напролет. Он думал о женщине и тогда, когда склонялся над толстым томом Гемары плечом к плечу с будущими раввинами, и когда вычитывал присланнные из набора гранки с одами в честь великого Ленина и других героев революции.

В своих сексуальных фантазиях он становился обладателем целого гарема прекрасных еврейских девушек, готовых выполнить

любую его фантазию.

Вечерами, когда сексуальное влечение становилось особенно нестерпимым, и Зингер с трудом удерживался от желания пустить в ход руки, он вновь и вновь задавал себе вопрос, сможет ли он прожить жизнь, руководствуясь теми сексуальными ограничениями, которые требует от мужчины иудаизм; сохранит ли он при этом, как его отец, верность одной женщине — и каждый раз отказывался ответить на него утвердительно. Бес, начавший преследовать его в Билгорае, последовал за ним и в Варшаву, и временами молодому Зингеру казалось, что он физически ощущает его присутствие.

Окончательное решение по поводу того, как ему жить дальше, Исаак Зингер, очевидно, принял за полтора месяца до окончания семинарии, все преподаватели которой были убеждены, что уж кто-кто, а сын рава Пинхаса Зингера блестяще сдаст выпускной экзамен.

Именно в этот самый момент Зингер неожиданно заявляет о своем уходе из семинарии, бреется, остригает пейсы и сбрасывает с себя одежду религиозного еврея, чтобы сменить ее на купленный на рынке подержанный костюм. Глянув в зеркало, с трудом узнав самого себя, Исаак почувствовал то, о чем он с такой пронзительностью скажет в сцене переодевания в европейскую цивильную одежду своего героя Асы-Гешла из «Семества Мускат»: «с исчезновением хасидских одежд куда-то подевалась и его, Асы-Гешла, еврейская внешность».

Разгадку того, что именно заставило Исаака Зингера окончательно отказаться от религиозного образа жизни, его сын Исраэль Замир советует искать в рассказе «Друг Кафки». Герой этого рассказа, старый актер Жак Кон вспоминает в нем о своей попытке затащить Франца Кафку в публичный дом:

«Кафка мечтал быть евреем, но не знал, как к этому подступиться. Он хотел жить полной жизнью, но и этого не умел. "Франц, — сказал я ему однажды, — ты молод. Веди себя так же, как все мы". Я уговаривал его пойти со мной в бордель, знавал один такой в Праге. Он до той поры с женщинами дела не имел. О девушке, на которой он собирался жениться, лучше было не заводить речь. Он по уши погряз в болоте буржуазных предрассудков. Среди евреев его круга царила одна мечта: вырваться из своего еврейства. И не в чехи. В немцы! Короче, я уговорил его на это приключение. Мы отправились в темный уголок в районе бывшего гетто, где был тот "веселый дом", поднялись по скрипящим ступенькам, открыли дверь и очутились прямо как на сцене — шлюхи, сутенеры, вышибала, гости, мадам…

В жизни не забуду тот момент!

Кафка задрожал, потянул меня за рукав, затем повернулся и опрометью слетел со ступенек. Я, честно говоря, испугался за его ноги. На улице его вырвало, точно школяра. На обратном пути мы шли мимо старой синагоги, и Кафка завел разговор о големе. Он верил в него и даже верил, что со временем появится новый. Не могут не существовать волшебные слова, способные вдохнуть жизнь в кусок глины. Разве Всевышний, если верить каббале, не создал мир из животворящих слов? Вначале было Слово…»

По версии Замира, в этом рассказе Исаак-Башевис Зингер просто напросто оклеветал Кафку — на самом деле вся эта история произошла именно с ним; рассказ этот носит сугубо автобиографический характер. Но, бежав из публичного дома, Иче-Герц решил не возвращаться и в раввинскую семинарию: после случившегося, как он думал, путь туда ему был заказан.

Вспоминая пережитое в те дни в «Мальчике в поисках Бога», Зингер пишет, что был необычайно близок к самоубийству. Этим мыслям, вне сомнения, способствовало его крайне бедственное материальное положение. Никакой надежды поправить его у него не было — напротив, зарплата корректора стояла на месте, в то время как цены росли, да и, вдобавок, из-за начавшихся у журнала материальных трудностей платили ее нерегулярно.

При этом сама дальнейшая жизнь представлялась ему бессмысленной.

Он хотел стать писателем, но до сих пор не написал ни одного рассказа. Точнее, все его литературные опыты не удовлетворяли его — они были так же слабы и примитивны, как опусы большинства завсегдатаев писательского клуба, и его все чаще и чаще посещала мысль о том, что он, возможно, начисто лишен таланта и ничем не отличается от других графоманов. То, что он обладал литературным вкусом и был способен отличить подлинную литературу от графомании, служило слабым утешением. В писательском клубе он не раз наблюдал за тем, как иные молодые писатели с поразительной точностью критиковали новые произведения «живых классиков», указывая на допущенные теми просчеты и ошибки, и как затем они же в свои собственных писаниях допускали точно такие же художественные промахи, при этом даже не приближаясь к уровню мастерства тех, кого они так страстно осуждали. Выходило, что чем бездарнее писатель, тем более талантливый критик из него получается, но критиком Исааку Зингеру становиться совсем не хотелось.

Кроме того, он вконец запутался в своих взаимоотношениях с Богом, а этот вопрос в силу его воспитания, имел для него

первостепенное значение. Если Бога нет; если у человека нет вечной души и смерть означает полную гибель его как личности; если мироздание ограничивается только нашим материальным миром, то само существование человека бессмысленно, и смерть, самоубийство является для него и в самом деле лучшим выходом из того круга проблем и страданий, в котором он оказывается.

Заметим, что отсюда остается всего полшага до знаменитой формулы Асы-Гешла «Мессия — это Смерть», которой заканчивается «Семейство Мускат». Не исключено, что Башевис-Зингер в различные периоды своей жизни (в том числе, и в первые годы пребывания в Америке) не раз возвращался к этой формуле, но тогда, в середине 20-х годов, он к счастью, на ней не остановился.

С присущим ему скептицизмом, он вновь и вновь анализировал то мировоззрение и политические взгляды, которые исповедовали различные завсегдатаи писательского клуба, и, в конце концов, пришел к выводу, что ничего, кроме отторжения, они вызвать не могут.

Особенное неприятие вызывали у него сторонники учения Ленина с их фанатической ненавистью к любому инакомыслию и жаждой физического уничтожения тех, кто не исповедует их идеалы или даже просто отклоняется от «генеральной линии компартии». Вспоминая, как коммунисты залили кровью все пространство Советской России, он понимал, что заявления литераторов-коммунистов о том, что когда они победят, то повесят всех «врагов пролетариата» на фонарных столбах — это отнюдь не пустые угрозы.

В целом любое учение, строящееся на материалистической философии и атеизме, по мысли Зингера, было не чем иным как… своего рода религией. Как и любая религия, такие учения строились на определенной системе бездоказательных догм; как и любая религия, были убеждены в своей абсолютной истинности и, как и любая религия, стремились увлечь за собой массы.

И вот тогда-то Исаак Зингер и пришел к выводу, который определил все его мировоззрение до конца жизни: отказавшись от соблюдения большинства предписаний иудаизма, то есть от ведения внешнего, как он говорил, религиозного образа жизни, он решил сохранить внутреннюю верность религии отцов и дедов. Как он сам объяснил это для себя (и этому посвящено предисловие повести «Мальчик в поисках Бога» и целый ряд сентенций героев его рассказов), из человека религиозного он превратился в мистика.

Сходство между религией и мистикой, с его точки зрения, заключалось в том, что и та, и другая признают существования

Бога и ищут пути приближения к Нему, одновременно стремясь познать тайную природу сотворенного Им мира. Но если религия видит путь к Богу через соблюдение определенных ритуалов, общих и обязательных для всех; если она предназначена для массы верующих, то мистик идет к Богу собственным путем. Это — путь одиночки, путь познания Бога через собственный духовный опыт, который зачастую приводит всех мистиков к одним и тем же выводам, разнящимся исключительно из-за того, что каждый из них трактует этот опыт на основе своей религии.

«С этой точки зрения, — писал Башевис-Зингер*, — Виленского гаона*[25] *и современного ему римского папу разделяет поистине непреодолимая пропасть, но вот разница между рабби Нахманом из Бреслава и Сведенборгом*[26] *оказывается на поверку совсем невелика».*

В этот период Зингер стал особенно много читать всякого рода мистическую литературу, все больше и больше утверждаясь в мысли, что человека ведут по жизни некие потусторонние силы, то приходя к нему на помощь, то сбрасывая его в пропасть. И последовавшие затем события лишь убедили его в этом.

* * *

Зимой 1925 года в жизни Башевиса-Зингера произошло сразу три важных события.

Первым из них стало знакомство с поэтом Аароном Цейтлиным. Бродя по закоулкам писательского клуба, Исаак Зингер наткнулся на маленькую комнатку. Комната была без окон и освещалась единственной подвешенной к потолку лампочкой, но зато у нее была общая стена с кухней писательского кафе. А так как с другой стороны стены находилась печь, то и стена в этой комнате всегда была теплой, так что возле нее можно было вдоволь погреться. И мучающийся от холода и в своей каморке, и в редакции «брат того самого Зингера» стал часто забредать в открытый им закуток, чтобы постоять у дышащей теплом стены.

Войдя однажды в эту комнату, Исаак обнаружил в ней незнакомца, который, сделав то же открытие, что и он, тоже приходил сюда греться. Незнакомец оказался Аароном Цейтлиным, стихами которого Зингер зачитывался еще в Билгорае, жадно выискивая их в получаемых Тодрусом литературных журналах и альманахах.

Будучи всего на шесть лет старше Зингера, Цейтлин был к

тому времени одним из самых известных еврейских поэтов, с равным талантом писавшим как на идиш, так и на иврите, широко публиковавшимся, что, впрочем, отнюдь не принесло ему денег, и он был не намного богаче своего нового знакомого. Между молодыми людьми завязался разговор, положивший начало их близкой дружбе, верность которой они оба пронесли через всю жизнь.

Исааку Зингеру льстило, что такой известный поэт уделяет ему, никому не известному молодому человеку, столько внимания, хотя на самом деле ничего удивительного в этой дружбе не было. Будучи блестяще образованным и со светской, и с религиозной точки зрения человеком, Цейтлин так же, как и Зингер, увлекался каббалой. И, так же как и Зингер, был убежден, что еврейская литература может развиваться только в том случае, если будет ощущать свою преемственность с еврейской культурой прошлого; что без создания некого единого культурно-исторического пространства от Библии до наших дней, без обращения к реальным проблемам нации эта литература останется мертва.

На основе этой своей позиции Цейтлин создал целый ряд талантливых поэтических произведений, однако в литературном мире эти его взгляды были восприняты разве что лишь другим великим еврейским поэтом XX века Ури-Цви Гринбергом. Большинство же светских современников считало Цейтлина «религиозным фанатиком», «певцом мелкой еврейской буржуазии», «ретроградом», «врагом рабочего класса» и т. д. В то же время для религиозных кругов Цейтлин был едва ли не еретиком и вероотступником.

Схожесть его взглядов с взглядами и мироощущением молодого Зингера была очевидна; их оценки всех выходивших литературных новинок совпадали, и если Зингера что-то и раздражало в его новом друге, то это было слишком болезненное отношение Цейтлина к каждому очередному пасквилю в его адрес, да его нежелание признать, что человеку позволено быть более либеральным в вопросах секса.

Беседы с Цейтлиным вновь поставили перед Зингером вопрос о том, на каком языке ему следует писать.

Многие талантливые еврейские писатели того времени, оставаясь верными еврейской теме и одновременно стремясь стать частью мирового литературного процесса, активно переходили на язык той страны, в которой они жили. Исаак Бабель писал на русском, Лион Фейхтвангер и Франц Кафка — на немецком, да и в Польше молодые еврейские литераторы все чаще начинали публиковаться в польских газетах и журналах. Но

польский язык Зингера был далек от совершенства и, кроме того, саму жизнь Польши вне своего еврейского окружения он представлял с трудом. Но — главное — Зингер был убежден, что сам язык несет в себе душу народа и писатель, стремящийся выразить эту душу, должен творить на родном языке.

Цейтлин творил, как уже было сказано, и на иврите, и на идиш. Но библейский иврит, который знал и любил Зингер, сильно отличался от того иврита, который сделал разговорным, а затем и литературным языком Элиэзер Бен-Иегуда. Произведения современной литературы на иврите, которые успел прочитать Зингер, внушили ему мысль о том, что этот «новый иврит» пока слишком беден для создания полновесной прозы, а библейский иврит современный еврейский читатель может и не понять; он покажется ему тяжеловесным и напыщенным. Попытка написать несколько рассказов на иврите окончательно убедила его в верности этого вывода.

Что же касается идиша, то…

С одной стороны, на нем говорили и читали миллионы евреев во всем мире; и именно этот язык открывал путь к широкому еврейскому читателю. Но, с другой стороны, даже классики идишской литературы презрительно называли идиш не языком, а «жаргоном», да и разве он сам не считал, что вся идишская литература примитивна и провинциальна?

Однако Иче-Герц Зингер не зря в свое время преуспел в изучении Талмуда, овладев тем искусством полемики, непревзойденными мастерами которого были еврейские мудрецы. Тут же, в возражение самому себе, он напомнил, что на протяжении столетий английский и французский языки долгое время считались языком простонародья — пока, наконец, английские и французские писатели не соизволили перейти на язык своего народа. Да и разве Пушкин и Лермонтов не появились в русской литературе только после того, как Карамзин, Жуковский, Марлинский и др. не доказали, что на нем можно создавать поистине замечательные произведения? Следовательно, именно появление высококачественной литературы на идиш приведет к развитию и обогащению этого языка и превращению его из «жаргона» в полноценный язык еврейского народа!

Да, сегодня эти мысли Башевиса-Зингера кажутся утопичными, но тогда, когда еще шесть миллионов евреев не было погублено нацистами, они были вполне релевантными.

Как бы то ни было, главный выбор был сделан — он будет писать на идиш.

* * *

Тем временем хозяин ночлежки, в которой обретался Иче-Герц, заявил, что тот должен съехать, и молодому человеку пришлось искать новую квартиру. Все свободное время он теперь тратил на чтение газетных объявлений и осмотр предлагавшихся в них квартир, но ни одна из них ему не подходила. Приличное жилье стоило для него непомерно дорого, а то, что подходило по цене, было еще хуже той конуры, в которой он жил. Зингер уже совсем было отчаялся что-либо найти до назначенного хозяином срока, и уже думал, что скоро ему придется ночевать на улице, когда один из знакомых по писательскому клубу обмолвился, что одна его дальняя родственница сдает комнату в своей квартире.

— Она сама давно не платит квартирную плату, и хозяин дома не выгоняет ее только из уважения к ее покойному отцу — авторитетному раввину, учеником которого он когда-то был, — пояснил этот знакомый. — В то же время он относится к ней с презрением, потому что она давно уже оставила религию, несколько раз была замужем, но двое ее мужей умерли, а еще с двумя она развелась. Сейчас она хочет сдать комнату в надежде, что с помощью этих денег хоть как-то продержится на плаву.

— Она пожилая?

— Ну, я думаю, она годится тебе в матери, но выглядит моложе своих лет. К тому же она любит молодых людей, — ответил приятель и при этом как-то странно улыбнулся.

— Ладно, давай адрес! — решился Зингер.

Молодой писатель достал записную книжку, распухшую от множества засунутых в нее листочков со стихами, и извлек из нее такой же листок с адресом.

— Да, вот еще что, — вдруг сказал он, — ты должен знать, что она ведет несколько странный образ жизни: большую часть дня спит, а по ночам занимается спиритизмом. И, кажется, так же как и ты, верит в привидения и прочую ерунду.

Поднимаясь по старой выщербленной мраморной лестнице дома, явно знавшего лучшие времена, Иче-Герц дал себе слово, что даже если он и в самом деле снимет здесь комнату, то между ним и хозяйкой квартиры ничего не будет — он не может опуститься до того, чтобы спать с ровесницей своей матери.

Сначала на его стук никто не откликался и Зингер уже хотел было поворачивать назад, но вспомнил, что это — его последний шанс, и стал стучать более настойчиво. Наконец, за дверью послышались шаги, затем она отворилась, и на пороге возникла… красивая, стройная женщина, которая, как тогда показалось Зингеру, только-только подбиралась к своему сорокалетию.

На вопрос о том, действительно ли она сдает комнату, женщина ответила утвердительно.

— Но даже не знаю, подойдет ли она вам, — сказала она. — Это… не совсем комната, скорее кладовка, в которой я держу свою библиотеку. Она без окон, так что скорее подходит для летучей мыши, а не для человека.

— Ничего, я как раз из породы летучих мышей, — с улыбкой ответил Зингер.

— Что ж, можете посмотреть…

Зингер переступил порог комнаты и ахнул. Она и в самом деле была без окон, и при этом сверху донизу уставлена книгами по спиритизму и всевозможным эзотерическим учениям. О таком богатстве человек, считающий себя мистиком, мог только мечтать.

Вскоре они уже вместе пили чай и вели задушевный разговор о потусторонних силах. Гина (так назвал ее Зингер в повести «Молодой человек в поисках любви», предупредив, что это — не настоящее имя) рассказала ему о том, что находится на особой связи с покойной бабушкой, которая несколько раз спасала ее от смерти. Поведала Гина ему и о том, что во время операции, которую ей делали в больнице, у нее остановилось сердце, и врачи решили, что она умерла.

— Я сама в это время взлетела вверх и увидела сверху себя, лежащую на операционном столе, суетящихся вокруг меня врачей, и мне было очень смешно наблюдать за ними, так как я решила не возвращаться в свое тело. Но тут опять появилась бабушка и сказала, что я должна вернуться, так как прежде, чем я умру, со мной должно произойти что-то хорошее…

Они поговорили еще и наконец, Зингер решил вернуться к земным делам.

— Сколько вы бы хотели, чтобы я платил вам за комнату? — спросил он.

— Сколько сможешь, — ответила Гина, незаметно переходя на «ты».

— Я могу платить не больше 20–30 злотых в месяц…

— Что ж, и это неплохо…

Когда Зингер поднялся, чтобы попрощаться, Гина подошла к нему и протянула руку, но неожиданно вместо рук встретились их губы…

— Мы были вместе очень давно, во всех предыдущих воплощениях… — прошептала Гина, увлекая своего гостя к кровати.

Когда все кончилось, Зингер, по его словам, чувствовал себя… как Исав после продажи первородства.

Знакомый с этим библейским сюжетом читатель по достоинству оценит всю глубину, точность и изящность этого

сравнения.

Став первой женщиной Иче-Герца Зингера, Гина удовлетворила терзавший его все эти годы сексуальный голод, и его тело испытывало блаженное чувство насыщения. С другой стороны, во всех своих сексуальных фантазиях он представлял, что его первой женщиной будет «чистая дочь Израиля», для которой он будет первым учителем в искусстве любви. Вместо этого он покоился на груди у женщины, познавшей до него, как минимум, четверых мужчин, и сама эта мысль была ему неприятна и вызывала у него чувство брезгливости. С точки зрения тех понятий, на которых он вырос, то, что только что с ним произошло, было самым настоящим моральным падением, грубым удовлетворением похоти, которое столь естественно для Исава, но должно быть противно стремящемуся к вершинам духа Иакову.

— Ты, наверное, думаешь, что я — проститутка? — неожиданно спросила Гина, словно угадав его тайные мысли. — Поверь мне, что это не так. Ты — мой первый настоящий мужчина, всех других как будто никогда не было. Я ждала твоего прихода. Больше того — я звала тебя, и ты пришел на этот зов. Вот уже несколько дней я пишу на бумаге твое имя: «Ичеле… Ичеле… Ичеле…» Хочешь, покажу? И еще: помнишь, я сказала тебе, что моя бабушка сказала мне, что незадолго до смерти со мной произойдет что-то хорошее? Так вот, она сказала, что в моей жизни появится молодой мужчина. Он станет великим писателем, книги которого будут читать во всем мире. Благодаря ему я обрету бессмертие не только на том свете, но и на земле…

— И как же благодаря мне ты обретешь бессмертие? — спросил Иче-Герц.

— Думаю, что бабушка имела в виду, что мы должны вместе написать какую-то книгу, — ответила Гина.

— Но я не знаю, как это — писать книгу вдвоем. Если честно, я и сам пока не написал ни одной книги…

— Тем более нам стоит попробовать написать ее вместе…

Никакой совместной книги Исаак и Гина, разумеется, не написали, но, благодаря Башевису-Зингеру, ее образ легко угадывается и в образе Селии в «Шоше», и в Гине из «Семейства Мускат» и во многих других его произведениях, переведенных на десятки языков мира. И таким образом можно считать, что предсказание покойной бабушки Гины сбылось полностью.

Сам Зингер пронес в своем сердце благодарность этой женщине до конца жизни. Беседуя спустя многие десятилетия с сыном, он любил повторять, что желательно, чтобы первая женщина в жизни мужчины была намного старше его. В этом

случае, пояснял Зингер, она может обучить его, как правильно вести себя с женщинами, как нужно очаровывать их, как доставлять ей наибольшее наслаждение в постели.

Сама Гина, по его собственному признанию, обладала незаурядным сексуальным темпераментом, но и молодой Ичеле-Герц Зингер отнюдь не уступал ей в силе страсти. Насытившись любовью, они могли вместе долго гулять по варшавским улицам, доходя до самого рынка, где можно было купить дешевый хлеб и овощи; или заглядывая на расположенное неподалеку от их дома русское православное кладбище.

Гина любила рассуждать о смерти, о ее неизбежности и о том, что будет после нее. Исаак обратил внимание на то, что эти разговоры еще больше подстегивают ее сексуальность и делают ее буквально ненасытной в постели.

Все рассуждения Гины о ее грядущей смерти одновременно и пугали, и притягивали его к этой женщине, которая временами и в самом деле словно впадала в какой-то пророческий транс.

— Дай мне слово, что ты никогда не женишься, чтобы мы могли соединиться с тобой после смерти, — однажды сказала она ему. — Дай мне такое слово, а я взамен, когда умру, буду хранить тебя так же, как моя бабушка хранит меня. Я обещаю тебе, что у тебя никогда не будет недостатка в женщинах; я буду гнать их в твои сети, как русалки гонят рыбу в сети рыбаков, и ни одна женщина, которой ты захочешь обладать, не сможет устоять против тебя, и будет готова сделать для тебя все, что ты от нее попросишь… Только дай мне слово, что ты никогда не женишься!

Башевис-Зингер утверждает, что такого слова он Гине не дал.

Но факт остается фактом: он связал себя официальными узами брака лишь незадолго до своего сорокалетия, да и, по сути дела, так и не создал нормальную семью, предоставив своей жене Эльме спокойно наблюдать за его все новыми любовными похождениями. Зато в литературной и окололитературной среде ходило немало слухов о его почти гипнотическом влиянии на женщин. Было и в самом деле такое ощущение, что ни одна из них не могла против него устоять. Эту свою поистине демоническую притягательность для женщин, в том числе и для очень молодых женщин он сохранял до глубокой старости. Исраэль Замир вспоминает, как на одной из лекций для студентов, молодая американка подошла к нему и расцеловала. Приближавшийся к своему 70-летию писатель поинтересовался, как ее зовут, и даже взял ее номер телефона. «И я бы, — пишет далее Замир, — не особенно удивился, если бы узнал, что спустя несколько дней он встретился с ней в кафе «Штинбург», а затем они оказались бы в одной постели…»

* * *

Отношения Иче-Герца Зингера с Гиной оказались куда больше, чем просто интрижкой между начинающей стареть нимфоманкой и пытающимся набраться любовного опыта юнцом. Напротив, они растянулись на годы, и эта женщина, имя которой писатель сохранил в тайне, вне сомнения, входит в число тех пяти-шести из бесчисленного множества его женщин, которые сыграли наибольшую роль в его жизни.

Сама Гина, поначалу вроде бы исповедовавшая весьма свободные взгляды и утверждавшая, что мужчине вообще не стоит вступать в брак, спустя несколько месяцев после начала их романа вдруг заговорила о том, что хотела бы родить от него ребенка и встать с ним под свадебный балдахин. Она заводила эти разговоры вроде бы в шутку, но возвращалась к ним вновь и вновь, и эти «шутки» стали и в самом деле пугать ее молодого любовника.

Во-первых, Зингер на тот момент отнюдь не собирался связывать себя брачными узами, более того — он был убежден, что «любовный контракт на всю жизнь», каковым является брак, бессмыслен, так как ни одна любовь не может длиться вечно.

Во-вторых, просматривая фотоальбомы Гины, он увидел ее фотографии, датированные началом века, и понял, что ее внешность даже более обманчива, чем он думает. Гина и в самом деле оказалась ровесницей его матери, а может, даже была чуть постарше ее. Брак с матроной столь почтенного возраста, познавшей до него множество мужчин, для Зингера был вообще немыслим, не говоря уже о том, что он бы оказался совершенно неприемлемым для его родителей. Сам Иче-Герц на том этапе их отношений с отвратительным ему самому цинизмом видел в Гине прежде всего средство удовлетворения своих сексуальных потребностей, избавляющее его от необходимости ходить по проституткам.

Он не считал себя чем-то обязанным Гине, и целыми днями пропадал не столько на работе в редакции, сколько в писательском клубе либо в доме старшего брата, в жизни которого в 1925 году также произошли большие перемены.

Самая большая из этих перемен заключалась в том, что Исраэль-Иешуа Зингер получил место собственного зарубежного корреспондента выходившей в США идишской газеты «Форвертс» («Вперед»).

Главный рупор еврейских социалистов в США, «Форвертс» выходил в те годы тиражом в 200 тысяч экземпляров и пользовался популярностью во всем еврейском мире.

Предложение стать собкором «Форвертса», поступившее к старшему из братьев Зингеров от самого главного редактора этой газеты Эйба Кагана, было столь же неожиданным, сколь и своевременным. Исраэль-Иешуа вместе с женой и двумя своими сыновьями вел в течение многих месяцев полуголодное существование, и вдруг в одночасье превратился в одного из самых высокооплачиваемых писателей и журналистов Варшавы.

Положенные ему Каганом 50 долларов в неделю были в Варшаве того времени поистине астрономической суммой. Опьяненный привалившей ему удачей, Исраэль-Иешуа снял огромную квартиру в центре города, которая очень быстро превратилась в своего рода в модный художественный салон.

Несколько раз в неделю здесь собирались почти все представители еврейской богемы Варшавы, в том числе и немало женщин, одетых по последней моде, с вызывающими декольте, непринужденно целующихся с мужчинами, курящих дорогие дамские сигареты и любящих поговорить о литературе и искусстве, закинув ногу на ногу так, чтобы окружающие могли вдоволь ими полюбоваться.

Опасаясь прослыть жиголо или быть поднятым на смех, Иче-Герц никогда не только не брал с собой Гину в дом брата, но и категорически запретил ей посещать писательский клуб. Тем не менее, слухи о том, что молодой корректор «Литературешен блаттер» имеет весьма зрелую любовницу, активно ходили в литературных кругах Варшавы, и многие из женщин, посещавших дом Исраэль-Иешуа Зингера, посматривали на его рыжеволосого, голубоглазого младшего брата с нескрываемым интересом.

Гина со своим врожденным женским чутьем не могла всего этого не чувствовать, и когда Иче возвращался домой за полночь, нередко устраивала ему сцены ревности, дотошно расспрашивала, с кем он встречался, о чем они говорили, какие у него планы на завтра и т. д. Словом, она откровенно претендовала на роль супруги, что молодого Зингера никак не устраивало, и он все чаще и чаще стал подумывать о разрыве отношений с Гиной.

При этом, искренне презирая себя за цинизм и равнодушие, Иче-Герц признавал, что разрыв этот становился все более реальным, поскольку он теперь вполне мог обойтись и без Гины. В доме у брата он познакомился с рядом видных варшавских издателей, которые предложили ему заняться художественными переводами с немецкого. Эта работа сулила неплохой заработок, а вместе с ним и материальную независимость. И все же уйти от Гины вот так, просто хлопнув дверью, ему не позволяла совесть, внедренная в его сознание еще в родительском доме мысль о том, что любой мужчина должен с трепетом относиться к любящей его

женщине.

Некоторое время Зингер откладывал решающий разговор с Гиной из-за пришедшей ему повестки о призыве в польскую армию. Одна мысль о том, что он может оказаться в казарме, среди молодых, здоровых и жаждущих развлечься польских парней, повергала Исаака в панический ужас. Зингер прекрасно понимал, что, оказавшись в армии со своим неуклюжим польским языком, своей природной стыдливостью, неспособностью защитить себя в драке, с самими своими преставлениями о жизни, он неминуемо станет главным объектом насмешек и издевательств как со стороны рядовых солдат, так и со стороны командиров.

Избавиться от призыва он решил с помощью старого еврейского средства — начал голодать, чтобы к моменту прохождения медкомиссии довести себя до крайней степени дистрофии. Наложенный им на себя пост, а также неустанные любовные игры с Гиной (Иче-Герц и сам удивлялся тому, что во время голода его потенция только возросла) привели к тому, что он и в самом деле очень быстро дошел до крайней степени истощения и еле держался на ногах.

Однако армейские врачи были хорошо знакомы с этими «еврейскими штучками», и потому между членами медкомиссии разгорелся нешуточный спор: одни были убеждены, что этого злонамеренного дистрофика следует призвать в армию, где он очень быстро начнет есть и придет в себя; другие настаивали на том, что в таком состоянии он будет только обузой для своей части, и предлагали просто отсрочить призыв гражданина Ицхока Зингера еще на год. В итоге заветная отсрочка от призыва была получена, и теперь Зингер-младший мог заняться устройством своих дел.

В первую очередь, для того, чтобы уйти от Гины, ему нужно было найти комнату. Причем не просто комнату, а чистую, приятную комнату, в которой помещались бы кровать и письменный стол — ведь для работы над переводами ему нужны были нормальные условия. И вскоре он нашел такую комнату в просторной квартире доктора Альперта, на улице носившей имя создателя языка эсперанто Заменгофа. Сам доктор Альперт был в свое время другом и страстным сторонником Заменгофа и, узнав, что будущий постоялец в годы своей жизни в Билгорае также изучал эсперанто, пришел в совершенный восторг. Да и супруге доктора молодой человек тоже понравился, так что она назначила за комнату совсем небольшую плату, которая, вдобавок включала в себя услуги горничной — стирку, глажку белья и уборку. Да еще и булочку с кофе на завтрак! О лучших

условиях нельзя было и мечтать. Окрыленный этой удачей, Зингер прямо с улицы Заменгоф направился на улицу Ляшно, чтобы собрать вещи и сообщить Гине о своем уходе.

Когда Гина узнала о его намерениях, с ней началась истерика. Осыпав молодого любовника оскорблениями и обвинениями в предательстве, она закричала, что теперь ей незачем жить и она хочет покончить с собой. Схватив несколько облаток со снотворным, Гина заперлась в ванной, и ее рыдания теперь доносились оттуда. Затем все стихло, и Иче-Герца объял страх — он вдруг понял, что Гина и в самом деле может с собой что-то сделать, и тогда ее смерть будет на его совести.

— Гинеле! — сказал он, постучав в дверь ванной. — Успокойся, родная! Умоляю — ничего с собой не делай! Я остаюсь.

Ответом ему было молчание.

— Гинеле, — повторил Зингер. — Я остаюсь. Прости меня, пожалуйста.

В этот момент дверь ванной отворилась, и на пороге появилась Гина — она успокоилась, умылась и даже успела подкрасить губы и напудриться.

— Я помогу тебе собрать вещи, — сказала она.

— Ничего не надо! Я ведь сказал, что остаюсь, — возразил Зингер.

— Нет, — покачала головой Гина, — ты уйдешь, причем немедленно. И прости меня за этот скандал. Ты обязан уйти — у тебя впереди вся жизнь, а я… Я просто заигралась в молодость! Но если когда-нибудь тебе будет некуда пойти и я еще буду жива, двери этого дома будут для тебя открыты…

Глава 5
В поисках себя

Работа на переводами с немецкого на идиш на какое-то время захватила Зингера. Круг переводимых им в этот и в последующие годы немецких писателей был весьма широк — Эрих-Мария Ремарк, Стефан Цвейг, Томас Манн. Вдобавок он переводил на идиш с переводов на немецкий произведения Кнута Гамсуна, Габриеля Д'Аннунцио и других выдающихся художников того времени.

Эта работа позволяла Зингеру, во-первых, быть в курсе всех литературных новинок, а во-вторых, оттачивать свое собственное литературное мастерство. Ну и, само собой, она давала солидную прибавку к жалованию корректора, позволяя ему без труда расплачиваться с Альпертами за комнату и не отказывать себе в самом необходимом — еде, одежде, книгах…

Вскоре в комнате Исаака Зингера образовалась небольшая, со вкусом подобранная библиотека из тех книг, которые он считал для себя необходимыми. Рядом с «Критикой чистого разума» Канта, «Полом и характером» Вейнингера, «Так говорил Заратустра» Ницше на полке, дивясь столь странному соседству, стояли книги Рамхаля, Рамбама и Магарала. Достоевский здесь ничуть не мешал Арцыбашеву, а Толстой — Блаватской и Гурджиеву.

Параллельно с работой Исаак Зингер завел сразу несколько любовных интрижек. Он вдруг обнаружил, что ему не нужно даже прилагать особых усилий для того, чтобы оказаться в постели с понравившейся ему женщиной: достаточно умения выслушать, нескольких теплых слов, и вот она уже покорена и отдается, веря, что его интересует не только ее тело, но и душа. Безусловно, он сознавал, что в этих его отношениях с женщинами есть что-то бесчестное, и не раз называл себя «вором любви» — ведь он, по сути дела, не дарил им любовь, а крал ее у них. Не беря на себя никаких обязательств, он при этом и не опровергал их убежденности в том, что речь и в самом деле идет о серьезных отношениях, подлинном, глубоком чувстве.

В 1925–1926 годах Исаак Зингер, судя по его обрывочным признаниям и утверждениям его биографов, находился в близких отношениях одновременно как минимум с тремя-четырьмя, а может, и большим числом женщин. Среди них были, видимо, польская девушка, горничная его домохозяев Альпертов, несколько барышень из литературного клуба, а также Стефа

Яновская — образованная, начитанная девушка из ассимилированной, обеспеченной еврейской семьи, образ которой не раз возникает на страницах романа «Семья Мускат», повестей «Молодой человек в поисках Бога», «Заблудившийся в Америке». В позднем романе Зингера «Мешуга» Стефа предстает в образе стареющей, красящей волосы, но все еще время от времени влекущей к себе писателя женщины.

Убеждение, что сам Бог создал мужчину так, что тот не может обходиться одной женщиной, вступало в резкое противоречие с теми нравственными принципами, которые с раннего детства прививали ему родители, и прежде всего с требованием бережного отношения к женщине, мыслью, что мужчина не имеет права причинять ей боль и душевные страдания. Эти свои личные рефлексии Башевис-Зингер перенесет потом на многих своих персонажей, прежде всего, на главного героя «Люблинского штукаря» Яшу Мазура, Германа Браудера из «Врагов» и Аарона Грейдингера из «Шоши» и «Мешуги».

Они же приводили к тому, что он постоянно неимоверно запутывался в своих отношениях с женщинами — ему было крайне трудно расставаться с каждой из них; он не находил в себе душевных сил прямо сказать очередной своей пассии, что охладел к ней и продолжать отношения дальше просто не имеет смысла. Вместо этого он предпочитал лгать, лицемерить и затягивать отношения до тех пор, пока женщине самой не становилось все ясно, и она уходила от него, не забыв перед этим высказать все, что думает по поводу своего бывшего любовника.

Не менее противоречивой натурой был Исаак Башевис-Зингер и в своей интимной жизни. Опять-таки по его личному признанию, гиперсексуальность всегда сочеталась в нем с необычайной стыдливостью и застенчивостью. Он с удовольствием любовался обнаженным женским телом, сам легко раздевался в порыве страсти, но как только все кончалось, спешил натянуть на себя простыню. Сама мысль о том, что кто-то, мужчина или женщина, может увидеть его обнаженным или полуодетым, была для Зингера невыносима, и потому он практически никогда не купался на пляже или в бассейне — только в том случае, если был уверен, что за ним никто не наблюдает.

Вместе с тем именно в это время он много размышлял о значении эротических сцен в литературном произведении и границах допустимого при написании таких сцен. Как уже говорилось, в еврейской литературе нового времени существовало определенное табу как на многие вопросы, связанные с сексуальной жизнью, так и на прямое описание того,

что происходит между мужчиной и женщиной в постели, не говоря уже о предельно откровенном рассказе, о самом любовном акте — все это должны были заменять многозначительные многоточия. Лишь в первые десятилетия XX века в творчестве Шалома Аша и некоторых других еврейских писателей появились робкие попытки заменить эти многоточия теми или иными эвфемизмами. Подлинный прорыв в этой области совершил в еврейской литературе Исаак Бабель, но он сделал это на русском языке, а не на идиш. Определенные подступы к сексуальной теме намечаются в произведениях брата писателя Исраэля-Иешуа Зингер и в романах его сестры Эстер Крейтман, но это опять-таки подступы, и не более того.

Исаак Башевис-Зингер, между тем, был убежден, что вся мировая литература значительно обеднила самое себя, так как боялась предельно правдиво, до конца, рассказать об этой стороне жизни. Если главной задачей литературы является проникновение в тайны человеческой души, считал Зингер, то писатель просто не имеет права останавливаться на пороге спальни своих героев, а обязан заглянуть в нее. Обязан по той простой причине, что лучше всего подлинная природа человека проявляется именно в самые интимные минуты его жизни; именно то, что он переживает в эти мгновения, и дает возможность понять, что происходит в его душе. В 20-е годы Зингер, к примеру, всерьез считал, что Лев Толстой допустил серьезный художественный просчет, отказавшись в «Анне Карениной» от эротических сцен. Описания тех чувств, которые испытывала Анна в момент близости с мужем или Вронским, самих обстоятельств, в которых протекала эта близость как с тем, так и с другим мужчиной, с его точки зрения, значительно обогатили бы этот великий роман.

Правда, при этом оставались вопросы о границах эротизма — к примеру, о том стоит ли описывать половые органы? В 20-х годах Зингер отвечал на этот вопрос утвердительно — при своей личной стыдливости, он считал, что «описание половых органов является составной частью портрета героев, и может многое сказать о нем читателю». Впоследствии, правда, он отказался от этих своих взглядов, и хотя в его произведениях вдоволь эротики, в них почти нет излишне откровенных эротических сцен. Даже в таких рассказах, как «Сестры», «Тойбеле и ее демон», в романах «Сатана в Горае», «Люблинский штукарь», «Раб», «Шоша», «Мешуга», где вроде бы введение таких сцен обусловлено самим сюжетом, мы не находим самого описания момента близости героев.

Подобную сцену Башевис-Зингер разворачивает разве, что в

рассказе «Короткая пятница», но разворачивает исключительно, чтобы показать, «как ЭТО происходило в еврейских семьях» в ночь на субботу, когда близость между супругами объявляется иудаизмом крайне желательной, будучи частью того наслаждения, которое следует получать от святого дня. И сцена эта не может тронуть своим целомудрием:

«Проспали они час или два, а может быть, и три — какое это, в конце концов, имеет значение? — как вдруг Шоше услыхала, как Шмуэль-Лейбеле шепотом зовет ее. Она приоткрыла один глаз и спросила:

— Что случилось?

— Чиста ли ты? — пробормотал он.

Она немного подумала и ответила:

— Да.

Он встал, подошел к кровати и лег рядом с нею. Его пробудило ото сна плотское желание. Сердце его сильно колотилось, кровь быстро текла по жилам, чресла его отяжелели. Его первым побуждением было взять жену немедленно, но он вспомнил, что Закон требует от мужчины сначала ласково поговорить с женщиной, и он стал шептать ей о своей любви и о том, что это их любовное объятие, быть может, даст им сына.

— А на девочку ты не согласен? — упрекнула его Шоше, на что Шмуль-Лейбеле ответил:

— Кого бы Господь ни послал милостью своей, тому бы я и порадовался.

— Боюсь я, что мое время миновало, — со вздохом сказала Шоше.

— Почему же? — сказал Шмуль-Лейбеле. — Праматерь наша Сара была старше тебя.

— Разве я могу равнять себя с Сарой? Куда бы лучше, если б ты развелся со мной и женился на другой.

Он остановил ее, закрыв ей рот рукой.

— Даже если бы я знал, что с другой мог бы породить все двенадцать колен Израилевых, все равно бы тебя не покинул. Другую женщину на твоем месте и представить не могу. Ты — зеница ока моего.

— А что если я умру?

— Боже сохрани! Я просто погибну от тоски. Нас похоронят в один день.

— Не говори так, это богохульство. Я тебе желаю прожить, пока мои кости не рассыплются в прах. Ты мужчина. Найдешь себе другую. А я, что бы я делала без тебя?

Шмуль-Лейбеле хотел ответить, но она закрыла ему рот

поцелуем. И тогда он повернулся к ней. Шмуль-Лейбеле любил тело своей жены. Каждый раз, когда она отдавалась ему, это потрясало его как чудо. Возможно ли, думал он, что ему, Шмулю-Лейбеле, досталось в полное владение такое сокровище? Он знал Закон — человеку не следует предаваться плотской похоти ради удовольствия.

Но где-то в Священном Писании он читал, что мужчине дозволяется целовать и ласкать жену, с которой он сочетался браком по всем законам Моисеевым и Израилевым, и теперь он ласкал ее лицо, шею и грудь. Шоше сказала, что это легкомыслие.

Он ответил:

— Ну, так пусть меня вздернут на дыбу. Самые святые люди тоже любили своих жен…»

Согласитесь, что этот отрывок исполнен одновременно и напряженного эротизма, и подлинного целомудрия. И как же нелепо звучат после него все попытки литературных оппонентов Башевиса-Зингера обвинить его в приверженности к «порнографии»!

Как мы увидим ниже, в жизни Башевиса-Зингера был период, когда он действительно писал порнографические рассказы, но делал он это исключительно ради заработка, никогда не пытаясь их опубликовать ни под одним из своих псевдонимов.

* * *

К сожалению, до нас почти не дошли ранние произведения Башевиса-Зингера, однако именно в середине 20-х годов он начинает всерьез пробовать свои силы в прозе и публиковать короткие рассказы в различных идишских изданиях.

Согласно всем библиографическим справочникам, дебютом Башевиса-Зингера в литературе стал рассказ «Ойф дер элтер» («На старости лет»), опубликованный в 60-м номере журнала «Литературешен блаттер» за 1925-й год и подписанный «Ц».

Прочитав этот рассказ, редактор отметил, что написан он неплохо, но, во-первых, в нем нет самого главного — классовой борьбы, а во-вторых, рассказ кажется ему излишне пессимистичным и… антисемитским.

— Что значит «антисемитским»? — удивился Зингер.

— Ну, ты рисуешь евреев не в самом лучшем свете. Только представь, что было бы, если бы этот рассказ перевели на польский! Надо думать о таких вещах — ведь по тому, что мы пишем, судят о нашем народе!

Рассказ, тем не менее, был опубликован, хотя разговор с редактором оставил начинающего писателя в некотором недоумении. Он отказывался признавать, что в произведении непременно должна быть «классовая борьба»; не понимал, почему литература обязана быть оптимистичной, и уж совсем напрочь отказывался понимать, почему еврейский писатель должен вести заочный диалог с антисемитами и с учетом их мнения искажать правду жизни?

Чуть позже в том же журнале начинающий писатель опубликовал рассказ «Вайбер» («Жены»), который он подписал «Ицхак Башевис» — в честь своей матери Батшебы, чтобы читатель не путал его со старшим братом — Исраэлем-Иешуа Зингером, приобретавшем все большую известность как писатель. Таким образом, именно с рассказом «Жены» и связано рождение того самого псевдонима, который в итоге принесет Иче-Герцу Зингеру-младшему всемирную славу.

Дж. Хадда, верная своей «психоаналитической» концепции жизненного пути писателя, видит в выборе Зингером псевдонима стремление отделиться не только от брата, но и отца, отплатив ему таким образом за «недостаток» любви.

«Выбор Ицхаком псевдонима «Башевис», под которым его будут знать еврейские читатели, — пишет Хадда, — был для него определенным шагом вперед на пути к самоидентификации. Созданная Ицхаком новая фамилия основывалась на имени его матери Батшеба. Этот обычай был достаточно распространен среди евреев Восточной Европы: Малкин, Ривкин, Дворкин, Лис (от Лея), Бейлис, Перлис — вот только несколько примеров таких фамилий. Но выбором такой фамилии Башевис однозначно продекларировал: не связывайте меня с моим отцом и братом».

И далее Хадда утверждает, что выбор псевдонима Башевис имел для Зингера глубинное значение в силу ряда причин.

Во-первых, он подчеркивал, что его духовная связь с матерью всегда была глубже, чем с отцом, его личность в определенной степени была продолжением личности матери, а не отца. Автор этой книги категорически не согласен с этим выводом Дж. Хадды, он опять-таки кажется мне надуманным и не соответствующим действительности, но, безусловно, имеет право на существование.

Во-вторых, по мнению Хадды, фамилия Зингер ассоциировалась и у самого писателя, и у многих читателей с известной раввинской семьей, то есть с еврейской ультраортодоксией, от которой Зингер стремился отдалиться. В-третьих, она неминуемо ассоциировалась для него и с той нищетой, в которой он провел свое детство и из которой всю жизнь пытался вырваться.

Но вот мысль Дж. Хадды о том, что «женский псевдоним» писателя отражал его стремление проникнуть в тайны женской психологии и сексуальности, один из основных лейтмотивов его творчества, бесспорно, заслуживает внимания.

В это время Зингер, как принято в таких случаях писать, настойчиво искал свой собственный путь в литературе. С одной стороны, его влекла к себе русская реалистическая школа, с другой, он в это время, вне сомнения, оказался и под влиянием писавших на немецком крупнейших представителей пражской литературной школы, прежде всего, Майринка и Кафки, а также чрезвычайно полюбившегося ему Эдгара По.

На стыке эти трех течений Зингер и создает свой особый мир, в котором в изображаемую с предельной, почти фотографической точностью действительность вдруг властно врываются некие метафизические силы, ставящие героя перед тяжелейшим нравственным выбором и заставляющие сделать этот выбор, неминуемо влекущий за собой те или иные кардинальные перемены в его жизни. В этом мире реальность и ирреальность не только пересекаются друг с другом, но и зачастую совершенно перепутаны: то, что казалось реальным, может оказаться иллюзией, то, что выглядело благом, в итоге может обернуться злом, и наоборот.

Не случайно своим подлинным литературным дебютом Зингер считал рассказ «В мире хаоса», написанный им в 1926 году. Герой этого рассказа, молодой польский еврей, вроде бы живет обычной жизнью — занимается бизнесом, ходит по улицам и даже собирается вот-вот жениться. В то же время он чувствует во всей своей жизни некую ненормальность, какую-то тайну — к примеру, он не может вспомнить, когда он спит, когда одевается и раздевается, откуда знаком с теми или иными людьми и т. д. Наконец, он встречает раввина-каббалиста, который объясняет ему, что с ним происходит — на самом деле он давно мертв и должен покоиться в могиле, а не бродить по улицам и делать предложения девушкам. «Открой пуговицы своего лапсердака, — говорит раввин в финале этого рассказа, — и ты увидишь под ним саван»…

Зингер никогда не переиздавал этого рассказа, но зато в разные годы написал несколько его вариаций. Сам рассказ, вне сомнения, был навеян перипетиями личной жизни писателя — за коротким подъемом пришел тяжелый эмоциональный спад, всегда сопровождавшийся у Зингера неверием в собственные силы, утратой жизненных целей, чувством разочарования во всем и вся.

Этому спаду, безусловно, способствовали и внешние

обстоятельства. Поразивший Польшу новый экономический кризис привел спонсора журнала, в котором работал Зингер, на грань банкротства, вследствие чего сотрудникам редакции месяцами не платили зарплату и все ждали, что журнал вот-вот прекратит свое существование. Число заказов на переводы тоже резко уменьшилось, и над молодым писателем опять замаячил призрак голода.

Кроме того, над Зингером вновь нависла угроза призыва в армию, и в поисках выхода он начал всерьез обдумывать возможность переезда в Палестину. Так как англичане установили квоту на еврейскую эмиграцию в Святую землю, то достать въездной сертификат было непросто, и Исаак попросил старшего брата задействовать для этого все свои связи. В то же время ехать туда ему совсем не хотелось — он был знаком с десятками молодых евреев, которые отправлялись на историческую родину, будучи убежденными сионистами, а через год-два возвращались из Палестины крайне разочарованными, нередко больными, и по возвращении превращались в фанатичных коммунистов.

К тому же он не представлял, чем будет заниматься в Палестине. Там нужны были физически крепкие люди, готовые работать на заводах или в кибуцах, а он к этому был категорически не способен. Если же учесть, что сионисты ратовали за то, чтобы все евреи говорили на иврите, и крайне враждебно относились к идишу, то выходило, что работы в редакции какой-нибудь газеты или журнала ему там не найти…

К счастью, после политического переворота, устроенного Пилсудским, вопрос о призыве в армию решился сам собой. Новоявленный диктатор Польши, не особенно скрывавший свои антисемитские взгляды, дал негласное указание сократить число евреев в польской армии, и уж тем более ни в коем случае не призывать в нее неспособных к службе «дохляков», а Исаак Зингер как раз подходил под последнее определение.

Однако вслед за этим на него навалился новый удар: Гина позвонила к нему в квартиру на улицу Заменгоф, сказала, что она тяжело больна, и хотела бы с ним попрощаться. Встретившись с Гиной, Зингер поразился страшным переменам, произошедшим с ней за те несколько месяцев, которые они не виделись: она резко похудела, постарела и вообще едва держалась на ногах.

В этот момент 22-летний Зингер вдруг осознал, насколько сильно любит эту подбиравшуюся к своему пятидесятилетию женщину. Он засиделся у нее в доме далеко за полночь, попытался разжечь в ней огонь прежней страсти, но Гина осталась холодна, наотрез отказалась дать себя раздеть и сказала, что

постелет ему в его бывшей каморке. Когда же на следующий день он все-таки настоял на своем, то не узнал Гину — от прежней ее раскованности в постели не осталось и следа, она вела себя необычайно скромно, хотя было видно, что это проявление его любви ей приятно. Врач, на походе к которому настоял Зингер, заявил, что Гина больна туберкулезом, страдает тяжелой формой анемии и единственное, что может продлить ей жизнь — это свежий воздух и здоровое питание. Разумеется, на поездку в зарубежный санаторий денег ни у Гины, ни у Исаака не было, но они каким-то образом смогли достать средства на то, чтобы снять одну комнатку в дачном поселке Отвоцк, куда на лето выезжало подавляющее большинство варшавской интеллигенции. Сам Зингер в надежде получить новые заказы на переводы и заработать хоть какие-то деньги остался в Варшаве, но старался как можно чаще бывать у Гины, всячески демонстрируя ей свою любовь и нежность.

То, как много значила для него эта женщина, можно понять из тех слов, которые Зингер обращает к ней в повести «Молодой человек в поисках любви»:

«Я попытался поговорить с Гиной при помощи телепатии.

— Может быть, ты беременна? Может быть, ты, так же как я, стоишь сейчас у окна и вглядываешься в тайны этой ночи? Что с тобой, любимая, что у тебя болит? Не умирай, Гинеле, смерть — это большой обман и сплошное недоразумение. Ты же знаешь, как ты нужна мне, и знаешь, что ни одна женщина в мире не сможет занять твое место. Наша встреча — это самая прекрасная страница романа, написанного Богом, и никому во Вселенной не дано стереть ее. Ни одна женщина в мире не сможет целовать меня, как ты, притягивать к себе, как ты, насыщать меня любовью, как ты. Душа моя стремится к тебе, ибо мы столько раз встречались с тобой в разных жизнях, что давно уже стали неразлучны. Мы любили друг друга в начале времен, когда были только амебами. Рыбами были мы в море, птицами в воздухе, слепышами в земле. Вместе страдали в Египте, вместе стояли у горы Синай. Потом я был Боазом, а ты была Руф, я Амноном, а ты — Тамар. Когда разделил Иероваом колена Израиля, ты была Иерусалимом, а я — Беэр-Шевой, но преодолел я все границы, чтобы дотянуться до тебя…»

Спустя час после того, как он произносил этот страстный мысленный монолог, Зингер уже сжимал в своих объятиях горничную Мирале, с нетерпением ждавшую его на своем соломенном матрасе на кухне. И нельзя сказать, что его при этом

очень сильно мучила совесть…

* * *

Летом 1927 года, в те самые дни, когда Гина отдыхала на даче, Зингеру неожиданно понадобился для работы «Большой немецко-польский словарь», который он оставил в ее квартире на улице Ляшно. Направившись туда, чтобы забрать эту книгу, Зингер обнаружил в почтовом ящике письмо от отца — он забыл сообщить родителям о том, что поменял адрес.

Раввин Пинхас Зингер писал о том, что в последнее время его здоровье сильно пошатнулось; местные врачи подозревают опухоль и потому настоятельно советуют ему съездить в Варшаву, к знаменитому онкологу Зигмунду Френкелю. Так как Иешуа-Исраэль находился в командировке за границей, то отец просил Иче-Герца заблаговременно заказать ему очередь у Френкеля, а заодно снять на пару дней комнату в каком-нибудь еврейском районе города — так, чтобы неподалеку была синагога и возможность достать кошерные продукты.

Зингер взглянул на почтовый штемпель и похолодел: письмо было отправлено несколько недель назад, и в нем отец извещал, что прибудет на Варшавский вокзал утром 12-го таммуза — все даты рав Пинхас-Менахем-Мендель, разумеется, указывал по еврейскому календарю[27]. Однако за время жизни в Варшаве его средний сын так далеко отошел от еврейской жизни, что и понятия не имел, какое число показывал в данный момент еврейский календарь. В панике он бросился на улицу, купил в киоске газету на идиш, в выходных данных которой всегда ставились две даты — по григорианскому и еврейскому календарю, и выяснил, что 12-е таммуза — это как раз сегодня.

Это означало, что отец прибыл в Варшаву несколько часов назад, и теперь оставалось только гадать, как он поведет себя, когда решит, что его никто не пришел встречать. Увидев проезжавший мимо трамвай, Исаак первый раз в жизни вскочил на него на полном ходу, за что ему крепко досталось от кондуктора. Затем также, на полном ходу, спрыгнул с подножки, упал, больно ударил ногу, но, не обращая внимания на боль, побежал к огромному зданию Варшавского вокзала. И лишь в нескольких метрах от его дверей он замедлил бег и облегченно вздохнул: отец стоял на вокзальной площади и беседовал с каким-то солидным религиозным евреем.

— Тателе! — выкрикнул Зингер, подбегая к отцу.

— Ну, вот и мой сын! — спокойно сказал Пинхас-Менахем

своему собеседнику. — Видимо, его что-то задержало…

— Я получил твое письмо всего десять минут назад! Ты отправил его на адрес, по которому я давно не живу. Я совершенно случайно зашел в тот дом, чтобы взять книгу, и увидел конверт. Это чудо! Настоящее чудо! — выпалил Зингер.

Это и в самом деле было чудо — ведь не забудь он у Гины словарь, или отправься за ним на один день позже, он возможно, никогда больше не встретил бы отца. На прием к доктору Френкелю удалось попасть только через неделю. Тот выписал раву Пинхасу-Менахему какие-то таблетки, а проводив своего пациента, отправил его жене, ребецен Батшебе Зингер письмо, в котором сообщал, что, увы, ничем не может ее порадовать и, возможно, ей стоит готовиться к самому худшему…

Но та неделя, которую Исаак Зингер провел в Варшаве вместе с отцом, осталась в его памяти навсегда, и он часто любил вспоминать их последние беседы.

Он снова был маленьким мальчиком, задающим отцу самые важные, самые сложные в мире вопросы, и те ответы, которые тот давал на них, поражали его своей предельной простотой, железной логикой и силой веры — они звучали порой куда более ясно и убедительно, чем вычитанные им в книгах размышления великих философов.

Рав Пинхас-Менахем был, в свою очередь, поражен оставленной им почти десять лет назад Варшавой, существованием в ней еврейского театра, юными сионистами, марширующих по улицам в шортах и в коротких платьицах, и во всем происходящем усматривал явные признаки близости прихода Мессии.

Поделился Пинхас-Менахем с сыном и своей заветной мечтой: за последние годы он написал книгу «Правда Раши», в которой доказывает необоснованность всех претензий, которые предъявляли знатоки Торы более позднего времени к этому величайшему ее комментатору. Теперь уже далеко не молодой, тяжело больной рав Пинхас-Менахем надеялся издать свою последнюю книгу и был твердо убежден, что сам Раши и эта книга станут его главными заступниками на Небесном Суде.

Иче-Герц слушал отца с грустной улыбкой: тот упорно не желал замечать, что мир ешиботников и раввинов, мир религиозных евреев, которые посвящали все свое свободное время изучению Торы и которым и в самом деле была бы интересна такая книга, постепенно уходил в прошлое. Скоро, очень скоро может случиться так, что у подобных книг вообще не останется читателей…

Пройдет всего несколько лет — и Зингер с горечью

обнаружит, что почти то же самое, что он думал тогда про книгу отца, можно сказать и про его творчество. Число читателей на идише в 30-х годах XX века было все еще достаточно велико, но с каждым годом заметно уменьшалось. Еврейская интеллигенция России переходила на русский язык, Америки — на английский, Польши — на польский. Даже жена его друга Аарона Цейтлина в быту общалась с детьми на польском, так что они вряд ли могли прочесть стихи, статьи и пьесы своего отца в оригинале.

Но, тем не менее, он не собирался отказываться от сделанного им выбора, упорно продолжая верить, что на идиш и только на идиш можно выразить душу европейского еврейства.

Сама неистовость этой его веры, веры, вопреки всему, доказывала, что он, Иче-Герц Зингер, несмотря на все происшедшие с ним метаморфозы, был достойным сыном своего отца.

Глава 6
На переломе

1927–1929 годы оказались необычайно тяжелыми в жизни молодого писателя.

Смерть отца и Гины выбили его из колеи; и Зингер вновь оказался в тисках жесточайшей депрессии. В эти годы он начал стремительно лысеть, и вскоре от его некогда буйной рыжей шевелюры почти ничего не осталось. Но самое неприятное заключалось в том, что у него начало портиться зрение. На работе он то и дело пропускал ошибки при вычитке, и в редакцию с криком «Я убью этого мерзавца!» то и дело врывались разъяренные авторы, убежденные, что именно ошибки корректора не позволяют читателям оценить по достоинству их произведения. Зингер получал выговор за выговором, и в итоге, как и следовало ожидать, дело закончилось расчетом.

Пытаясь помочь оказавшемуся без заработков младшему брату, Исраэль-Иешуа, ставший к тому времени одним из ведущих журналистов «Форвертса», предложил Иче-Герцу попробовать свои силы в журналистике. Исраэль-Иешуа уговорил главного редактора Эйба Кагана поручить Зингеру-младшему вести репортажи с идущих в то время в Польше громких политических и коррупционных процессов. Вооруженный журналистским удостоверением, Исаак Зингер появился в отведенной для прессы ложе Варшавского городского суда и несколько дней получал удовольствие от своего нового статуса, сидя как равный среди равных бок о бок с самыми популярными репортерами страны.

Однако очень быстро он обнаружил, что все происходящее в зале суда ему лично… неимоверно скучно. Он с трудом высиживал до конца каждого заседания; длинные, продолжавшиеся в течение нескольких дней чтения обвинительных заключений вгоняли его в тоску; произносимые на изысканном литературном польском языке речи прокурора и адвокатов оставались ему по большей части непонятными…

Словом, отбыв в суде несколько заседаний, Исаак Зингер заявил брату, что эта работа не для него, и он больше не желает заниматься журналистикой. Исраэль-Иешуа не скрывал своего разочарования — по его мнению, Иче-Герц упускал шанс, наконец-то, получить нормальную работу; и разговор между братьями по поводу его отказа попробовать себя в качестве репортера вышел нелегким.

Между тем, Исааку Зингеру были крайне нужны деньги. Причем деньги немалые, так как он неожиданно для самого себя принял решение… жить на два дома, то есть содержать две квартиры одновременно.

Произошло это опять-таки из-за его извечного неумения твердо говорить «нет». К затянувшемуся роману с вышедшей замуж Стефой Яновской у Зингера прибавился роман с женщиной, которую он в своих автобиографических книгах называет Сабиной.

Сабина была одной из «окололитературных барышень», посещавших Варшавский клуб писателей. Она работала на полставки машинисткой в журнале, а свободное время посвящала литературе, любви и политике. Убежденная коммунистка, Сабина была одновременно страстной последовательницей взглядов знаменитой Александры Коллонтай и вслед за ней утверждала, что женщина должна вести себя в вопросах секса так же свободно, как и мужчина. Институт брака Сабина считала совершенно устаревшим; в ее любовниках перебывала, как минимум, половина членов Варшавского писательского клуба, и, оказавшись с ней в постели, Зингер по достоинству оценил накопленный ею за время этих романов сексуальный опыт.

На свою нищенскую зарплату машинистки Сабина содержала не только себя, но и свою мать и двух братьев. Еще одним источником дохода этой некогда, видимо, вполне обеспеченной, но теперь жившей впроголодь семьи, была аренда комнат в их большой квартире. Причем цена, которую мать Сабины запрашивала за комнату с пансионом, была почти вдвое меньше, чем та, которую Зингер платил Альпертам. Мать Сабины оказалась старой польской еврейкой, еще в молодости переехавшей в Варшаву из какого-то местечка, но сохранившей в памяти множество рассказов о его жизни, в том числе и столь притягивающие Зингера таинственные истории о демонах и демоницах, с которыми то и дело, по ее словам, сталкивались жившие в этом местечке евреи.

Проведя несколько вечеров в гостях у Сабины и будучи очарован ее матерью, Иче-Герц заявил, что хочет снять у нее комнату. Внешне это был вполне благоразумный шаг. Во-первых, он позволял Зингеру сэкономить немало денег, которых у него было в обрез. Во-вторых, он давал ему возможность часто общаться с матерью Сабины, бывшей неиссякающим источником еврейских фольклорных историй, из которой он мог черпать сюжеты для своих новых рассказов. А, в-третьих, он означал свободный доступ к телу Сабины в тот самый момент, когда ему захочется этого доступа…

Однако когда он сообщил Альпертам, что собирается от них съехать, Мирале ударилась в слезы, а старики обиделись — они давно уже относились к Иче-Герцу как к сыну, и слышать не хотели ни о каком другом постояльце. Госпожа Альперт даже заявила, что готова вообще отказаться от его квартирной платы, но Зингер знал, что не платить Альпертам он не может — это окончательно бы подточило их семейный бюджет. Чувствуя себя не вправе обижать стариков и бросать Мирале, он объявил, что передумал и остается у них жить, но при этом он уже не мог отказаться от обещания, данного матери Сабине, особенно с учетом всех тех преимуществ, которое сулило проживание в ее доме.

Выход оставался только один — содержать две квартиры одновременно, но вот откуда взять на это деньги, он и понятия не имел. В крайне расстроенных чувствах он направился в клуб писателей, и уже на входе вахтерша огорошила «пана Зингера» известием, что его разыскивает главный редактор желтой газеты «Радио».

— Он сказал, что у него есть для вас работа, и просил, как только вы придете, срочно связаться ним по этому телефону, — сказала вахтерша, протягивая ему листочек с записанным на нем номером.

Дрожа от волнения, Башевис-Зингер набрал этот номер. Когда редактор «Радио» сказал, что готов принять его хоть сейчас, Зингер, по его собственному признанию, даже не пошел, а полетел в редакцию. Вскоре он уже сидел в кабинете толстого усатого еврея, с любопытством разглядывающего своего гостя. В мешковато сидевшем на нем костюме старшего брата, который был не только чуть полнее, но и выше его, Исаак выглядел крайне непрезентабельно.

— Я прочитал несколько ваших рассказов, и они мне понравились, — сказал редактор. — Вы пишете бойко, очень бойко, а это как раз то, что мне нужно…

— Вы хотите заказать у меня новые рассказы? — с робкой надеждой спросил Зингер.

— Нет, — покачал головой редактор. — У меня другая идея… Вы ведь к тому же, насколько мне известно, свободно переводите с немецкого. А на немецком языке каждый месяц выходит немало литературных новинок, но… Во-первых, если их просто переводить, то нужно платить гонорары не только переводчику, но и автору, а делать это мне, скажу честно, не хочется. Во-вторых, сам стиль немецких романистов обычно крайне тяжел и непонятен широкому еврейскому читателю. В-третьих, вся эта немецкая жизнь ему тоже глубоко чужда…

— Так в чем же должна заключаться моя работа? — осмелился, наконец, задать вопрос Зингер.

— О, мы к этому как раз подходим. Ваша работа будет заключаться в том, что вы будете брать новый немецкий любовный роман и не переводить, а переписывать его так, чтобы действие происходило в Польше, и не с немцами, а с нашими евреями. Все это должно быть написано предельно простым языком, без всяких, знаете ли, философских умствований и непонятных читателю слов… Ну как — подходит?

— Под этим… гм… переложением будет стоять мое имя? — спросил Зингер.

— Нет, они будут публиковаться без подписи… Так как?

— Даже не знаю, как вас благодарить. Знаете, в последнее время я крайне нуждаюсь в деньгах…

Иче-Герц, безусловно, знал, что этого говорить не стоило, но так уж он был устроен, что долго, почти до шестидесяти лет, не мог научиться вести деловые переговоры.

— Мы будем платить вам 60 злотых в неделю. Если ваш первый опыт переложения окажется удачным, наше сотрудничество продолжится. Поезжайте домой, и приступайте к работе. Пишите короткими фразами. Меньше длинных слов. Больше живых диалогов… Мы ждем от вас примерно 10000 слов в неделю. Кстати, вы бы, наверное, хотели бы получить аванс…

— Если только можно…

— Я сейчас же напишу записку кассиру, и он выдаст вам 200 злотых…

Исаак Зингер вышел из редакции «Радио» пьяный от счастья. 60 злотых в неделю — это была в те дни почти двойная зарплата среднего варшавского рабочего. Зингер почувствовал, как в одночасье он из нищего превратился в богача. Теперь он мог расплатиться с долгами и вполне позволить себе содержать обе квартиры. Нужны ли были какие-то иные доказательства, что существует некая Высшая сила, которая ведет его по жизни, приходя на помощь в тот самый момент, когда он в ней крайне нуждается? И если эта Высшая Сила не Бог, то кто же?! Неужели тот самый его личный бес, который привязался к нему еще в Билгорае и с тех пор ведет его по жизни?!

Правда, когда он, вернувшись в писательский клуб, рассказал нескольким его завсегдатаям о привалившей ему удаче, те только скривили губы — по их мнению, Зингер сильно продешевил, так как такая работа стоила на самом деле раза в два больше. Они настоятельно советовали молодому коллеге немедленно вернуться в редакцию «Радио» и запросить хотя бы 70–80 злотых в неделю.

Однако Зингер и не подумал этого сделать. Размер положенного ему гонорара его вполне устраивал, и на следующий день он с увлечением принялся за дело. Это была, безусловно, одна из самых черных литературных работ, какие только можно представить. Но, вне сомнения, она также в определенной степени способствовала как наращиванию его «писательских мускулов», так и выработке той фантастической работоспособности, которой писатель славился почти до последних лет своей жизни.

* * *

В 1928 году раскол в РКП (б) привел к расколу и в польской компартии, члены которой разделились на троцкистов и сталинистов. Уехавший в СССР убежденным сторонником Ленина-Сталина, один из лидеров польских коммунистов Исаак Дойчер вернулся домой, пораженный размахом идущих на «родине Великого Октября» политических репрессий. Вскоре Дойчер объявил о своем решении поддержать линию Троцкого, так как если бы последний руководил Советским Союзом, то там все было бы иначе. Сторонники Сталина немедленно заклеймили Дойчера как «фашиста» и «прислужника мировой буржуазии» и начали осыпать его проклятиями и угрозами.

Раскол польской компартии расколол и семью Сабины — сама она сначала примкнула к сталинистам, затем переметнулась к троцкистам, в то время как ее младший брат Мотэле решил сохранить верность Сталину. Зингер в те дни часто сопровождал Сабину на различные партийные собрания, где сталинисты и троцкисты продолжали выяснять между собой отношения. Не принадлежа ни к тому, ни к другому лагерю, он внимательно прислушивался к идущим на этих сборищах спорах, поражаясь фанатизму и ненависти, которой пылали их участники по отношению к своим политическим противникам. Из идущих между ними споров он сумел уяснить картину происходящего в СССР: коммунисты, обещавшие привести человечество в светлое будущее, учинили самый настоящий террор по отношению ко всем инакомыслящим; разорили сельское население; уничтожили наиболее трудолюбивую часть крестьянства; насадили в стране самый настоящий, вполне сравнимый с языческими, культ своих вождей. Заявления Дойчера о том, что если бы победу одержал Троцкий, то все было бы по-другому, не вызывало у Зингера ничего, кроме иронической усмешки: слушая обе стороны, он пришел к выводу, что Троцкий, придя к власти, действовал бы

точно так же, как и Сталин.

О том, что творилось тогда в Варшавском писательском клубе, Зингер вспомнил уже после войны устами Зейнвела Маркуса, от имени которого ведется повествование в рассказе «Бегущие в никуда»:

«В конце тридцатых в писательском клубе часто устраивали вечера. И в публике, и среди выступавших преобладали так называемые прогрессисты. Всем известно, что в Польше было очень немного евреев-пролетариев, а евреев-крестьян не было вовсе. Но у этих рифмоплетов выходило, что все три миллиона польских евреев либо стоят у станка на заводах, либо пашут. Эти горе-писаки предсказывали неизбежную революцию и диктатуру пролетариата. За пару лет до начала войны еще появились троцкисты. Троцкисты ненавидели сталинистов, сталинисты — троцкистов. Во время публичных дебатов они обзывали друг друга фашистами, врагами народа, провокаторами, империалистами. Угрожали друг другу, что, когда массы наконец поднимутся, все предатели будут висеть на фонарях. Сталинисты повесят троцкистов, троцкисты — сталинистов, и те, и другие — общих врагов: правых сионистов «Поалей Цион», левых сионистов «Поалей Цион», просто сионистов, и, конечно, всех религиозных евреев. Я помню, как президент Еврейского клуба доктор Готтлейб заметил как-то: «Откуда они возьмут в Варшаве столько фонарей?»…»

В этот же период в жизни Исаака Зингера появляется еще одна женщина, которую он в своей автобиографической повести «Заблудившийся в Америке» называет Леной.

«Лена досталась мне в наследство от Сабины, — пишет он. — Они были долгое время близкими подругами. Они делили камеру в женском отделении тюрьмы «Павиак», которое называлось «Сербия». Здесь, оказавшись один на один в камере, они непрестанно ругались, так как Сабина была троцкисткой, а Лена дала клятву верности товарищу Сталину. Лена была отпущена под залог и должна была предстать в назначенное ей время перед судом, однако после того как в ее деле появились новые свидетели и суд мог посадить ее на несколько лет в тюрьму, решила бежать. Она попросила меня приютить ее на ночь, так как, по ее словам, ее преследовали жандармы. Узкая железная кровать стояла у меня в комнате, и Лена спала со мной на ней не только в ту ночь, но и все последующие ночи. Она называла меня прислужником капиталистов даже тогда, когда прижимала свои губы к моим губам. Она утверждала, что мои мистические рассказы помогают

победе фашизма, но при этом пробовала перевести некоторые из них на польский.

Она поклялась мне, что прошла гинекологическую операцию, которая сделала ее бесплодной, но уже летом была на пятом месяце беременности…

Лена сказала, что хочет родить от меня ребенка, даже если завтра рухнет мир. С абсолютной уверенностью она утверждала, что последняя битва между Правдой и Ложью, между Справедливостью и Угнетением уже близка, Правда в ней, безусловно, победит, и тогда она не будет нуждаться в моей помощи. Мне же лучше уехать в Америку, если я хочу убежать от праведного гнева польских рабочих. Но рано или поздно революция придет и туда…

Эти слова поражали своей наивностью. В реальности Лена жила, как птица, запертая в клетке. У нее не было ни гроша, и над ней постоянно висела угроза ареста. Она выросла в хасидском доме. Ее отец, Шломо-Шимон Яблонер, принадлежал к гурским хасидам. Когда он узнал, что его дочь якшается с коммунистами, он выгнал ее из дома. Он отсидел по ней «шиву», и вместе с ним справляли траур по Лене ее мать, три ее брата и две сестры. Шломо-Шимон был известен как ревнитель традиции. Когда его дети совершали нечто, что было не совсем кошерным в его глазах, он избивал их даже после того, как они отпраздновали свадьбы… Лена говорила мне, что предпочитает повеситься, чем вернуться домой, к этому «стаду реакционеров».

Для девушки она была довольно высокой, смуглой, как цыганка, с плоской, как у мужчины, грудью. Во рту у нее вечно торчала сигарета. Глаза ее были черны и смотрели на мир с таким характерным мужским взглядом, что в силу какой-то биологической ошибки она родилась существом другого пола, чем тот, которому принадлежала на самом деле. Она была своем не в моем вкусе и к тому же призналась мне, что она — лесбиянка…»

Это отрывок еще раз доказывает, с какой осторожностью нужно подходить к той зингеровской прозе, которую он сам называл «автобиографической». Настоящее имя Лены было Руня, точнее, Рахель Шапира, и внешне она была полной противоположностью описанной здесь героини. Пышногрудая, круглолицая, с ослепительно белой кожей, плотно сбитая Рахель была на самом деле вполне во вкусе Башевиса-Зингера. Правдой во всем этом рассказе является, пожалуй, лишь то, что Рахель и в самом деле выросла в большой и уважаемой семье гурских хасидов, с которой порвала еще в ранней юности.

С Руней-Рахелью Зингера и в самом деле познакомила

Сабина. И, так или иначе, но они прожили вместе почти восемь лет — с 1927 по 1935 год, то есть до самого отъезда Зингера в США. Это, разумеется, не означает, что Зингер хранил ей верность, но, вне сомнения, их отношения были если не браком, то чем-то очень похожим на брак.

В немалой степени этому способствовало рождение в 1930 году их сына Исраэля. Узнав о беременности Руни, Исаак Зингер заявил, что ни в коем случае не желает иметь ребенка и требует, чтобы она сделала аборт. Руня-Рахель уже собиралась выполнить это требование своего любовника, но в последний момент дочь раввина победила в ней коммунистку. В результате на свет появился мальчик, которому предстояло в возрасте пяти лет расстаться с отцом, отправиться с матерью в Москву, оттуда быть депортированным в Турцию и уже из Турции добраться до Палестины, где жила семья его деда по матери. Дальше Исраэля Зингера, ставшего Исраэлем Замиром, ждала учеба и жизнь в кибуце, служба в израильской армии, и лишь затем, спустя 20 лет, встреча с отцом в Нью-Йорке…

У этой пары и в самом деле были весьма сложные отношения.

Руня-Рахель в беседах с сыном не раз говорила о поразительном бессердечии и скупости Башевиса-Зингера, который снимал вместе с ней убогую мансарду с дырявой крышей, давал ей жалкие гроши на покупку еды для себя и ребенка, одновременно снимая еще одну, куда более приличную квартиру и имея массу любовниц. До конца своих дней Руня-Рахель вспоминала, как однажды у маленького Исраэля разболелось ухо, а Зингер отказывался дать ей деньги на врача, утверждая, что у него их нет. Тогда она в ярости бросилась к вешалке, вывернула карманы висевшего на ней плаща, и из них со звоном выкатились те самые несколько злотых, которые были нужны, чтобы врач оказал помощь ее больному сыну.

Но и у Исаака Башевиса-Зингера был свой счет к Руне.

Он, в свою очередь, утверждал, что в той квартире, которую он снимал вместе с Руней, постоянно собирались ее товарищи по партии, вели шумные разговоры, много курили, съедали все, что было в доме, и работать в такой обстановке было совершенно невозможно. Именно поэтому он вынужден был снять вторую квартиру — ему необходимо было место, где он мог заниматься теми же переводами, переложениями романов для желтых изданий и собственными произведениями — рассказами, критическими статьями и политическими обзорами, принесшими ему определенную известность в литературных и журналистских кругах.

Когда же он получал гонорар за ту или иную работу и

приносил его в дом, деньги как-то мгновенно исчезали, а вскоре выяснялось, что Руня потратила их на оплату… печатания партийной литературы. В конце концов их крохотная квартира превратилась в самый настоящий склад запрещенных к распространению коммунистических агиток, и настал день, когда к ним в гости нагрянула полиция.

Зингер был арестован и два дня провел в тюрьме, которые он считал самыми страшными днями в его жизни. Пребывание в переполненной уголовниками камере; их грубые шуточки; необходимость оправлять естественные надобности на виду у всех было для него пострашнее любых пыток.

На допросе он прямо заявил, что не только никогда не испытывал симпатии к коммунистам, но и, наоборот, считает их учение крайне опасным для человечества. Когда же ему был задан вопрос, знает ли он, что его подруга — убежденная коммунистка, Зингер ответил:

— Никакая она на самом деле не коммунистка. Просто у нее в голове сплошной туман и путаница…

Уже потом, когда Башевис-Зингер оказался в Штатах, а Руня с сыном в Палестине, они довольно часто обменивались письмами, в которых Зингер писал, что собирается приехать на Святую землю, и намекал на возможность того, что они смогут заключить брак и создать нормальную семью. Он продолжал посылать ей эти письма вплоть до 1943 года, то есть до своей женитьбы на Эльме Вассерман. Но и тогда, когда письма вдруг перестали приходить, Руня-Рахель продолжала на что-то надеяться.

Исраэль Замир вспоминает, как уже в 70-х годах, во время очередного приезда Башевиса-Зингера в Израиль, тот спросил у него, как поживает Руня, и предложил сходить к ней в гости, тем более что разговор этот происходил в Хайфе, неподалеку от ее дома.

— Нет! — предельно жестко сказал Исраэль Замир. — Ты не пойдешь к ней. У нее только-только начала налаживаться жизнь, и я не дам тебе это сломать!

В своей книге «Мой отец Башевис-Зингер» Исраэль Замир объясняет, что в те дни постаревшая Руня, наконец, встретила приличного человека и вышла замуж, и он был чрезвычайно рад этому. Он почти не сомневался в том, что появление отца с его дьявольским, неотразимым обаянием мгновенно заставит мать вспомнить, кого она на самом деле все эти годы любила и продолжает любить, и это разрушит ее новую семью.

Между тем, что бы сам Исаак Башевис-Зингер ни говорил и ни писал о своих взаимоотношениях с Руней, именно в период романа с этой женщиной и во многом благодаря ей к нему

пришла первая большая писательская удача: в 1933 году он приступил к созданию романа «Сатана в Горае», который многие критики считают одной из вершин его творчества.

Глава 7
«Сатана в Горае» (1932–1933)

Зингер начал писать роман «Сатана в Горае» для журнала «Глобус», который он издавал вместе со своими другом Аароном Цейтлиным. В издание этого журнала они оба вкладывали свои собственные деньги, выкраивая их из скудных гонораров за публикации в других газетах и журналах Польши, Западной Европы и Америки.

Хотя точных сведений у меня нет, но осмелюсь предположить, что это была к тому времени уже далеко не первая издательская авантюра, в которую впутывался молодой писатель. Впрочем, Зингера вряд ли стоит за это винить: идеей основать свое, «настоящее» литературное издание были одержимы тогда многие нищие еврейские литераторы Польши, не очень сильно задумывавшиеся над реальностью этих своих планов. Вот как об этом спустя несколько десятилетий вспоминал сам Зингер в блестящей новелле «Журнал»:

«Я впервые увидел Зейнвела Гардинера в Варшаве, в бесплатной столовой для интеллектуалов. Мы оказались с ним за одним столиком. Зейнвел ел грибной суп с лапшой, горохом, морковью и петрушкой. Он долго возил ложкой в тарелке, как будто что-то выискивая, а потом рассеянно добавил соль и перец. Он не съел и половины своей порции, и мне стоило немалых усилий удержаться и не попросить у него доесть то, что осталось. В те годы я отличался отменным аппетитом.

…Не успели мы обменяться и парой фраз, он принялся уговаривать меня издавать журнал.

— По профессии я наборщик, — сообщил он. — У меня дома стоит монотип. Мы могли бы выпускать журнал практически даром. Если мы продадим двести экземпляров, то окупим все расходы. Я лично готов распределить экземпляров сто, а может, и больше.

— Но ведь журналов и так слишком много.

— О чем вы говорите? Вы знаете, кто их издает? Они же все литературные проститутки. За три злотых напечатают любую бездарь. К тому же все они одна шайка-лейка и действуют по принципу: ты — мне, я — тебе. А мы бы с вами сделали честный журнал. Мы могли бы вывести литературу на новый уровень!

Слово «журнал» действовало на меня завораживающе. Я давно мечтал о собственном журнале, в котором можно было бы

публиковаться без оглядки на капризы редакторов…»

В этом рассказе о том, как печально закончилось предприятие идеалиста и графомана Зейнвела Гардинера, Зингер датирует свою первую встречу с его героем 1927 годом. Это наводит на мысль о том, что в основу рассказа положены реальные события — именно в том году, как уже говорилось, Зингер начинает активно участвовать в литературном процессе Польши. Однако рассказ, безусловно, вобрал в себя и его опыт издания «Глобуса» — во всяком случае, в той его части, где писатель рассказывает о той реакции, которую вызвало появление журнала Гардинера в литературных кругах Варшавы:

«Скандалы и интриги не заставили себя долго ждать. Эссеист, чью рукопись не приняли к публикации, обвинил Зейнвела Гардинера в том, что тот обманул его на 25 злотых. Жена поэта, чье стихотворение было напечатано на последней странице, дала Зейнвелу пощечину. Один автор прилюдно обозвал Зейнвела вором и предателем. Коммунистический журнал «Выход» разразился трехстраничной ругательной статьей против «Голоса», в которой издание Зейнвела было названо лебединой песней обреченного империализма, загнивающего капитализма и еврейского шовинизма. Зейнвел игнорировал классовую борьбу, интересы трудящихся масс и сияющий свет Советского Союза…»

Последние фразы — это почти слово в слово пересказ тех статей, которые появились в прокоммунистических варшавских изданиях после выхода «Глобуса». Новый журнал пытался привлечь еврейского читателя обсуждением специфических проблем еврейской жизни и говорить с ним на впитанном с молоком матери языке еврейских культурных кодов и понятий, и это привело местную социалистическую прессу в ярость.

Но — странное дело — при этом сам первый роман Исаака Зингера «Сатана в Горае» был встречен еврейской критикой весьма благосклонно, и уж во всяком случае, никто не пытался оспорить его несомненные художественные достоинства.

Сам Исаак Зингер попытался совершить в этом произведении некий художественный прорыв, создав первое в истории еврейской литературы довольно масштабное историческое произведение. При этом ему важно было доказать, что обращение к прошлому, к собственным национальным и культурным корням вполне позволяет еврейскому писателю говорить о самых острых проблемах, волнующих его современников.

Вне сомнения, обращаясь к эпохе лжемессии Шабтая Цви[28],

к самой личности этого человека, Исаак Зингер (и это справедливо по отношению ко многим его произведениям 30-50-х годов) вступал в скрытое литературное соревнование со своим старшим братом Исраэле-Иешуа Зингером, еще в 1921 году написавшем яркий рассказ о Шабтае Цви. Как, впрочем, нет сомнения и в том, что новаторским это произведение является только относительно — в нем еще слишком явно чувствуется влияние великого Майринка, и, прежде всего, его романа «Ангел Западного окна», вышедшего все в том же 1927 году и, безусловно, хорошо знакомому Зингеру как переводчику с немецкого.

Как и Майринк, Зингер пытался совместить в своем романе предельную реалистичность повествования с мистикой, как и Майринк, он так мастерски перемешивал в нем краски, что вполне бытовые сцены оказывались наполнены глубочайшим мистическим смыслом, а описание встреч героев с мистическими силами было настолько реалистично, что не поверить в их правдивость было просто невозможно.

Зингер начинает свой роман в классическом стиле средневековой еврейской хроники, так что у читателя поначалу и в самом деле возникает легкая иллюзия того, что речь идет о неком старом манускрипте, просто пересказываемом автором:

«В году одна тысяча шестьсот сорок восьмом воинство злокозненного украинского гетмана Богдана Хмельницкого осадило Замощь, однако, взять город так и не смогло, — слишком уж хорошо он был укреплен. Тогда орды восставших крестьян, гайдамаков, сея на пути своем хаос и разрушение, двинулись к Томашёву и Билгораю, Крашнику, Турбину и Фрамполю. Не миновали они и Горай, маленький городок, затерянный среди холмов на самом краю света. Казаки убивали всех, кто только попадался им под руку, с мужчин сдирали кожу, а женщинам рассекали животы и зашивали туда живых кошек. Многим евреям пришлось бежать в Люблин, других насильно окрестили или продали в рабство. Некогда известный своими праведниками и мудрецами, Горай опустел почти полностью. Рыночная площадь, куда прежде крестьяне со всей округи свозили свои товары, заросла сорняками; дом учения и синагогу солдаты приспособили под конюшни. Большая часть города выгорела. Со времени кровавой резни прошло уже несколько недель, а улицы все еще были завалены мертвецами. Хоронить их было некому. Бродячие собаки рвали трупы на части, а вороны да стервятники пировали плотью человеческой. Горстка уцелевших покинула город и разбрелась по округе. Казалось, навсегда Горай стерт с лица земли…»

Но проходит некоторое время — и евреи начинают

возвращаться в город, причем последними туда возвращаются главный раввин города, великий знаток Торы Бинош Ашкенази вместе с двумя своими сыновьями Озером и Леви, и некогда самый богатый человек в городе реб Элиазар Бабад со своей дочерью — хромоножкой Рохеле.

«Что было — то было. Бог, да будет благословен Он, хочет, чтобы мы все начали сначала», — говорит раби Бинош жителям города, и всячески пытается наладить в нем ту жизнь, которой еврей жили до обрушившегося на них бедствия.

Но оказывается, что восстановить синагогу и микву куда легче, чем прежние близкие отношения с горожанами и незыблемость для них своего духовного авторитета. И, не особенно в этом преуспев, рав Бинош замыкается в самом себе, большую часть времени проводит в своем кабинете, спеша дописать задуманные книги и мало общаясь даже со своими домочадцами.

Последнее обстоятельство в немалой степени объясняется тем, что рав Бинош не очень доволен своими сыновьями, которые явно не способны сменить его на посту главного раввина города: старший Озер слишком легкомыслен и ленив, а младший Леви, хотя и имеет определенные познания Торы, но и в нем, и в его молодой жене чувствуется какая-то червоточинка, проявляющаяся уж в слишком большой озабоченности своим материальным, а не духовным бытием, стремлением к сытной, «красивой» жизни.

Действие романа разворачивается в 1666 году, когда по Гораю начинают ходить слухи о том, что Мессия уже пришел, и скоро, очень скоро начнется предсказанное пророками Избавление: обнаружатся десять исчезнувших колен, Мессия освободит Землю Израиля от властвующих над ней турок, воцарится в Иерусалиме и приведет туда евреев со всех четырех сторон света…

Проходит еще немного времени — и в городе появляются «посланники со Святой земли», подтверждающие эти слухи, что повергает евреев Горая в самый настоящий религиозный экстаз.

Однако рабби Бинош, будучи великим мудрецом и ученым, отнюдь не спешит разделить эти восторги толпы. Узнав о визите гостя из Иерусалима, он всю ночь просиживает над книгами, пытаясь понять, идет ли речь и в самом деле об истинном Избавителе евреев или об очередном самозванце. И когда в окнах начинает брезжить рассвет, он, наконец, приходит к каким-то выводам и велит служке позвать к нему «посланника». И вот дальше опять происходит нечто странное: после разговора с раввином этот человек исчезает из Горая, причем так, что никто не видел, каким же путем он из него уехал.

Однако когда весть о его исчезновении доходит до синагоги, горожане приходят в ярость. «Евреи, это работа Биноша!» — кричит свято уверовавший в Мессию Мордехай-Йосеф. — Бинош изгнал его из города!»

Дальше в синагоге начинается истерия. Раввина, в верности которого в Торе никто никогда не сомневался, начинают клеймить как «еретика», «преступника перед Богом Израиля», «нечестивцем» и т. д.

Попытка молодого ешиботника заявить, что старый раввин прав и Шабтай Цви — лжемессия, заканчивается тем, что его зверски, в кровь избивают, да еще и объявляют это избиение богоугодным делом.

После этого Зингер начинает знакомить читателя с главной героиней своего романа — 18-летней Рохеле. Хромая девушка уже отвергла всех, кто пытался к ней посвататься, и, так как ее отец часто отлучается, продолжает жить почти одна в полуразрушенном доме, в чудом уцелевшей после погрома мансарде. Все попытки женщин Горая сблизиться с девушкой закончились ничем, так как она не хочет ни с кем разговаривать, крайне мало ест, а ее соседка утверждает, что Рохеле никогда не выходит во двор для оправления естественных надобностей и, кроме того, у нее, очевидно, не бывает месячных. Как выясняется, после резни в Горае отец Рохеле реб Элиазар Бабра отдал девочку своему живущему в Люблине брату-резнику и тот вместе с матерью своей покойной жены вырастил девочку. Старая теща резника держала Рохеле в постоянном страхе с помощью сказок о бесах, демонах, неприкаянных душах и т. п. существах. Уже после смерти старухи, в ночь Судного Дня, «когда воздух полон душ покойников, не получивших искупления», Рохеле остается одна в доме дядьки и в нем неожиданно гаснут свечи, и его заволакивает дымом…

«Рохеле хотела выйти на улицу и позвать людей, но побоялась открыть дверь в пронизанный туманом коридор. Он шевельнула было губами, чтобы крикнуть, но крик застрял у нее в горле. От охватившего ее ужаса она забилась в угол, закрыла глаза и укуталась в одеяло. И тут из-за стен до нее донесся какой-то неясный шум. Голоса звучали как будто из-под земли, и казалось, что кто-то поет «Кол Нидрей». Рохеле вдруг ясно поняла, что слышит молитву мертвых, она знала, что человек не может после этого остаться в живых…»

Вернувшись домой, резник Зайдель-Дов застает Рохеле лежащей на полу в глубоком обмороке, с пеной на губах, и позванным им на помощь людям с трудом удается привести ее в чувство. Зингер оставляет читателю самому право судить о том,

что же произошло с его героиней: был ли это просто приступ эпилепсии, в результате которого она упала в обморок и повредила себе ногу, или же девушка и в самом деле столкнулась лицом к лицу с потусторонними силами…

Нарисовав таким образом портрет героини, Зингер возвращается к событиям в Горае, где появляется книгоноша Иче Матес. Но очень быстро горожанам становится ясно, что он вовсе не обычный торговец книгами, а еще один тайный посланник «мессии». И вот уже евреи собираются в комнате Леви, младшего сына рабби Биноша. За наглухо закрытыми дверьми и занавесками Иче Матес рассказывает собравшимся о том, каким прекрасным будет новый мир, который построит Мессия:

«Все религиозные предписания будут отменены. Тела из материальных станут духовными сущностями, и новые души спустятся в мир из мира Ацила и Престола Его Славы. Нужды в еде и питье не будет, и вместо заповеди плодиться и размножаться души будут соединяться, чтобы прославить Святое имя. Изучение Гемары будет отменено, а из Письменной Торы останется только ее тайная часть. Каждый день будет длиной в год, и сияние Шехины[29] *наполнит мир. Каждый сможет слышать славословия херувимов и офанимов*[30]*, и наслаждение от этого не будет иметь границ…»*

После этого реб Иче Матес остается в Горае, и вскоре весь город понимает, что речь идет о настоящем святом — днем и ночью напролет Иче Матес учит Тору и Каббалу; он постоянно постится, окунается ночью в холодной микве[31] бейт-мидраша и вообще всячески истязает свою плоть, готовясь к приходу Мессии. Когда же в разговоре с Рохеле та говорит, что ее никто не берет замуж и ей остается лишь стать супругой Дьявола, Матес неожиданно решает, что «это — судьба» и посылает сватов к Рохеле. И хотя той совсем не нравятся «мертвые глаза» Матеса, она дает свое согласие на этот брак.

Тем временем рабби Бинош получает письмо из Люблина от одного из крупных раввинов этого города. В этом послании тот предупреждает рабби Биноша обо все более распространяющейся вере в лжемессию Шабтая Цви, о ложных слухах о проделываемых тем чудесах. Но помимо всего прочего, в письме содержатся и важные сведения об Иче Матесе:

«По случаю мне стало известно, что в вашу святую общину направляется один из этих людей по имени Иче Матес, хотя правильнее было бы называть его просто мерзавцем. Этот фальсификатор и мошенник прикидывается великим человеком, ведет себя как праведник, а на деле роет яму для юношей и старцев, увлекая их в ловушку и заставляя их служить чуждому

нам служению. По его словам, он постится от субботы до субботы, постоянно окунается в микву и истязает свое тело страшными испытаниями, но все это лишь для того, чтобы запутать людей и увлечь их в бездну ереси… Не от имени Божьего действует он, а от сил нечистоты. Союз заключил он с бесами, как установили великие мудрецы…»

Теперь рабби Биношу становится окончательно ясно, с кем он имеет дело, и старый раввин решает выйти на свою последнюю войну — войну с сектантами. Однако в ту самую ночь, когда празднуется обручение Рохеле и Иче Матеса и во время этой церемонии начинается сумасшедшая, бесовская пляска. Служка стучит в окно раввина, чтобы рассказать ему о происходящем. Поспешно одевшись, рабби Бинош выскакивает на улицу, поскальзывается и получает тяжелейшую травму, после чего сваливается в постель. Когда выясняется, что никакой служка его не звал, рабби Биношу становится понятно, что он стал жертвой проделок все той же нечистой силы.

Совершенно сломленный, стоящий на пороге смерти рав Бинош признает свое поражение, переселяется из Горая в Люблин, таким образом, оставляя родной город в безраздельную власть сектантов. Но, как и предупреждал люблинский раввин, Матес оказывается не в состоянии исполнить свои супружеские обязанности, и пугает и без того напуганную и экзальтированную Рохеле своими разговорами о том, что он получает удовлетворение от являющейся ему обнаженной дьяволицы Лилит.

В то самое время, когда весь Горай обсуждает импотентность «святого праведника» Матеса, в романе появляется новый персонаж — резник реб Гедалья, изгнанный из родных мест за веру в Мессию Шабтая Цви.

С его появлением в Горае все бесповоротно меняется. Реб Гедалья окончательно убеждает горожан, что Шабтай Цви — истинный Мессия. После того, как Гедалья соблазнил Рохеле, у той открывается «пророческий дар», и она объявляет своим землякам, что уже в канун этого Нового еврейского года Шабтай Цви окончательно установит свою власть на земле и начнется новая эпоха. Вдобавок она сообщает им и то, что рав Гедалья — не кто иной, как пророк Илья, пришедший возвестить о близости прихода Мессии.

Далее события развиваются все стремительнее. Гедалья проповедует, что в эпоху Мессии будут отменены все предписания, которые Бог дал евреям прежде; объявляет трефное мясо кошерным, разрешает евреям спать с женами в период месячных и сразу после них без омовения, и более того —

провозглашает полную свободу любви. Теперь соитие мужчины с чужой женой, а замужней женщины с любым мужчиной, объясняет он, это не грех, а заповедь. И вот уже невестка рава Биноша Нехеле на глазах у всего города и с согласия мужа принимает в своей постели других мужчин.

Так город погружается в пучину разврата, а рав Гедалья, почти не скрываясь, сожительствует с Рохеле, благо ее законный муж Иче Матес вместе с Мордехаем-Йосефом отправился по еврейским местечкам рассказывать всем о «пророчице Рохеле». Но настает день, когда свои права на Рохеле предъявляет то ли сам Дьявол, то ли какой-то другой нечистый дух, и он прогоняет Гедалью из ее постели, чтобы самому насладиться ее телом…

А в округе свирепствует засуха; в близлежащих украинских и польских селах идут разговоры о том, что во всем виноваты евреи, и там уже точат топоры для погромов; но Горай, ждущий Мессию, не желает замечать происходящего вокруг. В городке почти никто не работает и не торгует; никто не думает о том, чем запастись на зиму. Да и зачем запасаться, если вот-вот придет Мессия, и они все с песнями пойдут в Святую землю?! Однако день идет за днем, приближаются осенние праздники, а Мессия все не приходит.

Наконец, настает день, когда в Горае появляются Иче Матес и Мордехай-Йосеф и рассказывают страшную правду: Шабтай Цви оказался не Мессией, а самозванцем, перешедшим в ислам. Объявив об этом, Мордехай-Йосеф бросает Гедалье страшные обвинения в том, что тот совратил замужнюю жену, вверг евреев в пучину разврата и навлек на них гнев Господа. И тогда наступает отрезвление: евреи города начинают понимать, в какую бездну затащил их реб Гедалья со своими идеями.

Грядет суровая зима, а в городе не осталось ни денег, ни продуктов, и это значит, что многих из них этой зимой ждет голодная смерть. Вместо того чтобы прикоснуться к святости, они осквернили себя, и теперь многим придется расстаться с женами, так как еврею нельзя спать с женой, которая была близка с другим мужчиной. Рожденные в период оргий дети будут объявлены незаконнорожденными и не смогут вступить в брак по еврейским законам…

После изгнания из вселившегося в нее злого духа умирает Рохеле, а вслед за ней и Иче-Матес. Умирает и глубоко раскаявшийся в своих заблуждениях рав Мордехай-Йосеф, но вот Гедалья как раз остается жив, бежит из тюрьмы и кто знает, где еще он сумеет распространить свою ересь?!

* * *

В чем же заключался секрет успеха «Сатаны в Горае»?

Вне сомнения, Зингеру удалось в ней с потрясающей достоверностью воссоздать жизнь и быт еврейского местечка XVII века, показать те исторические, религиозные и психологические причины, которые привели к появлению на исторической арене фигуры Шабтая Цви и к тому, что в этого самозванца поверили тысячи и тысячи евреев во всем мире. Как заметил один из критиков сразу после выхода романа, Зингер так убедительно излагал речи появлявшихся в Горае сторонников Шабтая Цви, что читатель в какой-то момент забывал о том, чем закончилась эта история, и тоже начинал верить, что Цви — Мессия.

Вообще, быт еврейского местечка, характерные типы его обывателей, рассказ об их буднях и праздниках, характерных примет их жизни — от необычайно живописного описания работы резника до обряда изгнания «диббука» в «Сатане в Горае» обладают почти этнографической точностью. Создавая эти страницы, Зингер, вне сомнения, опирался на опыт своей жизни в Билгорае, да и прототипы героев романа угадываются очень легко. В образе рава Биноша Ашкенази, как уже говорилось, без труда угадывается фигура деда писателя со стороны матери — старого билгорайского ребе, всю жизнь ревностно оберегавшего евреев города от соблазнов и нарушения заповедей и в конце концов скончавшегося в Люблине. Прототипами образов двух недостойных своего отца сыновей рабби Биноша стали, безусловно, два дяди писателя. Чтобы понять это, достаточно перечитать те страницы книги «В суде моего отца», где Зингер рассказывает о дяде Йосефе (очень похожем на Озера) и дяде Итче (ставшем прототипом младшего сына рабби Биноша Леви). А вот имя главной героини романа Рохеле, безусловно, не случайно совпадает с именем экзальтированной коммунистки Руни, подарившей Зингеру сына, и одновременно, в Рохеле легко угадываются черты истеричной, неординарной личности старшей сестры писателя Эстер-Гинды.

Многие исследователи творчества Зингера отмечают и то, что писатель в этом романе впервые предстал как поистине выдающийся мастер слова и утверждают, что все языковые достоинства этого романа попросту невозможно передать ни в одном, самом мастерском переводе.

По мнению израильского литературоведа Йосефа Ша-Лавана, ни один идишский писатель до того не пользовался столь широкой языковой палитрой, которую использовал Зингер в романе «Сатана в Горае». В тексте романа, утверждает Ша-Лаван, можно увидеть самые различные пласты идиша — от разговорного до высокого литературного; от, казалось бы,

безнадежно устаревшего и давно забытого до современного. Каждый герой романа говорит «своим» языком, а высокоученые рабби Бинош, реб Иче Матес и реб Гедалья приправляют вдобавок свои фразы ивритскими и арамейскими выражениями из Библии и Талмуда. Письмо же, которое получает раби Бинош из Люблина, вообще написано на иврите, причем не на обновленном Бен-Иегудой, а на том самом иврите, на котором переписывались между собой раввины 17 века. Таким образом, первым читателям романа «Сатан в Горае» для того, чтобы понять все, о чем в нем говорится и по достоинству его оценить, требовалось знание сразу трех языков — идиш, иврита и арамейского, но для большинства евреев того времени это было еще вполне естественно.

Кроме того, при публикации глав из романа в журнале «Глобус» Зингер для больше выразительности играл шрифтами; к примеру, письмо от люблинского раввина было набрано «буквами Раши» — особым, заковыристым шрифтом, которым набирали комментарии к священным книгам, чтобы они отличались от основного текста.

Магия языка Зингера, вроде бы использующего простые предложения, избегающего каких-либо сложных эпитетов и метафор и вместе с тем создающего необычайно зримые картины, заставляющего читателя погружаться в текст книги и словно воочию видеть все происходящее, и в самом деле зачаровывает. Его «постельные сцены», за которые «Сатану в Горае» некоторые критики называли порнографическим произведением, на самом деле лишены натурализма и выписаны достаточно сдержанно — во всяком случае, по современным меркам. «Мистические» страницы романа наполнены таким глубоким психологизмом, таким знанием человеческой натуры, что, безусловно, стоят на голову выше всего того, что было написано прежде другими еврейскими писателями на аналогичном фольклорном материале.

И все же «Сатана в Горае» вряд ли получил бы столь широкое признание, если бы не нес в себе ответ на те вопросы, которые были необычайно актуальны для современников Зингера.

В этом смысле, как ни странно, возникает своеобразная перекличка «Сатаны в Горае» с «Бесами» любимого Зингером Достоевского, и, возможно, ассоциативное сходство названий этих произведений тоже не случайно — именно так все и задумывалось Зингером с самого начала.

Выход романа совпал по времени с приходом Гитлера к власти, и многие современники усмотрели в «Сатане в Горае» предупреждение миру о той опасности, которую несет в себе

нацизм. Однако натянутость этой аналогии очевидна, и сам Зингер не раз отзывался о ней с иронией.

Сверхидея «Сатаны в Горае» заключается, безусловно, в том, что самые опасные, самые разрушительные для человечества идеологии нередко облекаются в одежды гуманизма и святости, при этом уверяя своих адептов в том, что только им известны ответы на все главные вопросы бытия и что именно они указывают людям путь к всеобщему счастью. Речи фанатичных приверженцев этих идеологий подчас настолько логичны и убедительны, что не умеющему критично мыслить человеку крайне легко поддаться их обаянию и присоединиться к числу их горячих сторонников. Но рано или поздно становится ясна вся их ущербность. Проповедуемая ими любовь оборачивается ненавистью, гуманизм — человеконенавистничеством и нетерпимостью, мнимая нравственная чистота — мерзкой грязью.

Донесение этой идеи до читателя было чрезвычайно важно для Башевиса-Зингера, и не случайно он вновь вернулся к ней уже на закате своих дней в гениальном романе «Шоша». Однако, проводя без единой нотки морализаторства эту идею в «Сатане в Горае», Зингер, вне сомнения, имел в виду не нацистскую, а коммунистическую идеологию, со многими носителями которой он был близко знаком и дружен.

Сам образ лжемессии Шабтая Цви становится в романе архетипом философа или политического лидера, назначившего себя на роль спасителя человечества, но в начале 30-х годов само слово «мессия» у еврейского читателя ассоциировалось именно с коммунистическими лидерами той эпохи. Разве даже в синагогах не спорили о том, является ли Троцкий Мессией или нет? Разве само отношение к Ленину, Сталину и тому же Троцкому не было в кругах коммунистов столь же безоглядно ревностно-трепетным, что и отношение религиозных евреев к образу Мессии?!

Идея эта была отнюдь не нова — еще Бердяев отметил, что массовая вовлеченность евреев в Октябрьский переворот в немалой степени была связана с тем, что Карл Маркс ассоциировался у многих из них с Мессией, а нарисованное им коммунистическое общество — как реальное воплощение мечты еврейских пророков о мессианских временах.

Скажем больше: многие видные современные еврейские социалисты, к примеру, выдающийся политический деятель Израиля Шимон Перес, до сих пор трактуют социалистические идеи именно так — как политическое воплощение библейского нарратива.

И с этой точки зрения речи забредших в Горай сторонников Шабтая Цви удивительно напоминают те зажигательные

выступления, с которыми выступали на митингах коммунистические агитаторы. «Откровения» Иче Матеса о том, как чудесно изменится жизнь после воцарения Мессии, явно перекликаются с многократно слышанными Зингером лекциями об устройстве будущего коммунистического общества. Да и та атмосфера, в которой Матес излагает эти свои воззрения, сильно напоминает собрание какого-то коммунистического кружка.

Сам же его аскетический образ жизни, телесные истязания, которым он себя подвергает, стремление окружить себя ореолом святости невольно вызывает в памяти образ Рахметова, и эта ассоциация усиливается, когда Зингер рассказывает о взаимоотношениях Рохеле с Иче Матесом и Гедальей. Вдобавок ко всему, та сексуальная свобода, к которой призывает обитателей Горая реб Гедалья, тоже вполне укладывается в теории «свободной любви», «стакана воды» и т. п., которые были чрезвычайно популярны в СССР в первые годы Советской власти.

Наконец, в той нетерпимости, которую проявляют сторонники Шабтая Цви к любому, кто позволил себе усомниться в их правоте, в их готовности пролить кровь этих людей, также легко усматривается ассоциация с отношением ревностных коммунистов к любым своим политическим оппонентам.

И потому, с точки зрения Исаака Башевиса-Зингера, которую он не раз прямо высказывал в различных своих произведениях, коммунистическая, да и любая другая попахивающая мессианством идеология, овладевая массами, неминуемо ведет к разрушению и личности, и общества — так, как это случилось с общиной Горая.

Всем строем своего романа Башевис-Зингер утверждает, что существует только одна альтернатива этим лжеучениям — сохранение верности высоким идеалам Торы, дающим и каждому человеку, и каждой еврейской семье, и общине в целом ту нравственную основу, которая позволяет ей сохранить жизнеспособность в любых, самых страшных испытаниях, и при необходимости начать все «с нуля».

Нет, Зингер отнюдь не идеализирует еврейскую религиозную ортодоксию. Он предъявляет свой счет и олицетворяющему в романе эту ортодоксию раву Биношу Ашкенази, требующему от своей паствы слепого повиновения Закону, отгородившемуся в своем кабинете от мира и не желающему приспосабливаться к велениям времени. Рав Бинош, следовательно, так же несет свою долю вины за свое поражение в схватке со Злом; за то, что произошло затем с Гораем. Но при этом именно он, вне всякого сомнения, является олицетворением истинного добра и истинных ценностей.

Таким образом, в «Сатане в Горае» с Зингером происходит то, что потом будет происходить во всех его произведениях, причем чем ближе к концу жизни, тем отчетливее: вопреки собственному образу жизни, в своих книгах он выступает в роли защитника традиционных еврейских ценностей, причем порой едва ли не с самых ортодоксальных позиций.

Все это и превращает «Сатана в Горае» в роман-предупреждение, который в любую эпоху может быть прочитан по-новому.

И все же называть этот роман лучшим произведением Башевиса-Зингера, как это делает, скажем, Рут Вайс, — явное преувеличение. При всем обилии в нем великолепных сцен, многие образы в нем достаточно схематичны; этому произведению писателя еще явно недостает той глубины и свободы дыхания, которые проявятся в его творчестве лишь спустя почти полтора десятилетия.

Глава 8
Побег

Роман «Сатана в Горае» принес Исааку Зингеру долгожданную литературную известность.

Как бы сам Зингер ни иронизировал по поводу низкого тиража и популярности «Глобуса», высокий художественный уровень журнала был очевиден даже для тех, кто считал его создателей своими идейными противниками. Многие публикации журнала пришлись по вкусу еврейской интеллигенции не только в Польше, но и в Германии, Франции, США. А выходивший отдельными главами из номера в номер «Сатана в Горае» стал подлинным бестселлером, широко обсуждавшимся в еврейской прессе всех этих стран.

Успех романа открыл перед Зингером двери идишского ПЕН-клуба[32], и когда его правление решило с 1935 года ежегодно издавать самое яркое произведение, написанное автором-дебютантом, открыть эту серию было решено именно «Сатаной в Горае».

Это, в свою очередь, распахнуло перед Зингером и Цейтлиным двери самых престижных идишских изданий того времени, в том числе и парижского «Экспресса», платившего достаточно высокие гонорары.

Однако, как это часто бывает, вслед за творческим подъемом, ощущением небывалого прилива сил, у Исаака Зингера начался очередной спад, которому предстояло затянуться надолго.

Неожиданно на него вновь навалилось неверие в свой писательский дар, разочарование в жизни и полная апатия. Труды Ницше, Шопенгауэра и Вейнингера снова становятся его настольными книгами; он заново перечитывает Фрейда и соглашается с ним в том, что таящиеся в подсознании тайные желания и сексуальное влечение составляют основу человеческой личности. Хотя в Варшавском клубе писателей теперь к нему относятся с очевидным почтением, как к маститому писателю и издателю влиятельного журнала, Зингер все реже появляется в этом заведении. Он сужает весь круг своего общения до трех-четырех «равнолюбимых», как он сам говорил, женщин и семей Аарона Цейтлина и своего брата Исраэля-Иешуа Зингера, добропорядочный уклад которых напоминал ему родительский дом. Зингер не скрывал своего удивления тем, как Цейтлин, познакомившийся с будущей супругой при помощи традиционного еврейского сватовства (как некогда и его

родители) страстно, по-настоящему любит жену, и сама мысль о супружеской измене попросту не вмещается в его сознание. Он не особенно скрывал, что завидует как семейному счастью Аарона Цейтлина, так и тому, что Цейтлин свободно владеет не только идишем, ивритом и немецким, но и английским, русским и французским языками, что позволяло тому знакомиться с великими книгами на всех этих языках в оригинале.

Но при этом сам Зингер тут же спешил признаться, что он не создан для брака, и потому ему никогда не удастся создать такое же теплое семейное гнездышко, как у Цейтлиных.

Все происходящее в мире повергало его в уныние.

Культ вождей, царивший в соседних Германии и Советском Союзе, был, с его точки зрения, возрождением того идолопоклонства, самого отвратительного язычества, которое клеймили в своих книгах еврейские пророки. Но, предъявляя суровый нравственный счет и к самому себе, Зингер не раз задавался вопросом, а не превратился ли он сам в своего рода язычника, поклоняющегося сразу двум идолам — сексу и литературе? Разве он не возвел и любовные утехи, и само творчество как таковое на некий пьедестал, объявив их единственным, ради чего стоит жить?

В то же время, даже находясь в тисках депрессии, Зингер продолжал работать, публиковал рассказы на мистические темы в различных изданиях, и именно в тот период сформулировал для себя три основных принципа творчества, которым оставался верен всю свою жизнь и которые не раз излагал в своих интервью:

1. Любое произведение должно строиться на остром, захватывающем сюжете и с помощью этого сюжета держать читателя в постоянном напряжении.

2. Писатель должен браться за перо только в том случае, если он чувствует острую, непреодолимую потребность написать задуманное произведение.

3. Садиться писать данное произведение следует лишь в том случае, если писатель действительно уверен, что он — единственный человек на планете, способный его написать; раскрыть ту или иную тему или идею так, как, кроме него, их не сможет раскрыть ни один другой художник.

Биографы Башевиса-Зингера отмечают, что у духовного и творческого кризиса, который переживал писатель после 1933 года, были, как минимум, две объективные причины.

Первой из них стала внезапная смерть Яши — 14-летнего сына Исраэля-Иешуа и Гени Зингеров. Нанеся тяжелый удар по старшему брату и невестке, от которого они так и не оправились до конца жизни, она произвела на неизгладимое впечатление и

на Исаака Зингера. Он был искренне привязан к своему одаренному племяннику, и, наблюдая за ним, часто видел в нем самого себя в отроческом возрасте. Смерть Яши Зингера, наложившись на смерть отца и Гины, еще раз напомнила ему хрупкости бытия, о том, как порой «жесток» и «несправедлив» бывает Бог. Долгое время, глядя на снующих по улицам людей, он не мог ни о чем думать, кроме того, сколько же каждому из них осталось до смерти, и если дни человека сочтены, стоит ли ему вообще жить и чем-то заниматься в жизни?

Вместе с тем его мистические настроения усилились, и во всем происходящем, от бытовых мелочей до глобальных политических событий, он теперь видел отчетливое проявление потусторонних сил, незримо вмешивающихся в дела материального мира.

Вторым фактором, оказавшим решающее влияние на настроение Зингера, стал, вне сомнения, приход Гитлера к власти. В мемуарах и в художественной литературе часто можно встретить утверждение, что евреи Польши и Украины не спешили бежать от нацистов потому, что помнили о том, как лояльно немцы относились к евреям в годы Первой мировой войны, и считали слухи о готовящемся «окончательном решении еврейского вопроса» не чем иным, как «пропагандой».

Однако это, безусловно, далеко не так. Значительная часть еврейской интеллигенции Европы прекрасно осознавала ту опасность, которую нес Гитлер и миру в целом, и евреям в частности. Другое дело, что бежать евреям Польши уже в 1933 году было практически некуда.

Братья Зингеры были одними из первых, кто осознал, что реваншистские планы Гитлера и его заявления о евреях — отнюдь не просто слова; что Гитлер приложит все усилия для того, чтобы претворить их в жизнь. Сама окружающая реальность убеждала их в этом. Растущие день ото дня аппетиты Гитлера доказывали, что настанет день, когда немецкая армия снова войдет в Польшу. Не было никаких сомнений, что в этом случае миллионы польских евреев ждет смерть. Это подтверждал и резкий рост антисемитизма внутри Польши. Существовавший, в принципе, всегда, он после победы нацистов в Германии начал непрестанно усиливаться. Многие поляки не скрывали, что они ждут прихода Гитлера, чтобы иметь возможность физически расправиться со своими еврейскими соседями; нацистская партия Польши становилась все более популярной. Несмотря на то, что сам Гитлер считал поляков «неполноценной расой», как выяснилось, многие поляки согласны признать собственную неполноценность, если евреям при этом будет вообще отказано в праве на

существование.

О той атмосфере, которая царила в Польше в те дни, Зингер прекрасно рассказал и в «Семье Мускат», и в «Шоше», и в целом ряде своих рассказов. Наиболее известным из них, безусловно, является рассказ «Голуби» — в мире, где могут бросить камень в голову старику-профессору, увлеченно кормящему голубей, уже никто, даже эти птицы, не может чувствовать себя в безопасности. И когда в финале служанка покойного профессора Эйбюшица Текла выходит, чтобы покормить голубей, они клюют корм «нерешительно, оглядываясь по сторонам, словно боялись быть уличенными в нарушении какого-то птичьего запрета». Если же учесть, что голубь (наряду с лилией, ягненком и оленем) считается одним из символов еврейского народа, то весь этот рассказ, и само его название приобретает совершенно новое звучание.

В 1933 году Исраэлю-Иешуа удалось, наконец, найти путь к побегу из Польши. Испытывающий искреннее уважение и к нему, и к его писательскому таланту главный редактор «Форвертса» Эйб (Авраам) Каган пригласил его на работу в Штаты и пообещал использовать все свои связи, чтобы Исраэль-Иешуа с его семьей в самый короткий срок получили американское гражданство.

Покидая Польшу, Исраэль-Иешуа пообещал младшему брату сделать все возможное для того, чтобы помочь и ему перебраться в США. План Зингера-старшего был прост: сразу после получения гражданства он пришлет Исааку приглашение в гости или рабочую визу, а уже оказавшись в Америке, ему нужно будет всеми правдами и неправдами попытаться остаться в этой стране.

Так и получилось, что весь 1934-й год Иче-Герц Зингер просидел, что называется, на чемоданах, ожидая желанного вызова из Нью-Йорка. Существовал он все это время, в основном, на гонорары от парижского «Экспресса», которых хватало на то, чтобы снимать небольшую квартиру для себя, Руни и ребенка в пригороде Варшавы и еще одну комнатку в самом городе — для работы и любовных утех с другими женщинами. Однако арендная плата пожирала почти весь его доход, и бывали дни, когда вся их с Руней еда за день сводилась к полусладкому чаю да куску хлеба с повидлом.

Если верить тому, что спустя двадцать лет говорил Зингер своему сыну, он предлагал Руне-Рохеле отправиться с ним и ребенком за океан, но в ответ та пожелала ему только «подавиться вместе с Америкой и всеми капиталистами». Судя по автобиографическим книгам Зингера, он делал такое же предложение и другой своей подруге — Стефе Яновской, но та, во-первых, была замужем, а во-вторых, не решилась бросить

своего престарелого отца.

В начале 1935 года пришел долгожданный вызов от брата. В течение нескольких месяцев — в рекордно короткий для польской и американской бюрократии срок — Иче-Герц Зингер оформил все необходимые для выезда документы и, получив от брата деньги на дорогу, отправился покупать билеты.

Явившись в туристическое агентство, он в немалой степени удивил его сотрудников своей просьбой предоставить ему на корабле отдельную каюту. Те просто не могли понять, что 30-летнего мужчину страшила сама мысль о том, что в течение восьми дней (а именно столько длилось плавание из Шербурна в Нью-Йорк) ему придется раздеваться и спать в присутствии незнакомого попутчика, и он готов был заплатить все свои деньги за возможность путешествовать в одиночку. В конце концов, выложив все свои сбережения, Зингер приобрел билет на путешествие в крохотной, с одной койкой и столиком каюте без иллюминатора, и это его устроило.

Когда в Варшавском писательском клубе узнали о предстоящем отъезде Исаака Зингера, там были поражены этим известием. Странным для еврейских писателей был, разумеется, не сам факт его отъезда — в этом смысле, наоборот, многие завидовали ему и мечтали, чтобы и им привалило такое же счастье. Нет, самым странным была для них та поспешность, с которой Зингер покидал Польшу, даже не дожидаясь выхода в свет своей первой книги, хотя она со дня на день должна была поступить в продажу. Писатель, который не хочет подержать в руках свою, пахнущую свежей типографской краской книгу — это было, по их понятиям, уже совершенно ненормально.

Еще более странным показался им отказ Зингера от прощального банкета, который хотели устроить в клубе в его честь. Однако сам Зингер объясняет это тем, что в последние дни перед отъездом он вдруг почувствовал, что родная, так хорошо знакомая ему Варшава вдруг стала для него совершенно чужой. И вместе с городом окончательно чужими и далекими вдруг стали и все те люди, с которыми он столько лет был знаком и даже в какой-то степени дружен.

20 апреля 1935 года, в день рождения Адольфа Гитлера, с двумя чемоданами в руках Исаак Зингер выехал на поезде из Варшавы в Париж. В этих двух чемоданах было все его состояние: смена белья, пара рубашек, еще один костюм, помимо того, который был на нем надет, и рукописи, рукописи, рукописи, содержавшие наброски произведений, одним из которых предстояло войти в сокровищницу мировой литературы, а другим так и остаться незаконченными.

Он прощался с Польшей, в которой прожил больше 30 лет и которая, как ни странно, так и не стала для него родной страной.

* * *

Так Зингер впервые в жизни оказался за пределами Польши, и не удивительно, что это путешествие врезалось ему в память до мельчайших подробностей. Он на всю жизнь запомнил, как вжался в вагонную скамейку, когда поезд пересек границу Германии и в купе с криком «Хайль Гитлер!» вошли немецкие таможенники и контролер билетов.

К тому времени в Польше уже ходили слухи о том, что немцы подвергают польских евреев, следующих через их территорию, унизительным обыскам; заставляют их раздеваться донага и ищут малейший повод для того, чтобы обвинить их в контрабанде, арестовать и отправить в концлагерь. К счастью, его все это миновало — проверив билеты и осмотрев два его чемодана, немцы удалились, однако Зингер оставался в напряжении все то время, пока поезд следовал по территории Германии, и свободно вздохнул лишь когда он пересек французскую границу.

Оказавшись в Париже, где ему предстояло провести чуть больше суток, Зингер дал себе слово ни в коем случае не влюбляться в этот город. Но уже за те минуты, которые таксист вез его до дешевой гостиницы, он понял, что Париж раз и навсегда крепко взял его в плен, и в будущем, если появится такая возможность, он еще не раз приедет сюда.

Каждая улочка, каждый дом вызывали в его памяти стихи французских поэтов, романы любимых с юности Дюма, Гюго и Бальзака.

Явившись в гостиницу ранним утром, Иче-Герц надеялся, что ему удастся в ней отоспаться, но не тут-то было — спустя несколько минут к нему в дверь постучал корреспондент одной из выходящих во Франции еврейских газет с вопросом, не даст ли автор «Сатаны в Горае» короткое интервью? Затем этот же молодой человек устроил Зингеру экскурсию по Парижу, причем выяснилось, что и здесь, как и в Варшаве, есть целые улицы, обитатели которых говорили на идиш и, значит, были его потенциальными читателями. Походив по Парижу, Зингер вместе со своим новым знакомым направился в местный клуб еврейских писателей, где его, оказывается, уже с нетерпением ждали: слухи об отъезде автора «Сатаны в Горае» из Варшавы дошли до Парижа быстрее, чем он до него доехал.

Обстановка в Парижском писательском клубе мало чем

отличалась от такого же клуба в Варшаве, да и сами залы обоих клубов внешне были очень похожи. Зингеру предложили прочесть небольшую лекцию о своем видении будущего еврейской литературы, а затем закидали вопросами об обстановке в Польше. При этом сами парижские писатели были уверены, что им-то оккупация точно не грозит, так как доблестная французская армия всегда сможет дать достойный отпор Гитлеру.

Завершился первый день его пребывания в Париже походом в еврейский театр, где давали поставленный по повести Исраэля-Иешуа Зингера спектакль «Йоше-Эгль», и, глядя на сцену, Ице-Герц почувствовал легкий укол зависти к старшему брату.

Вечером следующего дня, опьяненный Парижем и оказанным ему там приемом, но без единого гроша в кармане, Исаак Зингер был уже в Шенбруне, где сел на пароход, отплывающий в Нью-Йорк.

В первый же день плавания с ним произошли две занятные истории.

Одна из них заключалась в том, что спустя несколько часов после отплытия Зингер решил покинуть свою похожую на крысиную нору каюту и немного прогуляться по палубе. Однако через полчаса такой прогулки он понял, что забыл в каюте ключ от нее и вдобавок… не может вспомнить ни ее номера, ни того, где она находится. Он попытался было спросить, как можно выяснить местонахождение своей каюты у кого-либо их пассажиров или членов команды, но все окружающие говорили исключительно на французском и английском, и упорно отказывались понимать его немецкий, не говоря уже об идише.

Несколько часов Зингер, окончательно заблудившись, бродил по переходам огромного теплохода и уже думал о том, не придется ли ему в течение всех восьми дней ночевать на палубе.

Конечно, все происшедшее можно было бы объяснить его слабой способностью к ориентации в пространстве. Более того — такая слабая ориентация была у него едва ли не наследственной: прожив много лет в Варшаве, его родители тоже не ориентировались в этом городе и путались даже тогда, когда им предстояло отправиться на вроде бы хорошо знакомую улицу.

Однако Зингер объяснил себе это по-другому: он понял, что те самые демоны, которые «опекали» его на протяжении всей жизни в Польше, отправились за ним и в Америку, и сейчас просто забавляются, кружа его всему пароходу. Не успел он об этом подумать, как тут же вспомнил номер свой каюты. Более того — выяснилось, что он стоит буквально в двух шагах от нее…

Вторая же история произошла с ним в столовой парохода.

Стоявший у входа в нее официант сообщил Зингеру, что

остался только один свободный столик, рассчитанный на одного человека. Это писателя как раз вполне устроило. Но вот когда официант спросил его, предпочитает ли он кошерную пищу или будет есть то же, что и остальные, Зингер неожиданно сам для себя ответил:

— Видите ли, я — вегетарианец и хотел бы по возможности получать вегетарианское меню.

Потом он сам не мог объяснить, какая именно сила заставила его произнести эти слова. Он и в самом деле давно уже думал о том, что вегетарианство является самой правильной и нравственной системой питания, однако отнюдь не спешил отказаться от мяса и рыбы. И вдруг в первый день пребывания на пароходе он решился на этот шаг, и с тех пор до конца своих дней (а ему предстояло прожить еще почти 60 лет) оставался вегетарианцем.

Когда он уселся за свой столик и официант огласил список блюд, которые он может предложить Зингеру как вегетарианцу, у сидевших за соседними столиками людей вытянулись лица. Они начали наперебой участливо спрашивать Зингера, чем он болен и что за доктор прописал ему такую диету.

— У меня все в порядке, господа, — попробовал объяснить Зингер. — Просто я считаю, что это аморально — убивать живые существа ради еды, хотя они имеют такое же право на жизнь, как и мы с вами.

Странно, но после этой невинной фразы между Зингером и остальными пассажирами образовалась стена отчуждения. Да и отношение официантов к нему было из рук вон плохим — те словно специально приносили ему зачерствевший хлеб, холодный чай и ни разу не предложили вина, которым они обносили других пассажиров.

Ситуация еще больше обострилась, когда Зингер заявил, что он не хочет есть в общей столовой и просит приносить ему еду в каюту. Матрос, доставлявший ему скудную трапезу, зачастую состоявшую из остатков зачерствевшего, явно вчерашнего обеда, почему-то относился к Зингеру с необъяснимой неприязнью и не желал вступать с ним ни в какие разговоры…

Так продолжалось пять дней — до тех пор, пока Зингер, выйдя на палубу, не обратил внимания на девушку, державшую в руках «Цветы зла» Бодлера. Решившись, Зингер заговорил с ней по-немецки, и девушка ответила сначала на польском, а потом на идиш, который оказался языком ее детства. В повести «Заблудившийся в Америке» Зингер называет ее Зося Фишельзон. Имя это, безусловно, вымышленное, но вот ее история, как и истории других его героинь, действительно реальна.

Зося была дочерью Натана Фишельзона — некогда раввина, большого знатока Талмуда, который крестился и перешел в протестантизм, а затем крестил и свою семилетнюю дочь. Но Фишельзон не просто крестился — он стал известным пастором, а затем и миссионером, работавшим, в основном, среди евреев. Как признается сам Зингер, он тоже пару раз посещал его лекции.

Своей дочери Фишельзон дал образцовое образование, отправив ее в один из пансионов для девочек в Англии, и вот сейчас он пытался спасти от грядущей Катастрофы свое единственное чадо в Америке — его друзья, руководители одной из христианских организаций в Бостоне, обещали добиться для девушки гражданства.

Как и Зингер, Зося чувствовала себя совершенно чужой на пароходе, и в течение всех этих пяти дней ни с кем не разговаривала. Прекрасно владея английским, она переговорила с помощником капитана, и в тот день Исаак Зингер уже обедал за одним столиком с Зосей, причем ему подали вполне приличный вегетарианский обед и, само собой, не обделили вином.

Они действительно оказались во многом родственными душами, а потому проговорили весь вечер и так и не смогли наговориться. Исаак рассказал Зосе о своих философских исканиях, о литературном опыте, обо всех своих женщинах, начиная с Гины. Зося в ответ призналась ему, что боится секса и, хотя ей уже исполнилось двадцать пять лет, она до сих пор девственница…

Три дня, оставшиеся до прибытия в Штаты пролетели для обоих молодых людей совершенно незаметно.

Что же касается девственности, то оказалось, что если у тебя есть на корабле отдельная каюта, то этот единственный недостаток милой попутчицы можно очень легко исправить…

Зося Фишельзон в определенной степени станет прототипом Барбары из «Семьи Мускат», однако Зингер сделает ее убежденной коммунисткой, и привнесет в ее образ фанатизм Руни и Сабины. Но все это будет почти двадцать лет спустя, а тогда, весной 1935 года, им было просто хорошо вместе.

* * *

Дж. Хадда в своей работе о Башевисе-Зингере весьма скептически относится к его рассказу о том, что стать вегетарианцем он решил еще на пути в Америку. «Обращение к вегетарианству случилось для Башевиса относительно поздно; ему было почти шестьдесят лет, — пишет Хадда. — Поэтому

маловероятно, что это решение пришло к нему из чувства сострадания к животным, несмотря на утверждение самого Башевиса… Более вероятно, что его решение не есть плоть было связано с чувствами пост-Холокоста, протестом против человеческой жестокости, неправильного употребления силы и игнорирования жизни. В то же время оно вошло в его жизнь и стало светской версией кашрута, еврейских диетарных законов».

Что ж, возможно Башевис-Зингер и в самом деле лукавит, когда говорит о том, что решение стать вегетарианцем пришло к нему совершенно спонтанно еще в 1935 году — хотя и не совсем понятно, для чего ему понадобилась эта ложь.

Ефим Левертов в помещенной им в интернете работе «Катастрофа европейского еврейства в произведениях Исаака Башевиса-Зингера» усматривает косвенное подтверждение версии Дж. Хадды в самом творчестве Зингера.

«В конце посмертно изданного романа Башевиса-Зингера «Тени над Гудзоном», — напоминает он, — главный герой романа пишет письмо, в котором он связывает охоту на животных с зачатками фашизма. В рассказе «Кровь» говорится о женщине Рише, управляющей имением своего пожилого мужа Фалика. Для забоя скота она нанимает резника Реувена, и это приводит ее к неверности мужу. Так Зингер подводит читателя к мысли, что где льется кровь животных — там и блуд. В большинстве романов и рассказов Зингера их главные герои или вегетарианцы, или люди, которые становятся вегетарианцами по мере своих раздумий о Холокосте, что вполне согласуется с вышеприведенным мнением Дж. Хадда».

И все же возьму на себя смелость утверждать, что Дж. Хадда ошибается, утверждая, что Зингер стал вегетарианцем лишь к 60 годам. Ошибается хотя бы потому, что в 1955 году, когда Зингеру официально было только 51 год, он уже был вегетарианцем — это видно из воспоминаний его сына Исраэля Замира об их первой встрече. В рассказе «Кафетерий», действие которого разворачивается вскоре после войны, Зингер мельком упоминает о том, что его хорошо знали в вегетарианских кафе Нью-Йорка. Да и недоброжелатели писателя, которых у него хватало на протяжении всей жизни, не раз любили упрекать его в том, что когда евреи гибли в лагерях и на фронтах Второй мировой войны, он ел блинчики с сыром в нью-йоркском кафе «Штинбург». Обратите внимание: именно блинчики с сыром, а не кисло-сладкое мясо или фаршированную рыбу! И, значит, по меньшей мере, в годы войны, то есть в возрасте 37–40 лет, он уже был вегетарианцем.

Хотя не исключено, что решение отказаться от животной

пищи и в самом деле пришло к нему не на корабле, а чуть позже и было связано с кровью жертв Холокоста. И все же…

Нет, не думаю — слишком уж это просто, слишком прямолинейно для такой сложной личности, каким был Исаак Башевис-Зингер.

Куда более вероятно, что в рассказе о своем путешествии в Америку Башевис-Зингер написал правду: решение стать вегетарианцем, навсегда избавив себя от чувства вины за то, что ради него убивают ни в чем не повинные живые существа, пришло к Башевису-Зингеру именно на пароходе. И пришло потому, что в тот момент он, впервые в жизни предпринявший подобное, да еще и столь дальнее путешествие испытывал панический страх, как перед возможным крушением корабля, так и перед тем, что ждет его в Америке.

Эти его ощущения и легли в основу его импрессионистского рассказа «На старом корабле», датированным 1936 годом — одного из немногих художественных произведений, написанных во второй половине 30-х годов. Герой рассказа — Натан Шпиндл, «маленький человечек с пухлыми женскими ручками», так же, как и сам Зингер, и как десятки тысяч других евреев Польши, предчувствуя надвигающуюся Катастрофу, пытается эмигрировать из страны с помощью вызова, присланного ему от дяди, живущего в Южной Африке. Уже совсем отчаявшись найти деньги на билет, он набредает на какую-то странную пароходную компанию, берущую на борт пассажиров за те деньги, которые у них имеются; оказывается на каком-то странном корабле, в одной каюте с тремя говорящими на непонятном ему языке матросами. В итоге герой просыпает кораблекрушение и оказывается один на оставленном всеми, гибнущем судне…

И по своей интонации, и по своим художественным приемам эта новелла напоминает самые мрачные новеллы Эдгара По и Вашингтона Ирвинга, прекрасно передавая тот мистический страх, который владел в те годы еврейской интеллигенцией Польши. Страшно было оставлять страну, в которой прожита значительная часть жизни, но еще страшнее и безысходнее было в ней оставаться; страшно было думать о том, что ждет тебя впереди и есть ли у тебя вообще будущее в том краю, в который ты отправляешься.

И потому в рассказе сначала возникает картина местечка, штетла, над которым уже явственно ощущается дыхание гибели, но которое, каким бы неказистым оно ни было, представляет, в сущности, единственное место на земле, где еврей чувствует себя среди своих и где ему всегда протянут руку помощи. Не хочу занимать читателя нудным анализом деталей — оцените, как

точно и «вкусно» это выписано, как блестяще передает Зингер свое пророческое предчувствие конца еврейской Польши, и это — только в 1936-м году:

«Это было сразу же после праздника Кущей. Большой прямоугольный базар, весь расползшийся под долгими ливнями, напоминал большое болото. Домишки вокруг — скособоченные, обмазанные глиной — стояли, казалось, по пояс в засасывающей трясине. Зеленоватые, желтоватые, мшистые крыши отражались в огромных лужах всеми своими заплатами, и можно было подумать, что это разместилось внизу еще одно Богом забытое местечко, подводное, полное потусторонней тоски. Стекла в маленьких окнах чернели, как будто в руинах; вокруг нескольких голых, облезлых врозь торчащих каштанов с горестным криком носилась стая ворон. И Натану Шпиндлу вдруг показалось, что он попал в город мертвых. Водонос с подобранными полами, с мокрой бороденкой и растрепанными пейсами, заговорил голосом настоящего ламедвовника, ну прямо святого, посоветовал обратиться в синагогу.

— Там вам, конечно, скажут, что делать! — прошамкал он благостным беззубым ртом и указал пальцем: — Во-о-он там… Туда вам нужно…

Натану подумалось, что еврей этот хочет сказать ему нечто большее, нечто очень глубокое, предостерегающее: довольно, мол, по миру шляться, возвращайся к своим…»

И дальше Зингер наращивает ощущение страха, странности и ирреальности происходящего, так что становится непонятно: то ли Шпиндл и в самом деле обратился в обычную, заштатную пароходную компанию, то ли связался с некими потусторонними силами, заманивающими его в ловушку; сами обитатели корабля то ли реальные люди, то ли призраки…

В финале, когда Натан Шпиндл, оставшийся один на погружающемся в пучину корабле, взывает непонятно к кому «Гевалд, спасите! Гевалд!», — «маленький человек» окончательно предстает игрушкой в руках Стихии и Истории, вольных делать с ним все, что им заблагорассудится. Сам образ маленького еврея Натана Шпиндла после этого невольно воспринимается как сивол всего европейского еврейства, тщетно пытающегося спастись и столь же тщетно молящего мир о помощи.

* * *

Впрочем, встреча с Зосей Фишельзон помогла Иче-Герцу на какое-то время забыть о своих страхах, а его морское путешествие

в итоге завершилось вполне благополучно.

1 мая 1935 года, в День международной солидарности трудящихся, Исаак Зингер ступил на американскую землю — на берег Голден Медина, «Золотого государства», как называли Соединенные Штаты евреи со времен первых прокатившихся по России погромов.

На этой земле ему предстояло прожить до самой смерти, до которой было еще 56 лет.

Но и она тоже никогда не стала для него родной.

Родной для него по-прежнему была только планета Штетл.

Часть 2
Из теснин

«Из теснин воззвал я к Господу.
Простором ответил мне Господь…»

(Пс. 118)

Глава 1
Импотент

В нью-йоркском порту Иче-Герца встречали его брат Исраэль-Иешуа и писатель Зигмунт Салкин, у которого была своя машина. Из-за этой машины Исраэль-Иешуа и попросил приятеля приехать с ним в порт — ему хотелось показать младшему брату Нью-Йорк, покататься с ним по разным районам города.

Планы у ИИ, как называли Исраэля-Иешуа некоторые его друзья, были на этот день грандиозными. Повозив брата по Бруклину, Кони-Айленду, Элис-Айленду и другим нью-йоркским кварталам, где идиш был в не меньшем ходу, чем английский, Салкин и ИИ направились вместе с гостем в несколько кафе на Манхеттене, где любили собираться еврейские писатели. Здесь они представляли молодого Зингера как восходящую звезду еврейской литературы, напоминая завсегдатаям кафе, что тот является автором «Сатаны в Горае». Иче-Герцу пришлось пожать в этот день немало рук и, по меньшей мере, попытаться запомнить десятки имен писателей, критиков, журналистов, задававших тон в еврейской прессе Америки и диктовавших широкому читателю свои оценки и взгляды.

На какое-то время Башевису стало лестно, что ему оказывают столько внимания, но когда за обедом в одном из кафе брата и Салкина позвали к телефону, и Иче остался за столиком один, он вдруг ощутил всю фальшь оказанного ему радушия. Больше того — он явственно услышал за спиной завистливый шепоток. Вот, дескать, он только-только приехал в Америку, а благодаря брату уже введен в определенный круг, и наверняка быстро получит работу в каком-нибудь издании, независимо от того, годится он для такой работы или нет. Иче-Герц вдруг явственно понял, как тяжело ему будет сходиться с этими людьми, бесконечно далекими от него и по своим убеждениям, и по жизненным принципам. Он снова ощутил себя маленьким мальчиком, совершенно неуверенным в себе, без спросу отправившимся бродить по огромному чужому городу, и когда Салкин и старший брат вернулись за столик, вздохнул с облегчением.

Сразу после обеда эта троица направилась к огромному, многоэтажному зданию, который занимала редакция «Форвертса». Вся площадь вокруг здания была заполнена демонстрантами, размахивающими красными флагами в честь праздника Первого мая. В речи одного из выступавших перед участниками митинга (а на каком же языке, как не на идиш,

могли говорить те, кто решил собраться у редакции главной идишской газеты?) Башевис явственно услышал коммунистические нотки. Когда в ответ на его вопрос Исраэль-Иешуа только пожал плечами и заметил, что коммунисты в последнее время становятся все более влиятельной силой в Штатах, особенно в среде еврейской молодежи, это вызвало у него недоумение. В Польше еврейская молодежь как раз вроде бы начала понимать, что представляют собой коммунисты, и все больше разочаровываться в них. И уж тем более он не ожидал встретить столь страстных последователей марксизма-ленинизма здесь, в «городе Желтого Дьявола», как называл Нью-Йорк Горький.

В «Форвертсе» ИИ поспешил представить брата главному редактору, богу и царю газеты Эйбу Кагану. При этом он не преминул заметить, что Иче-Герц является талантливым писателем и журналистом, на что Каган лишь добродушно кивнул, и сказал, что если это и в самом деле так, он будет рад видеть его в будущем в числе своих авторов. Ну, а из «Форвертса» братья поехали в Алис-Айленд, домой к Зингеру-старшему, где их ждала Геня.

Уже через несколько минут после встречи с невесткой Зингер понял, что время не залечило ее боль от потери сына. Рассказывая о жизни их семьи в Америке, Геня то и дело вспоминала покойного Яшу, снова и снова вопрошая саму себя, остался бы ее мальчик жив, если бы они уехали сюда раньше? Исраэль-Иешуа, которого, очевидно, тоже постоянно мучил этот вопрос, тем не менее постарался перевести разговор на другую тему — он стал рассказывать о том, что за эти два года успел по-настоящему влюбиться в Америку, которая представлялась ему подлинно демократической, свободной страной, открывающей перед каждым огромные возможности. Рассказал он и об оглушительном успехе своего последнего романа «Братья Ашкенази», перевод которого на английский должен был выйти со дня на день.

Но больше всего Иче-Герца потрясла встреча с сыном Гени и Исраэля-Иешуа Йоселе. Когда он попытался заговорить с мальчиком, выяснилось, что за два года жизни в новой стране тот начисто забыл польский и вдобавок начал забывать и идиш — он говорил на нем, то и дело примешивая к своей речи английские слова, так что дядя не всегда понимал племянника.

Уловив его немой вопрос, Геня заметила, что именно так разговаривают с родителями большинство детей в семьях еврейских эмигрантов, а когда они вырастают, то вообще предпочитают говорить только на английском.

Эти ее слова подтвердил и торжественный ужин, данный в честь гостя из Варшавы хозяином дома, в котором снимал квартиру Исраэль-Иешуа (и в котором он уже снял небольшую комнату для младшего брата).

Взрослые сын и дочь домовладельца явно не понимали, о чем говорят между собой на идиш все остальные участники застолья, и лишь время от времени кивали и смущенно улыбались, старательно делая вид, что до них хотя бы немного, «абиселе», доходит смысл раздающихся за столом шуток.

Сидя за этим щедро накрытым столом, Иче-Герц Зингер вновь с болью ощутил, что «территория идиша» сжимается с неумолимостью бальзаковской шагреневой кожи. И дело тут было не только в той угрозе тотального уничтожения, которая нависла над европейским еврейством. Дело заключалось еще и в том, что как только евреи решили вести тот же образ жизни, что и окружающие их народы, разрушить не только физические, но и незримые культурные границы гетто, идиш стал им попросту не нужен. Если среднее и старшее поколение американских эмигрантов еще по привычке говорило и читало на этом языке, то те, кто был привезен в Штаты ребенком, не говоря уже о родившихся здесь детях, не просто не знало идиша, но и более того — усиленно старалось от него дистанцироваться.

И это означало только одно: число потенциальных читателей Зингера с каждым годом будет неуклонно уменьшаться и зарабатывать на хлеб литературным трудом на идиш будет все труднее.

Старший брат подтвердил эти его опасения. По словам Исраэля-Иешуа Зингера, ни один еврейский писатель уже сейчас, в середине 30-х годов, не может прокормить себя исключительно художественным творчеством. Для того чтобы выжить, ему неминуемо нужно заниматься и чем-то другим — преподавать в университете, читать лекции в клубах, или, лучше всего, устроиться журналистом в газету. Впрочем, и для журналистов, пишущих на идиш, работы становится все меньше и меньше. Пока изданий на идиш в стране еще довольно много, но ясно, что по мере естественного уменьшения читателей они начнут закрываться одно за другим. Если же в планы Иче-Герца входит написать и поставить на еврейской сцене какую-либо пьесу, то ему вообще следует поторопиться: еврейских театров, которые совсем недавно собирали полные залы, в Америке почти не осталось.

Остается заметить, что эти пессимистические прогнозы Исраэля-Иешуа Зингера сбылись. Уже в 60-е годы XX века тираж того же «Форвертса» уменьшился настолько, что среди евреев

стала популярной шутка о том, что когда мимо здания редакции проходила еврейская погребальная процессия, редактор газеты давал указание выпустить на завтра на один номер меньше.

Вместе с тем именно Исааку Башевису-Зингеру предстояло стать первым и единственным идишским писателем XX века, который смог зарабатывать на жизнь исключительно литературным трудом и даже сколотить с его помощью небольшое состояние.

* * *

Первые недели жизни Исаака Башевиса-Зингера в Америке пролетели незаметно.

На следующее утро после приезда он вместе с братом направился в магазин модной одежды на Манхеттене, где сменил свой тяжелый варшавский костюм на принятую в Нью-Йорке одежду — легкие парусиновые брюки, столь же легкий пиджак и рубашку с мягким, а не с жестким стоячим воротником, какие было принято носить в Варшаве.

Совершенно ошеломленный, он бродил по нью-йоркским улицам, поражаясь не только изобилию товаров в американских магазинах, но и тому, что здесь свободно продавались фрукты и овощи со всех четырех сторон света, которые вроде бы никак не могли расти одновременно — помидоры, огурцы, клубника, мандарины, яблоки, гранаты…

Широкие связи ИИ в литературных и журналистских кругах Нью-Йорка распахнули перед молодым писателем двери всех литературных салонов и редакций. Жизнь и в самом деле открывала перед ним заманчивые перспективы, и это ощущение невольно кружило голову. Одновременно с каждым новым днем Иче-Герц понимал, что слишком долго нынешнее его положение продлиться не может, да он и не хотел этого. Он знал, что если предложит брату и невестке платить им какие-то деньги за то, что постоянно у них обедает, такое предложение будет с негодованием отвергнуто, а возможно, породит и смертельную обиду. Но и быть нахлебником у Исраэля и Гени, которые отнюдь не были миллионерами, Иче-Герцу не хотелось. И это означало только одно — надо было приниматься за работу.

Полный энтузиазма, все еще пребывая в эйфории, порожденной первыми днями пребывания на американской земле, Башевис засел за новый роман и в течение недели написал сразу две его главы. Роман назывался «Грешный Мессия» и являлся своеобразным продолжением «Сатаны в Горае», только на

этот раз был посвящен Якову Франку — другому лжемессии и еретику, пришедшему на смену Шабтаю Цви.

Когда он показал написанное брату, тот пришел в совершенный восторг и уже на следующий день потащил Иче-Герца к редакцию. Эйбу Кагану первые главы романа тоже необычайно понравились, и он заявил, что готов печатать их из номера в номер и платить за это автору 50 долларов в неделю. Разумеется, 50 долларов в неделю в 1935 году были совсем другой суммой, чем те же 50 долларов до кризиса 1929 года, но все равно для совсем еще «зеленого» эмигранта это была совсем неплохая сумма. За 15 долларов в те годы в Нью-Йорке можно было снять небольшую комнату, а оставшихся 35 вполне хватало и на еду, и на одежду, и на другие нужды…

Через несколько дней «Форвертс» известила своих читателей, что скоро на ее страницах начнет публиковаться новый роман автора знаменитого «Сатаны в Горае», который «потрясет читателей своей художественной силой».

Воодушевленный столь многообещающим началом, Иче-Герц съехал из арендованной для него братом комнатки и переехал в большой доходный дом на Кони-Айленде. Он снял здесь одну крохотную комнатку в огромной, разделенной на такие же комнаты квартире, заселенной эмигрантами из различных стран. При комнатке был небольшой туалет, а вот душевая в квартире была общей — в нее можно было попасть из любой комнаты, и тому, кто хотел принять душ, следовало предварительно запереть изнутри все двери, ведущие к соседям.

И все же это была его квартира, снятая за его деньги, и она давала Зингеру столь необходимое ему в силу самого склада души ощущение независимости.

Купив на полученный в «Форвертсе» аванс пишущую машинку с идишским шрифтом, он уселся за продолжение начатого романа, но… Очень скоро выяснилось, что роман совершенно «не клеится». Один лист бумаги летел в корзину за другим, и за несколько дней, проведенных почти безвылазно в новом жилище, Зингеру не удалось написать ни одной новой главы.

Поначалу он решил, что во всем виновата пишущая машинка — он не привык на ней работать, то и дело бил не по тем клавишам, и в результате писал с невероятным множеством опечаток. Тогда он вернулся к привычной работе с ручкой, но и это не помогло: ему не писалось, и этим было все сказано.

Дело было не в том, что он не знал, что же должно дальше произойти с его героями — сюжет романа он как раз более-менее продумал. Нет, проблема заключалась в другом. Иче-Герц не

чувствовал острой потребности написать эту вещь и был совершенно не уверен в том, что именно он и только он может написать роман на этот сюжет так, как его нужно написать.

Словом, налицо было нарушение двух из трех основных принципов творчества, которые он сам же для себя сформулировал. Башевис надеялся, что через пару дней это ощущение пройдет, но оно не только не проходило, но и, наоборот, становилось с каждым днем все острее.

Все сроки, в течение которых он обещал брату и Кагану представить новые главы романа, давно прошли, а он все еще не написал ни строчки. Конечно, в сложившейся ситуации следовало бы немедленно встретиться с ИИ, все ему объяснить. Но Иче-Герц не мог заставить себя это сделать и избрал наихудшую из всех возможных линий поведения — он не только «исчез» для редакции «Форвертса», но и в течение нескольких недель всячески избегал встреч с братом, ни разу не показавшись у него дома. Он начал подумывать о том, чтобы купить билет до Варшавы, тайно покинуть Америку, а по пути выброситься за борт…

Но в один из дней произошло неизбежное — братья столкнулись на улице.

Исраэль-Иешуа не скрывал своего гнева, и у него были для этого основания.

— Пошли в кафе пообедаем и поговорим! Нам надо очень серьезно поговорить! — сказал он.

— Спасибо, но я только что пообедал, — ответил Иче-Герц, избегая смотреть брату в глаза.

— Где это ты пообедал? — взорвался ИИ. — Посмотри на себя — ты не человек, а ходячий скелет! Что вообще происходит? Ты куда-то пропал, мы с Геней сходим с ума, не случилось ли с тобой чего плохого? Ты же помнишь, что я обещал папе и маме присматривать за тобой…

Уже в кафе, когда действительно оголодавший за последние дни Иче-Герц с аппетитом съел тарелку супа, ИИ перешел к главному.

— Те главы романа, которые ты отдал, уже в наборе, — сообщил он. — Корректор и выпускающий редактор ищут тебя, где только можно, так как они обнаружили в тексте несколько логических неувязок и стилистических погрешностей и хотят, чтобы их исправил именно автор. Кроме того, где продолжение? Нам нужно с ним начинать работать…

— Рукопись у меня дома, — ответил Зингер-младший.

— Что ж, в таком случае мы сейчас пойдем к тебе домой. Прямо там я прочту текст, внесу, если посчитаю нужным, какие-

то правки, и потом мы сразу же поедем в редакцию!

Понятно, что после этого Иче-Герцу не оставалось ничего другого, как признаться во всем.

Некоторое время ошеломленный этим известием Исраэль-Иешуа сидел молча, копаясь вилкой в давно остывших зразах.

— Это я виноват во всем, — наконец, сказал он. — Конечно, не надо было предлагать к печати, а тем более рекламировать незаконченную вещь. Но, с другой стороны, ты сам говорил, что писал «Сатана в Горае» именно так — главами, которые затем из номера в номер публиковались в «Глобусе». Кто же мог знать?! Кстати, поздравляю: из Варшавы пришла твоя книга. С учетом возможностей польских типографий она издана очень даже неплохо. Правда, там полно опечаток — уже в предисловии Цейтлина тебя вместо оккультиста назвали окулистом. Ладно, писатель-окулист, не вешай носа — у меня тоже были периоды, когда совсем не писалось. Но так как роман заявлен, то дописывать его придется. А пока пойду скажу Гене, что блудный брат нашелся…

По настоянию брата и Эйба Кагана Зингер и в самом деле дописал роман «Грешный Мессия», получив за него суммарно в качестве гонорара тысячу долларов. Однако сам он считал это произведение провальным и никогда не пытался его переработать или переиздать.

Тогда же, летом 1935 года, Исаак Зингер решил, что как писатель он навсегда закончился, превратившись в полного творческого импотента. Но ведь, кроме того, чтобы писать, он ничего не умел…

* * *

Навалившийся на Зингера творческий кризис продолжался почти восемь лет. В течение всего этого времени он создал лишь несколько небольших рассказов, опубликованных в том же «Форвертсе», а жил исключительно с помощью литературной и журналистской поденщины.

Первые месяцы после окончания работы над романом, он целыми днями лежал в кровати, уставившись в потолок и лишь изредка выбираясь из дома для того, чтобы поесть в каком-нибудь дешевом кафе. Но иногда у него не было денег и на это. Тогда единственной его едой за день, а то и за два были кофе с булочкой и яичницей из одного яйца, которое подавала ему хозяйка квартиры, либо бутерброды, принесенные женщиной, которую Зингер в одних своих произведениях называет Эстер, в

других — Ноша, и к личности которой мы еще вернемся. Вот как Зингер описывает самого себя того периода жизни в рассказе «Один день на Кони-Айленде»:

«…Я скорчил рожу своему отражению. Н-да, не красавец — водянисто-голубые глаза, воспаленные веки, впалые щеки и выпирающий кадык. От моих рыжих волос уже почти ничего не осталось. Хотя я, можно сказать, жил на пляже, кожа оставалась болезненно-бледной. У меня был тонкий бескровный нос, острый подбородок и плоская грудь. Мне часто приходило в голову, что я смахиваю на злого духа из собственного рассказа…»

Безусловно, в подобном бедственном положении был тогда не один Зингер — точно такое же полуголодное существование вели в те годы тысячи и тысячи других еврейских «туристов» из Европы, пытавшихся всеми правдами и неправдами остаться в Штатах. Хуже всего, разумеется, приходилось именно представителям творческой интеллигенции, которая, не владея английским языком, не умея приспосабливаться к жизни, оказалась совершенно не у дел. О трагедии и том душевном и духовном надломе, который переживала эта часть еврейской эмиграции в США, Зингер расскажет позже в одном из лучших своих рассказов «Спиритический сеанс».

Бездеятельность и апатия Зингера-младшего вызывали возмущение у многих знакомых и друзей Исраэля-Иешуа Зингера. Многие из них считали, что его младший брат достаточно молод и здоров, у него, слава Богу, есть две руки и две ноги, так что он вполне мог бы заняться каким-нибудь физическим трудом. Скажем, пойти работать грузчиком в порт или устроиться на завод. Однако ИИ категорически отвергал эти предложения.

— Это просто невозможно, — объяснял он. — Во-первых, пока я жив, я никогда не допущу, чтобы мой брат убивал себя на какой-нибудь черной работе. Во-вторых, что вам сделал владелец какого-то завода, что вы его так не любите?! Поручать Иче работу у станка не просто бессмысленно, но и опасно: хотя у него и в самом деле есть две руки, но обе они — левые!

ИИ попытался привлечь брата к живой журналистской работе в «Форвертсе» и в качестве первого задания поручил ему написать очерк о забастовке, объявленной профсоюзом докеров в нью-йоркском порту. Башевис-Зингер и в самом деле поехал в порт, но вернулся оттуда, как и некогда из Варшавского суда, с пустыми руками — по его словам, он так и не понял, почему докеры бастуют, что их так раздражает, и вообще их проблемы ему совершенно не интересны.

И все же сказать, что в первые месяцы пребывания в стране Иче-Герц только и делал, что лежал и плевал в потолок, было бы

неправдой. Именно в это время он усиленно изучал английский язык, и вскоре, хотя еще и не говорил, но свободно читал на этом языке. Спустя много лет, в интервью с Ричардом Бурджиным, когда тот выразил удивление тем, насколько свободно Зингер владеет английским, тот поделился с ним своими секретами изучения языка:

«Я нашел учительницу, приятную молодую девушку по имени Мона Шуб. Кроме того, я занимался и сам. Я купил для себя карточки и написал на них необходимые мне слова и их перевод на идиш — можно сказать, составил свой собственный словарь. Каждый вечер перед сном я вновь повторял все эти слова, пока не заучивал их наизусть. Я пробовал также читать Библию на английском. Спустя год я уже мог свободно объясниться с любым человеком на улице. Я даже мог флиртовать с моей преподавательницей. Главное заключалось в том, что я действительно сильно хотел изучить английский. Я знал, что если не выучу язык, то буду окончательно потерян в этой стране. Но писатели-эмигранты крайне редко овладевают английским на уровне родного. Исключение составляет разве что Набоков. Само собой, я никогда не пытался писать на английском. Я знал, что до конца жизни буду писать только на идиш…»

В 1936 году Зингер-младший, благодаря своему знанию английского и широкой эрудиции, начал вести в «Форвертсе» развлекательно-познавательные колонки под рубриками «Это интересно», «Это стоит знать», «Знаете ли вы?» и т. д.

Эти колонки обычно использовались для заполнения пустых мест в случае нехватки в газете актуальных материалов о тех же забастовках, съездах профсоюзов и др. важных событиях.

Зингер, продолжавший интересоваться всем, что происходило в различных областях науки, щедро потчевал читателей «Форвертса» сведениями о том, какой зверь быстрее всех бегает, какова прочность человеческого волоса, откуда дырки в сыре и т. п. и все эти рубрики пользовались успехом у читателей. Зингер подписывал их обычно псевдонимом Д.Сегал. Это имя, как ни странно, было известно читателям куда лучше, чем имена главных политических обозревателей и репортеров газеты. Точнее, это было не только не странно, но и вполне закономерно — именно так обстоит дело во всех газетах мира.

Вот как сам Зингер об этом с улыбкой вспоминал в рассказе «Тоскующая телка»:

«После некоторого колебания я решил сказать ему правду: пишу, мол, для газеты на идише как внештатный сотрудник. Глаза фермера срезу загорелись:

— Как ваше имя? Что вы там пишете?

— Я веду рубрику «Куча фактов».

Фермер всплеснул руками и притопнул ногой:

— Вы автор «Кучи фактов»?

— Да, я.

— Господи! Я же читаю вас каждую неделю. Я специально езжу в поселок по пятницам за газетой. И не поверите, но я читаю «Кучу фактов» даже прежде новостей. Все новости скверные. Гитлер то, Гитлер се. Гори он огнем, пройдоха, негодяй! Что ему надо от евреев? Разве они виноваты в том, что Германия проиграла войну? От одного чтения этих новостей может хватить удар. А вот ваши факты — это знание, наука. Это правда, что у мухи тысяча глаз?

— Правда.

— Как это возможно? Зачем мухе столько глаз?

— Должно быть, природе все под силу.

— Если хотите видеть природу во всей красе, оставайтесь здесь. Подождите минутку. Я должен пойти сказать жене, кто у нас в гостях…»

Помимо ведения таких рубрик, раз в неделю Зингер выполнял в «Форвертсе» обязанности ночного выпускающего редактора, в задачу которого входило вычитывание материалов газеты непосредственно перед выпуском. Эта работа приносила Зингеру все те же 40–50 долларов в неделю, на которые можно было перебиваться с хлеба на квас, но не более того.

Были у Зингера в тот период еще два приработка, о которых он никогда не вспоминал в беседах с журналистами, но о которых хорошо знали в писательской среде.

Первый из них заключался в том, что Зингер писал… короткие порнографические рассказы и тексты для комиксов по заказу нескольких еврейских издателей. Так как речь шла о «непристойной литературе», то вся эта продукция никогда не выставлялась на прилавки еврейских книжных магазинов, а продавалась тайно, особо доверенному кругу покупателей. Разумеется, ее автор оставался безымянным.

Другой источник приработка заключался в том, что Зингер, вспомнив полученные им в детстве и в юности знания, писал статьи и даже книги за известных американских раввинов, зачастую получивших это звание без должного религиозного образования, но страстно желающих закрепить за собой реноме знатоков Торы. Не случайно именно такой работой зарабатывает себе на жизнь Герман Брудер — главный герой романа «Враги. История любви». Лично у автора этих строк есть большое подозрение, что роковая ошибка в именах ангелов, допущенная героем «Врагов» при написании им статьи за известного раввина,

вызвавшая такое возмущение последнего, была в свое время допущена самим писателем.

Причем оба эти приработка для Зингера не только не противоречили друг другу, но и воспринимались им как нечто вполне естественное.

Более того — оба они отвечали складу его натуры и доставляли ему определенное творческое удовлетворение. К тому же и источник у них был, по сути дела, один: те же книгоиздатели, которые заказывали Иче-Герцу порнографические рассказы и комиксы, знакомили его и с раввинами, желавшими издать от своего имени брошюру на ту или иную религиозную тему. Наконец, сам Зингер усматривал в этом определенный перст судьбы и знак, подаваемый ему с того света отцом — ведь и Пинхас-Мендель в свое время тоже писал статьи и книги за радзиминского ребе.

Такая работа позволила Зингеру оживить в памяти весь хранившийся в ней пласт религиозных источников, заново перечитать и переосмыслить многие из них, познакомиться с новыми книгами Хефец-Хаима, рава Соловейчика, рава Кука и др. выдающихся еврейских религиозных мыслителей XX века. Это, безусловно, значительно расширило его эрудицию и было потом использовано им в последующем творчестве.

В это же самое время Иче-Герц Зингер получил первые письма от Руни — сначала из Стамбула, где она с сыном оказалась после депортации из СССР, а затем из Палестины, куда они, наконец, благополучно прибыли.

В письме из Тель-Авива Руня рассказывала о своем житье-бытье, о том, как вырос и каким смышленым оказался их сын. Кроме того, разумеется, Руня задавала вполне резонный вопрос о том, считает ли он все еще действительным их неформальный брак; намерен ли он воссоединиться с ней в Палестине, а заодно спрашивала, не может ли он как-то помочь ей и сыну, так как они крайне бедствуют.

Вот что написал Зингер в ответ на это первое письмо Рони:

«…Тот факт, что я сумел выучить английский и установить тонкую связь с англоязычной Америкой, мне пока ничего не принес. У Америки, говорящей по-английски, тоже свои проблемы и болезни. Америка же, говорящая на идиш, это — сущий ад, она опускает человека на самое дно жизни, выдавливает из него все соки, и я стараюсь от нее держаться подальше настолько, насколько ты можешь это себе вообразить.

Я снова работаю и чувствую себя человеком, который весьма преуспел в том, чтобы избежать опасности сойти с ума. Но я навсегда распрощался с мечтой жить за счет беллетристики и

публикации своих произведений в «Форвертсе».

Да, я немного работаю в «Форвертсе», но делаю там чисто техническую работу и еще что-то перевожу, но мне и в голову не приходит опубликовать какой-нибудь роман в «Форвертсе», да и упаси Бог быть беллетристом в этой газетенке. Сама мысль о том, чтобы в ней печататься, вызывает у меня отвращение к писательскому труду. Я ненавижу тот вульгарный идиш, на котором пишут ее авторы, не приемлю их взглядов, не говоря уже о стиле и содержании их опусов. Но я тешу себя надеждой, что и для того читателя, для которого я хотел бы писать, тоже где-нибудь найдется уголок. Я все еще верю, что когда-нибудь меня ждет успех…

Но пока я беден, а точнее, нищ, как синагогальная мышь, хотя худшее я, кажется, уже прошел. Хорошо, что проблема денег, о которой ты пишешь в своем письме, для нас обоих всегда была не так уж важна. Поверь, что после того, как я выслал тебе 15 долларов, у меня не осталось в кармане даже цента на то, чтобы купить коржик…»

Это датированное 1938 годом письмо ясно показывает, что к тому времени Зингер уже начал выходить из затянувшегося творческого кризиса. В этот период он заполнил всевозможными набросками и конспектами сюжетов несколько записных книжек, и не исключено, что именно тогда, на пороге Второй мировой войны, в его голове родились замыслы, питавшие затем его творчество на протяжении двух последующих десятилетий, а то и дольше.

Но самая большая ирония судьбы заключалась в том, что именно Зингеру, с таким сарказмом писавшему о публикуемой на страницах «Форвертса» беллетристике, вскоре предстояло стать ведущим беллетристом этой газеты и оставаться таковым многие годы. На страницах этой газеты увидят впервые свет почти все произведения, которые принесут ему поистине мировую славу; ей он в значительной степени будет обязан своим материальным благополучием.

Однако когда спустя 13 лет после этого письма Башевис-Зингер будет сидеть с сыном в кафе и тот оставит на тарелке кусок яичницы, уважаемый и неплохо обеспеченный писатель аккуратно подцепит этот кусочек ломтиком хлеба и отправит себе в рот.

— Я слишком долго жил впроголодь, чтобы спокойно видеть, как кто-то оставляет на тарелке пищу, — объяснит он.

Глава 2
Оргия с мертвецами

Если в области творчества Зингер и в самом деле на какое-то время превратился в «законченного импотента», то это никак не повлияло на сжигавший его сексуальный огонь. Жизнь вновь и вновь убеждала его, что он обладает неким особым гипнотическим влиянием на женщин, словно некая незримая сила и в самом деле гнала их в его сети. Он никогда не предпринимал первым попытки перевести знакомство с той или иной женщиной на постельный уровень (для этого он, по собственному признанию, был слишком робок и стеснителен), и эта инициатива, как правило, исходила от них самих, причем порой от вполне добропорядочных и замужних особ. Связей с последними Зингер старался избегать, вновь и вновь давая себе слово соблюдать заповедь «не прелюбодействуй», однако каждый раз «под влиянием обстоятельств» вновь и вновь преступал ее.

То, что с ним было в Варшаве, повторилось и в Нью-Йорке: у него появилось сразу несколько любовниц, причем все они всерьез рассчитывали на брак. Не желая обижать ни одну из них, боясь причинить им душевную боль, Зингер, так же, как и в Варшаве, ничего ни одной из этих женщине не обещал, но и ни разу не дал понять, насколько беспочвенны их надежды, и в результате все больше и больше запутывался в этих отношениях.

И все же в первые три года пребывания в Америке главными для него стали взаимоотношения с тремя женщинами, каждая из которых была в равной степени важна и дорога ему.

Первую из них в рассказе «Один день на Кони-Айленде» он называет Эстер и представляет ее как бывшую жену «коммуниста и шарлатана».

В повести «Заблудившийся в Америке» эта же женщина возникает как Ноша-Нехама, и теперь она уже оказывается эмигранткой из России, женой талантливого русского художника Бориса, покончившего жизнь самоубийством и оставившего ее одну с сыном выживать в чужой стране.

Прототипом Эстер и Ноши стала Белла — вдова скульптора Мориса Дикаря, с которой у Зингера была страстный роман. Эта женщина действительно была на несколько лет старше 33-летнего писателя, у нее действительно был ребенок, и она и в самом деле… продолжала страстно любить своего покойного мужа.

Подрабатывая печатанием на машинке рукописей идишских писателей, «Ноша» была знакома со многими из них, но в течение

нескольких лет, несмотря на множество делаемых ей предложений о браке, продолжала жить одна.

С Иче-Герцем Зингером она сошлась именно потому, что и внешне, и своей полной неприспособленностью к жизни он напоминал ее Мориса. Зингеру же она, в свою очередь, напоминала его первую любовь, покойную Гину, и это подстегивало его желание.

Оба они не скрывали друг от друга, что живут прошлым, и часто, сжимая Беллу в объятиях, Зингер называл ее Гиной, а она его — Морисом. С этими двумя покойниками были связаны и разговоры, которые они вели в постели, и большинство их сексуальных фантазий. Так что, как иронично замечал Зингер, каждая их встреча превращалась в настоящую оргию с участием четверых человек, двое из которых не значились в списке живущих. Впрочем, Зингеру и самому в то время порой казалось, что на самом деле он тоже давно уже умер и все происходящее с ним — это сон, который он видит уже после смерти.

Второй женщиной, к которой он по-настоящему привязался, стала та самая Зося Фишельзон, с которой он познакомился на пароходе. Зося поселилась в Детройте, у покровительствовавших ее отцу христианских миссионеров, однако вдруг обнаружила, что ее непреодолимо влечет к иудаизму, и стала подумывать о возвращении к религии предков. Окончательно запутавшись в своих мировоззренческих поисках, оставив учебу в университете и не представляя, как ей жить дальше, Зося написала письмо на имя Зингера в редакцию, и он немедленно на него откликнулся. Это положило начало их связи, продолжавшейся в течение нескольких лет — вплоть до того самого момента, когда Зося окончательно вернулась в еврейство и вышла замуж за преуспевающего бизнесмена, бывшего намного старше ее.

Но ведь была еще и Руня, Рахель Шапира, мать его сына, с которым Зингер (вопреки своим собственным декларациям о том, что он никогда не любил и не хотел иметь детей) чувствовал всю жизнь экзистенциальную связь. И такую же связь он, очевидно, вопреки всему, чувствовал и с Руней — иначе просто не объяснить то, почему он вплоть до 1940 года, то есть до женитьбы на Эльме Хайман, подробно отвечал на каждое ее письмо.

Руню, как уже говорилось, интересовали дальнейшие планы Зингера и, в первую очередь, вопрос о том, собирается ли он приехать в Палестину, чтобы воссоединиться с ней и сыном? И хотя, как уже говорилось, Зингер давно уже решил для себя, что ему нечего делать среди сионистов, он никак не мог заставить себя сказать об этом Руне прямо и продолжал ее обнадеживать — теперь уже в письмах.

Вот, к примеру, что он писал ей летом 1938 года:

«Ты спрашиваешь меня о возможности моего приезда в Палестину? Это моя давняя мечта. Ты же знаешь, что я большой сторонник заселения Палестины и развития иврита. Я надеюсь, что при первой же возможности (то есть тогда, когда у меня появится необходимая сумма) я сяду на пароход и с удовольствием сойду с его трапа в Тель-Авиве.

…Напиши мне подробно обо всем. Как тебе живется, и чем ты занимаешься в Палестине? Палестина — это, слава Богу, свободная страна, и из нее можно писать все, что ты хочешь. Слава Богу, Палестина не находится под властью сталинского режима, под которым люди живут в постоянном, круглосуточном страхе… Чтоб они провалились в преисподнюю вместе со своим «социализмом»! Я верю, что в палестинских кибуцах куда больше социализма, чем во всей современной России…»

А вот следующее его письмо к Роне, датированное тем же годом:

«…Что бы я сейчас отдал за то, чтобы иметь возможность оказаться в Палестине, чтобы увидеть тебя и нашего дорогого Гиги, которого так люблю и по которому так скучаю. Я очень надеюсь и глубоко верю, что пройдет не так уж много времени, и я смогу «подскочить» к вам, и вот тогда мы с тобой поговорим обо всем.

Годы, которые мы не были вместе, — три с половиной года — сделали свое дело. Я помню о тебе всегда и не буду отрицать, что годы, проведенные с тобой, были временем моего счастья, несмотря на все наши разногласия и споры, о которых знаем только мы вдвоем. Я скучаю по тебе и часто думаю о той близости, которая была между нами. И даже если пройдет тысяча лет, я не смогу забыть о нашей маленькой квартирке на Ляшно, 57, которая стоит перед моими глазами, как будто я оставил ее только вчера — с нашей общей кроватью и со всем, что там было. Я также помню все конфликты, которые были между нами с того дня, как мы познакомились, и вплоть до того дня, как расстались. Я не могу и не хочу сейчас судить, кто в них был прав, а кто виноват. Я думаю, все дело в наших совершенно разных, прямо противоположных друг другу характерах и взглядах на жизнь. И все же, несмотря на это, я чувствую, что безумно скучаю и по тебе, и по сыну. Я скучаю по нашим ласкам и играм, и вместе с тем я бы не хотел, чтобы еще раз повторились все наши ссоры, все эти уходы из дома с хлопаньем дверью и все прочие наши беды тех дней. Когда я начинаю заново выстраивать мысленно наши отношения, я вижу, как много было в них любви и нежности, но при этом в них никогда не было тишины и покоя. Как мне кажется, мы должны

заново поговорить обо всем этом, исповедаться друг перед другом… И если меня в будущем ждут те же ссоры и проблемы, то мне бы не хотелось к ним возвращаться, но вместе с тем мне очень хочется быть рядом с тобой и с сыном. В конце концов, то, что было для нас существенно в 20 лет, становится не так уж важно к 30 и вообще перестает иметь значение к сорока. Сейчас мне уже 34 года, и за последние три года мои взгляды на многое сильно изменились. Трудно поверить, что мы с тобой живем уже на четвертом десятке нашей жизни…»

Парадокс личности Башевиса-Зингера (хотя какой там парадокс — в этом смысле он действительно был обычным мужчиной!) заключался в том, что когда он писал эти письма, он искренне верил, что пишет чистую правду. На самом же деле, в то самое время, когда Зингер писал Руне о своей мечте приехать в Палестинку, его куда больше заботил вопрос о том, каким образом он сможет остаться в Америке.

* * *

В 1937 году истекли два года, в течение которых Зингер мог оставаться в США по туристической визе, и над ним нависла угроза депортации.

Ситуация в Европе тем временем не только не улучшилась, но и продолжала усугубляться. После аншлюса Австрии и пресловутого Мюнхенского договора ни у одного здравомыслящего человека уже не оставалось сомнений, что Гитлер на этом не остановится, а пойдет дальше, причем очень скоро жертвой его агрессии станет Польша.

Таким образом, возвращение в Польшу для обретающихся в США еврейских туристов было равносильно самоубийству, однако американские власти отнюдь не собирались потворствовать нелегальной еврейской эмиграции в свою страну.

Все это привело к тому, что в конце 30-х годов в Штатах появилось немало адвокатов, обещавших туристам-евреям добиться для них статуса беженца, вида на жительство или даже гражданства, бравших за свои услуги весьма приличные деньги, но при этом отнюдь не спешивших выполнять свои обязательства перед клиентами. Исаак Зингер обратился поначалу к одному такому адвокату с просьбой помочь ему остаться на законных основаниях в Америке, но месяц шел за месяцем, а тот вовсе не спешил заниматься его делом.

К тому же, как выяснилось, для получения какого-либо законного статуса в Америке нужна куча документов из Польши,

которые Зингер и не подумал привезти с собой из Варшавы. В список требуемых документов входили свидетельство о рождении, справка о состоянии физического и психического здоровья на момент выезда из США и — самое главное — справка из польской полиции, что за все время проживания на территории Польши он не совершал никаких уголовных преступлений и не подвергался уголовному преследованию. Зингер написал письма нескольким своим друзьям в Варшаву с просьбой как можно скорее прислать ему все эти бумаги, но ответа на эти свои послания так и не получил. Впрочем, он и сам понимал, что мало кто захочет ради старой и уже начавшей забываться дружбы выдерживать сражение с антисемитски настроенной польской бюрократией; тратить на добывание этих справок часы, а то и дни, и потому не особенно и рассчитывал на то, что когда-нибудь нужные документы окажутся в его руках.

Но то, что не смогла сделать старая дружба, сделала старая любовь. Стефа Трейлер, она же Стефа-Лея Яновская, с которой судьба свела его в 1925 году и с которой он продолжал поддерживать отношения вплоть до отъезда из Польши, сумела выстоять во всех очередях, пройти через все нужные инстанции, чтобы добыть для любимого мужчины то, что он просил. Однако только наличие документов еще ничего не решало — польский турист Исаак Зингер уже получил по почте требование из МВД США немедленно покинуть страну.

В этой ситуации у него было три выхода.

Первый из них заключался в том, чтобы «залечь на дно», укрыться от глаз иммиграционной полиции и постараться прятаться от нее как можно дольше.

Это означало, что он будет вынужден найти себе какое-нибудь убежище, как можно реже выходить из него на улицу, трястись от страха при каждой встрече с полицейским и жить на иждивении брата и на скудные подарки от еврейских благотворительных организаций. Что ж, многие оказавшиеся в США евреи выбирали именно такой путь, моля Бога о том, чтобы Гитлер… как можно скорее напал на Польшу, так как ходили слухи, что в этом случае всем польским гражданам будет автоматически предоставляться статус беженца.

Второй выход состоял в женитьбе на женщине, уже обладающей американским гражданством — в этом случае он через три года становился бы полноценным гражданином Америки. Зингер знал, что предложи он Белле Дикарь такой брак, та никогда бы ему в этом не отказала бы. Но знал он также и то, что при этом не сможет быть ни хорошим мужем, ни хорошим отцом для ее сына, а значит, этот брак был изначально

нечестным, и потому сама мысль о нем претила Зингеру. Претила настолько, что он сказал самому себе, что лучше отправиться в пасть Гитлеру, чем вступить в брак исключительно ради спасения своей жизни (хотя таких браков в Америке того времени заключалась немало). В какой-то момент внутренний голос начал нашептывать ему, что на самом деле он любит Беллу-«Ношу», а потому ничего предосудительного в таком браке нет, но Зингер тут же напомнил сам себе, что в глазах всех его американских знакомых это все равно будет брак ради гражданства; представил, как будут понимающе усмехаться, глядя на него, завсегдатаи литературных кафе, и окончательно отказался от этой идеи.

Но оставался еще один, третий путь продления туристической визы, который предложил ему один из нью-йорских адвокатов, специализировавшийся на легализации зарубежных туристов. Путь этот заключался в том, что туристы без всяких документов, то есть незаконно, по знаменитому Виндзорскому мосту вместе с толпой других, вполне легальных туристов переходили границу США и Канады. Сопровождал их в этом переходе специально нанятый адвокатом проводник, который заранее обо всем договаривался с канадскими пограничниками. Уже оказавшись в Канаде и получив по почте пересланные адвокатом документы, турист должен был обратиться в американское консульство и, представившись беженцем из Польши, попросить политическое убежище в США. На этом этапе в дело снова вмешивался адвокат, призванный убедить власти, что отказ в предоставлении убежища еврею-беженцу из Польши антигуманен.

После этого туристу оставалось лишь пройти медосмотр с тем, чтобы американские врачи засвидетельствовали, что он не является инвалидом — и он мог возвращаться обратно в Штаты, уже на совершенно законных основаниях, с новым правом на жительство еще на три года.

За свои услуги адвокат запросил 1500 долларов — астрономическую для Зингера сумму. Однако 1000 долларов у него была отложена еще со времени получения гонорара за опубликованный в «Форвертсе» роман «Грешный Мессия», а еще 500 долларов и все остальные связанные путешествием в Канаду расходы взял на себя Исраэль-Иешуа Зингер.

В повести «Заблудившийся в Америке» Исаак Башевис-Зингер подробно рассказывает обо всех перипетиях получения им нового вида на жительство. Он вспоминает, как его напугала сама мысль о том, что он должен совершить некий противозаконный поступок; как адвокат стал уверять его, что вероятность того, что он попадется, крайне мала, меньше, чем один на тысячу, но

Зингер продолжал дрожать, как осиновый лист, и сказал, что он как раз и есть то самый один из тысячи, который должен попасться… И самое любопытное, что он и в самом деле вел себя и при переходе через границу и на территории Канады настолько неестественно, что несколько раз обратил на себя внимание канадских полицейских.

Рассказывает он и о том, что в эту поездку за ним увязалась и Зося Фишельзон, которой оставалось всего несколько недель до свадьбы. Проведенная ими ночь в гостинице в Торонто стала их последней ночью — больше они не виделись.

Сразу по возвращении в Нью-Йорк в качестве его законного жителя Зингера ждал еще один удар — расставание с Беллой. Оказывается, зная, в каком он оказался непростом положении, Белла до последнего ждала, что он сделает ей предложение. Когда же такого предложения не последовала, она справедливо решила, что пришло время подумать об устройстве собственной судьбы и разорвала их отношения.

В рассказе «Один день на Кони-Айленде» (в нем он называет Беллу не Ношей, а Эстер) Зингер представляет несколько иную версию этих событий: во время разговора в кафе со знакомым журналистом, туда вошла «Эстер». В это время приятель Зингера сам заговорил о том, что он может жениться на «Эстер», и таким образом решить свою проблему с гражданством.

Лучшего способа предать огласке их отношения и оформить их и желать было нельзя — ведь теперь все произошло бы не по инициативе самого Зингера, а с помощью некого посредника, являющегося автором этой идеи.

«Эстер взглянула на меня. Я прочитал в ее взгляде вопрос, мольбу, осуждение. Я понимал, что мне нужно как-то отреагировать, сказать что-то серьезное или шуточное, но ничего не приходило в голову. Я вспотел. Рубашка намокла и прилипла к спине…» — пишет Зингер.

И уже затем следует эффектный, мгновенный, как спуск курка, финал:

«В своем поединке с Высшими Силами я в тот день выиграл доллар с небольшим, но проиграл любимую женщину и возможность остаться в Америке».

Впрочем, как уже было сказано, очень скоро после этого в жизни Зингера появляется еще одна женщина, которая отныне будет рядом с ним до его последнего вздоха.

* * *

Ее звали Эльма, Эльма Хайман.

Урожденная Вассерман, она родилась и выросла в Германии в настолько ассимилированной еврейской семье, что не знала ни слова на идиш. Отец Эльмы, владевший текстильной фабрикой и несколькими магазинами по оптовой продаже тканей, дал своей дочери блестящее классическое образование, но это образование не включало в себя никаких знаний об иудаизме и еврейской литературе — в этом смысле Эльма была полной невежей.

Юность Эльмы была типичной юностью немецкой девушки из зажиточной семьи: она любила шумные вечеринки, дорогие рестораны, много путешествовала с родителями по Европе, а лето непременно проводила у родственников в Швейцарии. В 1927 году Эльма по настоянию отца вышла замуж за своего дальнего родственника, бизнесмена Вальтера Вассермана, принадлежащего к тому же кругу преуспевающих немецких евреев, что и Хайманы. В 1936 году Вассерманы с двумя детьми — Ингой и Клаусом — эмигрировали в США. При этом, в отличие от многих других еврейских семей, им удалось спасти свои деньги, переведя их в Штаты через Швейцарию. Родители Эльмы также намеревались переехать в Америку, но для начала решили «завершить все дела», и в результате погибли в концлагере.

Вряд ли нужно говорить о том, что уровень жизни семьи Вассерман разительно отличался от уровня жизни Исаака Зингера — Эльма не знала ни в чем нужды, и если ей действительно чего-то не хватало в Америке, то того светского общения, которое было у нее в Германии.

Ее знакомство с Зингером состоялось летом 1937 года, когда она вместе с детьми выехала на дачу в расположенный неподалеку от Нью-Йорка поселок Монт-Найдел, где, как в свое время польском Отвоцке, любила проводить летние месяцы еврейская интеллигенция. Выйдя однажды на общую кухню огромной дачи, Эльма обнаружила на ней молодого лысеющего голубоглазого еврея. Как выяснилось, комнату на этой даче для своей семьи снял его старший брат, но так как дела задерживали его в Нью-Йорке, то он разрешил отдохнуть здесь младшему.

Слово за слово, и между скучающей женой преуспевающего бизнесмена и писателем-неудачником завязался разговор. Затем они отправились на прогулку, и новый знакомый с удовольствием играл с ее детьми. Короче, это был обычный курортный роман, который должен был закончиться с упаковкой чемоданов.

Но он не закончился. Эльма и Айзек, как она всю жизнь называла Зингера, стали встречаться в Нью-Йорке, причем эта связь доставляла Эльме немало страданий: какой бы ассимилированной ни была ее семья, она выросла на еврейских

семейных ценностях, и супружеская измена была в ее представлении самым тяжким из всех грехов. Несколько раз она пыталась разорвать свою связь с Башевисом-Зингером, несколько раз во время их размолвок он сам хлопал дверью или прогонял ее из своей квартиры, но спустя какое-то время они снова звонили друг другу и назначали свидание…

Для многих друзей и родственников семьи Вассерман так и осталось загадкой, что за сила заставила добропорядочную и прагматичную Эльму разрушить свою семью и начать жить с никому не известным писателем, явным неудачником, творчества которого она никогда не могла понять в силу элементарной нехватки еврейского образования. Да дело даже не в образовании — Эльма, как уже было сказано, не знала идиш, путала его с ивритом.

Но для окружения Башевиса-Зингера еще большей загадкой было то, что же именно заставило его предпочесть Эльму другим окружавшим его женщинам — внешне куда более привлекательным, умным, образованным, хорошо разбирающимся в литературе.

Но на самом деле ответ на последний вопрос лежит на поверхности. В 1939 году Эльма во всем призналась мужу, и тот, дав ей развод, выгнал ее из дома и запретил когда-либо встречаться с детьми. И когда Эльма постучала в дверь Зингера, держа в руках чемодан со своими вещами, он просто не мог не впустить ее. Это была первая женщина, которая ради любви к нему бросила все — обеспеченный образ жизни, положение в обществе, детей. И навалившееся на Башевиса-Зингера чувство вины и чувство ответственности за ее судьбу в итоге вынудили его дать согласие на брак с Эльмой.

14 ноября 1940 года Эльма Хайман-Вассерман и Исаак Башевис-Зингер сочетались законным браком. Правда, не по еврейскому обряду, а в Нью-Йоркской мэрии. Друзья Зингера полушутя говорили, что главной общей чертой молодой пары была скупость, и Эльма с Айзеком умудрились сэкономить даже на свадьбе: так как в тот день в мэрии не было клиентов, то регистрировавший браки судья, согласился провести церемонию бесплатно.

Так как брак, не освященный «по закону Моисея и Израиля» считается у евреев незаконным, то и после женитьбы на Эльме Зингер считал себя холостяком и продолжал вести привычный образ жизни.

Спустя много лет, отвечая на вопрос сына о том, не испытывает ли он угрызений совести за свои измены хотя бы перед Эльмой, Башевис-Зингер с улыбкой ответил:

«— Я такой, каков есть, и с этим ничего не поделаешь. Мне нужен гарем. Да и как может человек справиться со своей природой?! Нет, я ни о чем не сожалею. Каждый мой роман обогатил мое творчество. Я холостяк, холостяк по натуре. Да и даже если бы у меня был гарем, полный жен, я бы все равно оставался холостяком. Каждая проходящая по Бродвею женщина возбуждает меня. Мне хочется подойти к ней и сказать: «Простите, мисс, откуда вы? Верите ли вы в Бога? В свободу выбора? Переселение душ? Каковы ваши отношения с мужем?» Мой дар заключается в том, что я могу мгновенно нащупать самые болевые точки жизни любой женщины. Мои рассказы получили такое признание отнюдь не потому, что них содержатся какие-то яркие описания природы, а потому что мне удалось создать в них подлинно живые образы. И лучшие из них — это женские образы».

Принятое им в 1940 году решение жениться на Эльме сам Зингер объяснял тем, что именно в это время к нему начали возвращаться творческие силы. Он вновь стал работать как одержимый, и понял, что для того, чтобы он мог полностью сосредоточиться на писательском труде, ему нужна женщина, которая возьмет на себя всю заботу о его быте — будет готовить ему завтрак, стирать и гладить рубашки, заниматься уборкой в доме; вызовет, если надо, сантехника.

Нет, Эльма Васерман-Хайман-Зингер отнюдь не была идеальной женой. Она не любила готовить, не очень следила за порядком в доме, но вместе с тем сумела наладить быт так, чтобы Зингер мог ни о чем не думать, кроме своего творчества.

Сразу после оформления своих отношений Эльма с Зингером переехали из Бруклина на Манхеттен, на 103-ю улицу — в более просторную, но отнюдь не более благоустроенную квартиру. Их новое жилье было совершенно пустым, но — и

это чрезвычайно показательно для отношения Эльмы к мужу — первым предметом мебели, который они приобрели, был письменный стол для Зингера. Причем поначалу Эльма планировала потратить на покупку стола не больше 15–20 долларов, и когда Зингеру в магазине понравился стол, стоивший 50 долларов, Эльма пришла в ужас — это были почти все их деньги. Но Айзек смотрел на нее таким умоляющим взглядом ребенка, просящего купить ему понравившуюся игрушку, что у Эльмы дрогнуло сердце. Когда же он сказал «Я обещаю, я клянусь тебе, что за этим столом будут написаны великие книги!», Эльма достала из сумочки кошелек.

Нужно заметить, что этот, купленный за 50 долларов стол прослужил Башевису-Зингеру до конца жизни и за ним и в самом деле были написаны великие книги. Однако тогда на молодых

супругов навалилась самая настоящая нищета — Башевис-Зингер неожиданно заболел, и им пришлось жить на зарплату Эльмы, устроившейся продавщицей в магазин модной одежды. Ее зарплата составляла тогда нищенскую сумму в 17 долларов в неделю, причем большая часть этих денег уходила на квартплату.

Впрочем, и потом, в течение многих лет, вплоть до 1960-х годов, когда к Зингеру, наконец, пришла слава, а вместе с ней и деньги, зарплата работавшей с утра до позднего вечера универмаге «Лорд энд Тэйлор» Эльмы была основным источником дохода их семьи.

Нельзя сказать, что Эльме легко жилось с Башевисом-Зингером. Она никогда не стала своей для ближайших друзей мужа, и ей не раз приходилось слышать за спиной шепоток, что их брак не может продержаться долго, что такой бабник, как Зингер, непременно ее скоро бросит, так как вообще непонятно, что он в ней нашел. Но вопреки всем злым языкам, Эльма и Исаак Зингеры прожили вместе больше полувека. Отчасти это объяснялось тем, что Эльма, по меньшей мере внешне, равнодушно относилась ко всем многочисленным любовным похождениям Зингера и к его частым отлучкам из дома, утверждая, что гений (а в том, что ее муж — гений, Эльма, как ни странно, никогда не сомневалась) имеет право на свои «маленькие слабости».

Но и это объяснение вряд ли можно считать исчерпывающим. Видимо, между Эльмой и Исааком Зингером, как и между родителями писателя Пинхасом-Менахемом и Батшебой, существовала некая глубинная, иррациональная связь, удерживающая их друг возле друга. И чрезвычайно показательно, что Зингер никогда не пытался использовать историю своих взаимоотношений с Эльмой в качестве материала для какого-либо своего рассказа — видимо, это была для него слишком интимная, если не сказать, самая интимная тема.

Пожалуй, лишь еще две женщины занимали в жизни Зингера столь же большое место, как Руня Шапира и Эльма Хайман-Вассерман — Дова Грубер и Двора Менаше-Телушкина.

Но они появились в жизни Башевиса-Зингера, когда он уже был на пике славы, и о его взаимоотношениях с ними будет рассказано в третьей части этой книги.

Глава 3
Прорыв

Творческая импотенция, как называл переживаемый им кризис сам Зингер, затянулась вплоть до 1943 года.

За это время началась Вторая мировая война, Гитлер оккупировал Европу и начал претворять в жизнь свои планы по «окончательному решению еврейского вопроса», и в США начали приходить страшные слухи — пока только слухи! — о происходящем в Польше, Литве, на Украине…

В это же время в еврейской среде все настойчивее начинает звучать вопрос, который на многие годы станет основным вопросом еврейского бытия: «Где был Бог во время Холокоста?»

Вновь и вновь задавая этот вопрос, спрашивая самих себя и окружающих, каким образом Бог — если Он существует — мог допустить гибель миллионов евреев, многие из которых ревностно исполняли Его заповеди, миллионы оставшихся в живых евреев окончательно теряли веру и превращались в убежденных атеистов. Катастрофа европейского еврейства стала главным рычагом в окончательном отходе основной части еврейского народа от своей религии — в этом нет сомнения ни у одного еврейского историка или социолога.

Этот же вопрос — «Где был Бог во время Холокоста?» — звучит и во многих рассказах Зингера разных лет, им постоянно задаются его герои.

Однако с Зингером в это же самое время происходили прямо противоположные, чем со многими другими его соплеменниками, процессы. Пристально вглядываясь в происходящее, обращая внимание не только на сообщения о числе погибших в гетто и лагерях смерти, но и на истории о чудесных спасениях из рук палачей, третий сын раввина с Крохмальной улицы не только не отказывался от своей пошатнувшейся веры в Бога, но и укреплялся в ней. И когда после 1943 года стало ясно, что нацисты проигрывают войну, что даже если впереди евреев ждут новые гекатомбы, Гитлеру уже не удастся уничтожить весь еврейский народ и он продолжит свой путь в истории, Зингер окончательно утверждается в своей вере в существование Всевышнего.

Он слишком хорошо знал текст Священного Писания, он был «слишком хорошо» образован в области иудаизма, чтобы не увидеть во всем происходящем Его руку, Его направляющую волю, исполнение тех угроз, обетований и пророчеств, которыми

была наполнена Книга Книг.

Для Зингера было очевидно, что Бог остался верен заключенному Им завету с еврейским народом и выполнил данное Им Аврааму обещание сделать его «народом вечным». Следовательно, вопрос заключался не в том, «где был Бог во время Катастрофы», а почему, храня верность Своему Завету, Он подверг Свой народ столь страшному испытанию? Почему Бог пощадил одних и разрешил заклание других, причем среди тех, кого Он отдал в руки нацистских извергов, было так много достойных, верных Ему людей, в то время как среди тех, кто спасся, нередко встречались отвратительные, явно недостойные этого спасения типы? Какая логика двигала Богом при принятии этих решений? И можно ли после всего этого называть Его Всемилостивым, Справедливым и Милосердным, как это в течение тысячелетий делали евреи в своих молитвах?

У Зингера не было ответов на эти вопросы.

Но, оглядываясь назад, анализируя нравственное состояние еврейского народа не со своих собственных представлений о морали, а с точки зрения принципов Торы, он приходил к выводу, что у самого Бога тоже может быть Свой ответ на вопрос о том, где Он был во время Катастрофы; что Он тоже может предъявить Свой счет евреям — ведь в тексте Пятикнижия предельно четко указывается, какие именно бедствия ждут избранный Им народа за нарушение условий Союза.

В этом смысле чрезвычайно показателен диалог, разворачивающийся перед читателем в новелле «Глазок в воротах».

Герой этой новеллы, преуспевающий бизнесмен Сэм, рассказывает автору, каким образом Он, по сути дела, превратился в женоненавистника, и уж точно не верит ни одной женщине. Причиной этому стала история, происшедшая с ним в юности: сам без особых угрызений совести развлекавшийся с доступными женщинами, он был поражен, когда, заглянув в глазок в воротах, увидел, как его невеста Ева, которую он считал чистой, непорочной девушкой, целуется с сыном дворника Болеком. Полученную им тогда травму Сэм пронес через всю жизнь. И в тот самый момент, когда герой вспоминает о добродетельности своей матери и ее беспредельной верности мужу, рассказчик вступает в игру:

«Ваш отец был верным мужем, — прервал его я. — А вы требуете верности только от женщины.

Сэм задумался, потом посмотрел на меня с любопытством:

— Да, это так.

— Ваша Ева целовалась с сыном сторожа, а вы целовались с

горничной.

— Что? Я, конечно, поклялся Еве в верности, но совсем без женщины я ведь тоже не мог. Хоть иногда-то мне нужно было…

— Без веры нет верности.

— Так что же я должен был делать, по-вашему? Молиться Богу, который позволил убить шесть миллионов евреев? Я в Бога не верю.

— Если вы не верите в Бога, вам придется жить со шлюхами».

Меньше всего Зингеру понадобился этот диалог для того, чтобы воспеть «традиционные семейные ценности», хотя, вопреки своему личному образу жизни, он был их горячим приверженцем. Меньше всего Зингер когда-либо стремился к морализаторству, да и роль морализатора ему никак не подходила.

Нет, в данном случае он явно ведет речь о вопросах куда более глобальных, и формула «без веры нет верности» это лишь подтверждает. Само же словосочетание «верный муж» звучит на идиш и на иврите как «иш неэман», что означает одновременно «человек верный Богу», «верующий».

Зингер в этом рассказе вновь (в который раз!) напоминает своему читателю о том, что с точки зрения иудаизма отношения между Богом и еврейским народом подобны отношениям между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. А потому прежде чем спрашивать, как можно «молиться Богу, который позволил убить шесть миллионов евреев», евреям неплохо было бы спросить и себя, а были ли они верны Богу? Жили ли они по тем законам, которые Он им заповедовал? Не отрекались ли они от Него, поклоняясь новым идолам и новым лжеучениям? И он лично, увы, никак не мог дать положительный ответ на этот вопрос — все предшествовавшие Холокосту годы были годами отхода от веры, от нравственных и духовных ценностей, заповеданных им тем самым Богом, от которого они при этом почему-то требовали верности.

Эта же идея является центральной в написанном им в 1943 году гениальном рассказе «Гимпл-дурень», с которого, по сути дела, и начинается возвращение Зингера в литературу после длительного творческого кризиса и который стал своего рода его «визитной карточкой».

Большинство литературных критиков, анализируя этот рассказ, видят в Гимпле либо юродивого, либо еврейского праведника, не желающего замечать всю грязь этого мира и сумевшего до конца дней сохранить удивительную нравственную чистоту и доброе сердце. Простодушие Гимпла, которого женят на беспутной беременной женщине, изменяющей ему с каждым встречным и до, и после свадьбы, вызывает у читателя, в лучшем

случае, чувство жалости. Но в тот момент, когда Гимпл выдерживает поединок с Сатаной, отказывается, следуя его подсказке, отомстить землякам за все пережитые от них насмешки и унижения, его образ поднимается до таких образов-архетипов, как Дон-Кихот, Гамлет, Фауст, превращаясь в символ душевной чистоты, веры и великого умения любить и прощать…

Именно это и делает Зингера великим писателем в глазах читателей всего мира.

Однако получивший традиционное религиозное образование еврейский обыватель читал этот рассказ совершенно другими глазами. Уже название рассказа «Гимпл *там*» было наполнено для него множеством смыслов, ибо слово «*там*» и на идиш, и на иврите имеет множество значений и вызывает у знакомого с собственной национальной культурой еврея целое море ассоциаций.

Прежде всего, «т*ам*» — это кто угодно, но только не дурень и, тем более, не патологический идиот. Да Гимпл и явно не подходит под эти определения — иначе он просто не стал бы владельцем собственной преуспевающей пекарни и не считался бы во Фрамполе почти богачом.

Первая ассоциация, возникающая у любого соблюдающего традиции еврея со словом «*там*», связана с «Пасхальным сказанием», которое читается в ночь праздника Пасхи за каждым еврейским столом. В «Сказании» говорится о четырех сыновьях, каждый из которых задает свой вопрос по поводу этого праздника — мудром сыне (*хахаме*), нечестивом (*раше*), простодушном (*таме*) и о том, кто «не умеет спрашивать».

«Простодушный сын (там) — какой вопрос он задает? «Что это?». Этому сыну скажи так: «Силою руки вывел Бог нас из Египта, из дома рабства»…» — говорится в тексте «Пасхального сказания».

В классическом комментарии на эти слова, который, конечно же, был знаком Зингеру, говорится:

«Третий сын задает простой вопрос «Что это?». Простодушный сын не склонен к философствованию, но он хочет быть евреем, он хочет знать обо всем, что связано с Законом и Торой, и он спрашивает обо всем, что видит. Тора говорит о нем (Исход, 13:14): «И вот, когда спросит у тебя в будущем сын твой, говоря «Что это?», — то скажи ему так: «Силою руки вывел Бог нас из Египта, из дома рабства». И словом «нас» покажи ему, что он тоже вместе со всем народом Израиля имеет удел в Торе. К третьему сыну относится благословение «Благословен Всевышний, Который дал Тору народу Своему Израилю», — потому, что, дав еврею Тору, Бог предоставил возможность и этому простому сыну,

не склонному к философскому углублению в вопросы мироздания, просто соблюдая данные Богом заповеди, приблизиться к Нему самому и приблизить к Нему весь мир».

Таким образом, Гимпл-*там* — это, прежде всего, образ простого еврея, для которого жить еврейской жизнью, хранить верность Богу и Его заповедям так же естественно, как дыхание. И уже одним этим он вносит в мир свет Торы и освещает этим светом высоких истин жизнь всего человечества.

Но «*там*» — это еще и «совершенный» в значении «завершенный», «окончательный», и в этом значении это слово является одном из имен Бога.

С точки зрения этого, глубинного смысла слова «*там*» все предстает совершенно иначе. В памяти мгновенно возникают самые известные страницы книг пророков Исайи и Иеремии, уподоблявших еврейский народ, отрекающийся от своего Бога и начинающий поклоняться другим богам (или идеологиям), блудливой жене. Но жена эта, несмотря ни на что, остается любимой своим Мужем, который вновь и вновь прощает ее и жестоко наказывает ее обидчиков, желая от нее только одного — любви и раскаяния:

«Иди и возвести эти слова северу, и скажи: «Возвратись, распутная дочь Исраэля, — сказал Господь. — Я не обращу лица моего гнева на вас, ибо Я милосерд, — сказал Господь, — и не буду вечно помнить зло. Но осознай вину свою, что против Господа Бога Своего ты грешила и направила стопы свои к чужим…»(Иеремия, 3:12–13)

Так в образе Гимпла-*тама*, Гимпла-простака вдруг проступает образ самого Бога, продолжающего любить Свой народ, «закрывающего глаза» на все его измены и предательства и продолжающего прощать.

Однако это вроде бы само собой напрашивающееся объяснение мгновенно оказывается несостоятельным, если вспомнить (а уж раввин-недоучка Зингер это точно помнил!), что впервые слово «*там*» употреблено в Пятикнижии по отношению к третьему праотцу еврейского народа Иакову:

«Вэ-Яаков иш там яшав Элохим» (Бытие, 25:27)

Фразу эту обычно переводят как «*а Иаков был человеком кротким, сидящим перед Богом*». Таким образом, «*там*», то есть кротость, чистосердечие, неспособность к обману — это главная черта Иакова, отличающая его от брата-близнеца Исава. Но затем Бог дает в Торе Иакову имя Исраэль, которое становится основным именем происшедшего от него еврейского народа.

И тогда выходит все наоборот. Гимпл-*там* — это как раз символ еврейского народа, а вот его жена Элька, постоянно

дурачащая его и издевающаяся над ним — это и есть… Всевышний. Да и разве само имя Элька не созвучно слову «Эль», то есть Бог?!

Ну, а та слепая, противоречащая всякому здравому смыслу, наперекор всему и вся вера, с которой Гимпл верит своей Эльке, наотрез отказываясь расставаться с ней, продолжая ее любить, даже когда Элька сама призналась ему в обмане… Разве эта вера не напоминает веру еврейского народа в Своего Бога, в неразрывность заключенного Им союза, в Его любовь к нему — несмотря на все то, что происходило с этим народом на протяжении всей его истории?!

Круг замыкается, и уже неважно, кто есть кто в этом круге. Важно, что и в этом, и во всех остальных мирах, из которых Элька приходит во сне Гимплу, оба они так и останутся неразлучными, им просто некуда деться друг от друга…

Таким образом, в рассказе «Гимпл-*там*» спрятан ключ к зингеровскому пониманию Холокоста — ключ, без которого невозможно открыть «двери», ведущие к тайным смыслам всех остальных его романов и рассказов на эту тему.

Подобно раввину Пинхасу-Менахему-Менделю, мирившему приходивших к нему разводиться супругов, его сын Иче-Герц пытался примирить Бога с его народом, а евреев — с их Богом, убеждая обе стороны в необходимости сохранения их «брака», находя и слова укоризны, и слова оправдания как для одной, так и для другой стороны.

И, как ни странно это прозвучит, именно в этой добровольно взятой на себя роли *даяна*, судьи и кроется в значительной степени секрет небывалой популярности Зингера у еврейского читателя в 40-70-х годах. Ибо, демонстративно отрекаясь от своего Бога; бросая Ему страшные обвинения, отказываясь от традиций и образа жизни своих предков, еврейский обыватель того времени крайне нуждался в том, кто постоянно напоминал бы ему об этом самом Боге, разубеждал бы его в том, что, отказавшись от Него, он сделал правильный выбор.

Это, кстати, отчетливо видно во всех произведениях Башевиса-Зингера, где действуют герои, пережившие Катастрофу. И Дора в «Сестрах», и Маша во «Врагах», и Мирьям в «Мешуга», и героини многих других рассказов и романов Зингера, демонстративно греша, подчас проклиная Всевышнего, одновременно продолжают исполнять многие Его заповеди — зажигают субботние свечи, едят мацу в Песах и т. д. И дело тут не в привычке — дело в той любви-ненависти, которую они испытывают к Богу, вопрос об отношении к Которому становится для них в итоге главным вопросом в жизни.

* * *

Следующим рассказом Башевиса-Зингера, привлекшим к себе внимание читателей в 1943 году, стала новелла «Маленькие сапожники» — наивная, идиллическая, напоминающая собой типичную «американскую сказку». Однако через историю рода «маленьких сапожников» Шустеров из Фрамполя, Зингер сумел показать всю историю польского еврейства. Подобно главному герою этого рассказа Аббе Шустеру, миллионы его соплеменников врастали на протяжении столетий в польскую землю. Абба был уверен, что не оставит Польшу даже после того, как явится Мессия и уведет всех евреев в Иерусалим — он будет отправляться на облаке лишь по большим праздникам. Потому-то для Аббы стало таким ударом отъезд его сыновей в Америку, где они становятся богатыми, преуспевающими людьми, владельцами известной обувной фабрики.

Но вот нацисты входят в Польшу, и оказывается, что, переехав в Штаты, его сыновья подготовили тем самым почву и для его спасения — подобно тому, как некогда библейский Иосиф оказался против своей воли в Египте для того, чтобы спасти от голодной смерти свою семью. И встреча растерянного, на какое-то время утратившего связь с реальностью Аббы со своими сыновьями и уже успевшими сильно ассимилироваться внуками тоже невольно вызывает ассоциацию встречи библейского Иакова с Иосифом.

В финале рассказа его сыновья, почтенные фабриканты, садятся вместе с отцом за верстак, тачают вместе с ним башмаки и поют — поют ту старую незамысловатую песенку на идиш, которую они пели в детстве. В этот момент становится ясным сокровенный смысл этой новеллы: да, история евреев Польши закончилась, родовой дом Шустеров, где они на протяжении столетий рожали и воспитывали детей погиб, но благодаря Америке, по меньшей мере, часть еврейского народа спаслась. Но это спасение будет бессмысленным, если не удастся восстановить разорванную цепочку поколений, если евреи не сумеют остаться самими собой — как это удалось им в свое время в Египте времен фараона.

Для понимания творчества Зингера чрезвычайно важно то, как он описывает чувства и мысли Аббы, плывущего на корабле в неведомую ему Америку:

«Днем Абба почти все время глядел в окошко над койкой. Корабль то взлетал, точно старался забраться на небеса, а разорванное небо падало, как если б мир вернулся к первозданному хаосу; то обваливался в океан, и тогда твердь небесная снова

вновь отделялась от вод, как описано в Книге Бытия.

Волны были адского желто-черного цвета. Они зубьями уходили к горизонту, подобно горной гряде, напоминая Абе строки псалма: «Горы скакали как овны, холмы — как ягнята». Затем они бросались обратно, точно в чудесном разделении вод. Аба мало учился в своей жизни, но библейские образы наполняли ему голову. Он видел себя пророком Ионой, бежавшим от Господа, ведь он тоже лежал в чреве китовом, и, подобно Ионе, молил Господа о спасении…

…Когда он увидал громадные дома и башни, то принял их за египетские пирамиды…»

Как видим, все происходящее с ним сапожник Абба Шустер осмысливал с помощью образов из тех священных книг, которые были прочитаны им еще в детстве, и именно к мыслящему таким образом читателю и обращался Башевис-Зингер в своих произведениях. Вот почему без привлечения еврейских источников, без разъяснения заложенных в тексте скрытых цитат и метафор и невозможно понять до конца произведения Башевиса-Зингера.

* * *

Начиная с 1943 года в «Форвертсе» еженедельно, а иногда и чаще появляются новые рассказы Исаака Башевиса-Зингера, которые очень быстро делают его одним из самых популярных идишских писателей в мире.

С этого времени и вплоть до конца 80-х годов XX века Зингер работает с необычайной плодовитостью, словно пытаясь выговориться за почти восемь лет молчания. И если в его первых рассказах отчетливо чувствуется связь с «Сатаной в Горае», а сюжеты для них он находит прежде всего в своих воспоминаниях о Польше, об ушедшем в небытие мире польского еврейства и еврейские предания средневековья в них легко перемешиваются с последними предвоенными годами, то затем в них властно входит современная тема. Все чаще в основу его новых рассказов ложатся истории еврейских эмигрантов, живущих в Америке не одно десятилетие или только-только прибывших в нее уже после того, как они прошли через ад гитлеровских или сталинских лагерей.

Сама популярность Зингера теперь работала на него, предоставляя все новый и новый материал для работы.

Десятки читателей ежедневно звонили в «Форвертс» с просьбой помочь им связаться с Исааком Варшавским, или,

точнее, писателем Исааком Башевисом, так как именно перед ним им почему-то хотелось исповедоваться, именно ему рассказать историю своей жизни. Как правило, Зингер охотно откликался на эти просьбы и назначал встречи с читателями (и, разумеется, читательницами) в своем любимом кафе «Штинбург», расположенном неподалеку от редакции «Форвертса». Не случайно немалая часть его рассказов и написана в форме беседы автора с героем за столиком кафе. Зингер не раз говорил, что ему удавалось разговорить своего собеседника, прежде всего потому, что он никогда не строил беседу с ним как разговор между беллетристом и читателем. Нет, это всегда была встреча двух битых жизнью евреев, каждому из которых было что рассказать другому. И, «раскалывая» своего визави на предельную откровенность, Зингер, в свою очередь, щедро делился с ним подробностями из своей собственной жизни, которые зачастую тут же, ничуть не краснея, придумывал, да порой так убедительно, что и сам начинал верить в свою выдумку.

По общему признанию, Зингер был таким замечательным рассказчиком именно потому, что он был не менее замечательным слушателем; собеседником, который умел дать человеку выговориться до конца, выплеснуть все, что у того было на душе, рассказать о самых интимных своих проблемах.

Порой именно так, в форме документального или лишь слегка беллетризированного очерка, эти истории и появлялись на страницах «Форвертса» под псевдонимом Исаак Варшавский, который Зингер использовал для своих журналистских работ.

Но затем, когда приходило время включать их в книги, Зингер заново перерабатывал текст, добавлял в него новые штрихи, оттачивал каждое слово, так что в итоге за каждой, самой немудреной житейской историей вдруг проступали глобальные проблемы бытия, самые сокровенные пружины человеческой души.

На протяжении многих десятилетий жизни распорядок дня Башевиса-Зингера оставался практически неизменным — если, конечно, не считать тех дней, когда он выезжал на лекции и встречи с читателями, или недель, которые проводил в гостях в Израиле, где довольно часто появлялся вплоть до 1978 года.

Обычно Зингер просыпался около восьми часов утра, когда его Эльма уходила на работу в свой универмаг, но затем еще не меньше часа лежал в постели, обдумывая сюжет нового рассказа или продолжение начатого романа.

При этом, по его собственному признанию, перед его мысленным взором возникали лица людей, строки из Мишны[33], Талмуда или сочинения какого-то религиозного философа. Какое-

то выражение из этих книг вдруг захватывало его, и он начинал над ним размышлять, то споря, то соглашаясь с его содержанием. В этот момент откуда-то из глубин его подсознания выплывал некий сюжет, являющийся своего рода иллюстрацией или, наоборот, антитезой к этому высказыванию. Какая-нибудь давняя и, казалось бы, почти забытая встреча или случайно услышанная история вдруг обретала совершенно новый смысл, и еще через мгновение он уже слышал голос будущего героя своего рассказа и словно воочию видел происходящие в нем события…

Затем, все еще лежа в постели, он начинал работать над текстом, время от времени записывая пришедшие ему в голову особо удачные, ключевые фразы на лежавшие рядом на тумбочке бумажные карточки.

В тот момент, когда он поднимался с кровати, новый текст уже почти целиком сложился, и оставалось лишь перенести его на бумагу. Однако писатель все еще не спешил за стол. Стоя под душем, а затем и пережевывая немудреный завтрак, состоявший, как правило, из бутерброда и стакана сока, Зингер продолжал обдумывать и проговаривать про себя текст будущего рассказа.

Наконец, ближе к десяти часам он садился за стоявшее прямо в салоне квартиры старое кресло и начинал в бешеном темпе, словно опасаясь забыть уже сформировавшийся в голове текст, выстукивать его на своей старой, купленной еще в 1935 году печатной машинке.

Так он обычно работал до часу или двух часов дня, успевая за это время выдать на-гора не менее 1000–1500 слов, то есть тот объем, который был отведен ему на газетной полосе.

К этому времени в дверь уже стучался посыльный из редакции, чтобы забрать рукопись. Иногда Зингер относил в редакцию рукопись сам, но во всех случаях он в середине дня появлялся в газете, чтобы самым тщательным образом вычитать корректуру и внести в нее необходимые правки. Бывало и так, что он переписывал целые куски текста. Нередко там же, в редакции, он принимал очередного читателя, жаждущего поделиться своими жизненными проблемами и попросить у любимого писателя совета, как ему их решить, — публиковавшиеся в газете рассказы создали ему репутацию мудрого, знающего жизнь человека.

Сам Зингер любил иронизировать по этому поводу, говоря, что он легко дает умные советы, хотя ему самому часто не хватает ума для решения собственных проблем.

Уже после этого Зингер отправлялся на обед в свое любимое кафе, на прогулку, и, если вечером не случалось какой-либо романтической встречи, садился за правку присланных ему из

издательств переводов своих произведений на английский, а порой и сам готовил их подстрочники для переводчиков.

Во второй половине 40-х годов в этот плотный распорядок дня добавилась работа на радио, бывшая своеобразным продолжением работы в газете: Зингер заранее записывал на магнитофон свою передачу, основу которой составляла некая история, рассматриваемая им как с чисто житейской, так и мистической точки зрения. Завершались эти передачи ответами на письма радиослушателей и все теми же полезными советами, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации. Деньги работа на радио приносила небольшие, но зато, вне сомнения, способствовала расширению популярности Башевиса-Зингера, приглашению его на лекции и творческие вечера в самые различные города США и Канады, и уже за эти выступления Башевис-Зингер получал вполне приличные гонорары.

Сами эти поездки давали ему, в свою очередь, сюжеты для новых рассказов, два из которых — «Лекция» и «Чемодан» — Башевис-Зингер включал почти во все свои сборники.

Разумеется, здесь описана лишь общая схема того, что принято называть «творческой лабораторией» писателя, и не более того. Жизнь, само собой, постоянно вносила коррективы в эту схему, но в целом Зингер старался ее придерживаться и не очень любил, когда кто-то нарушал его размеренное, спланированное и подчиненное строжайшей трудовой дисциплине существование.

В беседе с Ричардом Бурджиным Башевис-Зингер заметил, что по натуре он, по большому счету, лентяй, и ему, как лошади, всегда нужен был «редакторский кнут», постоянно подстегивающий его к работе, напоминающий о том, что он к определенному сроку должен сдать определенный объем текста.

Любопытно, что почти то же самое говорил о себе Достоевский, но для него роль такого «кнута» играли карточные долги. Профессор Б.Бурцев в своей замечательной работе «Личность Достоевского» даже высказал предположение, что Федор Михайлович сознательно просаживал деньги за игрой, чтобы таким образом побудить себя к интенсивной работе над новым романом.

* * *

В 1944 году внезапно, от кровоизлияния в мозг скончался Исраэль-Иешуа Зингер, и многие исследователи считают, что его смерть стала поворотным моментом в творческой биографии

Исаака Башевиса-Зингера.

В работах, посвященных жизни Исаака Башевиса-Зингера или феномену семьи Зингер часто можно встретить утверждение, что смерть старшего брата как бы высвободила творческие силы младшего, который многие годы жил под грузом давящего авторитета ИИ. Широкая известность И.-И.Зингера как писателя, тот факт, что братьев часто путали между собой, по мнению этих исследователей, порождала у Башевиса-Зингера массу комплексов, сковывала его и вынуждала держаться в тени.

Этими комплексами они пытаются объяснить и творческий кризис 1935-43 гг., а в качестве доказательства этой версии приводят тот факт, что свое первое по-настоящему талантливое произведение — роман «Сатана в Горае» — Зингер написал в 1933 году, то есть после того, как его старший брат покинул Польшу.

Дж. Хадда, к примеру, считает, что в первые годы жизни в Америке Исаак испытывал тайную неприязнь, если не сказать, ненависть к брату именно потому, что тот слишком сильно опекал его и всячески старался ему помочь. Иче-Герц должен был быть благодарен Иешуа-Исраэлю за все — за то, что тот помог ему приехать в Америку, за снятую квартиру, за помощь в поисках работы, за усилия по предоставлению вида на жительство. Это чувство благодарности давило на него и под этим прессом превращалось в свою прямую противоположность: Иче-Герц (и это прослеживается во многих его письмах) начал винить брата за свою неустроенность и жизненные неурядицы.

При этом, считает Дж. Хадда, отчасти он был прав. Самим своим присутствием Исраэль-Иешуа подавлял младшего брата как самостоятельную личность, заставлял его чувствовать себя мальчишкой, целиком зависящим от взрослого дяди. Провал романа «Грешный Мессия» и творческий застой, который переживал Башевис-Зингер в 1935-43 гг. Дж. Хадда также небезосновательно объясняет тем, что старший брат изначально заявил, что будет контролировать работу младшего над романом. Ощущение того, что над ним будет постоянно стоять надсмотрщик и цензор, вызвало у Зингера подсознательный протест и парализовало его творческие силы.

Любопытно, что Геня, вдова Исраэля-Иешуа Зингера, отчасти также способствовала появлению этой версии, так как в беседах с друзьями и знакомыми часто утверждала, что Исаак Башевис-Зингер всю жизнь тайно завидовал старшему брату, понимая, что тот якобы несравненно талантливее его.

В то же время ни один исследователь творчества Башевиса-Зингера не может отрицать того факта, что Исраэль-Иешуа занимал огромное место в жизни младшего брата. Первый в семье

Зингеров порвавший с религиозным мировоззрением, ИИ сыграл огромную роль в становлении мировоззрения самого Башевиса-Зингера, помог его образованию, оказал огромное влияние на формирование его литературных вкусов. Сын Исаака Башевиса-Зингера Исраэль Замир также считает, что взаимоотношения между братьями и их отношение друг к другу было далеко не однозначным, и уж точно далеко от семейной идиллии. В качестве доказательства этого Замир приводит следующее письмо Зингера к его матери Руне:

«Моя работа в «Форвертсе» висит на волоске, но мой брат не спешит протянуть мне руку помощи — видно, вода, в которой я тону, слишком холодна для его рук. Он говорит, что ничем не может мне помочь, и, кажется, пришел к выводу, что я обречен жить в бедности. С этой точки зрения для него между мной и чужими людьми нет никакой разницы. У меня есть чувство, что если бы он сам жил в бедности, то помогал бы мне гораздо больше. Что поделаешь — такой уж он человек…»

В другом письме он высказывает весьма нелицеприятное мнение о творчестве ИИ периода 40-х годов:

«…Мой брат, кстати, добился здесь большого успеха. С литературной точки зрения он (по моему мнению) очень сильно упал, но весьма преуспел в том, чтобы обратить это падение в свою пользу. Я верю, что мое нынешнее молчание лучше такого успеха…»

Однако когда тот же Исраэль Замир спросил отца, насколько верна версия о том, что именно смерть брата помогла обрести ему собственный путь в литературе, он тут же с негодованием ее отверг и с таким же негодованием отнесся к утверждению, что он, дескать, очень невысоко ставил ИИ как писателя.

— Если бы брат остался жив, он написал бы еще немало прекрасных книг. И, вне сомнения, тогда бы он, а не я получил бы Нобелевскую премию, — сказал Башевис-Зингер. — В самый момент получения этой премии, когда я стоял на сцене в Стокгольме, у меня было ощущение, что брат стоит рядом со мной, это мы вместе, а не я один получаем такую награду…

Свое отношение к брату Зингер предельно четко выразил и в автобиографической повести «Заблудившийся в Америке».

В одной из глав этой повести он рассказывает, как в первый день своего пребывания на американской земле поздно вечером вышел из дома брата, направился к океану и, как это с ним часто бывало, заблудился и какое-то время не мог отыскать обратную дорогу. Наконец он вышел к дому, который узнал по светящемуся в ночи окошку, в котором был ясно виден Исраэль-Иешуа, работающий над рукописью.

«Я приблизился к дому и увидел брата в светящемся окне. Он сидел возле маленького стола, в одной его руке была ручка, а другой он держал лист рукописи. Никогда прежде мне не доводилось видеть брата за работой, и в тот вечер я не сумел сдержать любопытства и с интересом смотрел на него так, словно он был мне не братом, а совершенно чужим человеком. Все, кого я встретил в этот день на Бесигейт, загорели на американском солнце, но лицо брата оставалось совершенно белым. Он читал не только глазами, но и шепотом проговаривал все слова текста про себя. Время от времени он отрывался от рукописи и сокрушенно покачивал головой, словно спрашивал, как такое можно было написать?! Затем тут же зачеркивал ручкой целый кусок текста, и на его лице появлялась улыбка… В какой-то момент он повернулся и посмотрел в окно своими огромными голубыми глазами — словно заподозрил, что кто-то за ним подглядывает. Мне почудилось, что я прочитал его мысли: «Все суета сует, включая написание книг, но если уж ты занялся этим делом, то изволь делать его хорошо!»

Новая волна любви к брату захлестнула меня. Он был мне не только брат — он был для меня отцом и учителем в одном лице…»

Думается, этим отрывком сказано все.

Если между братьями Зингер и в самом деле существовала какая-то неприязнь, то искать ее надо в таких фрейдистских глубинах, куда вообще не стоит проникать постороннему взгляду. Что касается литературного соперничества между ними, то оно, безусловно, существовало, но это опять-таки вполне естественно для двух братьев, избравших одно и то же поле деятельности.

И уж тем более это естественно, когда младший сделал этот выбор под влиянием старшего — ведь ему крайне важно доказать и брату, и себе, и всем окружающим, что он владеет этим ремеслом не хуже, а может, и лучше своего брата, а не просто подражает ему. А потому, безусловно, правы те литературоведы и критики, которые утверждают, что роман «Семья Мушкат» является своеобразным ответом Башевиса-Зингера на роман ИИ «Братья Ашкенази».

Впрочем, никакого открытия в этом утверждении нет, так как уже на первой странице «Семьи Мускат» читателя ждет следующее пространное посвящение:

«Эти страницы я посвящаю памяти своего покойного брата И.И.Зингера, автора «Братьев Ашкенази». Для меня он был не только старшим братом, но и духовным отцом и учителем, и всегда служил образцом высокой морали и литературной порядочности. Хотя человеком он был современным, его отличали

лучшие качества наших набожных предков».

Нужны ли еще слова?!

* * *

Думается, после всего вышесказанного читатель понял, что связывать возвращение Исаака Башевиса-Зингера к творчеству со смертью его брата, по меньшей мере, низко. Подлинной причиной этого возвращения, безусловно, стало то, что писатель очнулся, наконец, от того психологического шока, который испытывают почти все эмигранты до тех пор, пока не обживутся на новом месте.

Возможно, не случайно «пробуждение» Зингера совпало по дате с получением им в 1943 году долгожданного американского гражданства: оно освободило его от постоянного страха перед возможной депортацией из страны, который все эти годы его постоянно парализовал и принял почти параноидальный характер. Безусловно, он просто не мог писать под давлением этого страха.

И, что самое любопытное, страх, что он может быть лишен американского гражданства и выслан из Штатов, оставался с ним до конца жизни — он преследовал Зингера, подобно тому, как его героя Германа Брудера преследовал страх перед возможной оккупацией нацистами Нью-Йорка. Знакомые Зингера вспоминали, что даже в 60-е годы он всегда, выходя на улицу, брал с собой приличную сумму наличными — чтобы не остаться без денег, если его арестуют и захотят депортировать.

Появление какой-никакой, но семьи, возникновение постоянного круга общения, освоение американской действительности — вот что было главным лекарством, излечившим Башевиса-Зингера от творческой импотенции.

Другим фактором, побудившим его взяться за перо, был, несомненно, Холокост, Катастрофа европейского еврейства. Осознание гибели того мира, который он безумно любил, бесчисленные встречи с прошедшими через ад лагерей и гетто укрепили Зингера в мысли, что он является единственным писателем на земле, который сможет рассказать о том, что это был за мир, и что сделали не только с телами, но и с душами евреев нацисты. А именно это ощущение, как помнит читатель, Зингер считал необходимым условием писательского творчества.

И вместе с тем, вопреки распространенному мнению, меньше всего Исаак Башевис-Зингер был певцом прошлого, стремившегося запечатлеть для истории картины жизни

еврейского местечка и типы населявших его людей. Нет, как мы очень скоро убедимся, он был, пожалуй, одним из самых злободневных еврейских писателей своего времени, в центре внимания которого были самые актуальные нравственные и мировоззренческие проблемы, вставшие перед еврейским народом и человечеством в целом во второй половине XX века.

Глава 4
Подведение итогов. «Семья Мускат» (1945–1947)

В 1945 году Башевис-Зингер, как он утверждал позже, неожиданно для самого себя садится писать новый роман «Семья Мускат» («Ди фамилье Мушкат»), главы из которого начинают из недели в неделю публиковаться на страницах «Форвертса».

В течение почти двух лет читатели этой газеты с нетерпением ждали выпуска очередной главы «Семьи Мускат», при чтении которых перед ними вставали картины некогда родной Польши, знакомые улочки и переулки Варшавы, лица погибших в концлагерях друзей и близких, так удивительно похожие на некоторых героев Зингера. Само написание романа сопровождалось непрерывными скандалами Башевиса-Зингера с главным редактором «Форвертса» Эйбом Каганом. «Идейное» направление романа порой явно не устраивало Кагана, и он не раз требовал от Зингера вносить в текст не только поправки, но и написанные им, Каганом, целые куски. Однажды прямо посреди работы Каган заявил, что роман ему надоел и стал настаивать на том, чтобы Зингер в течение месяца довел его до конца. В ответ Зингер устроил забастовку и несколько недель вообще ничего не писал. Когда в ответ на это на редакцию обрушился шквал читательских звонков с требованием публиковать продолжение, Эйб Каган сдался.

В 1947 году роман «Семья Мускат» был завершен, и редакция «Форвертса» стала настаивать на его немедленном издании — пока роман еще находился на слуху у читателей и вероятность того, что многие захотят приобрести его отдельной книгой, была достаточно велика.

Зингер подписал договор на издание романа и даже получил 500 долларов в качестве аванса. Деньги эти пришлись весьма кстати: Эльма уже давно жаловалась мужу на то, что он целыми днями только и делает, что работает, из-за чего они никогда не выезжают за пределы Нью-Йорка.

Зингер решил, что пришло время побаловать жену, да и к тому же он и сам чувствовал себя страшно уставшим после стольких лет напряженной работы. Кроме того, часть действия «Семьи Мускат» разворачивалась в Швейцарии, в которой он никогда не был, и ему было интересно взглянуть на эту страну.

В результате, сразу после подписания договора, собрав все свои сбережения, так что на их счетах осталось всего пара

десятков долларов, Эльма и Исаак Зингеры отправились в длившееся четыре недели путешествие по Англии, Франции и Швейцарии.

Сразу по возвращении в Штаты писателя уже ждала корректура книги, но вот тут-то и проявилось все писательское упрямство Зингера. Перечитав газетный вариант «Семьи Мускат», он пришел к выводу, что роман затянут, многие его главы написаны небрежно и публиковать его в таком виде никак нельзя. Разумеется, грянул скандал, но Зингер продолжал настаивать на своем.

В течение двух последующих лет писатель занимался редактированием романа, выкидывая из него целые главы, а некоторые вообще переписывая заново. Все это он совмещал с активной работой над другими своими произведениями, продолжавшими регулярно появляться в «Форвертсе».

Лишь в 1950 году «Семья Мускат» вышла отдельной книгой в нью-йоркском издательстве «Склярски». В течение нескольких месяцев весь ее первый тираж был распродан. Для книги на идиш это был поистине оглушительный успех.

Еще в то время, когда роман лежал в типографии «Склярски», ответственный секретарь «Форвертса» Дан Фидер по собственной инициативе обратился к Альфреду Кнопфу, владельцу известного издательства «Кнопф», и предложил ему издать «Семью Мускат» в переводе на английский.

Кнопф был основным издателем переводов книг Исраэля-Иешуа Зингера, и потому сама фамилия автора звучала для него знакомо. Однако, выслушав Фидера, он заявил, что, по его мнению, время толстых семейных романов прошло, и уж тем более он не верит в коммерческий успех книги Зингера-младшего, явно уступающего по таланту своему покойному брату.

Тем не менее, Фидер оставил рукопись «Семьи Мускат» на рабочем столе Альфреда Кнопфа, и она случайно попалась на глаза его приятелю Морису Самуэлю. Самуэль, в свою очередь, показал ее своему другу, известному переводчику Аббе Гроссу. Гросс в тот период как раз закончил работу над большим переводческим проектом и искал, куда бы приложить силы. Работа над «Семьей Мускат» мгновенно захватила его, и в результате в том же 1950-м роман Башевиса-Зингера вышел и на английском языке в издательстве «Кнопф», а через какое-то был переведен на иврит и издан в Израиле.

«Семья Мускат» и принесла Башевису-Зингеру подлинно мировое признание. Точнее, этот роман подготовил почву для такого признания, так как почти все рецензии на книгу оказались положительными и даже лестными для ее автора. Критики в один

голос сравнивали «Семью Мускат» с такими семейными эпосами как «Будденброки» и «Сага о Форсайтах», и утверждали, что Зингеру с необычайной художественной силой удалось воссоздать в нем «широкую панораму жизни польского еврейства», «историю кризиса и распада традиционной еврейской семьи», «мироощущение польских евреев накануне Холокоста» и т. д.

«Семья Мускат» стала своеобразным ответом Зингера тем идишским критикам, которые приняли в штыки его рассказы 40-х годов. В своих рецензиях они утверждали, что Зингер «скатывается в яму мистицизма и эротики» по той причине, что ему… «недостает таланта и знания жизни для того, чтобы писать подлинно реалистическую прозу, рисовать живые, а не рожденные исключительно его больным воображением образы».

«Семья Мускат» — это и в самом деле мастерски написанный реалистический роман, со страниц которого как живые встают, образы патриарха этого семейства Мешулама Муската, его дочерей, зятьев, сыновей, внуков. Действие романа охватывает больше четверти века — оно начинается в 1910-х годах и заканчивается вступлением немцев в Польшу в 1939-м. Герои романа — люди из плоти и крови, а потому в нем нет положительных и отрицательных персонажей. Каждый образ несет в себе черты, которые вызывают к нему то искреннее уважение, то отталкивают от себя, а сочувствие к тому или иному герою романа очень быстро может смениться негодованием по поводу его поступков или образа жизни.

Таков образ Мешулама Муската — безусловно, умного, хваткого человека, ставшего благодаря своему таланту предпринимателя и неустанному труду одним из самых богатых домовладельцев Варшавы. За его внешней суровостью кроется и умение глубоко любить, и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и стремление сделать по-настоящему счастливыми своих близких. Это видно и по его обращению со своей третьей женой Розой-Фруметл и ее дочерью Аделе; и по тому, как он встречает ушедшую из дома старшую дочь Хаму и как трогательно вспоминает день ее рождения…

Но тот же Мешулам Мускат упорно не желает замечать, как своим деспотизмом, убежденностью, что он лучше знает, как следует построить счастье своих близких, он ломает и их самих, и их судьбы. Все три его дочери, вышедшие замуж за выбранных им мужей, оказываются несчастными. Его сыновья, еще в детстве подавленные отцом, практически не способны не только ни какой деятельности, но и вообще к самостоятельным поступкам — и не случайно в образе Нюни так явственно просматриваются черты гончаровского Обломова, разве что на еврейский лад.

«Я и сам себя не понимаю, — с горечью признается Мешулам. — Кручусь, кручусь, а все впустую. У меня было две жены, семеро детей. Я собирал приданое, раздавал деньги зятьям. Потратил на них миллионы! И что я с этого имею?! Что нажил? Врагов, обжор, дармоедов. Отличную компанию произвел на свет…»

При этом Мешулам Мускат упорно продолжает «гнуть свою линию», настаивая на браке своей внучки Адассы с нелюбимым ею Фишлом…

Таков же и его зять, муж Хамы Абрам, давно уже отказавшийся следовать как ритуальным, так и нравственным предписаниям иудаизма. Балагур, бабник, не пропускающий ни одной юбки, тайно влюбленный в свою юную племянницу Адассу, он, в принципе, полон благих порывов и грандиозных планов, но ни один из них не в состоянии претворить в жизнь. Всем, кто его по-настоящему любит — и своей жене Хаме, и своей любовнице Иде Праггер, и даже почти случайно встреченной спустя много лет бывшей служанке Мускатов Мане, Абрам приносит только несчастья.

Не менее глубоко выписаны и те образы романа, которые могут показаться второстепенными — управляющего Мешулама Муската Копла; официального мужа Адассы Фишла, бялодревенского ребе, старого раввина из Малого Терасполя и его жены и т. д.

В том же Фишле холодная расчетливость лавочника и истовый религиозный фанатизм уживаются со страстной любовью к нелюбящей, изменяющей ему жене Адассе и готовностью пойти на любые траты просто ради того, чтобы она жила на свете.

Да и образ Копла, служившего всю жизнь Мешуламу Мускату с собачьей преданностью, а на самом деле так и не простившего старику, что тот не позволил ему жениться на своей дочери Лее; уже после смерти Муската обкрадывающего своего хозяина и уезжающего с Леей в Америку, — это, безусловно, необычайно сильный и полнокровный образ.

На протяжении развития действия этого большого (почти в 40 печатных листов), но все же уступающего по объему и «Саге о Форсайтах», и «Будденброкам» роману перед читателем проходит жизнь целого поколения представителей семьи Мускат и тех, кто с ней более-менее близко связан. Он становится свидетелем смерти не только старого Мешулама Муската, но и его дочерей Даши и Хамы, его зятя Абрама Шапиро и его любовницы Иды Праггер; уже в самом финале романа погибает Адасса… У каждого из этих героев своя судьба, свой путь на этой земле, но эти пути, как и положено в жизни, постоянно переплетаются и в

результате и в самом деле перед мысленным взором читателя возникает то, что критики назвали «широкой панорамой жизни польского еврейства».

Нельзя не отметить и того, что в «Семье Мускат» Башевис-Зингер предстает как выдающийся мастер психологической прозы, умеющий передавать любое, самое тайное движение души своих героев, обнажающий скрытые пружины, движущие всеми их словами и поступками, которые подчас могут оказаться неожиданными для них самих.

И все же, даже с учетом всего вышесказанного, попытки охарактеризовать это произведение Башевиса-Зингера как «семейный роман» кажутся лично мне несколько натянутыми. И уж совершенно неоправданным выглядит проведение набившей оскомину ассоциации «Семьи Мускат» со знаменитыми семейными хрониками Манна и Форсайта. Если уж говорить о каких-то параллелях, то тут скорее напрашивается ассоциация с «Обыкновенной историей» Гончарова. Эта ассоциация правомочна хотя бы потому, что в центре «Семьи Мускат» находится фигура Асы-Гешла Баннета (в оригинальном тексте Озера-Гешла), а точнее — «обыкновенная история» его превращения из полного надежд юного идеалиста в сломленного жизнью циника.

Именно эволюция его личности, его образ интересует автора романа прежде всего, и с этой точки зрения все остальные персонажи романа представляют интерес лишь с точки зрения своих взаимоотношений (или даже отсутствием таких взаимоотношений) с Асой-Гешлом.

Да Зингер и сам уже в первых главах романа спешит предупредить читателя, что речь пойдет об обычной, типичной житейской истории. Вспомним, что говорит доктор Шмарья Якоби, читая протянутое ему Асой-Гешлом письмо:

«— Nu, ja. Так, так, — сухо обронил старик. — Старая история. Сын раввина. Философ. Экстерн. Все одно и то же — в точности, как и полвека назад…»

И точно те же чувства испытывает, впервые увидев Асу-Гешла, несчастная дочь бялодревенского ребе Гина:

«Когда Гина открыла ему дверь и увидела у него в руках кособокую корзину — весь его скарб, ей стало не по себе. Точно так же, много лет назад, уезжая из Варшавы учиться, выглядел и Герц Яновер. «И этот парень тоже принесет кому-то несчастье, — подумалось ей. — Жертва уже есть и готова к закланию»…»

Асе-Гешлу и в самом деле предстояло в определенной степени повторить судьбу Герца Яновера — как Адассе предстояло повторить судьбу Гины, но уже на ином витке еврейской и мировой истории.

В самой судьбе Асы-Гешла Башевису-Зингеру, вне сомнения, виделась типичная судьба еврейского интеллигента своего времени — воспитанного в религиозном духе, но уже в юности отошедшего от религии; мечтавшего о карьере великого ученого и философа, но в итоге превращающегося в заурядного учителя или чиновника, любящего на досуге порассуждать о том, что потенциал, у него был, дескать, огромный, однако он, увы, так и не сумел его реализовать.

Но дело в том, что подобный путь в начале XX века проходила значительная часть европейской интеллигенции в целом. Это было время, когда образованная европейская молодежь в массе своей отказывалась от «религиозных предрассудков», от тех религиозных принципов (православных ли, католических, протестантских), на основе которых была воспитана, и начинала исповедовать «новую систему ценностей». Властителями ее дум и чувств становились новомодные философы вроде Ницше и Вейнингера, труды которых становились бестселлерами, расходились огромными тиражами и оказывали колоссальное влияние на мировоззрение и сам образ мышления своих современников.

С этой точки зрения история жизни, нравственных и духовных поисков Асы-Гешла — это типичная история европейского интеллигента первой половины XX века, и именно этим и объясняется то, с каким восторгом приняла роман «Семья Мускат» широкая читательская аудитория в США и Европе. То, что герой романа оказался евреем, было связано с тем, что его создатель пользовался хорошо знакомым ему в силу самого происхождения материалом, но само звучание «Семьи Мускат», несомненно, далеко выходило за узконациональные еврейские рамки.

* * *

И все же знакомый с текстом Священного Писания читатель, безусловно, читал этот роман несколько иными глазами, узнавая в перипетиях судеб героев известные библейские коллизии и образы. Взаимоотношения Асы-Гешла с Аделе и Адассой, вне сомнения, напоминали ему историю праотца Иакова и его жен Лии и Рахили. Так же, как Лия, Аделе почти обманом женила на себе Асу-Гешла, и так же, как и Лия, осталась нелюбимой женой. Но — опять-таки так же, как и Лея, — именно Аделе родила Асе-Гешлу его сына Давида. И не важно, что Аса-Гешл не хотел этого ребенка, так как он вообще не хотел иметь детей, — как бы то ни

было, Давид-Додик является его единственным наследником, продолжением его рода на этой земле.

Адасса же, подобно библейской Рахили, будучи любимой женой, достается Асе-Гешлу не сразу, а когда они все-таки соединяются, их отношения оказываются весьма далеки от идиллии. И так же, как Рахиль погибает по дороге в Вифлеем, Адасса погибает в результате взрыва первой немецкой бомбы в расположенном под Варшавой дачном поселке Отвоцке.

Но в том-то и дело, что Башевис-Зингер постоянно поверяет все поступки своих героев теми высокими нравственными нормами, какими руководствовались евреи на протяжении столетий, и Аса-Гешл в этом смысле не дотягивает не только до библейского Иакова, но и даже до Герца Яновера, хотя, как уже говорилось, судьбы этих персонажей похожи.

Будучи представителем предыдущего по отношению к Асе поколения, Герц Яновер так же, как и Аса, был сыном известного раввина. Так же, как Аса, он не сумел соединиться со своей любимой Гиной; так же, как Аса, он отправился на учебу за границу, полный самых честолюбивых замыслов, и, как и Аса, вернулся оттуда практически ни с чем. Разуверившись в истинах иудаизма, Яновер начинает увлекаться спиритизмом, то есть занимается тем, что с точки зрения иудаизма является язычеством, разновидностью идолопоклонства. Вместе с тем, будучи уже зрелыми людьми, Яновер и Гина воздерживаются от близких отношений до тех пор, пока Гина не получит официального развода от мужа.

И потому, формально находясь вне рамок своей религии, с точки зрения еврейской морали они выглядят безупречно: ими не нарушена заповедь о прелюбодеянии; ни один еврей не может обвинить их в разврате. Обратим внимание, что точно так же поступают и Лея с Коплом — обе эти пары предпочитают следовать вековечному нравственному кодексу.

Однако Аса-Гешл и Адасса оказываются не в силах преодолеть свою страсть и становятся близки задолго до того, как Адассе удается получить развод от мужа. Таким образом, они оба с точки зрения еврейского закона совершают страшное преступление. Более того — сам их дальнейший брак становится незаконным и обреченным на то, чтобы быть несчастным, так как, согласно еврейскому религиозному законодательству, женщина, изменившая мужу, не имеет права после развода выйти замуж за своего любовника.

Таким образом, любовь Асы-Гешла и Адассы со всей ее искренностью и силой влечет их обоих все дальше и дальше в нравственную пропасть. В конце концов Аса-Гешл изменяет и

Адасе, падая все ниже и ниже в эту пропасть и прекрасно сознавая всю глубину своего падения. Ну, а о том, что остается от всех его философских идей, видно из его диалога Барбарой:

«… На чем строится ваша теория?

— На Спинозе и Мальтусе.

— Оригинальное сочетание. И что же вы предлагаете?

— Безопасный секс — в самом широком смысле слова. Больше секса и меньше детей. Спальня — ключ ко всем проблемам, общественным и частным…»

Вот и все, к чему свелись поиски своего мировоззренческого кредо новой еврейской (и европейской) интеллигенцией, — к формуле: «Больше секса и меньше детей». Если Зингер в данном случае и иронизирует, слегка «перегибая палку», то не очень сильно. При этом, заметим, данная формула является прямо противоположной одному из основных принципов иудаизма (да и христианства), который, с одной стороны, налагает целый ряд запретов, призванных обуздать животную природу человека в вопросах интимной жизни, а с другой требует «плодитесь и размножайтесь».

Как бы то ни было, становится ясно, что в своем стремлении уйти от вечных библейских ценностей новая европейская философия в итоге пришла к полному духовному и моральному краху, и, по сути дела, ведет человечество к деградации и гибели. В своем вульгаризированном виде она становится базисной платформой для двух самых опасных в истории человечества идеологий — коммунизма и нацизма (вспомним, что Ленин называл классическую европейской философию одним из трех источников марксизма, а Гитлер апеллировал к авторитету Ницше и Шопенгауэра).

С этой точки зрения становится понятной последняя фраза романа — философская формула, провозглашаемая Герцом Яновером как высшая истина: «Мессия — это Смерть. В этом все дело».

* * *

Однако следует помнить, что в еврейской традиции Смерть (а именно так, с большой буквы, употребляет это слово Герц Яновер) — это всегда лишь антитеза Жизни.

Ключевыми для понимания этих слов всегда считался текст недельной главы «Ницавим» пятой книги Пятикнижия «Второзаконие»:

«…Жизнь и Смерть предложил Я тебе, Благословение и

Проклятие. Избери же Жизнь, дабы жил ты и потомство твое, чтобы любить Господа, Бога твоего…» (Второзаконие, 30:19–20).

Всем своим творчеством Зингер утверждал эту концепцию Пятикнижия, хотя, безусловно, понимал ее несколько иначе, чем еврейские религиозные авторитеты. Если для последних выбор Жизни означал скрупулезное следование как нравственным нормам, так и ритуальным предписаниям иудаизма, которые, с их точки зрения, неразрывно связаны между собой, то для Зингера такой выбор означал сохранение верности прежде всего высоким моральным устоям Пятикнижия, а также духовной и культурной связи с собственными национальными корнями.

Любая попытка пренебречь этими устоями, отказаться от этих корней в итоге никогда не приносит человеку счастья — как не принесла она счастья старшей дочери Леи и Мойше-Габриэля Маше, совершившей самый радикальный шаг среди всех остальных членов семьи Мускат — отказавшейся от своей веры и от своего народа, крестившейся и вышедшей замуж за поляка.

Зингер не раз напоминает в романе о том, что подлинная Жизнь и подлинные ценности следует искать в том мире «старого еврейства», от которого так легко и поспешно отказались и Абрам Шапиро, и Герц Яновер, и Аса-Гешл, и многие другие герои романа.

Вчитаемся в написанную поистине с пронзительной силой сцену беседы Асы-Гешла с дедом, старым тераспольским раввином. Насколько же беспомощно выглядит в ней Аса-Гешл и как уверен в себе и убедителен старый ребе…

Впрочем, меньше всего эта сцена нуждается в комментировании — Зингер явно пишет в ней то, что думает:

«И тут он увидел деда. Появился старик совершенно неожиданно и безо всякого предупреждения, точно привидение с того света. Длинный атласный сюртук распахнут, белые штаны, нити цицес трепещут на ветру. Борода растет как-то криво, точно ее сдувает ветром. Он сделал шаг влево, затем вправо и остановился на некотором расстоянии от Асы-Гешла. Аса-Гешл машинально попятился назад.

— Так это ты, Аса-Гешл?

— Да, дедушка.

— Понятно, понятно. Вырос. По-моему, вырос.

— Может быть, дедушка.

— Я все знаю. Ты женился. Письмо пришло. Что ж, мазлтов[34]*. Свадебный подарок я тебе не отправил.*

— Это не имеет значения, дедушка.

— Ты хотя бы женился на ней по законам Моисея и Израиля?

— Да, дедушка. Она из набожной семьи.

— И ты считаешь это достоинством?

— Конечно, дедушка.

— Надо же. Стало быть, последняя искра веры еще не погасла.

— Я вовсе не отрицаю существования Всевышнего.

— Что же ты в таком случае отрицаешь?

— Претензии человека.

— Ты имеешь в виду Тору Моисееву?

Аса-Гешл промолчал.

— Знаю, знаю. Обычные доводы еретиков. Создатель существует, но Он себя не обнаружил. Моисей лгал. Многие полагают, что Природа — это Бог. Знаю, знаю. А сводятся все эти доводы к тому, что грешить не возбраняется. В этом суть.

— Нет, дедушка.

— Я иду на вечернюю молитву. Хочешь — пойдем со мной. Ничего не потеряешь.

— Да, дедушка, конечно…

— Пусть увидят, что в тебе осталось хоть немного еврейского…

Старик взял Асу-Гешла за локоть, и они медленно двинулись в сторону синагоги. Они вошли в прихожую, и перед тем, как войти, остановились омыть руки над медным умывальником. В меноре[35] мерцала свеча. Колонны, за которыми стояла бима[36], отбрасывали длинные тени. Полки по стенам были забиты книгами. Некоторые хасиды еще сидели, согнувшись за столами, и читали при тусклом свете. Молящиеся ходили взад-вперед, что-то тихо напевая. В углу истово раскачивался какой-то юнец. Перед Ковчегом Завета на стене в рамке красовалась надпись «Бог всегда передо мной». На карнизе Ковчега два резных золотых льва держали в когтях Скрижали Моисеевы. В синагоге стоял тяжелый запах; пахло воском, пылью, постом и вечностью. Аса-Гешл застыл на месте. Здесь, в сумраке синагоги, все, что он испытал за границе, показалось ему лишенным всякого смысла. Все им виденное мнилось ему теперь иллюзией, сном. Истинный его дом был здесь, и нигде больше. Сюда он придет искать спасения, когда уже ничто не сможет ему помочь».

Тема выбора между Жизнью и Смертью по мере движения к финалу романа набирает силу, и вот уже становится несомненно, что и Асу-Гешла, и его дочь, и Герцля Яновера, да и многих других героев романа неминуемо ждет гибель. Шанс на спасение получают немногие, и прежде всего, дочь Копла Шоша, сын Асы-Гешлы Додик и сын Леи и Мойше-Габриэля Аарон. Все они связывают свое будущее с Палестиной, а значит, пусть каждый и по-своему, остаются частью своего народа — и это приносит им спасение.

Роман «Семья Мускат», таким образом, и в самом деле стал романом о закате польского еврейства, обреченного сгореть в огне Холокоста.

Но так же, как Бабель в своем «Закате» в образах изучающих «Песнь песней» мальчика и Арье-Лейба дает читателю и зрителю надежду, что еще не все потеряно и шанс на возрождение народа сохраняется, Зингер утверждает мысль, что страшная гибель польского еврейства, конец его многовековой истории еще не означает гибели еврейского народа вообще.

«Мессия — это Смерть» только для тех, кто сам сделал такой выбор.

Но ведь еврей всегда может выбрать Жизнь.

* * *

Один из вопросов, который неминуемо встает перед читателем «Семьи Мускат», заключается в том, в какой степени это произведение Башевиса-Зингера носит автобиографический характер?

Вопрос этот тем более важен, что многие критики искренне убеждены, что Зингер с момента возобновления своей писательской карьеры в 1943 году и вплоть до написания таких эпохальных романов, как «Шоша» и «Мешуга», питал свое творчество исключительно событиями из собственной жизни. Этим, дескать, объясняется и тематическая узость его произведений, и многократные повторы одних и тех же сюжетов в его рассказах и романах.

Ричард Бурджин во время своих бесед с Башевисом-Зингером, не желая обидеть писателя, не решился задать этот вопрос напрямую, и спросил, не кажется ли Зингеру, что все герои столь любимого им Достоевского — это, по сути дела, лишь разные ипостаси самого Достоевского? Однако Башевис-Зингер прекрасно понял вложенный в вопрос подтекст и ответил:

«— …Писатели XIX века и в самом деле проявляли немалый интерес к собственной личности, но вместе с тем они прекрасно знали, что подлинная сила писателя — в проникновении в судьбы и характеры других людей. Нет у Чехова ни одного рассказа, который он написал бы о себе! И если я время от времени пишу что-то на материале собственной жизни, я не считаю это нормальным. Я категорически против утверждения, что задача писателя заключается исключительно в исповедовании и самопознании. Писатель, который пишет только о себе, скучен так же, как человек, который говорит только о себе. Вообще, писатель,

который ставит в центр повествования свою личность, — обыкновенный зануда…»

И далее Зингер объясняет, почему для него, интроверта по натуре, так важно постоянно встречаться с людьми, выслушивать их истории, причем не в качестве писателя, а в качестве человека и равноправного собеседника — без всего этого его как писателя не существовало бы.

Все это справедливо и по отношению к «Семье Мускат».

В образе Асы-Гешла, безусловно, просматриваются некоторые автобиографические черты, в образах деда и бабки Асы-Гешла, часовщика Иекусиэля легко угадываются дед и бабка самого писателя и часовщик Тодрус, немало сделавший для образования юного Иче-Герца Зингера в Билгорае. Тому, кто хорошо знаком с биографией Башевиса-Зингера, не составит труда заметить, что прототипом Мешулама Муската стал хозяин дома на Крохмальной улице в Варшаве. В Адассе опознается Стефа Яновская, с которой юный Зингер случайно познакомился в 1924 году и на которой собирался фиктивно жениться, чтобы получить визу на въезд в Палестину и таким образом избежать призыва в армию — англичане давали право на въезд в Палестину только супружеским парам. Барбара Фишельзон, вне сомнения, совмещает в себе черты Руни Шапира и Зоси Фишельзон и т. д.

Однако с самого начала, рассказав о том, что брак родителей Асы-Гешла оказался неудачным и распался, когда тот был еще ребенком, Зингер сознательно дистанцируется от главного героя романа, и чем дальше, тем эта «дистанция» становится все больше и больше. Таким образом, говорить о какой-то автобиографичности «Семьи Мускат» или некой документальной подоплеке этого романа не приходится — так же, как нельзя говорить об автобиографическом характере той же «Шоши». Предельная реалистичность, зримость образов этих и других произведений Башевиса-Зингера, возникновение у читателя ощущения, что речь в них идет о некогда реально происходивших событиях объясняется исключительно силой художественного гения Башевиса-Зингера.

В то же время такие романы, как «Люблинский штукарь» и «Враги» — это как раз в определенной степени «духовные биографии» Зингера. И не случайно он говорил тому же Бурджину, что Яша Мазур из «Штукаря» — это тот, кем бы он хотел быть, а Герман из «Врагов» — тот, кем он был на самом деле.

Подлинно автобиографический характер у Зингера, безусловно, носит трилогия «Мальчик в поисках Бога», «Молодой человек в поисках любви» и «Заблудившийся в Америке» (хотя и

здесь реальные события Зингер щедро сдабривает художественным вымыслом), а также роман в новеллах «В суде моего отца». Но все они были написаны уже после того, как к Исааку Башевису-Зингеру пришла, наконец, всемирная слава.

Глава 5
Счастье привалило

В начале 50-х годов вокруг нью-йоркского журнала «Партизан-Ревю» образовалась группа молодых евреев-литераторов, получившая позже название «Нью-йоркские интеллектуалы».

Во главе этой группы стоял тогда еще относительно молодой писатель Ирвинг Хау (Горенштейн), который объединил вокруг себя Сола Беллоу, Натана Глэзера, Ирвинга Кристола, Дэниэла Бела и др. Почти все «нью-йоркские интеллектуалы» были представителями второго поколения еврейских эмигрантов, и это во многом определило их идейные и художественные поиски.

С одной стороны, они жаждали оттеснить в сторону сложившуюся литературную элиту США, стать духовными лидерами и законодателями литературной моды своей страны. Но вместе с тем после Катастрофы они считали себя не вправе разрывать свою связь с еврейством и еврейской культурой и пытались сохранить свою национальную самоидентификацию.

Именно последнее обстоятельство и сблизило Ирвинга Хау с известным идишским литератором Лейзером Гринбергом. Вместе они разработали новый литературный проект, призванный открыть для американского читателя еврейскую, а точнее, идишскую литературу. В рамках проекта было решено привлечь к переводам с идиша на английский наиболее талантливых литераторов. В составленный Гринбергом и Хау список потенциальных переводчиков вошел и Сол Беллоу, который, как считалось, свободно владел идишем — в том смысле, что он умел говорить на этом языке, хотя не умел читать и писать на нем. Но в начале 50-х годов для молодого американского еврея и это было не так уж и мало.

Вместе с Гринбергом Хау отобрал для первого выходящего в рамках нового проекта сборника «Сокровищница рассказов на идиш» произведения как всемирно известных писателей вроде Шолом-Алейхема и И.-Л. Переца, так и ряд рассказов авторов, практически неизвестных широкому американскому читателю. В число последних Хау и Гринберг включили и рассказ Исаака-Башевиса Зингера «Гимпл-дурень».

В один из дней 1952 года Гринберг пригласил в свою нью-йоркскую квартиру Ирвинга Хау и Сола Беллоу и предложил последнему попробовать перевести рассказ Зингера. Так как Беллоу, как уже было сказано, не умел читать на идиш, то

Гринберг зачитывал ему рассказ вслух, а сидевший за пишущей машинкой Белоу с ходу отстукивал его перевод:

«Я — Гимпл-дурень. Сам-то я себя дурнем не считаю. Но так уж прозвали меня. Давно, когда я еще мальчиком ходил в хедер…»

Беллоу в тот день куда-то спешил, и потому переводил быстро, не особенно задумываясь над выбором слов и лишь изредка внося в текст замечания, подсказываемые Хау и Гринбергом. Тем не менее, рассказ ему понравился и вскоре был опубликован в «Партизан-Ревю».

Злые языки утверждали, что, увидев свой рассказ на английском языке, Башевис-Зингер едва не упал в обморок от счастья.

Именно с этой публикации обычно и принято начинать отсчет всемирной славы писателя. Правда, поначалу «Гимпл-дурень» получил признание не столько у широкого читателя, сколько у коллег Зингера по писательскому цеху — Филиппа Рота, Бернарда Маламуда и др., начавших горячо рекомендовать произведения идишского автора в различные периодические издания США.

Филипп Рот сделал одно из первых интервью с Башевисом-Зингером, а позже и ввел его в круг авторов, рецензируемых в “Нью-Йорк Таймс Бук Ревю” — ведущем издании, определяющем рейтинг американских авторов на книжном рынке.

Словом, после публикации «Гимпла-дурня» 48-летний Башевис-Зингер, что называется, проснулся если и не знаменитым, то почти знаменитым.

На следующем этапе творчество Башевиса-Зингера привлекло внимание редактора издательства «Нундэй-пресс» Сессил Хемли, которая в 1955 году выпустила в свет перевод Солом Белоу его романа двадцатилетней давности «Сатана в Горае». И эту книгу также ждал ошеломительный успех.

Окончательное признание к Башевису-Зингеру как к американскому писателю общенационального значения, хотя и пишущему на языке эмигрантов, пришло в 1957 году — после издания все тем же «Нундэй-пресс» сборника «Гимпл-дурень и другие рассказы».

К этому времени на «восходящую звезду идишской прозы» обращают внимание и в Израиле, где его книги начинают выходить и на идиш, и в переводе на иврит. Однако когда писатель стал интересоваться, каким образом он может получить гонорар за эти издания, выяснилось, что тот может быть выплачен исключительно в шекелях, так как платить долларами и тем более переводить их за рубеж тогдашнее израильское законодательство категорически запрещало.

Кроме того, налог, который следовало заплатить Башевису-Зингеру из начисленной ему издателями суммы, составлял почти 60 процентов. Так как шекель был в те годы неконвертируемой валютой и, вдобавок, Башевису-Зингеру не очень хотелось делиться гонораром с еврейским государством, то он решил на причитающиеся ему деньги пригласить в США своего сына Исраэля Замира, которого двадцать лет назад оставил пятилетним мальчиком в Варшаве. Зингер попросил издателей купить на его гонорар билет на пароход, идущий из Хайфы в Нью-Йорк, и эта просьба была охотно выполнена.

Так, во многом благодаря жесткой налоговой политике тогдашних израильских властей, после двадцати лет разлуки произошла встреча отца и сына.

* * *

Этой встрече посвящен, как считается, один из лучших рассказов Башевиса-Зингера — «Сын».

В несколько страниц текста Зингер умудрился втиснуть и описание толпы ожидающих на причале нью-йоркского порта; и свои смешанные чувства к Израилю, который превратил евреев из народа, идущего, как овцы на бойню, в народ воинов; и историю своих взаимоотношений с женщиной, родившей ему сына; и, само собой, свое сложное, противоречивое отношение к этому сыну, с которым он не виделся столько лет:

«Сын являлся из прошлого как некий призрак. Он не имел отношения ни к моему нынешнему обиталищу, ни к тем людям, с которыми я был связан за пределами этой страны. У меня не было для него ни комнаты, ни постели, ни денег, ни времени…

…Я подумал: «И что такое сын, в конце концов? Почему мое семя должно для меня значить больше, чем чье-то чужое? Что за особенная ценность в плотской и кровной связи: все мы — накипь в одном и том же котле. Отступи на несколько поколений, и обнаружишь у всей этой толпы незнакомцев одного общего предка. А через одно-два поколения потомки этих нынешних родственников станут чужими друг другу…»

Зингер признается, что боялся не узнать сына в толпе приезжих. Он даже один раз ошибся, приняв за него другого молодого человека, и тогда он загадал, что если между ним и сыном и в самом деле существует духовное родство; если тот действительно унаследовал черты его характера, то он сойдет с трапа парохода последним — ведь именно так поступил бы и он сам. И именно так все и происходит:

«Вдруг я увидел его. Он вышел медленно, нерешительно, и по нему было видно, что он не ждет, чтобы его кто-то встречал. Он был схож с изображением на снимке, но выглядел старше. На его лице были ранние морщины, и одежда была смята…»

В этот момент становится окончательно ясной нелепость всех рассуждений о том, «почему мое семя должно значить для меня больше, чем чужое». Волна нежности начинает захлестывать автора, который узнает во внешнем облике сына и свои черты, и черты его матери — «другой его половины, которая никогда не смогла бы смешаться с моей»:

«Я приблизился к нему и неуверенно спросил:

— Ата Гиги?[37]

Он засмеялся:

— Да, я — Гиги.

Мы поцеловались, и его щетина ободрала мои щеки. Он был чужим для меня, и в то же время чувствовал, что я привязан к нему, как всякий отец к своему сыну. Мы стояли тихо с тем чувством общности, которое не нуждается ни в каких словах…»

В этом юноше, уже прошедшем через службу в армии, а значит, и через огонь, воду и медные трубы, Зингер, панически боявшийся всего, что связано с армейской службой, узнает как бы другую свою ипостась — то, каким бы он сам мог быть, если бы вырос не в Польше, а в Израиле, на своей земле и на основе иных ценностей. Он настаивает на том, что у него мгновенно возникла телепатическая связь с сыном, и вскоре он уже знал про него все — ведь тот был плотью от его плоти. И в самой их встрече он видит проявление воли тех Высших Сил, которые управляют судьбой мира и каждого человека:

«Сын глядел и молчал. Каким-то образом я постиг, что он думает теперь о войне с арабами и обо всех опасностях, которые он пережил на поле боя. Но те силы, от которых все зависит в этом мире, судили ему приехать в Нью-Йорк и увидеть своего отца. Казалось, он произнес эти мысли вслух. Я был уверен, что он, как и я, размышляет над вечными вопросами.

Как будто пробуя свои телепатические силы, я сказал ему:

— Никаких случайностей не бывает. Если тебе предназначено жить, ты останешься в живых. Так суждено.

Удивленный он повернулся ко мне:

— Э, да ты умеешь читать чужие мысли?

И он улыбнулся изумленно, пытливо и скептически, словно я по-отечески пошутил над ним».

Рассказ «Сын» — вне сомнения, один из самых сентиментальных и идиллических рассказов Башевиса-Зингера.

Однако в реальности отношения с сыном у Зингера были

весьма далеки от идиллии. Если в первый день он еще уделил Исраэлю какое-то внимание и пошел вместе с сыном в музей «Метрополитен», то уже на второй день Зингер, как обычно, поднявшись в девять утра, принял душ и сел за работу, словно не замечая присутствия сына.

Когда Зингер сообщил сыну, что будет давать ему на время пребывания в Штатах один доллар в день, тот понял, что одним из главных недостатков его отца является почти патологическая скупость. Видимо, заложенная в нем от природы, эта черта характера писателя еще больше развилась за годы лишений, которые ему пришлось претерпеть в первые десятилетия жизни в Америке. Зингер к тому времени был если и не вполне обеспеченным, то твердо стоящим на ногах человеком, но по-прежнему продолжал считать каждый цент.

Предположение об отцовской скупости подтвердилось, когда Зингер выказал неприкрытую радость, узнав, что сын нашел работу и ему уже не придется давать этот пресловутый доллар, на который даже в 1955 году можно было в лучшем случае один раз в день перекусить в кафе.

Но самое главное — близкие отношения между отцом и сыном никак не налаживались. Редкие часы намечающегося сближения сменялись днями и месяцами полного отчуждения.

Когда спустя несколько лет Замир высказал отцу все, что он думает по поводу его поведения во время его первого приезда в Штаты, Башевис-Зингер признался, что хотя он сам и пригласил сына в гости, затем он испугался, что тот нарушит привычный распорядок его жизни и — самое главное — помешает его работе.

— Что поделать — я не создан для семейной жизни и знаю, что я плохой отец, — сказал Башевис-Зингер. — Мои дети — это мои произведения. Когда ты появился у нас дома, я почувствовал себя крайне скованно. Нам было тесно вдвоем в одной квартире — ведь ко мне то и дело звонили женщины, а из-за тебя я не мог с ними нормально поговорить, даже вынужден был их обманывать…

Когда же Замир обвинил отца в скупости, тот закрыл глаза и замолчал, словно анализируя, насколько оправдано это обвинение.

— Нет, я не скуп, — наконец, сказал он. — Это доказывает хотя бы тот факт, что я купил тебе билет на пароход, а к твоему приезду специально приобрел раскладушку. Как видишь, я пошел на определенные траты. А что касается того, что у тебя не было денег, так ты мне об этом ничего не сказал. Кстати, ты уверен, что я давал тебе только доллар день, а не больше?!

Была, по мнению Замира, еще одна причина, заставлявшая

Зингера опасаться приезда сына настолько, что буквально на следующий день после их встречи он заказал ему и себе обратный билет Израиль.

И причиной эта, как уже говорилось, крылась в патологическом страхе Зингера перед американскими властями. Замир вспоминает, как, проходя с отцом по Манхеттену, они встретили группу рабочих-пикетчиков с вывешенными на груди плакатами о том, что их предприятие бастует, протестуя против произвола хозяина.

— Вот! — сказал выросший в кибуце и тогда все еще по-юношески пылкий Исраэль Замир. — Вот они — ростки той мировой революции, которая рано или поздно произойдет и в Америке. И здесь рабочие перестают терпеть власть капиталистов и рано или поздно скинут ее!

— Тише! Тише! — прошептал Зингер сыну, и в глазах его в это время стоял панический ужас. — Иначе меня депортируют из Соединенных Штатов вместе с тобой.

Зингер потом признавался, что эта выходка сына не только вызвала у него неприятие, но и сильно напугала его: Америка переживала в тот год самый пик маккартизма, и за выражение публичных симпатий к коммунистам можно было довольно дорого заплатить.

Узнав о том, что прокоммунистическое израильское движение «Ха-шомер ха-цаир» («Юный страж») попросило его сына задержаться в США на два года в качестве своего представителя, Башевис-Зингер по-настоящему расстроился. Он знал, что это движение объявлено в Америке вне закона; въезд его членам на ее территорию запрещен, и потому для того, чтобы получить въездную визу, Исраэлю Замиру пришлось обмануть консула.

Первый по-настоящему задушевный разговор между отцом и сыном произошел весной 1956 года, после того, как в Москве прошел XX съезд КПСС. Доклад Хрущева поверг молодого человека в глубокий душевный кризис. И поняв это, Зингер долго объяснял сыну, что на самом деле в этом докладе нет никаких откровений; кто такой Сталин и что несет миру коммунистическая идеология, ему стало ясно еще в годы жизни в Варшаве.

Именно тогда, в 1956 году, известный своей скупостью Зингер сделал сыну, как пишет в своем эссе о писателе Михаил Дорфман, поистине царский подарок: он предложил ему попробовать себя в качестве переводчика его произведений на иврит.

* * *

Летом 1955 года Исаак Башевис-Зингер вместе с женой впервые приехал в Израиль — чтобы не пропали те самые билеты, которые он купил для себя и для сына. Здесь к тому времени жило множество его земляков и знакомых из Варшавы и Билгорая; к тому же многие израильские евреи по-прежнему активно читали «Форвертс» и были поклонниками его таланта. Так что не удивительно, что чета Зингеров была что называется нарасхват — Башевиса-Зингера то и дело приглашали на литературные вечера, а все свободное время уходило на визиты к давним друзьям и знакомым, и почти каждый такой визит сопровождался застольем, на которое собиралось по несколько десятков человек, мечтавших встретиться и лично поговорить с любимым писателем. Застолья были скромными — Израиль тогда переживал не лучшие свои времена, но зато Зингер чувствовал себя на них, в отличие от Эльмы, уютно и раскованно. На какое-то время ему показалось, что он снова оказался в Варшаве, среди завсегдатаев писательского клуба, только уже не в роли безвестного, начинающего литератора, а маститого, всеми признанного прозаика.

Встречи с друзьями в Хайфе, Герцлии, Тель-Авиве и в других городах Израиля не только оживили в памяти Башевиса-Зингера воспоминания юности и молодости, но и еще раз напомнили о незаживающей ране Холокоста, искалечившем не только судьбы, но и сами души и сознание евреев, прошедших через ад гетто, нацистских концлагерей и Гулага. Впечатления, полученные писателем как во время его той, первой, так и в ходе последующих поездок в Израиль нашли свое отражение в написанных в разные годы рассказах, и, конечно, в романах «Шоша» и «Мешуга».

Сам Израиль середины 50-х годов оставил у Башевиса-Зингера двойственное ощущение.

С одной стороны, его изумляло и умиляло то, что все прогуливающиеся по улицам прохожие — евреи и их самих нисколько не удивляет этот факт; что на прилавках киосков лежат почти исключительно газеты на иврите. Все происходившее вокруг порой казалось ему то сценами из какого-то фантастического фильма, то исполнением самых смелых пророчеств Библии.

Но, с другой стороны, израильские евреи казались ему не похожими на «настоящих евреев», тех, каких он привык видеть в Польше, да и сам образ жизни, который они вели, разительно отличался от его представления о «еврейском образе жизни».

Особенно поразила писателя поездка в кибуц[38], расположенный на склоне горы Кармель, где он с Эльмой решили три дня отдохнуть от все более и более утомляющих бесчисленных встреч и разговоров. В первый день их пребывания в кибуце Эльма отправилась спать пораньше, но Башевису-Зингеру не спалось, и он решил отправиться в клуб, чтобы послушать радио, — там, в клубе, располагался единственный на всю коммуну радиоприемник.

На входе в пустой зал клуба Зингера передернуло — прямо со стены, под висящим на ней красным флагом на него смотрел портрет «отца народов» Иосифа Виссарионовича Сталина. Стараясь не смотреть на портрет усатого убийцы, писатель около получаса провел у приемника, пытаясь найти какую-нибудь интересную радиопередачу, а когда это занятие ему прискучило, огляделся и заметил стоявший в углу массивный письменный шкаф.

Это было как раз то, что нужно, — Зингер был уверен, что найдет в них книги Агнона, Бердичевского, Аша, Шолом-Алейхема и других еврейских классиков, и это поможет ему скоротать время. Однако с книжных полок на него смотрели ровные, роскошно изданные фолианты собраний сочинений Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Он взял один из томов, открыл его наугад, и со страницы на него дохнуло забытой философской казуистикой и революционной риторикой.

Мысль о том, что на этих книгах выросло целое поколение израильских евреев, включая и его сына, вызвала у него едва ли не физическое чувство отвращения — никого, кроме ограниченных, непримиримых фанатиков, эти тома, по его мнению, вырастить не могли.

Воспоминания об этой своей первой поездке в Израиль Башевису-Зингеру пригодились много позже — во время работы над замечательной повестью «Раскаявшийся» (1973), когда ему понадобилось передать первые, самые сильные впечатления своего героя от Израиля:

«В Тель-Авиве было одно кафе, где собирались разные писатели и актеры. Я как-то случайно забрел туда. В молодости статьи о литературе и писателях меня занимали. Я читал книги, восхищался умением авторов словами выражать мысли и чувства своих героев, потаенные движения их сердец. Но когда я увидел их в этом кафе, на их лицах читалось то же, что и на лицах других: алчность, тщеславие, мелочность…

…После нескольких дней затворничества я начал встречаться со своими варшавскими знакомыми — друзьями, приятелями, с теми, с кем познакомился в Вильно, Москве и Ташкенте. Мне не

нужно было их искать: я встретился с кем-то одним, и он сообщил о моем появлении прочим. Некоторых я увидел прямо там, в кафе на бульваре Дизенгофа. Начались объятия, трогательные слова, расспросы и воспоминания. Многие из моих знакомых погибли при Гитлере или умерли с голоду, или сгинули в сталинских лагерях… Почти все уцелевшие оказались здесь. Со всех сторон неслось: убит, умер, погиб, расстрелян. Весь Тель-Авив был одним огромным лагерем уцелевших. Вдовцы находили себе здесь новых жен, вдовы — новых мужей. Те из женщин, кто был еще молод, снова обзаводились детьми.

Приглашения сыпались на меня со всех сторон. Я постоянно покупал цветы и конфеты и вечно куда-то ехал на такси… Некоторые начали намекать или даже открыто просить, чтобы я помог им перебраться в Америку. Конечно, Израиль — это наша страна и наша надежда, но переварить святой язык и иудаизм в таких количествах не так-то просто. К тому же, шептали мне на ухо, здесь ничего невозможно добиться, если у тебя нет могущественных покровителей наверху. Нужно быть членом правильной партии или иметь хорошие связи. Здесь, как и везде, прав был сильный. А как иначе? Евреи ведь тоже люди…

…В перерывах между встречами и приглашениями я ходил в синагоги. Да, многие евреи в Тель-Авиве молились. Многие жили честно и набожно. В школах преподавали Писание, еврейскую историю, Мишну и даже кое-что из Гемары. Многие люди соблюдали кошер и субботу. Но чем больше я встречался с такими евреями, чем лучше узнавал их, тем яснее понимал, что им не хватает сил защитить своих детей от влияния мирского, правящего страной. Их образ жизни чаще всего не был порождением пламенной веры, он вырастал из повседневности, а иногда и из необходимости быть членом какой-либо партии. Это был холодный, вялый иудаизм…»

А вот и впечатления от посещения кибуца:

«Я много слышал о кибуцах и как-то раз решил поехать в один из них, к своему дальнему родственнику. Это был левацкий кибуц. Родственнику я привез разные подарки, так что он был рад видеть меня, и повел на экскурсию: мы увидели школу, коровник, сарай, пруд, где разводили карпов. Там даже было красивое здание, называвшееся Домом культуры…

…Тем вечером в кибуце проходили выборы. И все члены организации должны были собраться вместе после обеда. Увидев, что свет горит только в Доме культуры, я зашел внутрь. Оказалось, что там есть библиотека с израильскими и иностранными газетами. Несмотря на свет, в помещении было пусто; на стенах я увидел портреты Ленина и Сталина. Кто

такой Сталин, сколько евреев он уничтожил и с какой враждебностью относился к Государству Израиль, было прекрасно известно, тем не менее, его портрет висел на стене. Преданные левым идеям евреи до сих пор не могли расстаться с этим творцом «прогресса», пророком «светлого будущего» и счастливой жизни. Мне хотелось сорвать со стены картину и разорвать ее в мелкие клочья. Среди газет, лежащих на столе, попадались не только советские. Тут были коммунистические издания чуть ли не со всего мира и на всех языках, включая идиш.

Когда я сидел там и просматривал газеты, в помещение вошла девушка… Очевидно, она кого-то ждала, потому что время от времени поглядывала на дверь.

Действительно, вскоре в библиотеку вошел молодой парень. Решив, что я — американец и не понимаю иврита, парочка начала говорить… и, хотя из-за сефардского произношения я понимал далеко не все, но общий смысл разговора был ясен. Девушка была замужем, ее муж уехал в Иерусалим, и она не знала, когда точно он вернется: то ли сегодня вечером, то ли завтра утром. Парень просил, чтобы эту ночь она провела с ним, но девушка отказывалась, говоря, что это слишком опасно. Да, и здесь, в этом Доме культуры происходило все то же, что и в других подобных домах, и у евреев, и у гоев. Портрет Сталина на стене и разговор этой парочки раз и навсегда доказали мне, что светские евреи Израиля ничем не отличаются от светских евреев любой другой страны…

…Конечно, в других кибуцах уже сняли портреты Сталина, или, по крайней мере, перевесили их куда-нибудь подальше, но и там все надежды связывались с банальной социологией, фальшивой психологией, бессмысленной поэзией, учениями Маркса и Фрейда, теориями тех или иных профессоров. Они просто свергали старых кумиров и на их место ставили новых…»

Таким образом, подводя итоги своим поездкам в Израиль, Башевис-Зингер не упустил случая, чтобы еще раз высказать свое язвительное отношение как к западной культуре, так и к коммунистической идеологии, образовавшие в Израиле весьма странный симбиоз. Однако в Израиле многие восприняли этот сарказм Зингера как проявление его негативного отношения к еврейскому государству и самой идее его создания вообще. Во всяком случае, среди израильской интеллигенции твердо укоренилось мнение, что «Башевис-Зингер всю свою жизнь плохо относился к Израилю».

На самом деле это, конечно, было далеко не так, и последующие события жизни Башевиса-Зингера это только подтверждают. Хотя отчасти слухи о его плохом отношении к

Израилю, особенно после 1978 года и были верны — и к причинам этой перемены мы еще вернемся на страницах этой книги.

О подлинном отношении Башевиса-Зингера к Израилю, о том, что его непрестанно тянуло в эту страну, можно судить хотя бы по диалогу между автором и художником Товией Афангом в рассказе «Пленник», в котором Зингер, как обычно, приписывает герою свои собственные мысли и чувства:

*«Но ведь не силком же она **(страна — П.Л.)** вас тут держит. Почему бы вам не уехать в Париж или в Америку?*

— Что вы?! Я влюбился в Израиль! Восхищаюсь этой страной. Раньше я проповедовал безучастность, но здесь эта философия не работает. Когда ночью я иду по здешним узеньким улочкам, и светит луна, меня охватывает настоящий восторг. Мне кажется, я умер бы от тоски, если бы мне пришлось жить где-то еще. Гуляя по берегу моря, я буквально слышу голоса пророков. Я понимаю, что это просто игра воображения, но мне и вправду кажется, что меня окружают древние израильтяне, ханаане и прочие племена, с которыми сражался Иисус Навин. Я жил в Алжире и в Марокко. Тамошние призраки — это кровожадные убийцы, разбойники, маньяки. А тут — герои и праведники. Хоть я и не верю в Бога, здесь я как будто слышу Его. Атавизм, с которым мы, евреи, ничего не можем поделать и который значит для нас больше, чем инстинкт самосохранения. Наверное, вы тоже чувствуете что-то подобное?

— Начинаю чувствовать.

— Ради своего же блага, бегите пока не поздно. Если вы просидите здесь полгода, то уже никогда отсюда не выберетесь…»

Герой-рассказчик и в самом деле в финале, в отличие от реального Башевиса-Зингера, оказывается не в состоянии уехать из Израиля, взятый в плен не только и не столько властной и хищной Соней, сколько самим Израилем — единственной страной, где еврей, несмотря ни на что, чувствует себя дома. Сам финал «Пленника» и есть ответ на вопрос о подлинном отношении Башевиса-Зингера к Израилю.

* * *

Второй раз Исаак Башевис-Зингер приехал в Израиль спустя два года, в 1957 году, чтобы вместе с сыном поработать над сборником своих рассказов в переводе на иврит.

— Я долго думал, прежде чем сделать тебе предложение стать моим переводчиком, — признался Зингер. — Я очень боюсь,

что это может испортить наши отношения друг с другом.

— Они для тебя действительно так важны?

— О, еще как! Но дело в том, что когда речь заходит о работе над словом, я не приемлю никаких компромиссов и становлюсь совершенно невыносимым человеком.

Совместная работа отца и сына над переводами продолжалась вплоть до первой половины 80-х годов прошлого века.

Замир вспоминает, что уже во время первого такого «сеанса» совместной работы в гостиничном номере он поразился тому, насколько великолепно его отец знал иврит. Говорил на этом языке Зингер крайне плохо, но вот когда дело доходило до литературной правки, выяснялось, что он владеет колоссальным словарным запасом и подмечает все оттенки текста, немедленно внося исправления в те места, которые его не устраивали.

Одновременно, судя по воспоминаниям современников, да и по рассказам самого Башевиса-Зингера, он завел в этот свой приезд в Израиль несколько мимолетных любовных интрижек.

Таким образом, 53-летний Зингер остался верен самому себе, точнее, своему вечному разладу между исповедовашимися им как писателем высоких моральных идеалов Торы и неистребимым влечением к женщинам, которому он был просто не в силах противостоять.

При этом он создал оправдывающую самого себя теорию, согласно которой он лишь уступал настояниям слишком страстных, но неудовлетворенных своими мужьями израильских евреек.

Эту «теорию» Зингер почти одними и теми же словами изложил и в ряде своих «израильских» рассказов.

«— У тебя где-то написано, что грешат в ином мире, а ад — здесь. Для тебя это, наверно, только слова, но это — правда. Я — перевоплотившаяся грешница из иного мира. Геенна — во мне. Меня изводит здешний климат. Мужчины становятся импотентами, женщин снедает страсть», — говорит Доша в рассказе «Братец Жук», в основу сюжета которого легло одно из любовных приключений, пережитых писателем в Израиле.

И в том же «Раскаявшемся»:

«Как-то я заговорил с одной женщиной о вещах достаточно щекотливых. Она сказала, что здешний климат охлаждает мужскую страстность и прямо противоположным образом действует на женщин, которые становятся очень пылкими.

— И что же вы с этим делаете? — спросил я.

— Ну, справляемся кое-как, — ответила она, и хитро улыбнулась…»

Однако если в своих произведениях Зингер обычно изображает себя совершенно непрактичным, наивным человеком, легко попадающим в женские сети и идущим на поводу у своей очередной возлюбленной человеком, то в реальной жизни это было далеко не так. Это доказывает хотя бы история его романа с израильским продюсером, директором студии «Герцлия» Маргот Клаузнер, развернувшемся летом 1957 года.

Умная и расчетливая Клаузнер, возможно, являющаяся прототипом Сони из «Пленника», как ни странно, поверила в созданный самим Зингером его имидж и потому решила получить от него права на инсценировки и постановку в кино всех его произведений как с помощью своих любовных чар, так и прибегнув к придуманной ею легенде, что она является медиумом, общается с духами и Свыше ей было поведано, что именно она должна заниматься постановкой спектаклей и фильмов на основе романов и рассказов Исаака Башевиса-Зингера.

Первая часть этого плана удалась: очень скоро Клаузнер оказалась в одной постели с писателем в его гостиничном номере.

Однако когда она, положив ему руку на голову, «вошла в транс», заупокойным голосом сообщила о «воле духов», а затем извлекала из сумочки уже подготовленный ею договор о передаче авторских прав, великий мистик Башевис-Зингер тут же превратился в расчетливого материалиста и начал под всяческими предлогами уклоняться от навязываемой ему сделки.

Об этой истории стало известно от все того же Исраэля Замира, который вошел в отцовский номер как раз в тот момент, когда Маргот Клаузнер держала руку на лысом черепе его отца, а Башевис-Зингер шарил руками по ее груди. Увидев сына, он немедленно убрал руки и заявил, что продолжит разговор со столь интересной женщиной как-нибудь в другое время.

— Она — очень плохой медиум! — сказал Зингер сыну, когда продюсерша, поправляя на ходу платье, наконец, удалилась. — Ну, кто же вмешивает Высшие силы в бизнес?!

* * *

Говоря о совместной работе отца и сына Зингеров (ведь фамилия Замир — это, по сути, дословный перевод с идиша на иврит фамилии «Зингер») над переводами, автор этой книги не может обойти молчанием один из самых стойких мифов, сложившихся вокруг творчества Исаака Башевиса-Зингера.

Да, я имею в виду широко распространенное мнение, согласно которому переводы произведений Исаака Башевиса-Зингера на английский язык являются с художественной точки зрения куда более совершенными, чем идишские оригиналы, а потому, дескать, и переводить эти произведения на другие языки мира необходимо именно с авторизованных переводов на английский. Даже Михаил Дорфман в своем пространном эссе о Зингере «Портрет, который ни в какие рамки не вмещается», придерживается именно такой позиции:

«…Авторизованные переводы» писателя, — пишет он, — стали, по сути, вторыми оригиналами его произведений. Только с английских авторизованных переводов писатель позволял делать переводы на другие языки. Именно поэтому некоторые сделанные в последнее время в России — якобы с идиша и явно вопреки воле писателя — переводы имеют жалкий, топорный вид и даже отдаленно не напоминают подлинные тексты Башевиса-Зингера…»

Начнем с того, что далеко не все сделанные с идиша переводы произведений Башевиса-Зингера и в самом деле имеют «жалкий, топорный вид», как это пытается представить Дорфман. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно открыть вышедший в 1991-м году в издательстве «Текст» сборник «Шоша. Роман. Рассказы». Переводы всех 14 рассказов, помещенных в этом издании, были сделаны Львом Беринским именно с идиша.

Достаточно сравнить их с переводами одноименных рассказов, сделанных в разные годы различными переводчиками с английского, чтобы понять: работа Беринского однозначно лучше. Точнее, в его переводах куда более ярко чувствуется еврейский колорит, в значительной степени утрачиваемый, а порой и вообще выхолащиваемый переводчиками с английского.

Миф о том, что переводы произведений Башевиса-Зингера на английский однозначно лучше оригиналов, сложился, в основном, благодаря американским биографам и исследователям писателя.

В своих книгах они то и дело утверждают, что оригинальные идишские тексты Башевиса-Зингера написаны крайне небрежно, и это вполне объяснимо: ведь чаще всего он писал их для газеты, торопясь сдать в очередной номер, что называется, поточным методом. И только потом, когда приходило время их перевода на английский и подготовки к изданию на этом языке, Зингер, дескать, начинал работать над каждой фразой, каждым словом, выматывая своих переводчиков, а подчас и устраивая им настоящие скандалы.

Кроме того, уже с конца 50-х годов он начал сам составлять подстрочники своих произведений на английский, по ходу дела

перерабатывая их, и затем уже отшлифовывал их до совершенства, редактируя работу переводчиков, а подчас и просто выступая в качестве соавтора перевода.

Однако то, насколько эта версия далека от действительности, можно понять даже из интервью, которые Башевис-Зингер в разные годы давал тем или иным журналистам или литературоведам. Да, действительно, большинство зингеровских рассказов, да и романов написаны, как говорится, в один прием: тщательно продумав тот или иной кусок текста, он обычно с ходу переносил этот текст на бумагу, по сути дела, уже не создавая, а просто записывая его. Затем, обычно даже без всяких правок, писатель отсылал этот текст для набора в очередной номер «Форвертса».

Однако, во-первых, не следует забывать, что зачастую непосредственно перед сдачей номера газеты Зингер прочитывал корректуру «свежим взглядом», внося в нее многочисленные правки. Настолько многочисленные, что, как рассказывают ветераны «Форвертса», дело порой доходило до того, что наборщики отказывались вносить эти правки, и несколько раз Зингеру приходилось самому садиться за линотипный аппарат и собственноручно перебирать текст, хотя подобная практика и была категорически запрещена профсоюзом типографских рабочих.

Во-вторых, когда дело, наконец, доходило до издания книги, Башевис-Зингер снова кардинальным образом перерабатывал именно идишский вариант текста, зачастую попросту переписывая его, и эта работа занимала многие месяцы, а порой длилась и больше года. Так было с романом «Семья Мускат», так это и происходило с романом «Шоша» — в ходе переработки последнего объем романа уменьшился едва ли не вдвое.

И все же автору этих строк не остается ничего другого, как признаться, что в какой-то момент он и сам подпал под влияние мифа о том, что авторизованные переводы с английского с художественной точки зрения являются куда более совершенными, чем оригинальные произведения Башевиса-Зингера. В конце концов, весь блеск его рассказов в переводах с идиша Льва Беринского можно объяснить мастерством самого переводчика, являющегося не только знатоком идиша, но и маститым и талантливым литератором.

Однако Лев Беринский в разговоре со мной не оставил и камня на камне от этой версии. Более того — он был крайне раздражен моим вопросом, показавшимся ему попыткой усомниться в гениальности Башевиса-Зингера.

— Что за чушь?! — сказал Беринский. — Я открыл Башевиса-

Зингера для себя, можно сказать, почти случайно. И взялся за переводы его произведений, в отличие от многих других своих переводческих работ, не по заказу (я вообще тогда не знал, где они будут опубликованы, и удастся ли их опубликовать вообще), а потому что был заворожен именно его мастерством как писателя. Ни о какой небрежности идишских оригиналов Зингера не может быть и речи. Это — отточенная, выверенная до последнего слова проза писателя, владевшего идишем так, как, пожалуй, не владел ни один из его современников.

Истина, видимо, заключается в том, что Башевис-Зингер прекрасно понимал, что именно переводы с английского открывают ему путь к широкому читателю, делают его книги частью мировой литературы, а потому уделял огромное внимание отбору тех произведений, которые подлежали переводу, и самому качеству переводов. Не секрет, что у него был целый ряд произведений, которые Зингер (заслуженно или нет — это другой вопрос) считал откровенно слабыми и не желал их переиздания ни при жизни, ни после его смерти ни на идиш, ни на каком-либо другом языке — например, ряд ранних рассказов, написанный в 1935 году роман «Грешный Мессия» и др.

Отсюда, видимо, и берет начало приводимая Дорфманом версия о том, что переводы произведений Башевиса-Зингера непосредственно с идиша делаются «явно вопреки воле писателя».

Однако, описывая процесс работы и взаимоотношения Башевиса-Зингера с его переводчиками и издателями, Михаил Дорфман, безусловно, говорит правду:

«…Писатель читал переводчикам вслух свой текст небольшими кусками, обсуждал каждое выражение, тщательно полировал, часто переделывал характеры и сюжет, приспосабливая еврейские рассказы к американскому читателю. Эта работа с переводчиками была подлинным творческим актом. Литературный Нью-Йорк полнился слухами о его несносном характере и о том, как он оскорбляет своих переводчиков. Скандалов не избежали ни известные и самостоятельные — Сол Беллоу, Айзек Розенфельд, Доротея Страус или Майра Гинзбург, — ни покорные и зависимые — Рут Шахнер-Финель, Эвелин Торнтон, Герберт Лотман, Элизабет Шуб или Розанна Гербер. Из-за этих бесконечных конфликтов Башевис-Зингер так и не нашел «своего» переводчика. И его отношения с редакторами и издателями, его постоянные тяжбы и ссоры с ними тоже вызывали вечные толки.

Увы, как известно, талант далеко не всегда сопровождается корректностью. А Башевис-Зингер был совершенно «неподконтролен». Он отказывал в пресловутом «эксклюзиве» на свое творчество кому бы то ни было, он всеми правдами и

неправдами сопротивлялся любому диктату и закабалению, с удивительным постоянством пренебрегая так называемыми кодами «интеллектуальной собственности».

Для того чтобы понять, насколько порой прав был Башевис-Зингер в своих претензиях к переводчикам, достаточно вспомнить все тот же перевод Сола Беллоу рассказа «Гимпл-дурень», считающийся едва ли не классическим примером неточного, обедненного перевода, который, тем не менее, по иронии судьбы стал считаться классическим.

Рассказ это в идишском оригинале начинается со слов *«Их бин Гипл там. Их халт мих ништ фар кейн мар»*. Слово *«мар»* и в самом деле означает на идиш «дурак, глупец», но вот слово *«там»*, как уже говорилось, имеет совершенно иное значение, особенно с учетом того контекста, в котором оно употребляется в священных текстах и в ивритской и идишской литературе. Беллоу же перевел оба слова на английский одинаково, как *fool*, то есть «дурак, глупец». В результате фраза стала звучать так: «Я Гимпл-глупец. Хотя сам я вовсе не думаю, что я так уж и глуп» — и как следствие рассказ в его английской версии практически утратил весь свой метафизический смысл.

Недостатки переводов произведений Башевиса-Зингера на английский нередко усиливаются при переводах с этих переводов на русский. Анализ переводов произведений Башевиса-Зингера на русский язык — это вообще тема отдельной большой работы, которая будет интересна, скорее всего, лишь узкому кругу переводчиков и специалистов. И потому я здесь лишь мельком отмечу некоторые из откровенных промахов, допущенных переводчиками из-за их незнания не только идиша, но и еврейской традиции, истории и даже элементарной фонетики еврейских языков. Так, в переводе «Шоши» на русский Н.Р.Брумберг Хаймеле (вариант известного еврейского имени Хаим) превращается в Геймла; в добротном переводе «Семьи Мускат» Александра Ливерганта последователи рабби Нахмана из Бреслава почему-то называются «мертвыми хасидами». Хотя на самом деле они называют себя «хасидами мертвого Ребе», так как после смерти рабби Нахмана отказались признать кого-либо в качестве его достойного преемника.

В переводе пьесы «Тойбеле и ее демон» мезуза называется «мецуцой», причем переводчик, во-первых, явно плохо представляет себе, что это такое, а во-вторых, совершенно не понимает, в какую опасную омофонию играет — ведь «мецуца» на иврите означает «минет». И таких примеров можно привести сотни.

Вывод отсюда напрашивается только один: Башевиса-Зингера

следует переводить на русский именно с идиша, с языка оригинала, причем желательно, чтобы это делал переводчик, по меньшей мере, имеющий представление о еврейской традиции и образе жизни. Исключение составляют лишь те произведения Башевиса-Зингера, в переводе которых на английский он выступает в качестве соавтора.

Кстати, «своего» переводчика на английский Башевис-Зингер в итоге все-таки нашел: им стал Иосиф Зингер — сын его брата Исраэля-Иешуа. Хотя личные отношения писателя с племянником опять-таки оставляли желать много лучшего.

Глава 6
Зрелость

Еще во время своего первого приезда в Израиль Башевис-Зингер сумел разыскать людей, рассказавших ему о судьбе, постигшей его мать и младшего брата, которых писатель в последний раз видел в 1933 году. Эта их встреча была затем описана писателем в романе «Шиша», в котором он приводит этих двух дорогих ему людей на свою свадьбу к Шише — свадьбу, которой, разумеется, никогда не было в помине, но которая, как мы увидим дальше, носила для Башевиса-Зингера «алхимический», сакральный смысл. Но вот приезд Батшебы и Мойше Зингера в Варшаву 1933 года и в самом деле имел место, и в «Шоше» Зингер пытается запечатлеть все нюансы, все детали той встречи, а также свои, исполненные огромного смысла разговоры с братом и матерью:

«Моя мать и Мойше приехали за неделю до свадьбы. Поезд прибывал в восемь часов утра на Гданьский вокзал. При встрече я едва узнал их. Мать казалась меньше ростом, какой-то сгорбленной, совсем древней старухой. Нос у нее стал длиннее и загибался, как птичий клюв. Глубокие морщины прорезали щеки. Только серые глаза лучились, как в былые дни. Она больше не носила парик — голову покрывал платок. На ней была длинная юбка, почти до полу, а кофту эту я помнил еще с тех времен, когда жил дома. Мойше вытянулся. У него была густая светлая борода и пейсы до плеч. Вытертое меховое пальто, на голове облезлая, в пятнах, раввинская шапка. Из незастегнутого ворота рубахи выступала шея — тонкая, как у мальчика…»

Зингер знал, что Мойше с матерью остались в Джикуве, где его брат после смерти отца исполнял обязанности местного раввина. После начала Второй мировой войны Джикув оказался в той части Польши, которая отошла к СССР. Это спасло мать и брата от рук нацистов, но не спасло от высылки в Казахстан, где они оба и скончались. Моше, по всей видимости, закончил свои дни в одном из сталинских трудовых лагерей.

В романе «Враги. История любви» в рассказе Тамар об ее жизни в СССР Башевис-Зингер мельком обмолвился о судьбе брата и матери:

«— Если Бог был способен наблюдать весь этот ужас, и оставаться безмолвным, то он не Бог. Я говорила с набожными евреями, даже с раввинами. В нашем лагере был молодой человек, он был раввином в Старом Джукове. Он был так благочестив,

таких, как он, больше нет. Он работал в лесу, хотя у него для этого не было сил. Красные хорошо знали, что его работа была бесполезной, но мучить рабби считалось хорошим поступком. По субботам он не брал свою порцию хлеба, так как Закон запрещает что-либо нести в субботу. Его мать, жена старого рабби, была святая женщина. Только Господь в небесах знает, как она заботилась о других и отдавала последнее, что у нее было. Она ослепла от лагерных условий. Но она отличала всех молящихся сердцем и поминала их до своего последнего часа.

Однажды я спросила ее сына: «Как мог Господь допустить такую трагедию?» — «Неисповедимы пути Господни», — и это все. Я не спорила с ним, но почувствовала горечь. Я рассказала ему о наших детях. Он побледнел, как мел, и выглядел пристыженным, будто сам был ответственен за это. В конце концов он сказал: «Прошу вас, не говорите больше»…»

Получение достоверных сведений о смерти матери и брата, наложилось у Башевиса-Зингера на последовавшем еще в 1954 году известии о смерти сестры — известной идишской писательницы Эстер Крейтман. В силу разницы в возрасте и жизненных обстоятельств Иче-Герц никогда не был близок с сестрой. Однако ощущение, что он остался единственным представителем своей семьи на земле и одним из немногих, кто не только сохранил в памяти исчезнувший мир польского еврейства, но и может рассказать о нем миру, навалилось на него огромным чувством ответственности.

В середине 50-х годов он начинает публиковать в «Форвертсе» под псевдонимом Исаак Варшавский одну за другой новеллы о своем детстве и юности, в которых пытается запечатлеть историю своей семьи и еврейскую Варшаву начала XX века. Одновременно в этот же период он создает целый ряд рассказов, продолжающих в определенной степени ту тему, которую он начал еще в «Гимпле-дурне». Перенося своего читателя на находящуюся уже в зазвездном далеке «планету Штетл», Башевис-Зингер создает целую галерею образов ее жителей, чем-то напоминающих, если пользоваться знакомой читателю терминологией, шукшинских «чудиков», поражающих и своей душевной чистотой, и силой своей веры. И одновременно каждый из этих рассказов поражал читателя и открывающимися в нем мистическими глубинами, и остротой поднимаемых в нем нравственных проблем.

Одним из характерных примеров новеллистики Башевиса-Зингера середины 50-х годов является написанный в 1956 году рассказ «Огонь». Его главный герой Лейбуш — это своего рода Гимпл-второй. Будучи нелюбимым сыном, он продолжает заботиться о безобразно относящемуся к нему отце; затем

оказывается обкраденным при разделе наследства старшим братом Липэ, и пока тот процветает, влачит поистине жалкое существование. И так же, как и Гимплу, Лейбушу приходит в голову мысль отомстить брату за обман и пережитые унижения и сжечь дотла принадлежащую ему мельницу. Драматизм повествования усиливается тем, что это решение приходит к Лейбушу в субботу — когда еврею не только запрещено зажигать огонь, но и прикасаться к спичкам и всему прочему, что с ним связано. Но именно в субботнюю ночь он берет мешок со стружками, кремни, фитиль и идет «жечь дом моего брата, жечь мельницу моего брата, жечь амбар моего брата, жечь все, что там есть еще у моего брата».

Однако когда он доходит до деревни, в которой живут Липэ, то видит, что мельница и дом его брата горят без всякого его вмешательства и в итоге спасает все его семейство из огня. Спасает… для того, чтобы тут же быть обвиненным в поджоге.

Но Башевис-Зингер выстраивает фабулу так, что остается непонятным ни то, какие силы привели Лейбуша к мысли о поджоге (было ли это естественным проявлением чувства обиды на брата или в Лейбуша и в самом деле вселился бес), ни то, почему мельница загорелась именно тогда, когда он решил ее поджечь. Сам Лейбуш высказывает предположение, что она загорелась от пожиравшего его огня ненависти и таким образом… как бы признает свою вину за случившееся.

Эта же идея — о том, что человеческая мысль способна «материализоваться», оказывать влияние на то, что происходит в реальном мире — лежит и в основе целого ряда других рассказов Башевиса-Зингера. Таков рассказ «Ведьма», в котором гимназистка Белла, влюбившись в учителя Марка Метельса, начинает желать смерти его жене Лене, и в итоге та умирает, а девушка занимает ее место. В том же ключе написан рассказ «Плагиатор». Сюжет рассказа прост: раввин из Мархлева реб Касриэл Дан Кинскер узнает, что его ученик Шабсай Гетцель переписал его рукописи и издал их виде книги под своим именем, и книга эта мгновенно принесла ему известность в кругах знатоков Торы. Это повергает реба Кинскера в настоящее смятение. Не желая скандала, пытаясь всячески урезонить себя тем, что все происходящее лишь проявление воли Бога, он все же в какой-то момент мысленно выплескивает свой гнев на ничтожество и карьериста Шабсая, беззастенчиво воспользовавшегося плодами его труда, а теперь и метящего на его место:

«Помимо воли что-то внутри реба Касриэла Дана прокричало: да не доживет он до того дня!». Но рабби тут же вспомнил, что

непозволительно кого-либо проклинать даже в мыслях. Вслух он сказал жене:

— Не кипятись. Откуда нам знать, верно ли все это. Люди могут выдумать, что угодно!

— Все правда. Весь город знает. Куда ни пойдешь, только об этом и слышишь. Начиная со следующей субботы Шабсай Гетцель будет проповедовать в доме учения. Он будет получать двадцать гульденов в неделю, на два гульдена больше, чем ты, чтобы всем было ясно, кто здесь хозяин.

Реб Касриэл Дан почувствовал пустоту, стеснившую его сердце. «Вот так Авессалом восстал на Давида, — пронеслось у него в мозгу. — Да разделит он участь Авессалома!»

Реб Касриэл Дан больше не мог сдержать в себе досаду. Он нагнул голову, веки его опустились. Чуть погодя он поднялся.

— Да свершится воля небес!»

Затем была бессонная, полная горечи и сомнений ночь, в течение которой реба Касриэла даже в какой-то момент начали посещать еретические мысли. И, наконец, наступает утро, и в комнате раввина появляется его сын Пессахия:

«— Что ты хочешь? — спросил рабби.

Пессахия ответил не тотчас. Его желтые глаза моргали, губы дергались, как у заики.

— Отец!

— В чем дело?

— Шабсай Гетцель болен… Очень болен… Он нуждается в милосердии…

Реб Касриэл Дан почувствовал острую боль от горла до самых внутренностей.

— Что с ним случилось?

— Послали за доктором… Пока неизвестно… жена Шабсая пришла просить тебя помолиться за него…

— Чего стоят мои молитвы? Хорошо, оставь меня!

— Отец, его мать звали Фрума-Злата…»

Будучи внешне типичным недотепой, Пессахия, как и его отец, хотя об этом прямо и не говорится, явно является выдающимся знатоком Торы, а возможно, и Каббалы. И потому он первым догадывается, что произошло, понимает, что болезнь Шабсая вполне может быть следствием того, что на Небесах услышали сетования отца и сочли их справедливыми. И он приходит к отцу, чтобы напомнить ему о том, что Тора запрещает евреям мстить своим обидчикам и велит проявлять милосердие даже к своим врагам. Да, болезнь Шабсая можно объяснить естественными причинами. Можно — при желании — трактовать ее и как справедливую кару Свыше за то, что он сделал. Но реб

Касриэл Дан винит во всем происшедшем только себя, понимая, что, дав волю своему гневу, он опустился до тех низменных чувств, которые для человека его духовного уровня недопустимы. Опустился — и привел в действие те мистические механизмы, которые претворили его мысль в реальность, свершив возмездие, и одновременно превратив его в невольного убийцу, великого грешника. И не случайно после смерти Шабсая-Гетцля рабби Касриэл отправляется в «изгнание во имя покаяния», а когда один из жителей местечка отваживается спросить его, что же за грех он совершил, рабби отвечает: «Заповедь «не убий» заключает в себе все грехи», то есть, по сути дела, признается в мистическом, астральном, как сказали бы современные мистики, убийстве.

* * *

В «Плагиаторе», «Огне» и других новеллах этого периода четко обозначилось, что главным конфликтом мироздания, в отличие от большинства классиков еврейской литературы, для Зингера является конфликт человека с самим собой, борьба в нем «доброго» и «злого» начала.

Эта борьба не обходится без вмешательства потусторонних сил, но в конечном счете человек сам делает выбор, какому из этих начал отдать предпочтение, и, соответственно, несет всю ответственность за него.

Этот же лейтмотив является основным в написанном им в 1959 году гениальном рассказе «Тишевицкая сказка», выходившем на русском языке также под названиями «Последний бес» и «Последний черт». Написанный в виде монолога беса, посланного Асмодеем в забытый Богом городишко Тишевиц, чтобы соблазнить тамошнего раввина, этот рассказ и в самом деле внешне представляет собой переложение старых еврейских сказок о раввине и черте. Черт этот, разумеется, не простой, а еврейский, то есть не хуже раввина знает Тору, умеет вести сложнейшие богословские споры и именно в ходе такого спора и пытается нащупать, в чем заключается «йецер ха-ра», «злое начало» раввина и сбить его с пути праведного.

Но как раз в «Тишевицкой сказке» мистики меньше всего — сам Бес является в нем фигурой условной, карнавальной, живущей теми же страстями, что и люди. Направление в Тишевиц для него — это возможность сделать карьеру среди собратьев и перебраться из провинции в большой город. Его разговоры с живущим в Тишевице бесенком, сама его речь уверенного в себе, любящего комфортную и беззаботную жизнь рубахи-парня,

невольно вызывают улыбку. Его поединок с раввином захватывающе интересен, и еще раз напоминает читателю о том, как легко сатанинское начало может маскироваться под божественное и как непросто отличить одно от другого.

И победа раввина в этом поединке с Бесом — это больше, чем только его победа. Сама «Тишевицкая сказка» неожиданно оборачивается величественным реквиемом по брату писателя раввину Мойше Зингеру, по всем маленьким и большим раввинам, да и по всем евреям, несшим в своих душах такую нравственную и душевную чистоту, что им были не страшны никакие бесы. И сам Бес, подобно Башевису-Зингеру, испытывает смертельную тоску по этому миру, ибо никакой другой мир ему, еврейскому бесу и не нужен. И в тот момент, когда людям стали не нужны бесы, чтобы грешить, Бесу не остается ничего другого, как стать главным хранителем этих принципов:

«Давно ли я здесь обретаюсь? Вечность и еще одну среду. Все пережил — разрушение города, разорение Польши. Нет больше евреев. Нет больше бесов. Не плещет в микве вода. Не изменяют супругам. Не толкутся с утра в синагоге… Мой равинчик — ал кидеш хашем, пал жертвой за веру — в день пятницы, месяц нисан. Кагал истребили, книги сожгли, клабища испоганили… Нет Искусителя, нет искушений. Нет духов ни добрых, ни злых. Нет чудес. Род людской греховен семижды семь, а Мессия не приходит. А к кому ему приходить? Он не явился на помощь евреям, и евреи ушли к нему. И кому нужны еще бесы? Нас тоже всех уничтожили. Я, может быть, единственный, кто избежал. Я свободен теперь, могу отправляться, куда мне угодно. А к кому отправляться? К злодеям я не пойду…»

Тут-то и выясняется, что единственное место, где еще сохранился тот исчезнувший еврейский мир — это страницы книг. Там он еще продолжает существовать:

«На чердаке, когда-то принадлежавшем бондарю Вэлвлу, среди рассохшихся бочек валяются несколько книг на трефном идиш-тайч. Тут и сижу я, последний на свете бес. Ем пыль, сплю на оторванном гусином крыле, которым хозяйка когда-то маслила сковородку. И читаю, читаю… печалюсь и радуюсь. Буквы еврейские, наш алеф-бейс. Алфавит уничтожить они не смогли!..»

В отличие от тишевицкого раввина, герой другого рассказа Зингера «Зейделиус, папа римский» поддается на уговоры беса и, одержимый тщеславием, соблазненный обещанием сделать его епископом или даже папой, он отрекается от своего еврейства и переходит в христианство. И Бес — а этот рассказ также построен как монолог Беса — торжествует победу, наблюдая, как этот путь приводит Зейделиуса к полному духовному, да и физическому

краху. И все же в финале Зейделиус прозревает и, оказавшись перед лицом Сатаны, возвращается к вере в Бога:

«И внезапно явился я, Искуситель. Несмотря на слепоту, он увидел и узнал меня.

— Зейдель, — сказал я, — готовься. Наступил твой последний час.

— Ты ли это, Сатана, Ангел Смерти? — радостно воскликнул Зейдель.

— Да, Зейдель, — ответил я, — я пришел за тобой. И ни раскаяние, ни исповедь не помогут тебе, так что можешь зря не стараться.

— Куда ты возьмешь меня? — спросил он.

— Прямо в геенну.

— Если существует геенна, существует и Бог, — проговорил Зейдель дрожащими губами.

— Это ничего не доказывает, — отрезал я.

— О, доказывает, — сказал он. — Если существует ад, существует и все остальное. Если ты не иллюзия, то не иллюзия и Он. А теперь неси меня туда, куда надлежит. Я готов».

Еще более сложен и полон мистических тайн рассказ «Корона из перьев». История красавицы Акши, сначала отвергшей предложенного ей в качестве жениха Цемаха, а затем и отрекшейся от своей веры и своего народа с тем, чтобы затем осознать всю глубину своей ошибки и раскаяться, читается на едином дыхании. Но Башевис-Зингер намеренно уходит от ответов на вопросы, кто есть кто в этом рассказе и кто какие силы в нем воплощает — эти ответы читатель должен найти сам. Да, понятно, что являющаяся к Акше покойная бабушка, подталкивающая ее к измене своей вере, олицетворяет собой демонические силы. Но и Цемах, который после возвращения Акши женится на ней и, «спасая ее душу», изнуряет ее тело нечеловеческими испытаниями — неужели он и в самом деле является исполнителем воли Бога?! Или же он просто мстит Акше за то, что она когда-то отвергла его, — и эта его месть в итоге приводит ее к смерти?!

Несколько особняком в этом ряду рассказов стоит написанный Зингером в 1959 году рассказ «Кукареку».

Подобно тому, как Чехов в свое время держал пари, что может написать рассказ на любую заданную тему, Зингер в «Кукареку» словно берется доказать, что с тем же мастерством, с каким он пишет монологи от имени своих современников, давно ушедших в небытие людей и даже нечисти, он может написать и монолог Петуха. И втискивает в этот монолог все: и свое неприятие убийства живых существ ради еды; и представление о

самом себе и о каждом мужчине как о Петухе, которому мало одной женщины и нужен целый гарем; и целую галерею женских типов, замаскированных под образы куриц… И — само собой — о том, как часто мы, смертные, не желаем понимать и признавать посланное нам откровение Свыше и готовы найти миллион «естественных» объяснений для того, чтобы отвергнуть его. Впрочем, ведь не только с пророком, но и с художником, пытающимся сказать новое слово в искусстве, обычно происходит то же самое. В сущности, «Кукареку» — это даже не новелла, это — поэма в прозе, причем частично рифмованной, ритмической прозе:

«Вдруг: хлопанье крыльев и где-то неподалеку — Кукареку! Я вздрагиваю, весь обращаюсь вслух. Ах, это древнее Кукареку, но как нов его смысл! Древнее — только сущность в нем новая, искра иная, и это мотив! О чем — не знаю, но тепло от него и светло, и умиротворение разливается нежно по телу. «Мыслимо ль это?» — спрашиваю я себя. Миллионы предшественников. Поколение за поколеньем вопило, но такого истошного крика ни один еще тарнегойл небесный не исторгал. Этот крик — нараспашку, как дверь, мозг открывает, место освобождает для новых надежд. «Вот оно как! — думаю я. — А я-то, дурак, только и знал, что сомнения». Стыд охватывает меня, стыд и восторг упоения…

…Мы, домашняя птица, всю жизнь ожидаем чуда, а объявится чудо, и не поверим в него… И опять: Кукареку! Тот же петух, тот же крик. Тот и не тот: поет, душу нам разрывает, к жизни нас воскрешает, на крыльях напева вздымает петушиную скорбь высоко-высоко, где и орел не летал…

А к утру настоящий поднялся гармидер. Тот клялся гребнем и шпорами, что ничего не слыхал, тот добавлял, что, кажется, что-то слышал, но вовсе то был не петух. Распространился слух, будто ночью тут шастал хорек, и от вони его кой-кому померещились «голоса» — наваждения такие и прежде, мол, были. Куры — те начисто все позабыли. Домашняя птица, от всего бы нам откреститься! Правды боимся больше ножа, а неведенье сладко… Вот в чем тайна, вот в чем загадка!..»

* * *

В это же время на страницах «Форвертса» был опубликован целый ряд рассказов Башевиса-Зингера, заставивших вновь заговорить о нем как о «порнографическом» писателе.

В немалой степени Зингер был обязан этой своей репутации рассказом «Разрушение Крашева», тесно смыкающегося с

переизданным в 1950 году романом «Сатана в Горае» и возвращающего читателя в ту же страшную эпоху Богдана Хмельницкого. Герой «Разрушения Крашева» утрачивает свою мужскую силу и, чтобы разжечь себя в постели, начинает говорить своей жене всякие непристойности. Постепенно и сама женщина начинает получать наслаждение от словесных игр своего мужа, а затем тот делает следующий шаг — он подталкивает ее к тому, чтобы она начала спать с другими мужчинами, а затем во всех подробностях пересказывала ему свои ощущения. Ну, а затем в Крашеве приходят казаки Хмельницкого и вырезают почти всех евреев города…

И тогда-то к герою рассказа и приходит страшное прозрение. Он вдруг осознает, что, поддавшись самым низменным побуждениям своей души, скатившись в пропасть ужасающего разврата, он увлек за собой и всю еврейскую общину города. Ибо город, в котором происходили устраиваемые им сексуальные игрища, подобно Содому и Гоморре, утратил само право на существование.

Таким образом, обвинять Башевиса-Зингера в «порнографичности» было вновь, по меньшей мере, нелепо. Основная идея «Разрушения Крашева» как раз и состоит в том, что, дав полную волю своим самым темным сексуальным фантазиям, бросив вызов установленным Богом рамкам сексуального поведения, человек разрушает не только самого себя, но и отрицательно влияет на весь окружающий мир. И наоборот — в великолепном рассказе «Вундеркинд» Зингер показывает, что искалеченный духовно (хотя его герой является и физическим калекой) человек всегда накладывает отпечаток этой своей ущербности и на свою сексуальную жизнь, пока, наконец, не оказывается в полном нравственном и духовном тупике, из которого остается только один выход — самоубийство.

Нужно заметить, что «Разрушение Крашева» — далеко не единственный рассказ Башевиса-Зингера, в котором муж толкает свою женщину в объятия другого мужчины. На этой коллизии построены рассказы «Мойшеле», герой которого мирит свою жену с ее любовником только для того, чтобы видеть ее счастливой; «Приключение», где рассказчик получает предложение от замужней женщины стать ее любовником, так как этого хочет ее, превратившийся в импотента муж; в «Собственности» и, конечно, в гениальной «Ловушке». Сходные мотивы мы находим также в романе «Мешуга» и в пьесе «Тойбеле и ее демон». В большинстве этих произведений автор далеко не так однозначен и категоричен, как в «Разрушении Крашева». Он предоставляет читателю самому решить, что стоит за этим явлением: одно из

самых высоких проявлений любви, готовность пойти на любую жертву ради счастья любимой, в том числе и поделиться ею с другим мужчиной, или просто извращенная сексуальность. Однако не случайно большинство этих рассказов строятся, как монологи, — через исповедь своих героев и героинь Зингер проникает в самые глубины человеческой психологии. И если следовать собственному определению Зингера (а художника, как известно, нужно судить по признаваемым им самим законам) о том, что главное отличие эротики от порнографии заключается в том, что первая призвана помочь проникнуть в душу героев, а задача второй — пробудить похоть читателя, то, разумеется, никакой порнографичности во всех вышеперечисленных рассказах Башевиса-Зингера нет.

Как нет ее и в другом гениальном рассказе «Цитата из Клопштока», хотя и это произведение Зингера вызывало немалые нарекания критиков.

Напротив, история о том, как молодой писатель Марк Перский соблазнил чопорную старую деву Терезу Штайн, бывшую намного старше его; как на протяжении многих лет, даже когда Тереза стала старухой, он дарил ей простое женское счастье и в итоге она умерла в его постели — это одна из самых честных, трогательных и прекрасных историй о любви, которая когда-либо была рассказана в мировой литературе.

Но вся эта критика, безусловно, не была случайной. Зингер был первым, кто ввел эротику в таких дозах в целомудренную до того еврейскую литературу, что это не могло не шокировать ее читателей. Можно сказать, что Башевис-Зингер лишил эту литературу ее застарелой и выглядящей уже просто нелепо и ханжески девственности, то есть проделал с ней то же, что Перский проделал с Терезой Штайн.

* * *

Таким образом, 50-е годы оказались для Башевиса-Зингера чрезвычайно плодотворными, а выход в 1957 году первого сборника его рассказов на английском языке «Гимпл-дурень и другие рассказы» окончательно сделал писателя полноправным участником мирового литературного процесса. И все же центральным произведением Зингера этого периода стал, вне сомнения, роман в новеллах «В суде моего отца», о котором и пойдет речь в следующей главе.

Глава 7
Возвращение в Польшу. «В суде моего отца» (1956)

В 1956 году Башевис-Зингер порадовал своих поклонников новой книгой — «В суде моего отца» («Майн татенс бейс-дин штуб»), вышедшей в нью-йоркском идишском издательстве «Дер квал».

Хотя с момента выхода предыдущей «Семьи Мускат» прошло больше шести лет, обе эти книги были неразрывно связаны друг с другом глубокой внутренней связью — и в той, и в другой Зингер пытался воскресить исчезнувший мир польского еврейства. Каждая страница книги «В суде моего отца» проникнута горячей убежденностью Зингера, что нет ни смерти, ни, в сущности, самого времени — прошлое никуда не исчезает, оно продолжает существовать и оставаться таким же реальным, как и настоящее, и в него, при желании, не так уж трудно попасть.

Книга «В суде моего отца» была, в сущности, реализацией давней, детской мечты Башевиса-Зингера. Еще в возрасте 11–12 лет он прочитал «Детство» Л.Н.Толстого, причем тогда он даже не обратил внимание на то, кто является автором этой повести. Более того — он, по его собственному позднему признанию, поначалу даже не понял, что речь идет о переводе. История и переживания Николеньки так захватили его; показались ему настолько похожими и, одновременно, настолько отличными от истории его собственной жизни и его собственных переживаний, что Иче-Герц дал себе слово, что когда-нибудь тоже обязательно напишет книгу о своем детстве и, конечно же, о «бейс-дине» — раввинском суде, которым управлял его отец Пинхас-Менахем на Крохмальной улице в Варшаве.

Однако, как уже было сказано, книга «В суде моего отца» отнюдь не является только книгой о детстве. Вернее, она является не только книгой о детстве сына варшавского раввина — сама ее сверхидея оказалась намного шире.

Вот как сам Зингер рассказывает об истории ее создания и тем, что двигало им при ее составлении в своем авторском предисловии к изданию этой книги на английском языке:

«В суде моего отца», или «Бет-Дин», как назван оригинал этой книги на языке идиш, в определенном смысле представляет собой литературный эксперимент. Это попытка соединения двух жанров — мемуаров и беллетристики — и манера подачи материала, сам подход к описанию событий здесь отличны от того, что было в

моих прежних сочинениях.

В виде серии отрывков эти воспоминания были впервые в газете «Джуиш дейли форвард» под моим журналистским псевдонимом «Исаак Варшавский». Мысль об этой работе жила во мне с давних пор: еще очень юным я думал, что должен написать о Бет-Дине. Уже после публикации всей серии в газете я решил выпустить ее в книге под своей собственной фамилией: ведь изображаемые в ней среда и образ жизни более не существуют и являются неповторимыми…»

Внешне книга «В суде моего отца» и в самом деле представляет собой сборник новелл, связанных между собой разве что общими героями и местом повествования, однако существующая между ними внутренняя, глубинная связь, невольно возникающее при чтении ощущение развития повествования превращает «В суде моего отца» в подлинный роман в новеллах.

На протяжении этого романа мы видим, как постепенно взрослеет его главный герой, как расширяются и меняются его представления об окружающих людях и о жизни; как меняется, наконец, сама жизнь польского еврейства, в которую властно врываются ветры и потрясения начала бурного XX века.

Определяя жанр книги «В суде моего отца» как «роман в новеллах», автор рискует навлечь на себя гнев многих исследователей творчества Башевиса-Зингера и ревнителей строгих литературоведческих формулировок.

В самом деле, если открывающая книгу глава «Жертва» действительно представляет собой классическую новеллу, то есть напряженную историю о женщине, настолько беззаветно любящей своего супруга, что она решила на старости лет отказаться от него и дать ему возможность жениться на более молодой жене, которая, в отличие от нее, могла бы удовлетворить его нерастраченный мужской пыл; если под это определение вполне подпадают такие главы, как «Большой Дин-Тора», «Подарок на Пурим[39]», «Завещание», «День удовольствий» и др., то целый ряд глав книги вроде бы не несут в себе столь обязательного для новеллы острого и завершенного сюжета.

Но в том-то и дело, что внутреннее напряжение в них настолько велико, а вложенная в них философская или метафизическая идея проходит весь свой путь от завязки и до развязки, что они тоже вполне подпадают под определение «новеллы».

У читателя книги, безусловно, возникает резонный вопрос, почему Зингер, компонуя ее из написанных в разные годы новелл и дописывая новые главы, начал книгу именно с рассказа

«Жертва»? Для чего ему понадобилось, чтобы читатель сражу же, с первых страниц, оказался в доме его отца на Крохмальной улице?

Да, «Жертва», безусловно, является блистательной новеллой — мы так и видим трогательную пожилую пару, сумевшую пронести любовь другу к другу через всю жизнь; мы вместе с обитателями Крохмальной улицы приходим в недоумение, узнав, что старики вдруг решили развестись; мы слышим пересуды ее обитателей и вместе с ними не знаем, как реагировать, когда выясняется, что инициатором развода выступает жена и что делает она это… во имя любви к мужу.

Напряжение повествования нарастает даже не от странице к странице, а от предложения к предложению, от слова к слову:

«На следующее утро старая женщина пришла опять, на этот раз с мужем, и отец устроил им настоящий допрос. Меня он из кабинета выставил. Отец говорил хриплым голосом — то медленно, то быстрее, то ласково, то сердито… Я все время боялся, что в следующую минуту отец разразится криком: «Негодяи, неужто вы решили, что Он бросил свой мир, отдав его во власть хаоса?!» — и выгонит их вон, как всегда поступал с нарушителями закона. Но прошел час, а посетители все еще были в его кабинете. Старик говорил медленно и сокрушенно. Женщина упрашивала. Ее голос становился все вкрадчивее. Она шептала ему о самом сокровенном, о чем мужчина почти никогда не слышит из уст женщины, о чем лишь изредка говорится в тяжелых томах Респонсы[40]*…»*

Воистину в этой истории «все завязалось в один узел: жизнь, смерть, вожделение, безграничная верность, любовь»…

Но ведь, казалось бы, куда логичнее было бы начать такую книгу с главы «Родословное дерево», то есть рассказать об истории семьи героя, его самых ранних детских впечатлениях, жизни в Левонсине и Радзимине, переезде в Варшаву. Тогда в книге была бы та самая четкая хронологическая логика, которая в ней затем более-менее просматривается.

Но в том-то и дело, что новелла «Жертва» предваряет книгу, потому что является ключом к ней. Как всегда у Башевиса-Зингера, это не просто еще она история о «странностях любви», хотя, это, конечно же, написанная во вполне реалистическом ключе история о любви, о вечном конфликте души и тела, о том, какими порой парадоксальными могут быть поступки людей, движимых этим чувством.

Однако Зингер в этой истории видел прежде всего олицетворение подлинной любви, в том смысле, которое вкладывает в это слово еврейская мистика. Подлинная любовь,

высшая степень этого чувства, говорит Каббала, заключается в том, что любящий получает высшее наслаждение от стремления доставить наслаждение любимому. Именно к такой любви к своим ближним, к своему народу и к своему Богу и должен стремиться человек. Такая любовь и лежит в основе новелла «Жертва», и именно такой любовью к описываемому им миру дышат многие страницы книги «В суде моего отца».

Да, как ни странно это прозвучит, «В суде моего отца» — это, прежде всего, книга о любви, а уже затем обо всем остальном. О любви к прошлому, к тому неспешному течению и высочайшему духовному напряжению жизни, которым характеризовалась жизнь лучших представителей еврейского народа в Польше, олицетворяющих собой подлинный дух иудаизма. О любовных тайнах. О любви евреев к своему Богу, которой они оставались верны перед лицом любых лишений и смерти. О любви родителей к детям и детей к родителям. О любви беспричинной, бескорыстной и жертвенной…

И это еще раз подтверждает высказанные Зингером в одном из его многочисленных интервью словах, что о чем бы он ни писал, он всегда писал о любви как главной движущей силе всего человеческого бытия. И если мы воспользуемся выданным автором в первой новелле «ключом» к книге, то понятным станет и все остальное.

* * *

Рассказ о детстве, о внутреннем мире ребенка, его взаимоотношениях со сверстниками и миром взрослых, в принципе, был отнюдь не нов для еврейской литературы. Начиная с Шолом-Алейхема, почти каждый еврейский писатель обращался к этой теме, однако у Зингера этот рассказ освещен совершенно особым, ностальгическим светом, и писатель сам время от времени признается, что, возможно, кое-что идеализирует в прошлом, так как оно ему по-настоящему дорого и любимо.

Вместе с тем он явно стремился дать бой утвердившейся в еврейской литературе под влиянием социалистических идей изображению мира религиозных евреев и всей системы еврейского образования и воспитания, как некоего «темного царства», в котором якобы вся учеба основывалась на принуждении, побоях и подавлении личности ребенка.

«Хедер[41] *почти всегда изображали в виде такого особого места на земле, где невинные отроки терпят муки от своих учителей — обшарпанных и сварливых. На деле все обстояло не*

совсем так. Мир жил не по справедливости; естественно, то же самое происходило и в хедере»,

— так с иронией начинает Зингер главу «Сильные» (правильнее, ближе к оригиналу было бы перевести ее как «Герои» — П.Л.), и дальше следует блестящий, увлекательный рассказ об учениках одного класса, стоящих на пороге вступления в переходный возраст; об их сложных взаимоотношениях друг с другом; об интригах и ссорах, то есть о том, что происходило, происходит и будет происходить во все времена и в любых школах мира, а не только в еврейском хедере.

История противостояния юного героя книги всему своему классу из-за его непохожести на всех остальных ребят и его нежелания жить по принятым правилам, если эти правила вступают в противоречие с привитыми ему представлениями о добре и зле — это, в сущности, вечная история. Еврейскими тут являются разве что ассоциации и представления, которыми живет герой этой главы и которые типичны для самого образа мышления еврейского ребенка того времени:

«Я вышел во двор. Там они стояли все до единого. Мне снова вспомнились Иосиф и его братья. Те явились к Иосифу купить хлеба, а зачем ко мне пришли мои друзья?

И все-таки они пришли, устыженные, немного испуганные, — Симон, Леви, Иуда… Поскольку я не был правителем Египта, им не понадобилось кланяться мне «лицом до земли». Мне нечего было продать, кроме моих грез».

Любопытно, что если в этой главе герой книги встречает своих пришедших мириться друзей, как библейский Иосиф своих братьев, то спустя несколько лет, в Билгорае уже 16-летний герой встречает пришедших к нему познакомиться Нотте и Меира, «как Платон Сократа».

Как видим, за эти годы расширилось его образование, изменилось мировоззрение и вместе с ним изменились и ассоциации. Они стали куда менее «еврейскими», и уже в этом изменении отчетливо проявляется все больший отход героя от еврейских ценностей, мира своих отцов и дедов.

В целом в тех новеллах, где Зингер рассказывает о своем детстве и отрочестве, он предстает не только великим рассказчиком, но и великим знатоком психологии ребенка, вполне сопоставимым по мастерству проникновения в детскую душу с величайшими писателями прошлого.

Такова новела «День удовольствий», в которой маленький рассказчик в одночасье стал обладателем целого состояния в размере одного рубля. Зная, что если родители увидят у него деньги, «они обратят рубль в ничто», мальчик решает доставить

себе на него «все удовольствия жизни» — и дальше следует забавный, психологически предельно точный рассказ о том, как он тратит эти деньги на извозчика, покупку шоколада в кондитерской, на экзотический фрукт и т. д.

При этом Башевис-Зингер в рассказе отнюдь не подсматривает за собой-ребенком с высоты времени. Нет, на протяжении всего времени повествования рассказ ведется именно от имени ребенка, и все окружающее воспринимается его глазами, так что невольно возникает ощущение, что «День удовольствий» написан самим мальчишкой сразу по следам всего им в этот день пережитого.

Столь же точны и великолепны с точки зрения воспроизведения мироощущения еврейского ребенка новеллы «Реб Ашер, молочник», «К диким коровам», «Атласный лапсердак» и др.

Каждая из этих новелл, посвященная тому или иному эпизоду «из жизни еврейского мальчика», будучи важной составной частью книги, одновременно является и вполне самостоятельным произведением. Зингер прекрасно осознавал это и включал эти свои новеллы о детстве в виде отдельных рассказов в различные сборники для детей.

* * *

Вслед за Львом Толстым Зингер мог бы повторить, что больше всего в книге «В суде моего отца» он любил «мысль семейную». В центре ее и в самом деле находится история еврейской семьи начала XX века, и в этом смысле «В суде моего отца» является в куда большей степени «семейной сагой», чем роман «Семья Мускат».

В «Семье Мускат», как уже говорилось, автора прежде всего интересует образ ее главного героя, его судьба и эволюция его личности; другие герои более-менее статичны, они уже сделали свой выбор и следуют ему.

«В суде моего отца» показана именно история и эволюция еврейской семьи того времени. И здесь для Башевиса-Зингера важно все: взаимоотношения между супругами, между родителями и детьми; те перемены, которые, вопреки воле старшего поколения, настойчиво стучатся в двери их дома и отрывают их детей от образа жизни и религии их предков. Можно сказать, что образы главного героя книги, его сестры Эстер и брата Исраэля-Иешуа помогают понять тот путь, какой Аса-Гешл прошел до своего приезда в Варшаву и который в «Семье Мускат»

намечен лишь пунктиром. То есть речь опять-таки идет о довольно-таки «обыкновенной истории» еврейских мальчиков и девочек, постепенно разочаровывающихся в привитых им с детства идеалах и уходящих в манящий их мир светской европейской культуры, кажущийся их родителям не только чужим, но и безнравственным и беспринципным.

И в то же время следует помнить, что «В суде моего отца» речь идет все-таки не о совсем обычной семье, а о семье раввина, причем, с точки зрения окружающих, не какого-нибудь великого раввина, авторитетного знатока Закона, а самого обычного, «маленького» раввина, вся община которого сосредоточена на одной, не очень большой Крохмальной улице.

Нужно сказать, что образ раввина, столь часто встречающийся в различных произведениях Зингера, до того был практически не разработан в еврейской литературе. Это, безусловно, не означает, что этот образ вообще не возникал на страницах книг еврейских писателей. Разумеется, будучи неотъемлемой частью еврейского бытия, он то и дело встречается в рассказах и повестях Менделе-Мойхер Сфорима, Ицхока-Лейбуша Переца, Шолом-Алейхема и других авторов. Однако большинство еврейских писателей, будучи убежденными атеистами и приверженцами социалистической идеологии, предпочитали рисовать раввинов исключительно в гротескных, сатирических красках. Для них раввин почти всегда был «служителем культа», «мракобесом», вся цель жизни которого сводится к тому, чтобы удержать свою паству «во мраке средневековых предрассудков».

Некоторым диссонансом такому взгляду на роль раввинов в еврейском обществе звучали созданный Шолом-Алейхемом в его «Касриловке» величественный образ рава Йозефа; образ Ребе в «Конармии» И.Бабеля или Ребе в полузабытой поэме М.Светлова. Но и в этих замечательных произведениях образ раввина рисуется скорее как некий символ, а не живой человек из плоти и крови.

Иными, предельно реалистичными красками рисует Зингер раввина «В суде моего отца».

Он предстает перед читателем то в кругу семьи, то во время разрешения тех или иных, «чисто еврейских», порой очень деликатных вопросов, то как духовный наставник всей своей паствы, разделяющий все ее беды и проблемы. И именно от силы его веры, от осознания высоты тех идеалов, которым он служит и проистекает то огромное влияние, которое этот вроде бы лишенный внешней харизмы человек обладает в своей общине. Вот как описывает писатель то впечатление, которое производит отповедь его отца зарвавшимся шутникам в главе «Подарок на

Пурим»:

«Где только что стоял шум и гам, теперь воцарилась тишина. Женщины начали вытирать глаза передниками. Мужчины опустили головы. Девушки стыдливо потупили взоры. После слов отца всякие разговоры о Дин-Тора разом прекратились. Всеми, казалось, овладел стыд и священный трепет. Устами отца говорила сама Тора, и люди чувствовали, что сказанное справедливо до последнего слова. Я много раз был свидетелем тому, как отец своими простыми увещеваниями побеждал людскую мелочность, суетное высокомерие, глупую злость и спесь…»

В главе «Большой Дин-Тора», где раввину приходится разбирать чрезвычайно запутанную тяжбу между двумя бизнесменами, он выступает как интеллектуал, способный разобраться в любой, даже до того совершенно незнакомой ему проблеме и найти ее оптимальное решение, предельно соответствующее установкам Торы. И то бремя ответственности, которое он чувствует, принимая это решение, не может не вызывать уважение.

Зингер остается в этой главе верен себе: рассказывая, как его отец вершил суд, он разворачивает почти детективное действие и перед развязкой доводит повествование до крайней степени напряжения:

«Так вот, последний день разбирательства выдался по-настоящему бурный. Уже не только участники тяжбы, но и поверенные кричали криком. От первоначального дружелюбия между ними не осталось и следа — теперь они ссорились и поливали друг друга грязью. Наконец, их долго сдерживаемая злость получила выход — они пререкались и вопили, пока совсем не обессилели. В этот момент отец вынул платок и велел тяжущимся прикоснуться к нему в знак согласия подчиниться его решению. Я стоял рядом и дрожал. Я был совершенно уверен, что отец ничего не понял из их путанных премудростей и что его постановление будет столь же несуразно, как зуботычина вместо субботнего приветствия. Но вдруг выяснилось, что за прошедшие дни мой отец все-таки уловил суть спора…»

Но вот наступает развязка:

«После того, как он (отец — П.Л.) объявил решение, некоторое время стояла тишина. Ни у кого не было сил заговорить. Чернобородый смотрел на отца свирепым взглядом. Малорослый состроил гримасу, как будто он случайно проглотил что-то кислое. Раввин с круглыми глазами цинично улыбался, демонстрируя желтые зубы…

…Придя в себя, они принялись ругать отцовское постановление

на чем свет стоит. Дошло до оскорбительных намеков. Аргументы отца были простые:

— Я же спрашивал вас, хотите ли вы абсолютного решения, или согласны на компромисс.

— Компромисс тоже должен быть разумным.

— Вы слышали мое решение. Казаков, чтобы заставить вас его выполнить, у меня нет.

Раввины и их клиенты разошлись по углам совещаться. Оттуда доносились бормотания, споры, упреки. Помню, громче всех возмущалась та сторона, которая выиграла больше другой. Но шло время, и они стали склоняться к тому, что компромисс в общем-то не так плох и что лучшего решения и вправду трудно было найти. Участники тяжбы, которые были деловыми партнерами, пожали друг другу руки…»

Так в книге утверждается мысль о высшей справедливости еврейского суда по законам Торы, которую Зингер высказал еще в предисловии: «Я твердо убежден, что суд будущего будет основан на принципах Бет-Дина, — если, конечно, в нравственном смысле мир пойдет вперед, а не назад».

Сам отец писателя олицетворяет для него ***настоящего*** раввина, поражающего окружающих и своей силой веры, и бескорыстием, и готовностью прийти на помощь и понять каждого еврея, да и любого человека. Да что там человека — даже обыкновенную кошку, ставшую одной из героинь новеллы «Голод»:

«Не убоявшись зверского холода, в жилище наше вторглись полчища мышей. Они грызли книги и одежду, ночами носились по комнатам, проявляя самоубийственную наглость. Мать раздобыла где-то кошку, но та созерцала мышиные действия с философским безразличием. Желтые круглые глаза, казалось, говорили: «Пусть бегают. Мне-то какая разница?»

Кошачьи мысли, надо полагать, уплывали куда-то вдаль. Кошка почти все время дремала и видела сны. «Кто знает? — говорил отец. — А вдруг в прежней жизни она вовсе не была кошкой? А вдруг она перевоплотилась?..»

Отец относился к кошке заботливо и не без почтения. Разве не может такое случиться, что у нее душа праведника или даже святого? В конце концов, известно ведь, что святой, если хоть раз согрешит, временно отправляется обратно на землю…

За едой отец всегда звал кошку к себе; та с величественным видом позволяла уговорить себя покушать и ела медленно, проявляя великую разборчивость ко всему, что давали. Потом поднимала к нам взор, исполненный ледяного высокомерия. «Если бы вы узнали, кто я на самом деле, со страхом читали мы в этом

взоре, — вы бы поняли, какая для вас честь — мое пребывание в доме…»

Ну, могла ли она охотиться на мышей?»

Безусловно, образ отца у Зингера пронизан сыновней любовью, а она, если верить старой еврейской поговорке, портит зрение. Но вместе с тем Зингер отнюдь не идеализирует отца — он показывает и то, насколько его отец был скован множеством запретов и предрассудков, но это отнюдь не мешает ему быть одновременно мудрым и человечным.

Опять-таки в новелле «Тщетные надежды» Зингер замечает:

«Какие они разные, эти духовные раввины, думал я, как по-разному ведут себя и выглядят».

И раввины и в самом деле оказываются разными — в той же новелле «Большой Бет-Дин» Зингер рисует двух раввинов-поверенных явно куда больше озабоченных величиной своих доходов, чем духовными вопросами и познанием Торы. В главе «Наследники» рассказывается о деградации семьи потомственных раввинов, представители последнего поколения которого вызывают разве что отвращение. Да и радзиминский Ребе, как же говорилось, у автора отнюдь не вызывает симпатий.

И все же, создавая образ своего отца, Зингер одновременно выступает страстным защитником самого института раввинов, доказывая его необходимость для продолжения дальнейшего существования еврейского народа и утверждая, что этот институт заслуживает уважения в куда большей степени, чем осмеяния.

Впрочем, эта же мысль не раз возникает и в рассказах «Плагиатор», «Тишевицкая сказка» и многих других; и в уже рассматривавшихся романах «Сатан в Горае» и «Семья Мускат», и в пьесе «Тойбеле и ее демон». Что не удивительно — ведь выросший, в отличие от многих других еврейских писателей не в семье торговца, а в семье раввина, Зингер был знаком с носителями этого звания и их образом жизни куда лучше других — она ежедневно проходила перед его глазами и была, собственно говоря, и его жизнью.

* * *

Сам избранный Зингером жанр, или, как сейчас любят говорить издатели, «формат» книги позволил ему создать в ней необычайно широкую, запоминающуюся галерею портретов обитателей Крохмальной улицы. Некоторые из них выписаны настолько ярко и впечатляюще, что при всей своей реалистичности поднимаются поистине до символического

звучания.

Таков образ Моше Блехера из новеллы «В землю Израильскую», словно олицетворяющий собой вечную иррациональную любовь евреев к Святой земле и стремление вернуться на нее. Простой жестянщик, он интересуется философскими вопросами, способными поставить в тупик раввина, и в конце концов осуществляет свою мечту и отправляется с семьей в Палестину.

И вот тут-то мечта сталкивается с реальной жизнью — жизнь в Палестине оказывается полна трудностей и лишений, Блехер возвращается в Польшу и, кажется, теперь-то он должен успокоиться и понять, что евреям там делать нечего. Но нет — вопреки логике, вместо разочарования Моше Блехер привозит из Святой земли еще большую любовь к ней и убежденность, что именно там евреи и должны жить.

Спор, который разворачивается в кабинете раввина, — это типичный для того времени спор между сионистом (или, скорее, симпатизирующим сионистам евреем) и их страстным противником. В самом этом споре заложены основы того самого религиозного сионизма, которому под руководством раввина Авраама Кука предстояло стать одним из самых мощных еврейских национальных течений:

«Моше Блехеру нужен был Мессия и только Мессия. Но со временем он стал относиться к сионистским идеям более сочувственно. В конце концов, если Мессия пока не думает являться, должны ли евреи просто сидеть и ждать? Может быть, Бог хочет, чтобы они понудили Мессию прийти? Может быть, евреям следует сначала обосноваться на Святой земле, а потом уже Мессия принесет им спасение? Помню, Блехер начал спорить на эту тему с моим отцом. Отец считал сионистов безбожниками, святотатцами, кощунниками, которые оскверняют Святую землю своим присутствием. Но Моше Блехер отвечал:

— А может быть, так предопределено. Может быть, они и есть предвестники Мессии, сына Иосифова[42]*? Может быть, они раскаются и станут добрыми евреями? Нам не дано заранее знать, как исполнится предначертание.*

— Чтобы поселиться в Святой земле, ты должен быть, по крайней мере, евреем.

— А они кто? Язычники? Они терпят лишения ради всех евреев, осушают болота и умирают от малярии. Они истинные мученики. Стоит ли приуменьшать их подвиг?..»

Наконец, настает день, когда Моше Блехер вместе с женой исчезает из Варшавы, и вскоре выясняется, что он внезапно снова уехал в Палестину.

«Оказалось, что он больше не мог терпеть разлуку с землей предков, землей смоковниц, финиковых пальм и миндальных деревьев, землей, где козы едят плоды рожкового дерева и современные люди строят поселения, сажают эвкалипты и говорят в будни на святом языке…»

«Моше Блехер был неизъяснимым образом близок каждому», — роняет Зингер, и из этих слов становится ясно, насколько близки и понятны были его мечты каждому обитателю Крохмальной улицы, насколько значим для автора этот архетип еврея.

Реб Хаим Горшковер, герой другой главы-новеллы, наоборот, настолько влюблен в оставленный им крохотный городок Горшков, что поражает читателя тем, насколько еврей может идеализировать то место, в которое, в общем-то случайно, забросила его судьба; как сильно он может привязаться к чужой земле и славословить ее…

Столь же ярко и зримо выписаны в книге образы фанатичного ортодоксального еврея Мойше Ба-ба-ба или помешавшегося на идее добыть приданое для дочери Трейтла и продолжающего собирать на эти цели деньги, упорно отказываясь верить, что его дочери давно уже вышли замуж и нарожали ему кучу внуков…

А ведь есть еще образ книготорговца, превратившего в «пунктик» обряд своих будущих похорон; образы бандитов и торговок; Копеля и Мордехая-Меира. Есть удивительный образ польки-прачки, которая становится для автора символом честности и верности своему долгу и без которой он отказывается представить себе рай…

Так перед нами проходят в книге самые различные типы евреев и неевреев, и в итоге перед читателем предстает цельная картина жизни польских евреев, перед ним один за другим проходят их типичные представители. Большинство из них представляют собой цельные, сильные и обаятельные натуры. Да, возможно, они не очень образованны с точки зрения современного человека, но при этом их никак не назовешь ни невежественными, ни бездуховными — многие из них буквально одержимы жаждой познания и немало времени посвящают изучению Торы. И уж что совершенно безусловно, так это высокие моральные качества и доброта этих людей, истоки которые следует искать в силе их веры, в стремлении следовать заповедям Торы.

Тут-то и проступает другой, сокровенный смысл книги «В суде моего отца».

Зингер не просто, как он сам говорит, стремится запечатлеть, сохранить для истории погибший в Катастрофе мир польского еврейства.

Нет, он напоминает оставшимся в живых евреям, что те ценности, та вера, которую несли в себе эти люди, были подлинными ценностями и подлинной верой, и потому не стоит так спешить с отказом от этого наследия, как это делают многие его современники-соплеменники.

Само название книги «В суде моего отца» начинает с этой точки зрения звучать чуть-чуть иначе — ведь «Отцом Небесным» евреи испокон веков называли самого Бога и именно так — «Авину ше-бешамаим» — обращались к нему в своих молитвах.

Настаивая на том, что «бейт-дин», «суд моего Отца» всегда справедлив, Башевис-Зингер вновь возвращался к теме Катастрофы и пресловутым вопросам: «где был Бог?» и «если Он есть, за что Он нас так покарал?».

Во всяком случае современный Зингеру читатель чувствовал, не мог не чувствовать этого подтекста книги. И уж само собой, этот читатель совершенно иными, чем нынешний, глазами прочитывал слова раввина, объясняющего своему сыну, какой страшный грех совершил покончивший жизнь самоубийством молодой сапожник и в чем заключается суть Божественной любви и милосердия:

«— Папа, а что будет с сапожником на том свете?

Отец досадливо махнул рукой:

— Он сделал ужасную глупость. Но Господь Вселенной — милостивый и любящий Бог. Душа сапожника будет очищена и вернется к своему источнику. Ведь мы все Божьи дети, а разве может отец причинить своему ребенку вред? Если ребенок запачкается, отец его и вымоет, и почистит. Ребенок может от этого заплакать, потому что он еще мало что смыслит, но отец желает ему только добра. Он знает, что от нечистоты бывают глисты и болезни…»

И все же в свою полную силу тема взаимоотношений человека и Бога зазвучала лишь в следующих романах Башевиса-Зингера — «Люблинский штукарь» и «Раб», ознаменовавшие наметившийся в начале 60-х годов новый этап его творчества.

Глава 8
Бремя выбора. «Люблинский штукарь» (1960)

В 2008 году, когда на сцене израильского идишского театра «Идишпиль» было решено поставить инсценировку романа Бащевиса-Зингера «Дер кунстмахер фун Люблин», в руководстве театра неожиданно вспыхнули жаркие споры о том, как перевести название этого спектакля (а значит, и романа Зингера) на русский язык. Автор синхронного перевода текста инсценировки на русский настаивал на том названии, которое, благодаря переводчику Асару Эппелю, уже было хорошо знакомо русскоязычному читателю и зрителю — «Люблинский штукарь».

Однако прекрасно владеющий русским языком директор и главный режиссер «Идишпиля» Шмуэль Ацмон (кстати, родившийся и выросший в Билгорае и мальчиком часто встречавший будущего классика на улице) настаивал на том, что этот перевод совершенно неверен, и, в конце концов, изменил название спектакля на «Фокусник из Люблина». Этот вариант показался Ацмону гораздо ближе к оригиналу, и с формальной точки зрения он был, безусловно, прав — именно так, как «фокусник» переводится слово «кунстмахер» в большинстве словарей.

Однако Эппелю, одному из немногих переводчиков, работающих с оригинальными текстами Башевиса-Зингера на идиш, этот факт был, безусловно, известен, и тем не менее он решил использовать при переводе названия именно малоупотребительное слово «штукарь».

И был, вне сомнения, прав. Толковый словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой определяет значение слова «штукарь» как «ловкач и выдумщик», и оно и в самом деле идеально подходит и к области занятий, и к характеру Яши Мазура — главного героя этого романа Зингера, действие которого разворачивается в Польше конца XIX века.

Башевис-Зингер не случайно считал «Штукаря» одним из лучших своих произведений: он написан в полном соответствии со сформулированной им концепцией о природе литературы.

Суть этой концепции сводится к тому, что главная задача литературы не поучать, а развлекать читателя, увлечь его острым сюжетом и динамичным развитием событий, внушить ему ощущение, что все рассказанное в книге не выдумано автором, а происходило на самом деле. И лишь после того, как перевернута

последняя страница романа, читатель должен задуматься и понять, что на самом деле ничего общего с реальностью, да и с реализмом, в том смысле, который принято вкладывать в это слово, данное произведение не имеет. Перед ним, по сути дела, обычная еврейская «майса», что-то вроде тех чудесных историй, которые так любят рассказывать хасиды в своих синагогах или сидящие на завалинках в местечке еврейские старухи. Принимать такие истории на полную веру, разумеется, не стоит. Скорее, их следует воспринимать как притчу, тайный смысл которой хорошо известен самому рассказчику, но с которым тот отнюдь не спешит поделиться со своими слушателями — дескать, «умный поймет сам, а дураку и объяснять незачем».

История Яши Мазура — фокусника, канатоходца, великого мастера открывать любые замки и выдумывать всякие трюки — и в самом деле носит почти детективный и одновременно несколько назидательный характер. Действие романа начинается в канун Швуэса, Шавуота, то есть праздника дарования Торы, когда Яша возвращается в родной Люблин, к жене Эстер, чтобы отдохнуть дома накануне нового сезона.

Однако, как вскоре выясняется, что Яше совсем не до отдыха — во время выступлений в Варшаве он встретил и серьезно влюбился в очаровательную польку, вдову профессора Эмилию Храбовицкую, и склоняется к тому, чтобы соединить с ней свою судьбу и начать новую жизнь. Речь идет не только о браке — вместе с Эмилией и ее дочерью Яша намерен отправиться в Европу, чтобы, наконец, добиться там достойных его таланта славы и богатства.

Но для того, чтобы осуществить эти планы, Яше нужно, во-первых, бросить горячо любящую и все прощающую ему жену; во-вторых, где-то раздобыть огромные деньги на поездку в Европу; а в-третьих, отказаться от своего еврейства и креститься. Только при соблюдении последнего условия Эмилия согласна вступить с ним в брак, а пока она категорически отказывает ему в близости, считая, как истинная католичка, внебрачные отношения греховными.

Попутно выясняется, что у Яши есть определенные обязательства не только перед женой, но и перед своей любовницей и ассистенткой Магдой, да и перед соломенной вдовой Зевтл, искренне надеющейся на то, что Мазур поможет ей выбраться из населенного еврейскими ворами и бандитами поселка в Варшаву.

Чувствуя себя виноватым перед всеми своими женщинами, Яша после долгих сомнений приходит к выводу, что важнее всего в жизни для него любовь к Эмилии. Чтобы раздобыть

необходимую сумму на поездку в Европу с любимой женщиной, он решает ограбить старого помещика Зарусского и забирается ночью к нему в дом.

В этом эпизоде роман и подходит к своей внешней кульминации — оказавшись в доме Зарусского, Яша неожиданно теряет свою любимую отмычку (хотя, как выясняется потом, она все время была при нем) и терпит фиаско в попытке открыть сейф, в котором помещик хранит свои деньги. Оказавшись совершенно несостоятельным в непривычной для себя роли квартирного вора, Яша спешит ретироваться, но, прыгая с балкона, сильно подворачивает себе ногу и вдобавок его замечает ночной сторож.

Спасаясь бегством от преследования, он укрывается в синагоге, и только здесь начинает осознавать, до какой же степени нравственного падения он дошел, решив отказаться от своего народа и собственных духовных корней.

Тяжелая травма ноги, лишающая его возможности выступать, самоубийство не простившей предательства Магды, сознание того, что он предал Зевтл, оставив ее в руках альфонса, вербующего проституток для аргентинских борделей, — все это окончательно приводит Яшу Мазура к мысли о необходимости покаяния и возвращения к религии предков.

Но, решив стать глубоко религиозным евреем, Яша накладывает на себя необычайно суровое наказание: он замуровывает себя внутри дома, и, ведя жизнь аскета, целиком посвящает себя изучению Торы. Вскоре слава о его праведности разносится по всей округе, и из разных мест к нему начинают приходить люди, чтобы испросить его совета или благословения. Бывший великий грешник превращается в не менее великого праведника и чудотворца…

Любопытно, что исследователи творчества Башевиса-Зингера, признавая выдающиеся художественные достоинства «Люблинского штукаря», старательно избегают подробного анализа этого, как часто его называют, «романа о любви и раскаянии».

В большинстве критических статей о «Люблинском штукаре» отмечается, что Яша Мазур воплощает в себе типичные черты еврея конца XIX — начала XX столетий, жаждущего вырваться за пределы гетто, стать сопричастным европейской цивилизации, рвущегося к знаниям и одновременно мучающегося сомнениями в правильности своего выбора. Но если это так, то финал романа означает полный духовный крах героя, его неспособность порвать с породившим его миром и стать равноправным членом той самой европейской цивилизации, которая в глазах критиков

является, безусловно, предпочтительней мрачного, опутанного средневековыми предрассудками еврейского мира.

Однако достаточно вчитаться в текст романа Башевиса-Зингера, чтобы понять, насколько его автор был далек от подобной интерпретации судьбы своего героя. Как уже было сказано, «Люблинский штукарь», подобно другим произведениям Зингера, это ни в коем случае не исторический реалистический роман, рисующий жизнь Польши и ее обитателей на рубеже двух столетий. Это — роман-притча, роман-метафора.

В беседах с Ричардом Бурджиным, да и в других своих интервью Зингер не раз говорил, что «Яша Мазур — это тот, кем он хотел бы стать, а Герман из «Врагов» — это то, кем он стал».

Что ж, попробуем разобраться в том, что скрывается за этой, вне сомнения, чрезвычайно важной для Зингера сентенцией.

* * *

Известный израильский раввин Элиягу Эсас в беседе с автором этих строк как-то высказал, на первый взгляд, неожиданную, но на деле напрашивающуюся саму собой мысль, что «Люблинский штукарь» представляет собой «опыт духовной биографии самого Зингера».

В самом деле, путь, пройденный Яшей Мазуром, его мировоззрение в начале романа удивительно напоминает перипетии жизненного пути и мировоззрения самого Башевиса-Зингера:

«Нет, невеждой Яша не был. Его отец хотел, чтобы сын учился. Мальчиком Яша постигал Талмуд. После отцовой смерти люди знающие советовали учебу продолжать, но Яша вскоре ушел с бродячим цирком. С годами из него получился полуеврей-полугой, но не еврей и не гой. Он выдумал для себя собственную веру: Создатель, по его разумению, существовал, но никому не являлся и никому не указывал, что можно, а чего нельзя. Господь безусловен, однако говорящие во имя Его лгут».

Как и его Яша Мазур, Башевис-Зингер мог сказать про себя, что он — штукарь, «ловкач и выдумщик». В конце концов, с точки зрения религиозного еврея, да и самого Зингера, разница между светским писателем и циркачом не так уж и велика: и тот, и другой зарабатывают деньги, развлекая людей. Так же, как и Яша Мазур, Зингер к тому времени окончательно запутался в своих отношениях с женщинами, чувствуя себя в равной степени виноватым и перед женой, и перед любовницами, и даже перед бесчисленными случайными подругами — вроде той, какой была

Зевтл для Яши. Как и Яша, Зингер оказывал почти гипнотическое (или действительно гипнотическое) влияние на женщин.

Наконец, живущий в Нью-Йорке Зингер с полным правом в определенный момент жизни мог повторить о себе то, что он написал о Яше:

«Он ощущал себя чужим повсюду: и тут, и в Варшаве, среди евреев и неевреев. Все были у себя дома, он оставался скитальцем. У всех были дети и дети детей — он никого после себя не оставит. У всех был Бог, праведники и вожди, у него же — сплошь сомнения. Все готовились после кончины попасть в рай, он, исполненный страха, — во владения смерти. Что там, на той стороне? Есть ли душа? Что с ней бывает, когда она расстается с телом? С детства он был наслышан о диббуках, духах, вурдалаках и прочей чертовщине. С ним тоже приключалось много такого, чего так просто не истолкуешь. Но что из того? И он все больше бывал растерян и замыкался в себе. Силы и страсть, мятущиеся у него в душе, повергали Яшу в замешательство».

И все же сводить «Люблинского штукаря» только к «духовной биографии самого Зингера», безусловно, нельзя.

Писатель поставил в нем своего героя перед выбором, перед которым он никогда не стоял сам — сохранением верности своей религии и своему народу и отказом от них. В сущности, «Люблинский штукарь» именно об этом — о свободе выбора и о том, каким образом те или иные сверхъестественные силы направляют судьбу человека.

Свобода выбора — это одно из фундаментальных понятий иудаизма. Вопросу о том, дает ли Бог человеку свободу выбора или нет; насколько далеко простираются границы этой свободы, и как Всевышний корректирует ее, посвящены сотни томов сочинений еврейских религиозных философов. Зингера эта проблема интересовала с юности и до конца жизни — это отчетливо чувствуется во многих его произведениях; писатель сам не раз признавался в этом в своих автобиографических книгах, в эссе, да и в интервью с теми же журналистами.

Да, у самого Зингера опыта того выбора, перед которым он поставил своего героя, не было, но перед таким выбором стояли многие евреи, а для многих современников Зингера он стал особенно актуален.

В то же время сама эта жизненная коллизия отнюдь не была новой — Талмуд полон историй о соблазнах, которыми была полна встреча еврейского мудреца с «матроной» (так в Талмуде обозначается любая знатная римлянка) и о том, как нелегко бывает этот соблазн победить.

Один из великих еврейских мудрецов, рассказывает Талмуд,

преисполнился такой страстью к «матроне», что для того, чтобы победить ее, решил покончить жизнь самоубийством и бросился с крыши своего дома. К счастью, пророк Элиягу (Илья-пророк) успел вовремя к месту этого происшествия и подхватил его на руки. Правда, Элиягу затем выговаривает этому мудрецу, что тот из-за своих греховных побуждений «сгонял его за тысячу миль».

Читатель, которому был адресован «Люблинский штукарь», безусловно, был знаком с этой талмудической легендой, и легко угадывал в Эмилии Храбовицкой черты той самой «матроны». Вдобавок ко всему, Башевис-Зингер выстраивал ткань «Люблинского штукаря» так, что в нем поистине нет «мелочей» — каждый жест героя, каждое даже, на первый взгляд, незначительное событие в его жизни, каждое оброненное им слово полно скрытого смысла. И, уж само собой, не случайно имена двух главных женщин в жизни Яши Мазура — Эмилии и Эстер — начинаются с одной и той же буквы.

Каждая из них символизирует весь тот мир, к которому она принадлежит, его ценности и представления.

Набожная, заботливая Эстер, кажется, является самим воплощением еврейской жены. Она самодостаточна, и, будучи белошвейкой, вполне способна сама себя прокормить. Она страстна и робка одновременно. Она не требует от него никаких жертв. На вопрос о том, что она будет делать, если с ним что-нибудь случится, «ответ Эстер бывал один: после Яши она полюбить никого не сможет. Ее жизнь кончится».

Наконец, когда Яша вдруг спрашивает жену, что она сделает, если он решит покаяться и за грехи замуровать себя заживо (вопрос этот, прозвучавший в начале романа, чрезвычайно показателен, то есть Яша изначально взвешивал и такую возможность, и его решение не было спонтанным), Эстер отвечает: «Я замуруюсь с тобой».

Образованная, утонченная Эмилия, в свою очередь, олицетворяет весь блеск, всю притягательную силу европейской цивилизации. Вести с ней разговоры на различные темы Яше куда интереснее, чем с Эстер. Эмилия тоже религиозна и тоже верна своим нравственным принципам, когда отказывает Яше в близости до свадьбы. Однако куда деваются ее утонченность и принципы, когда эта аристократка вместе с Яшей смотрит дешевую пьесу о супружеской измене и взахлеб хохочет над обманутым супругой мужем! Ощущая вроде бы чистую и высокую любовь к Эмилии, Яша одновременно ловит себя на желании обладать и ее дочерью-подростком Галинкой, и уже одно это побуждение делает его любовь отнюдь не такой чистой и возвышенной, как ему кажется, — напротив, к ней явно

примешивается что-то грязное и низменное. И не случайно мельком будет упомянуто, что в роду Эмилии были франкисты — члены одной из самых отвратительных еврейских сект, превративших свальный грех в образ жизни… Нет, как и предсказывает необразованная, но умная и проницательная Зевтл, ничего хорошего этот роман с Эмилией Яше Мазуру не сулит.

Но, самое главное, в качестве условия своей любви Эмилия требует от Яши колоссальной жертвы — отречения от породившего его мира, от своего Бога, то есть, по сути дела, от самого себя. Ну, и заодно, еще и денег, необходимых для комфортной жизни в Европе…

В результате выбор между Эстер и Эмилией, оказывается, сводится отнюдь не только к выбору между двумя женщинами и двумя мирами:

«Надо было что-то решить именно в эту ночь, выбрать между Эстер и Эмилией, порядочностью и кражей».

И вот тут-то недоучившийся раввин и каббалист Башевис-Зингер показывает, как некие Высшие Силы если не вмешиваются в свободу делаемого человеком выбора, то пытаются повлиять на него. Попав с Магдой под дождь, Яша укрывается с ней в синагоге, где на шкафу со свитками Торы выведены вечные Десять заповедей, и каждая звучит как обвинение против Яши. Зингер не случайно перечисляет их все. «Я, Господь… Не будешь иметь других богов…» — но разве Яша, решив креститься, не собирается «приобрести» себе другого бога?

«Почитай отца твоего и мать твою…» — но разве, отрекаясь от своего еврейства, Яша не нарушает завещание отца?

«Не прелюбодействуй… Не убивай… Не воруй» — все это о нем, о Яше, ибо это он прелюбодействует, это он замыслил воровство и это ему предстоит убить своим предательством Магду.

Вместе с тем пребывание Яши в синагоге становится еще одним напоминанием ему Свыше о том, от чего он собирается отречься:

«Яша решил еще немного побыть. Он принадлежал этому сообществу. Он происходил от одного с ними корня. Носил на теле их метку. Знал их молитвы…»

И когда старая еврейка в корчме отказывается признать в нем еврея и требует, чтобы он отдал ей подобранную им в синагоге священную книгу, Яшу пронзает словно током:

«Разве можно отъединиться от всего этого? — спрашивал он себя. — Оно же мое…»

Итак, некие две силы незримо продолжают вести борьбу за Яшину душу и за то, каким будет его окончательный выбор. Но

какая из них связана со Светом, а какая — с силами Тьмы и Нечистоты? Кто — ангел или бес — постоянно посылает ему в видении лицо Эмилии? На чьей стороне подлинная Любовь, Чистота и Истина?

Сам дальнейший ход развития событий дает ответ на этот вопрос. «Высокая и чистая» любовь к Эмилии в итоге толкает Яшу на попытку грабежа. В итоге он едва не превращается в убийцу — ведь в какой-то момент у него появляется мысль убить Зарусского. Он лишается возможности выступать, губит Магду, оказывается не в силах помешать падению Зевтл. Но в тот момент, когда, забравшись в дом Зарусского, он вдруг теряет отмычку и, несмотря на все ухищрения, оказывается неспособным открыть замок сейфа, он усматривает во всем происходящем происки исключительно неких темных сил:

«Яша с минуту оставался в напряжении, готовый бежать от первого же шороха. «Я не смогу его убить. Я не убийца…» Но старик опять затих. Яша, присев, стал искать отмычку. Но та снова куда-то подевалась. Железка играла с ним в прятки. «Та еще ночка! Силы зла ополчились против меня…»…»

Но в конце концов, сопротивляясь тому внутреннему голосу, который вновь и вновь подсказывает ему, что надо убить Зарусского, повинуясь другому голосу, твердящему старую еврейскую поговорку о том, что тот, кто обедал тухлой едой, запивает гнилой водой (а кто или что в данном случае играет роль «тухлой еды»?!) Яша, точь в точь, как мудрец из Талмуда, прыгает вниз. Вот только Ильи-пророка, готового прийти ему на помощь, не находится. Но зато убежище, помощь и душевное тепло он находит у тех, от кого едва не отрекся — у евреев, в старой варшавской синагоге. Впервые за много лет Яша Мазур снова произносит вечные слова еврейской молитвы, и до него вдруг доходит, Кто именно уберег его от убийства и воровства и привел в это место, как доходит и то, к краю какой пропасти привела его запретная ему, еврею, любовь, или то, что он принимал за таковую:

«Его охватило чувство раскаяния и смирения. Только сейчас до него дошло, на что он пошел нынешней ночью и каким образом небеса до такого не допустили. Это было объяснение всему, не допустили свыше! В небесных сферах не захотели, чтобы он стал вором…

…И кучка евреев, взиравшая на него только что с высокомерием старших, теперь глядела с любопытством, благожелательностью и приязненностью. Яша явственно ощущал эту исходившую от них приязнь. «Они еврец, мои братья, — говорил он себе. Они знают, что я грешен, но все-таки прощают…»

Его снова охватил стыд, но не от беспомощности, а потому, что он изменил этому чувству братства, пренебрег им, готов был его отвергнуть. «Как же это? Я ведь происходил от благочестивых людей. Мой прадед погиб за веру…»

Он вспомнил, что отец перед смертью подозвал его к своей постели и сказал:

— Обещай, что останешься евреем…

И взял Яшину руку, и держал ее до смертной минуты.

«Как я мог это забыть?.. Как мог?..»

С этого начинается возвращение Яши Мазура к вере. Медленно, шаг за шагом он приходит к пониманию того, что Бог и есть самый великий во всем мироздании «штукарь», ибо те трюки, которые Он выделывает с человеком, непосильны ни одному фокуснику.

Яшу еще ждет впереди немало сомнений и искушений, но главное уже произошло. И. Тот, Кто не допустил, чтобы он стал вором, будет незримо поддерживать его, как пророк Илья поддержал бросившегося с крыши мудреца. Даже случайно услышанный им в парикмахерской рассказ о том, как «один тип» утонул в Висле только потому, что «приглядел издали какую-то шлюху» и поплыл из мужской части купальни в женскую, тоже придется в данном случае весьма кстати…

Дальше будет прощание с Эмилией, возвращение к Эстер и наложение на самого себя страшного наказания, призванного надеть смирительную рубашку на свое собственное злое начало, на все еще живущую в нем любовь к Эмилии — ни в чем не повинной, действительно умной и благородной женщине, тоже, по сути дела, ставшей игрушкой в руках Высших Сил.

Лишь дочитав роман до финала, можно понять, что же хотел Башевис-Зингер сказать, когда утверждал, что Яша Мазур — это тот, кем он хотел бы стать, а Герман — кем он стал.

Если для Исаака Башевиса-Зингера-писателя никогда не было вопроса, где проходит граница между Добром и Злом, что нравственно, а что аморально, что согрето высоким Божественным светом, а что ведет человека в бездонную темную бездну, то Иче-Герцу Зингеру-человеку было крайне нелегко следовать тем принципам и идеалам, которые он сам провозглашал в своих книгах. Больше всего ему хотелось бы проделать тот путь от сомнений к вере, какой проделал Яша Мазур, вернуться в тот мир, из которого он вышел.

Но сидевший в нем «бес» вновь и вновь оказывался сильнее этих благих порывов, и в итоге он и в самом деле чувствовал сходство своей личной судьбы с судьбой Германа, образ которого еще станет предметом подробного разговора на страницах этой

книги.

Но тема любви между евреем и нееврейкой Зингером будет еще не раз продолжена, причем не только во «Врагах», но — и прежде всего — в его следующем романе «Раб».

Глава 9
Обретение любви и свободы. «Раб» (1960)

Новый роман Башевиса-Зингера «Раб» был написан в 1960 году, и в 1961, как и многие другие его произведения, начал публиковаться по главам с продолжением в газете «Форвертс». Вскоре после этого, в 1962 году, роман был переведен на английский и восторженно встречен американской критикой.

Пожалуй, не было ни одного солидного американского издания, которое не поместило бы на своих страницах хотя бы небольшую рецензию на это произведение. Впрочем, это было не удивительно. Башевис-Зингер к тому времени уже считался самым модным еврейским писателем в Америке и Европе, да и положенная в основу его сюжета история любви не могла не тронуть сердца читателей. Эта была, по сути дела, вечная общечеловеческая история о влюбленных, принадлежащих к двум разным мирам, оказывающихся в итоге чужими в каждом из них, но готовых во имя сжигающего их чувства бросить вызов всем условностям и предрассудкам окружающего их общества.

Именно так воспринимал «Раба» американский и европейский читатель, которого, вдобавок, увлекал сам колорит книги, достоверность воссозданных на ее страницах картины жизни Польши середины XVII века, яркие, неоднозначные образы ее героев. К тому же, мистические мотивы, которыми был пронизан этот роман, делали его одновременно чуть похожим на сказку, своего рода «легенду для взрослых», что также не в немалой степени способствовало успеху «Раба» у широкой читающей публики.

«Раб» и в самом деле принадлежит к вершинным произведениям зингеровской прозы. Писатель приступил к нему, когда находился не только на пике своей популярности у еврейского и нееврейского читателя, но и тогда, когда достиг творческой зрелости, абсолютной свободы во владении словом. Зингер приближался в это время к своему 60-летию, и сам был убежден, что пришло время для создания главных произведений его жизни — тех самых, которые предназначены не только для современников, но и для потомков.

В «Рабе» он снова возвращается к той эпохе, которой посвятил свой первый роман «Сатана в Горае» — к страшным временам хмельнитчины и последовавшим за ней не только запустением, но и глубочайшим духовным кризисом, переживаемым еврейством Польши и Украины. Многие отрывки «Раба» почти

дословно повторяют цитаты из «Сатаны в Горае»:

«Во время погрома в Юзефове и в других городах безвинным евреям рубили головы, их вешали, душили, сажали на кол, женщинам вспарывали животы и вкладывали кошек, детей закапывали заживо…»

«…В синагогах молились, учили Тору, читали Псалмы. Приходили евреи со следами побоев, полученных от гайдамаков, а также с разными увечьями — слепые, с отрезанными ушами, с выбитыми зубами, чтобы благословить Всевышнего или послушать проповедь. По окончании молитвы добрая половина собравшихся говорила Кадиш[43]*. На каждом шагу попадались скорбящие по родным и близким. В тесных улочках Яков видел нужду. Ремесленники работали в будках, напоминающих собачьи конуры. От сточных канав шла вонь. Оборванные женщины, многие из них беременные, собирали мусор и щепу для топки. Бегали голые, босые дети со струпьями на головах, с прыщами на личиках. Многие из них были кривоноги, с больными глазами и с раздутыми животами. Очевидно, свирепствовала эпидемия, судя по тому, что выносили мертвых. За каждым гробом шли женщины, плача навзрыд. Синагогальный служка громыхал жестянкой, в которую опускали монетки — подаяние «во спасение от смерти». После погромов появилось много сумасшедших. Они бегали по улицам, каждый со своими выходками и гримасами…»*

Но если для читателей написанного в начале 30-х годов «Сатаны в Горае» подобные картины еще представляли, так сказать, чисто исторический интерес, то для читателей «Раба» они звучали более чем актуально — напоминая ему о Холокосте и оставленных им незаживающих ранах на теле и в душах. Да и те страницы романа, на которых писатель клеймит раввинов и лидеров еврейских общин, пытающихся нажиться на бедах и проблемах своих соплеменников, тоже вполне можно было отнести к некоторым еврейским дельцам и лидерам еврейства США и Европы первых послевоенных лет.

Наконец, и сам поставленный писателем вопрос о том, как относиться к тем нееврейским женщинам, которые в столь страшное время спасали евреев и решали связать с ними свою судьбу; следует ли в данном случае требовать от них строгого соблюдения всех формальностей, связанных с обращением в еврейство, или считать, что самой своей жизнью они доказали, что являются частью еврейского народа, тоже был чрезвычайно злободневным для 50-60-х годов прошлого века.

* * *

В отличие от «Люблинского штукаря», роман «Раб» не раз оказывался в центре внимания исследователей еврейской литературы XX века.

Одни из них сосредотачивались на анализе тех библейских ассоциаций, которые использовал Исаак Башевис-Зингер при его написании.

В истории Якова, спасшегося во время погрома и проданного в рабство зажиточному польскому крестьянину Яну Бжике, во вспыхнувшей любви между еврейским рабом и дочерью Бжики Вандой они небезосновательно видели параллель с историей библейских Иакова и Рахели. Так же, как его библейский тезка, Яков пребывает в рабстве и в итоге получает дочь своего хозяина; так же, как этот праотец еврейского народа, Яков вместе с любимой в итоге бежит из дома своего тестя; так же он теряет любимую, которая, подобно Рахили, умирает в родах, оставляя после себя сына Биньямина…

Впрочем, никаких особых усилий для такого открытия этим исследователям предпринимать было не нужно: Башевис-Зингер и сам пользуется этой ассоциацией, поднимая образ своего героя до его библейского архетипа в финале второй части романа:

«Яков забормотал: «…И когда я пришел из Паддана, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не дойдя до Евфрата…»

Его также зовут Иаковом. И у него на чужбине умерла любимая женщина, дочь язычника. Ее также похоронили, можно сказать, на дороге. У него тоже остался ребенок… Он тоже пересекает реку, имея лишь посох в руке… За ним также гонится Исав… Все осталось, как было: древняя любовь, древняя боль. Возможно, пройдут еще четыре тысячи лет, и где-нибудь вдоль другой реки будет шагать другой Яков, у которого умрет другая Рахиль. Или кто знает? — может быть, это все тот же Иаков и все та же Рахиль?..»

С точки зрения этих исследователей центральной темой, по меньшей мере, первой части «Раба» является тема столкновения Исава и Иакова, то есть, в еврейском понимании этих образов, еврейского и нееврейского мира. Жизнь польских крестьян, живущих исключительно потребностями своего желудка и побуждениями собственной похоти, не ведающих элементарных правил гигиены, остающихся во власти древних языческих преставлений и суеверий, чуждых какой-либо культуры и духовности — это и есть «мир Исава», в котором оказывается герой романа.

Да, среди этих людей явственно выделяется фигура Яна Бжики — честного, трудолюбивого, доброго, по-своему очень красивого человека. И отношение Бжики к своему еврейскому

рабу разительно отличается от той ненависти и смешанного со страхом презрения, с каким относятся к Якову окрестные пастухи и крестьяне. Но ведь Ян Бжика, по сути дела, одинок и нелюбим даже членами своей семьи. Все они, кроме его дочери Ванды, не таясь, ждут его смерти. Ну, а сама умная, работящая, тоскующая по настоящей любви и другой жизни Ванда — это вообще дивный, диковинный для этих мест цветок, непонятно каким образом выросший среди окружающей ее грязи. Так стоит ли удивляться тому, что она всей душой и телом потянулась к Якову — пришельцу, заброшенному злой судьбой в их края из совсем другого мира и упорно сохраняющему ему верность?

Но и еврейский мир, «мир Иакова», будучи, вне сомнения, более цивилизованным, также оказывается далек от совершенства. В его показном религиозном благочестии и верности Богу не хватает завещанной этим Богом доброты и человечности, а потому в нем так же не находится места для Якова и его Ванды, превратившейся в Сару.

Другая группа исследователей творчества Зингера усматривает лейтмотив романа «Раб» в той внутренней борьбе, которая идет в Якове — борьбе между «греховной» любовью к нееврейке Ванде и теми религиозными и культурными устоями, на которых он вырос. С точки зрения этих литературоведов, само название романа следует понимать метафорически — как победу подлинной любви над держащими человека в духовном рабстве условностями своей среды.

Но и те, и другие сходятся во мнении, что, несмотря на реалистическую достоверность многих страниц романа и его образов, к «Рабу», безусловно, нельзя относиться как к историческому роману и вообще как к произведению, написанному в реалистическом русле. Как и во многих других своих романах и рассказах, Зингер отнюдь не стремится к правдивому воссозданию описываемой в нем эпохи и ее характеров. Эпоха, скорее, служит для него лишь фоном, на котором он моделирует некую вневременную ситуацию, и именно сама ситуация и поведение оказавшихся в ней людей и интересны ему сами по себе.

Однако на сюжет и проблематику «Раба» можно посмотреть и совершенно по-другому.

* * *

Те, кто утверждает, что в само название романа — «Раб» — Зингер вложил некий скрытый смысл, вне сомнения, правы. В

конце концов, непосредственно пребыванию в рабстве посвящена лишь половина первой части книги — на протяжении всего остального романа он живет и действует как совершенно свободный человек. Тема сути рабства непосредственно возникает в рассуждениях паромщика Вацлава, с которым Яков встречается на берегу Вислы, после того, как ему удалось убежать от ведущих его на казнь солдат.

«За свою жизнь я усвоил одно, — говорит этот оказавшийся философом поляк, — *ни к чему нельзя привязываться. Если у тебя есть корова, ты раб своей коровы, если у тебя есть лошадь, ты раб своей лошади. Если у тебя жена, ты ее раб, раб ее матери и ее пригульных детей. У помещиков много рабов, но сами они тоже в рабстве…»*

Исходя из этих рассуждений, любовь Якова к его Ванде-Саре и есть рабство, как, впрочем, и его привязанность к рожденному ею сыну. Но Вацлав, сомневающийся в существовании Бога и при этом исповедующий альтруистический гуманизм, будучи близок Якову своей человечностью, одновременно является его антиподом в вопросах веры. Вне сомнения, Башевиса-Зингера в этом романе волновала проблема рабства и свободы, и образ Якова является своего рода чисто еврейским ответом на эту проблему.

Дело в том, что нет с точки зрения еврейской религиозной философии более отвратительного понятия, чем рабство, порабощение человека человеком. Сама история евреев как народа берет свой отсчет с выхода из Египта, «из дома рабства», с обретения свободы. Евреи являются одним из немногих древних народов, у которых, по сути дела, не было института рабства. Согласно Библии, еврей может обратить в рабство другого еврея только за долги, да и то не на всю жизнь, а максимум на семь лет, после чего он должен отпустить своего раба на свободу, выдав ему крупную сумму на обустройство. Да и в период рабства еврей не только не имеет права применить по отношению к своему еврейскому рабу насилия, но и должен обеспечивать его всем необходимым, пусть даже и в ущерб себе. Вот почему Талмуд утверждает, что «тот, кто приобретает себе раба, приобретает господина». Приобретение рабов-иноплеменников также считалось у евреев нежелательным, так каждый еврей должен был помнить, что «рабами были мы в стране Египетской».

Однако этому виду рабства еврейские религиозные философы всегда противопоставляли другое — ощущение себя человеком как «раба Всевышнего», требующего от него полного подчинения Своим заповедям. Само понятие «верный раб Божий» впервые употребляется в Пятикнижии впервые по отношению к пророку

Моисею и расценивается как высшая похвала ему.

«Возрадовался Моисей дарованному ему уделу, ибо рабом верным назвал Ты его», — говорится в молитве, которую евреи читают утром в субботу.

Позднее (и Зингер, вне сомнения, был знаком с этой точкой зрения) еврейские философы определили понятие «раб Божий» как высшую степень человеческой свободы.

Несколько утрируя, эту мысль можно пояснить следующим образом: человек, ощущающий себя до конца «рабом Бога», оказывается совершенно свободным в отношениях с людьми. Ему незачем бояться кого-либо, так как он убежден, что находится под постоянной защитой своего Хозяина, и этот Хозяин, а не кто-либо другой, распоряжается всем течением его жизни. Такой человек чувствует себя свободным от общественного мнения, принятых условностей и т. д., так как он сам решает, приемлемы для него эти условности или неприемлемы в зависимости от того, насколько они согласуются с заповедями Бога, то есть требованиями подлинного Хозяина его души.

Именно в значении «раб Бога» и только в этом значении и применимо слово «раб» к Якову. С этого, собственно говоря, и начинается роман — Яков просыпается в хлеву, в котором он живет вместе с коровами, и немедленно приступает к исполнению заповедей:

«Спустя мгновение Яков протянул руку и ощупью нашел глиняный горшок с водой для омовения. Он мыл руки, как и положено, поочередно. Он уже успел прочитать «мойдэ ани…» — молитву, в которой не упоминается Всевышний, и потому ее можно произносить неумытому…»

Дальше подробно рассказывается о том, как Яков, пребывая в течение пяти лет в рабстве в польской деревне, умудрился не нарушить ни одну из заповедей своего Бога — он продолжал ежедневно произносить предписанные молитвы, тщательно соблюдать законы о разрешенной и запрещенной пище, соблюдения субботы и т. д. Более того — шаг за шагом он воскрешает в своей памяти не только весь текст Библии, но и Мишны и Талмуда.

Но — самое главное — Яков отнюдь не становится частью того мира, в котором он оказался, не поддается ни на один из его соблазнов, и продолжает смотреть на жизнь и нравы неевреев своими, еврейскими глазами:

«Они приходили к нему поболтать, посмеяться и вели себя при этом не лучше коров. При нем они справляли свою нужду. Чтобы показать место, укушенное комаром, они задирали платье, оголяя колено, ляжку или даже выше. Они говорили ему без обиняков:

идем, ляжем! Но Яков был слеп и глух. Они были не только развратны и уже одним этим грешны, но к тому же еще нечистоплотны — с насекомыми в одежде, с нечесаными волосами и нередко с чирьями и прыщами на коже. Он употребляли в пищу дохлых птиц и всякую нечисть, водившуюся в земле. Были и такие, которые не умели говорить…»

Словом, герой романа продолжает оставаться верным себе и жить своей жизнью, и потому нет, по сути дела, во всей этой деревне человека более внутренне свободного, чем Яков. Он остается таковым даже в момент, когда пьяная толпа неевреев хватает его, чтобы насильно напоить водкой и накормить свининой — Яков и в этот момент думает о Боге и вспоминает стихи Псалмов.

Это, безусловно, не означает, что Якову неведомы сомнения и больные вопросы — будучи необычайно вдумчивым человеком, он умеет задавать и самые больные вопросы. Порой Зингер вкладывает в его уста свои собственные мысли и сомнении, ибо и в этот образ, как и в Яшу Мазура, он вложил много от самого себя:

«Однажды, оставшись один в школе, Яков обратился к Всевышнему:

— Я верю, что Ты всесилен и что все, что Ты делаешь, — это к лучшему. Но я более не могу проявлять любовь к Тебе! Не могу, Отец, не могу… Не в этой, земной, жизни!..»

Но вслед за этим немедленно следует фраза, доказывающая, что раб, даже бунтуя против своего Господина, остается рабом:

«Какой позор — не любить Создателя и тосковать по какой-то крестьянке в деревне!»

* * *

Любовь, вспыхнувшая в Якове к Ванде, воспринимается им поначалу как искушение — ведь Бог запретил евреям вступать в браки с иноверцами, и Зингер блестяще передает те мысли и чувства, которые овладевают религиозным евреем, которому выпало пройти через такое испытание:

«Он был не одним человеком, а одновременно двумя. Один молил Бога спасти его от искушения, другой искал предлога, чтобы потворствовать желанию плоти. Ведь Ванда свободна, она не мужняя жена, изворачивался в нем кто-то. Правда, тело у них постоянно пребывает в нечистом состоянии, но, во-первых, к нееврейке неприемлемо понятие нечистоты, во-вторых, она может совершить омовение в ручье. Какое же остается препятствие?

Запрет сходиться с гоями. Но разве здесь может быть в силе этот запрет? Это ведь особые обстоятельства. Разве Моисей не женился на негритянке? Разве царь Соломон не взял дочь фараона? Правда, те приняли еврейскую веру, так ведь и Ванда тоже может принять еврейскую веру. А то, что сказано: «Того, кто вступает в половое сношение с гоей[44]*, можно уничтожить, так это лишь в тех случаях, когда это делается открыто, при свидетелях и после предупреждения… Злой дух, дух-искуситель так и сыпал на Якова ученостью, а добродетельный ангел говорил простые слова: долго ли продолжается человеческая жизнь? Долго ли ты молод? Стоит ли ради минуты удовольствия потерять тот мир, который вечен?»*

Пытаясь уйти от наваждения, Яков подвергает себя все новым испытаниям, всячески принижает свое чувство к Ванде, объясняя его обычной похотью, но эта попытка самообмана слишком очевидна для читателя. Похоть Яков как раз давно уже мог бы удовлетворить с теми самыми деревенскими девками, которые «без обиняков» говорили ему «идем, ляжем!». То, что им владеет, это, безусловно, любовь, самое высокое из всех чувств, которое может быть дадено человеку, когда тело и душа в своей жажде близости становятся нераздельны. Но даже тогда, когда он больше не в силах противостоять этой любви, Яков остается «рабом верным», и просит, чтобы Ванда совершила ритуальное омовение в ручье, как это бы сделала еврейка перед первой близостью с мужем.

— Это для тебя! — шепчет ему Ванда, возвращаясь из ледяного ручья.

— Это не для меня, а для Бога, — отвечает ей Яков.

Уже потом, когда его выкупят из плена, когда он будет мучиться в родном Юзефове тоской по Ванде и, в конце концов, помчится к ней, он все равно будет сверять свой поступок с требованиями Творца. И уже после того как Ванда станет Сарой и они поселятся в Пилице, где Ванде-Саре придется притворяться немой; и в час ее смерти; и тогда, когда его будут вести на казнь за обращение нееврейки в иудаизм, он продолжит ощущать себя рабом Господа, находящимся целиком в Его власти.

И лишь после того, как рожденный Вандой сын станет раввином, и не просто раввином, а руководителем иешивы в Цфате, тогдашней мировой столицы еврейской учености, Яков вернется в Пилицу, чтобы умереть и быть похороненным рядом со своей Вандой. Раб выполнил свой долг перед Хозяином до конца, раб подарил Ему еще одного верного раба, и теперь может уйти на покой…

Такое представление Якова о себе, как о рабе Господа, возможно, в глазах светского читателя принижает его образ, но

обратим внимание на то, что оно нисколько не мешает ему жить напряженной духовной жизнью и мыслить куда шире всех остальных. Зато именно в этом постоянном желании соответствовать требованиям Бога, размышлении над сутью его законов и заключается секрет высоких моральных качеств Якова, его доброты, отзывчивости, предельной честности. Наконец, именно от ощущения себя рабом Господа проистекает та свобода, с которой Яков, единственный из евреев Пилицы, говорит с помещиком Адамом Пилицким, заступаясь за ненавидящего Якова арендатора Гершона…

Так что быть «рабом Бога» оказывается куда предпочтительнее, чем рабом своей животной натуры или собственных страхов. Это — то самое рабство, которое поднимает человека вверх и, собственно говоря, и делает его человеком.

* * *

Внимательный читатель без труда обнаружит текстовую перекличку романов «Раб» и «Люблинский штукарь». Так же, как и Яшу Мазура, Якова из «Раба» во время путешествия на телеге зачаровывает красота и мудрость созданного Богом мира, и в этот момент у них появляются схожие мысли. Оба этих героя тайно мечтают научиться летать. Оба мучаются схожими сомнениями и оба стоят на пороге важного жизненного выбора. Обоих «ведут» к сделанному ими выбору некие тайные, сверхъестественные силы, и в обоих случаях природа этих сил, принадлежность их к Силам Тьмы или Силам Света до конца не ясна. Кого, к примеру, олицетворяет тот таинственный старик-христианин с лицом пророка, который возникает на пути у Якова, чтобы указать ему дорогу к деревне, где живет Ванда? И что означают слова старика о том, что он, Яков, «правильно идет»?

Эта перекличка, вне сомнения, не случайна. «Люблинский штукарь» и «Раб» в определенной степени являются романами-антитезами один другому. Оба героя влюблены в нееврейку, для обоих эта любовь становится роковой. Но если Яша Мазур ради любви к Эмилии едва не отрекся не только от жены, но и от своей веры и своего народа, то Яков из «Раба», наоборот, именем любви делает Ванду своей женой и приводит ее к своей вере и своему народу — и в этом и заключается принципиальная разница между ними. И принципиальное отличие Ванды от Эмилии как раз и заключается в том, что если последняя требует от вроде бы любимого ею мужчины чудовищной жертвы, то Ванда сама готова пожертвовать всем ради Якова. И с этой ее силой любви и

готовности к самоотречению во имя любимого Ванда становится одним из самых трагических, высоких и прекрасных женских образов еврейской, да и всей мировой литературы.

Нееврейский читатель вправе упрекнуть автора в необъективности: выходит, с его точки зрения переход еврея в христианство, измена им религии своих предков является «чудовищной жертвой», аморальным и едва ли не преступным поступком, в то время как отказ Ванды от своей религии и ее переход в еврейство представляется ему благородным подвигом. Автор, таким образом, уже в силу своей национальной принадлежности явно занял предвзятую позицию.

В этом утверждении, безусловно, есть своя доля правды.

Но, во-первых, такова была позиция по данному вопросу самого Башевиса-Зингера, не раз открыто заявлявшего о том, что он считает браки евреев с неевреями нежелательными. Летом 1968 года, на одной из встреч с представителями американской молодежи, студент-негр спросил писателя, что он думает о расовой дискриминации негров в Америке и как он относится к тому, что у него, чернокожего, есть подруга-еврейка и они собираются пожениться?

— Я считаю, что положение с расовой дискриминацией должно быть исправлено, — ответил Зингер. — Нет у меня и никаких возражений против того, чтобы чернокожий женился на еврейке — это тот вопрос, который они должны решить между собой. Но как еврей я был бы рад, если бы этот чернокожий парень прошел гиюр[45] и перешел бы в еврейство, потому что мы и без того потеряли в Холокосте миллионы еврейских душ.

Во-вторых, следует обратить внимание на то, насколько различны те мотивы, которые побуждают Яшу Мазура подумать о крещении, а Ванду — перейти в еврейство. Яша Мазур пытается утешить себя тем, что, крестившись, он отнюдь не станет искренне верующим христианином, зато, помимо брака с Эмилией, переход в христианство сулит ему немалые выгоды — оно распахнет перед ним двери европейских аристократов, принесет славу и деньги.

Ванда же, переходя в еврейство, присоединяется к гонимому, подвергаемому невиданным унижениям и жестокой резне народу. Евреи еще не пришли в себя от пережитой ими «хмельнитчины», а в Польше снова неспокойно, к ней снова со всех сторон подступают враги, и это грозит евреям все новыми бедами. Так что, уходя с Яковом, Ванда прекрасно сознает, что однажды ворвавшиеся в местечко гайдамаки вполне могут, скажем, вспороть ей живот и засунуть туда кошку. Да и зачем ждать гайдамаков — оказавшись на рынке среди поляков, «немая»

Ванда-Сара немедленно становится жертвой их антисемитских шуточек.

Но на все это она идет ради своей любви к Якову. И не только ради любви — она и в самом деле начинает тянуться к еврейскому миру, к еврейской вере. Она и в самом деле становится глубоко верующей еврейкой, причем, благодаря Якову, даже более осведомленной в вопросах веры, чем многие «еврейки по рождению».

«Эти четыре года, — пишет Зингер, рисуя самоощущение Ванды-Сары, — *представлялись ей целой вечностью. Все, что было раньше, казалось ей случившимся с кем-то другим. Когда она вспоминала, что была когда-то Вандой, женой пьяницы Стаха, холод пробегал по ее спине. Бывали дни, когда она не думала о прошлом, настолько она вросла в еврейскую среду. Наверное, прав был Яков, говоривший, что она родилась с еврейской душой и что он лишь вернул ее к еврейскому источнику».*

Таким образом, обращение Ванды, что бы там ни говорил раввин Пилицы после ее смерти, было подлинным. И во всем происходящем с героями «Раба», как и в «Люблинском штукаре», угадывается направляющая рука Всевышнего: именно этой женщине суждено было продолжить прерванный было гайдамаками род Якова и подарить еврейскому народу одного из его раввинов.

Рисуя взаимоотношения Якова и Ванды с евреями, Башевис-Зингер отнюдь не склонен идеализировать последних. Как уже было сказано, он бросает жесткие обвинения в адрес косной еврейской ортодоксии, раввинской аристократии и беспринципных дельцов. Арендатор Гершон, беззастенчиво обворовывающий помещика и обирающий как евреев, так и польских крестьян; ответивший Якову злобой и преследованиями за то, что тот вступился за него перед помещиком Пилицким, вроде бы ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Однако, если вспомнить и то, что именно благодаря ему евреям удалось найти приют в Пилицах, и то, как смело, невзирая на смертельную опасность, он говорит с Пилицким, то становится понято и то, что этого человека есть за что уважать.

Столь же неоднозначны, противоречивы и именно поэтому чрезвычайно жизненно убедительны и другие образы романа «Раб» — как евреев, и неевреев. И именно эта психологическая достоверность всех образов романа, мастерское описание психологии как главных, так и второстепенных героев, острота и необычайная динамичность сюжета, тесное переплетение реальности и мистики и ставит роман «Раб» в ряд лучших произведений о любви и долге, написанных в XX веке. Причем

Зингер выступает в этом романе прежде всего как выдающийся писатель-реалист, но реалист, способный силой своего гения подниматься над реальностью и придать своим книгам поистине вселенское звучание.

Глава 10
Подробности жизни (Башевис-Зингер в 60-70-е годы)

60-е годы стали временем максимальной творческой активности Башевиса-Зингера и временем обретения им мирового признания.

В этот период одна за другой выходят на английском языке его книги «Люблинский штукарь» (1960), «Спиноза с Торговой улицы и другие рассказы» (1961), «Раб» (1962), «Короткая пятница и другие истории» (1964), «Избранные короткие рассказы и истории под редакцией Ирвинга Хау» (1966) и др.

В 1967 год Башевис-Зингер выпускает сборник рассказов для детей «Мазел и Шлимазел, или Львиное молоко», роман «Управляющий» и несколько новых сборников рассказов. В следующем году выходит ставший классическим сборник «Сеанс» и другие рассказы», еще один сборник рассказов для детей «Как Шлемиль в Варшаву ходил», а 1969 год ознаменовался выходом романа «Поместье» и сборником новелл для детей «День удовольствий». В этот же период он начинает подписывать все свои книги двойной фамилией — Башевис-Зингер.

В 1964 году, в честь своего официального 60-летия Башевис-Зингер становится первым почетным членом Национального института искусств и литературы США, пишущем не на английском языке. Еще через пять лет писатель получает Национальную книжную премию по детской литературе за автобиографические очерки «День удовольствий. Истории о мальчике, выросшем в Варшаве».

Пришедший вслед за литературным признанием материальный достаток внес в жизнь семьи Зингеров три основные перемены.

Во-первых, в их квартире появилась приходящая домработница (что было связано с тем, что у Эльмы пошатнулось здоровье, она стала ощущать постоянные сильные боли в ногах и ей стало трудно делать всю уборку по дому).

Во-вторых, вместо дешевого и демократичного кафе «Штинбург» Башевис-Зингер теперь предпочитал обедать в более дорогом и престижном, но также расположенном неподалеку от его дома ресторане «Американ ресторанс».

А в-третьих, резко увеличившийся объем переписки с издателями, читателями, организаторами лекций и литературных вечеров и прочих рутинных дел побудил Башевиса-Зингера

нанять секретаршу, которая бы улаживала все эти дела вместо него. Такой официальной секретаршей писателя стала Дова Грубер, однако, как и следовало ожидать, очень скоро их отношения стали носить отнюдь не только рабочий характер. Это, разумеется, не укрылось от бдительного ока Эльмы, однако, как и прежде, она поначалу предпочла сделать вид, что все так и должно быть.

Во всем остальном жизнь четы Зингеров осталась прежней. Исаак Башевис-Зингер не только не захотел сменить стоявшую в квартире старую мебель, но и наотрез отказал Эльме в ее просьбе приобрести телевизор, так как это «окно в мир», по его словам, могло помешать ему сосредоточиться во время работы. Телевизор появился в их доме лишь во второй половине 70-х годов, после того, как Эльма вышла на пенсию и категорически заявила, что больше без «окна в мир» жить не желает.

Сам же писатель до конца жизни оставался равнодушным к телевидению, предпочитая черпать все сведения о происходящем в мире из газеты «Форвертс», да еще из разговоров с читателями, со случайными собеседниками в ресторане или из бесед с друзьями.

Если не считать встреч с читателями и слушателями его лекций, поставлявших ему новые сюжеты для его рассказов, круг общения Исаака и Эльмы Зингеров был ограничен пятью-шестью семьями, которых они числили в своих друзьях и к которым раз в две-три недели выбирались в гости.

Ближайшим другом Зингера до самой своей смерти оставался Аарон Цейтлин. Затем к нему прибавился рав Беркович, руководивший небольшой синагогой на Манхэттене и привлекший к себе Зингера не только своими глубокими познаниями в иудаизме, но и широтой своего мышления, тем, что глубокая вера в Бога не мешала ему интересоваться наукой и литературой.

Остальные друзья Зингеров были, в основном, бывшими сослуживцами Эльмы и членами их семей, то есть обычными продавщицами универмага, мелкими бизнесменами или клерками средней руки, весьма далекими от литературы. Тем не менее, именно в их кругу писатель чувствовал себя вполне уютно и раскованно.

В отношениях же с издателями, переводчиками, профессиональными журналистами и писателями он, напротив, старался никогда не переходить ту грань, за которой приятельские и деловые отношения переходят в личную дружбу. Да и приятелей в этом кругу у Зингера было немного: большинство идишских литераторов относилось к нему с

неприязнью, не раз публично заявляя, что считают выпавший на его долю успех случайным, совершенно не соответствующими его скромному дарованию, и за этими словесными эскападами легко угадывалась обычная человеческая зависть.

Когда же такие отношения все же намечались, Башевис-Зингер, как уже говорилось, сам же их разрушал, порождая все новые слухи о своем несносном характере — переводчикам он высказывал претензии по поводу качества их работы, издателям выражал неудовольствие из-за размеров гонораров и т. д.

Первым из переводчиков, с которым Башевис-Зингер разорвал отношения, был Сол Белоу, по сути, и сделавший Зингера известным англоязычному читателю. На прямой вопрос Белоу, почему он больше не хочет видеть его в числе своих переводчиков, Зингер ответил: «Потому что все потом будут объяснять успех той или иной иной моей вещи мастерством переводчика, а не автора». Это, конечно, была правда, но не вся правда: на самом деле Зингер далеко не всегда был доволен уровнем переводов Белоу, скользившего лишь по поверхности его текстов.

Со временем Зингер стал предпочитать переводчикам переводчиц — большинство авторизованных переводов его произведений на английский принадлежит именно женщинам, а не мужчинам. Дж. Хадда в своей биографии Башевиса-Зингера пишет, что она была поражена, узнав, что писатель спал почти со всеми своими переводчицами. Хотя, зная Зингера, удивляться было нечему. Скорее, было бы странно, если бы дело обстояло иначе. Сам Зингер, разумеется, объяснял свои романы с переводчицами тем, что физическая близость между мужчиной и женщиной является продолжением духовной и помогает последней, но, когда наступало время, без особенных сантиментов прощался с одной из переводчиц и прибегал к услугам следующей. В этом смысле его продолжительная творческая и иная связь с Элизабетой Шуб была лишь тем исключением, которое подтверждает правило.

И все же, повторю, в целом Башевис-Зингер вел относительно замкнутый образ жизни, который вполне его устраивал, так как отвечал самому противоречивому складу характера писателя. С одной стороны, он жадно интересовался людьми, их судьбами, чувствами, мировосприятием, и в этой своей ипостаси Зингер был прекрасным слушателем, вдумчивым собеседником, умевшим «вытянуть» из человека его самые сокровенные мысли и воспоминания. Но при этом, как он сам признавался в интервью Ричарду Бурджину, Зингер был не чужд приступов мизантропии, старался избегать знакомств, которые могли бы перерасти в

сколько-нибудь длительные отношения и почти никого не подпускал близко к своему собственному внутреннему миру.

Что касается его безразличия к политике, то сам Зингер опять-таки объяснял его двумя причинами. Во-первых, тем, что ему чужда любая идеология и он не желает быть частью какой бы то ни было социальной, политической и пр. группы; а, во-вторых, потому, что был глубоко убежден в том, что подлинная литература основывается на осмыслении не настоящего, а прошлого — пусть и недавнего прошлого. Современность же по Зингеру — это область интересов журналистов и социологов, но никак не писателей.

* * *

В 60-е годы в жизнь Башевиса-Зингера входит еще одна женщина — Двора Менаше.

Как и в предыдущие десятилетия, в это время писатель вел довольно фривольный образ жизни, и, помимо уже упомянутой Довы Грубер, в его жизни было немало случайных связей.

В беседах с сыном и самыми близкими друзьями он утверждал, что ему интересна каждая встречающаяся ему на пути женщина, каждую он хочет понять и узнать до конца, но чтобы достичь этого понимания, он должен оказаться с ней в постели.

«Постель — это всегда продолжение начатого разговора», — говорил он. При этом он утверждал, что делает женщин счастливыми. «Я ни о чем не жалею, это был настоящий катарсис!» — так многие из них говорили писателю (опять-таки, по его словам) после случайной близости с ним.

И все же отношения с Дворой Менаше носили у Зингера несколько иной характер. Они познакомились в тот период, когда Башевис-Зингер активно читал лекции и проводил литературные вечера в еврейских клубах различных американских университетов. Так как своей машины у писателя не было (любая техника вообще страшила его), а природная скупость удерживала от расходов на такси, то Зингер развесил в университетских коридорах объявление о том, что требуется доброволец с машиной, который был бы согласен просто так, из доброты душевной, подвозить еврейского писателя на его лекции.

На это объявление и откликнулась бывшая тогда совсем юной студенткой Двора Менаше. Вскоре между Башевисом-Зингером и этой девушкой возникли очень близкие отношения, продолжавшиеся почти три десятилетия до самой смерти писателя. Не исключено, что в отношении к Дворе Менаше к

страсти у Зингера примешивались отцовские чувства, и это делало его любовь к этой годившейся ему не только в дочери, но во внучки женщине тем самым запретным плодом, который особенно сладок. Возможно, именно Дворе Менаше посвящен знаменитый пассаж из монолога героя рассказа «Кукареку»:

«Квохточка — дочь мне, а про родную дочку отец дурного не скажет. Даже если она ему и жена. Гляжу на нее, и глазам не верится: да когда ж она выросла? Еще вчера, кажется, это был крохотный комочек пуха, только-только из скорлупы, несмышленыш, такая цыплюшечка. И вот пожалуйста — она уже строит вам глазки, знает все куриные штучки, кладет уже яйца, хоть и маленькие. Очень скоро я стану отцом, отцом своих внуков…»

Двора Менаше стала, по сути дела, вторым секретарем Зингера и его помощницей во всех делах. Она окончила университет, вышла замуж за раввина и стала Дворой Менаше-Телушкиной, но продолжала дружить с писателем. Именно Двору, как мы увидим дальше, выбрал Зингер в качестве своей помощницы при подготовке текста своей Нобелевской речи, для чего на долгие часы запирался с ней в гостиничном номере. Когда Эльма заболела и у нее отказали ноги, Двора взяла на себя все заботы по дому Зингеров — чтобы любимый писатель не отвлекался от работы. Она же помогала им собираться, когда Зингеры решили окончательно перебраться в Майами…

* * *

Как уже говорилось, Зингер был достаточно равнодушен, даже подчеркнуто равнодушен к политике, и все же настал день, заставивший его забыть об этой своей принципиальной аполитичности.

Это произошло в мае 1967 года, когда над расположенным в десятках тысячах километров от Нью-Йорка Израилем начали сгущаться тучи и стало ясно, что новая война молодого еврейского государства с арабским миром неизбежна. Если до этого Зингер обычно с раздражением просил Эльму уменьшить звук радиоприемника, то теперь сам включал его на полную громкость, внимательно вслушиваясь в сводки новостей с Ближнего Востока.

В эти же дни в Нью-Йорк по приглашению американской еврейской общины прибыл лауреат Нобелевской премии Шай Агнон. Башевис-Зингер в немалой степени удивил сына (работавшего тогда посланником Сохнута в США) и Эльму,

заявив, что хочет пойти на его лекцию, и там жадно слушал ответы Агнона на вопросы о военной и политической ситуации в Израиле и вокруг него.

По окончании лекции он захотел подойти к Агнону, чтобы пожать ему руку, однако окружившая израильского гостя толпа поклонников помешала ему это сделать. Таким образом, личная встреча двух корифеев еврейской литературы XX векам так и не состоялась — как не состоялась в свое время встреча Толстого и Достоевского, хотя однажды они и оказались в одном зале.

В первые дни июня, когда ситуация на израильско-египетской границе накалилась до предела, а американские политики и журналисты продолжали твердить, что США должны сохранять нейтралитет в этом конфликте, Башевис-Зингер, по воспоминаниям его знакомых, после каждого новостного сюжета разражался целым каскадом брани и проклятий на идише. Многие, выслушивая эти слова в исполнении известного писателя, удивленно приподнимали брови — до этого они считали Башевиса-Зингера весьма сдержанным человеком.

В день начала войны 5 июня 1967 года Америка полнилась самыми разными слухами. Даже в нью-йоркском отделении Еврейского агентства не было достоверной информации о происходящем, так как израильское радио молчало, а египетское утверждало, что «по сионистскому образованию на Ближнем Востоке нанесен смертельный удар и оно стерто с лица Земли». Башевис-Зингер с самого утра этого дня сидел у радиоприемника, а когда узнал, что еврейские организации объявили сбор донорской крови и пожертвований в пользу Израиля, оделся и вышел на улицу.

Вскоре он уже стоял в хвосте огромной, кажущейся бесконечной очереди — тысячи евреев пришли по указанному им адресу для того, чтобы внести свои деньги в пользу Израиля и заодно сдать кровь для раненых израильских солдат.

— Америка соблюдает нейтралитет, но евреи не жалеют ни крови, ни денег ради Израиля, и так оно и должно быть! — сказал расчувствовавшийся Зингер.

— Все будет в порядке! — видимо, почувствовав его настроение, попытался ободрить писателя стоявший в очереди впереди него какой-то мужчина. — Мир не допустит второго Освенцима!

— Мир допустит все, что угодно! — с горькой усмешкой ответил ему Башевис-Зингер.

Вечером, когда стало известно, что израильские ВВС в первые же часы войны уничтожили всю авиацию противника, после чего сухопутные подразделения Армии обороны Израиля стали

стремительно продвигаться в глубь египетской и сирийской территории, Исраэль Замир позвонил отцу, чтобы сообщить ему это радостное известие.

— Да-да, я уже все знаю! — ответил Башевис-Зингер. — Чудо! Это — настоящее чудо Свыше. Бог, наконец, решил отказаться от Своего обычного равнодушия. Я так счастлив, так счастлив!

Спустя еще несколько дней Зингер сказал сыну:

— Именно сейчас вы должны сделать все, чтобы организовать массовую репатриацию американской еврейской молодежи в Израиль. Сейчас — или никогда, так как ассимиляция евреев в Америке идет колоссальными темпами…

Любопытно, что следующая война Израиля с арабским миром застала Исаака Башевиса Зингера в Тель-Авиве.

В сентябре 1973 года он прибыл в Израиль для того, чтобы провести здесь осенние еврейские праздники, а заодно, как обычно, встретиться со старыми друзьями и провести несколько лекций и литературных вечеров. К тому времени большая часть произведений Башевиса-Зингера уже была переведена на иврит и, как ни странно, высоко оценена именно молодым поколением израильтян. На каждую встречу с Башевисом-Зингером являлись не только убеленные сединами и говорящие на идиш евреи, но и студенты, маститые и начинающие литераторы, представители местной богемы — словом, самая разношерстная публика. Правда, вопросы и претензии, адресуемые Башевису-Зингеру в ходе этих встреч, особой оригинальностью не отличались — те же самые вопросы и претензии ему не раз доводилось слышать и в Америке.

Так, когда на одной из встреч, Зингеру задали вопрос, как он объясняет огромную популярность своих произведений среди американских евреев, писатель, улыбнувшись, ответил:

— Очень долгое время американские евреи вообще пытались забыть о своем прошлом, об отцах и дедах, и как бы начать жизнь с «нуля». Но вот второе поколение американских евреев, та молодежь, которая родилась в Америке, невольно начала задавать вопросы о том, кто они такие; кем были их предки, как они жили, чем зарабатывали на жизнь? Рассказы идишских писателей вроде Менделя-Мойхер Сфорима не могли удовлетворить этого их любопытства, да и не отвечали их представлениям о современной литературе. И молодые американские евреи не раз говорили мне, что именно благодаря моим рассказам они познакомились с образом жизни еврейского местечка и с еврейской культурой. Думаю, нечто подобное происходит и в Израиле…

Не раз и не два на этих встречах в адрес Башевиса-Зингера звучали обвинения в том, что его произведения, будучи

переведенными на языки других народов, — это настоящий подарок антисемитам; что, читая их, невольно возникает ощущение, что евреи едва ли не самый развращенный народ в мире, что является уж совершенным искажением действительности. Однако Башевис-Зингер уже привык к подобным нападкам и был готов к ним.

— Хочу напомнить, — сказал он, — что нечто подобное говорили о многих великих писателях; в частности, о Кнуте Гамсуне и Достоевском. Но я убежден, что писатель, пишущий с мыслью о том, как его сочинения будут восприниматься в переводах, изначально обречен на провал. Любой писатель прежде всего должен писать о своем народе и для своего народа. Как еврейский писатель я пишу о евреях, о той части их жизни, которую хорошо знаю и помню. Что касается упреков в том, что я, дескать, искажаю действительность, оскверняю образ еврейского местечка, то я их не принимаю. Искажением действительности было бы как раз описание жизни местечка в идиллическом свете. Между тем в еврейском местечке жили не ангелы, а реальные люди. Там тоже случались супружеские измены, возникали любовные драмы, кипели страсти, через которые лучше всего проявляется человеческая натура. И я никогда не утверждал, что рассказываю типичные истории и рисую образы типичных жителей местечка. Как раз типичные истории мне не интересны. Наоборот, я убежден, что писатель должен заниматься исключительными случаями и исключительными людьми. Скажем, Раскольников у Достоевского — это ведь отнюдь не типичный, а наоборот, атипичный преступник, и именно поэтому он нам так интересен. И я постоянно подчеркиваю в своих рассказах, что речь идет именно о таких исключительных случаях и людях. А через эту исключительность и можно понять, что было типично для евреев.

Почти на всех вечерах Башевис-Зингер вновь и вновь подчеркивал, что залог широкого успеха писателя заключается именно в его обращении к сугубо национальным темам и проблемам.

— Чрезвычайно показателен в этом смысле пример современной израильской литературы, — язвительно заметил он в ходе одного из таких выступлений. — Израильские писатели довольно активно переводятся на разные языки, однако очень немногие могут похвастаться тем, что получили международное признание. А почему? Да потому, что большинство из них считает себя не еврейскими, а израильскими писателями; пытаются утверждать, что их волнуют не еврейские, а некие общечеловеческие проблемы. Но тут-то и выясняется, что такие

абстрактные общечеловеческие проблемы, как и их космополитизм, никому не интересны.

Зингер намеревался провести в Израиле еще ряд встреч и вечеров, когда в Судный день 1973 года без объявления войны Сирия и Египет напали на Израиль.

Все запланированные мероприятия были, разумеется, тут же отменены. У Зингера была возможность покинуть Израиль, но он предпочел остаться, и в течение трех недель, то есть практически до конца войны был одним из немногих постояльцев огромной тель-авивской гостиницы «Парк».

Исраэль Замир, встретивший отца по возвращении в Тель-Авив, пишет в своих воспоминаниях, что он не почувствовал, что Башевис-Зингер принял обрушившуюся на Израиль новую войну близко к сердцу — дескать, «все происходящее никак не касалось его как американского гражданина». Это замечание чрезвычайно характерно для Замира как израильтянина, убежденного, что евреи диаспоры не были в состоянии понять всю тревогу, которую испытывали в те дни за свою страну граждане Израиля. Однако весь рассказ Замира об этой встрече опровергает его же ремарку. В течение всех этих трех недель Башевис-Зингер практически ничего не ел и большую часть времени проводил у телевизора, что было ему совершенно не свойственно. Он отказывался спускаться в бомбоубежище, когда звучал сигнал тревоги. Каждый раз, когда на улице раздавался звук сирены «скорой помощи», у него сжималось сердце — он понимал, что в очередной еврейский дом пришло сообщение о гибели сына и в связи с этим кому-то из его родителей понадобилась «скорая».

— Много раз, слыша доносящиеся из окон рыдания, я хотел пойти в эту семью и произнести слова утешения, но кто я такой, чтобы их произносить? Поэтому мне оставалось только молиться. И все эти дни я молился — и за тебя, и за всех наших солдат! — сказал Зингер сыну.

Думается, эти слова говорят об отношении Зингера к Израилю и к его судьбе больше, чем любые другие.

В следующий раз Башевис-Зингер посетил Израиль летом 1975 года — в связи с вручением ему звания почетного доктора Еврейского университета в Иерусалиме. Зингер отправился в эту поездку с Довой Грубер и остановился с ней во все той же гостинице «Парк». Однако в тот самый момент, когда Зингер и Грубер располагались в номере, в его дверь постучали. Затем дверь распахнулась, и в проеме показалась Эльма.

— Эльма, что ты тут делаешь?! — изумленно спросил Зингер.

— Как что? Я прибыла для того, чтобы участвовать в церемонии твоего награждения, — невозмутимо ответила Эльма,

видимо, решившая, что роман ее мужа с Довой зашел слишком далеко и пришло время положить ему конец.

Церемония присуждения Башевису-Зингеру звания почетного доктора Еврейского университета проходила с участием премьер-министра Израиля Голды Меир. Иссак и Эльма Зингеры сидели на ней, разумеется, в первых рядах. А наверху, на последних скамьях университетского амфитеатра сидела заплаканная Дова Грубер.

— Десятки раз он обещал на мне жениться, и что в итоге?! Они вдвоем сидят в креслах для почтенных гостей, а я здесь… как воровка! — сказала Дова одному из знакомых.

— Он обещал то же самое Эстер, Стефе, Сабине, Руне и Бог знает кому еще. К сожалению, мы никогда даже не узнаем, скольким женщинам он это обещал, — услышала она в ответ.

* * *

Дж. Хадда с помощью приятельницы Зингера сумела подробно восстановить, что именно происходило в Израиле те летние дни 1975 года. По ее словам, формально Зингер прибыл в эту страну с Довой и ее матерью для того, чтобы помочь Дове устроить последнюю в какой-нибудь израильский дом престарелых. Однако сразу после приезда писатель поселился вместе с Довой в гостинице «Парк», а пожилая женщина — в доме своей другой дочери, которая уже давно жила в Израиле. В один из дней, когда Зингер с Довой вернулись в гостиницу с прогулки, портье, передавая ему ключи, шепотом заметил: «Должен предупредить вас, что ваша жена только что прилетела из Нью-Йорка и ждет вас в номере».

Зингер велел Дове остаться в холле гостиницы, а сам поднялся наверх, где его уже ждала Эльма. Вид разбросанных по номеру вещей Довы усилил ее ярость, и она пребывала в самом боевом настроении.

— Что случилось? Зачем ты приехала? — спросил Зингер.

— Я — твоя жена, у меня, в отличие от какой-нибудь проститутки, есть право приехать! — ответила Эльма. — Ты мне с ней изменяешь! Я давно подозревала, что ты мне с ней изменяешь!

— Послушай, — спокойно сказал Зингер. — Ты знаешь, сколько лет это уже продолжается? 25 лет! Ты об этом что-нибудь знала?

— Нет, — ответила Эльма.

— И что — то, что я тебе изменял, тебе мешало? — все тем же спокойным тоном продолжил Зингер.

Эльма призналась, что нет, и Башевис почувствовал, что он полностью контролирует ситуацию.

— Прекрати! — велел он Эльме, и вскоре вместе с ней вышел из гостиницы «Парк» и направился в отель «Дан Панорама», где снял номер для себя и для Эльмы.

В течение нескольких дней писатель курсировал между двумя гостиницами, уделяя время то одной, то другой своей женщине, а закончилось это все тем, что они втроем — Эльма, Дова и Айзек дружно искали дом престарелых для матери Довы Грубер.

* * *

Растущие тиражи книг Башевиса-Зингера никак не повлияли на его активность как лектора: он по-прежнему не упускал ни одной возможности подработать на встречах с читателями, организуемыми различными еврейскими организациями в университетах, клубах и т. д.

При этом в эти годы география его выступлений уже не ограничивается территорией США — его все чаще начинают приглашать на гастроли в страны Латинской Америки, где в те годы, как впрочем, и сегодня, жило немало евреев, говоривших и читавших на идиш. Однако были и поездки в Европу, где широкие читательские круги познакомились с произведениями Зингера в переводах с английского на испанский, португальский, немецкий, польский.

«Ни один доллар на улице не валяется и лишним не бывает», — любил говаривать писатель, принимая очередное такое приглашение. Само собой, эти поездки не проходили бесследно для его творчества: именно они дали писателю материал для таких замечательных рассказов, как «Глазок в воротах», «Ханка», «Суббота в Лиссабоне» и др.

При этом Зингера, как правило, мало волновало, перед какой именно аудиторией ему придется выступать — он мог приноровиться к любой публике. Войдя в зал, писатель окидывал взглядом собравшихся — и мгновенно принимал решение о том, какие рассказы он будет читать и в каком духе отвечать на вопросы.

Свои отношения с публикой он строил по тому же принципу, что и отношения с женщинами. Он избегал вступать в какие-либо жесткие идейные или эстетические споры, откровенно старался понравиться аудитории, и потому никогда не произносил ничего такого, что могло быть воспринято его слушателями в штыки. И вместе с тем он никогда не произносил того, что было противно

его личным убеждениям и принципам, то есть оставался предельно честным, как минимум, с самим собой.

Чрезвычайно показательна в этом смысле его встреча с молодежью в «Квинс колледже», организованная по инициативе еврейской студенческой организации «Гилель» горячим летом 1968 года. Как и их сверстники в Европе, американские студенты жили в те дни жаждой революционных перемен, бурно выступали против войны во Вьетнаме, клеймили Израиль как агрессора, боролись за свободу любви и употребление наркотиков, отращивали длинные волосы. Подражая Че Геваре, они покупали на родительские деньги безумно дорогие кожаные куртки и высокие ботинки. Неудивительно, что собравшиеся в аудитории «Квинс колледжа» длинноволосые юнцы встретили давно полысевшего, одетого в мешковато сидящий на нем костюм стареющего писателя откровенно насмешливыми взглядами.

— Я прекрасно понимаю, что вы хотели бы увидеть сейчас вместо меня нашего господина, учителя и раввина[46] Че Гевару, но он сейчас скрывается где-то глубоко в джунглях, и по этой причине не может встретиться со столь симпатичными молодыми людьми, — начал Зингер. — Так что вам придется немного послушать меня. Я хочу прочитать вам рассказ, написанный довольно давно, но, как ни странно, звучащий в наши дни весьма актуально. Однако я боюсь, что после того, как я закончу его читать, вы поймете, что, увы, нет ничего нового под солнцем. Вы — далеко не первые и, к сожалению, далеко не последние сторонники революции на Земле. Очень скоро вы в этом сами убедитесь…

— Не будьте так самоуверенны, мистер! — раздался чей-то ехидный возглас из зала. Башевис-Зингер пропустил эту реплику мимо ушей и начал читать свой рассказ «Дед и внук», в котором старый еврей спорит со своим внуком-революционером о том, способны ли он и его единомышленники и в самом деле построить «новый мир» и стоит ли при этом разрушать старый мир «до основания».

Неожиданно в зале установилась мертвая тишина — рассказ понравился. Все доводы, которые приводил в нем деду юный герой Зингера Поля, были близки и понятны американским студентам — многие из них думали точно так же, и потому их симпатии явно были однозначно на стороне внука, а не деда. И все же финал рассказа, в котором его герой объявляется «врагом народа» и погибает от рук своих бывших товарищей, видимо, заставил, по меньшей мере, часть аудитории задуматься над тем, что же на самом деле несут миру громкие революционные лозунги.

Во всяком случае, когда Башевис-Зингер закончил читать, грянули аплодисменты, и аплодисменты эти были искренними. Видно было, что этот странный лысый старик, будучи в их глазах «законченным реакционером», все же заинтересовал студентов и они теперь ждали, когда можно будет перейти к вопросам, чтобы дать бой ему, а заодно и тому буржуазно-мещанскому миру, представителем которого он, их сточки зрения, был.

— Мистер, это правда, что вы верите в Бога? — прозвучал первый вопрос.

— О да, — ответил Башевис-Зингер. — Причем с каждым днем все больше и больше…

— Тогда, может, вы скажете, где был ваш Бог во время Холокоста? Почему он не поспешил спасти истово веровавших в него евреев? — последовал второй вопрос.

— Я сказал, что верю в Бога, но не в Его милосердие, — сказал Зингер. — Я до глубины души возмущен тем равнодушием, с каким Он взирал на то, как лилась кровь евреев в годы Холокоста, а также Его равнодушием к гибели людей, к пролитию крови вообще.

— Вы имеете в виду войну во Вьетнаме? — полюбопытствовал один из студентов.

— Я имею в виду любую войну, да и не только войну, но и пролитие крови вообще. Я считаю убийство любого живого существа недопустимым, и именно поэтому я стал вегетарианцем. Ни одно животное, ни одна птица не должны быть убиты только потому, что человеку хочется их съесть.

По залу пролетел шепот восхищения: оказывается, этот «реакционер» — не такой уж и реакционер…

— А как вы относитесь к употреблению наркотиков?

Зингер на минуту запнулся. Он понимал, что доказывать пагубность наркомании этим парням и девушкам бесполезно — они пока убеждены в обратном. Но пауза длилась недолго — писатель очень быстро он нашел обтекаемый ответ.

— Я думаю, что употребление наркотиков — это дело свободного выбора каждого, — сказал он. — У общества, безусловно, нет права запрещать человеку что-то есть или нюхать. В конце концов, мы же не запрещаем собакам рыться в мусорных ящиках и нюхать протухшее мясо.

Тишина — зал пытается осмыслить этот ответ и выработать к нему свое отношение. Немногие поняли, что Зингер в данном случае использовал основной принцип своего творчества: он вроде бы и высказал свое отношение к происходящему и в то же время оставил слушателям (как и читателям) простор для его интерпретации; дал им полную свободу выбора в трактовке как

самой проблемы, так и его личного отношения к ней.

И, наконец, начались вопросы, которых писатель давно ждал: как он относится к сексу и к свободной любви?

— Великий философ Фридрих Ницше, — сказал Башевис-Зингер, — называл брак «двусторонним договором по использованию половых органов»…

Снова раздались аплодисменты, однако Зингер жестом руки остановил их и продолжил фразу:

— Тем не менее, я считаю, что в интересах общества, чтобы юноши и девушки в 17 лет создавали семьи, а затем, лет через 20, разводились бы. К этому времени их дети уже вырастут, и они вполне могут стать абсолютно свободными людьми и открыть новую страницу в своей жизни.

Этот ответ понравился; многие из сидевших в зале хиппи восторженно засвистели.

Так же, «на ура», они приняли ответ Башевиса-Зингера о его отношении узакониванию абортов: писатель сказал, что одобряет эту идею, так как считает, что каждая женщина является хозяйкой своего тела и может поступать с ним так, как посчитает нужным.

О том, что Башевис-Зингер пришелся по душе этим «детям цветов», как они сами себя тогда называли, свидетельствовал и последний вопрос: как он относится к «новым левым» и не хотел бы он присоединиться к профессору Герберту Маркузе[47], чтобы вместе составить программную декларацию этого движения.

Зингер понятия не имел о том, кто такой Герберт Маркузе, но он прекрасно понял, что сидящие перед ним молодые люди и есть те самые «новые левые», про которых они спрашивают. И так как вечер явно близился к концу, он позволил себе сказать то, что думал:

— Я очень мало знаю о вас и о вашем движении, но мне ясно, что вы решили стать студентами для того, чтобы прибрести некие знания. Обычно на основе имеющихся у него знаний человек и формирует свое мировоззрение, а затем уже, на основе сформировавшегося мировоззрения, начинает действовать. Однако вы предпочли поступить наоборот: сначала все отвергнуть и разрушить, а затем уже задуматься над тем, что вы делаете. Наша религия так говорит о смысле Субботы: «Она была задумана в самом начале, но осуществлена в самом конце». Вы поступили прямо противоположным образом: в начале решили осуществить, а затем уже подумать. Как выяснилось только что, у вас нет даже программной декларации, вы сами не знаете, чего хотите. Вы требуете уничтожить существующий режим. Но вы подумали, какой режим придет ему на смену? Будет ли он лучше предыдущего?! Позвольте мне снова прочитать отрывок из того

рассказа, который я вам уже читал:

«Рабби Меир потеребил бороду и спросил:

— Тебе кажется, что новый царь будет лучше прежнего?

— Если мы достигнем поставленной цели, то не будет никакого нового царя, — ответил Поля.

— И кто тогда будет править?

— Народ.

— Весь народ не может поместиться на одном троне, — заметил в ответ рабби Мордехай-Меир.

— Будут выбраны представители рабочих и крестьян…

— Но когда они придут к власти, они могут быстро забыть о тех, кто их выбрал…

— Тогда мы укоротим их на голову…»

Молодые американцы расходились с этого вечера со смешанными чувствами. Пожилой лукавый еврейский писатель, если и не переубедил хиппи, то заронил в их души зерна сомнения в правильности выбранного пути, а это было уже не так уж и мало…

Глава 11
Подробности творчества. Произведения Башевиса-Зингера второй половины 60-х годов

Самыми масштабными произведениями Башевиса-Зингера второй половины 60-х годов стали романы «Имение» (1967) и «Управляющий» (1969), до сих пор не переведенные на русский язык.

Действие первого из них разворачивается в имении польского графа, сосланного в Сибирь за участие в восстании 1863 года. И, соответственно, в центре внимания Башевиса-Зингера оказывается жизнь поляков и евреев в царской России и их взаимоотношения между собой. Желание арендующего имение графа рава Калмана сделать все, чтобы евреи Польши остались верны своей вере и образу жизни, натыкается на не менее страстное желание нового поколения стать полноправными гражданами Польши, частью польского народа. Одни из них, подобно промышленнику Валленбергу, видят решение этой проблемы в отказе от своей веры, в крещении: другие — подобно Азриэлю и Мирьям-Лейбе — убеждены, что пришло время начать жить «современной жизнью» и отбросить в сторону старые запреты на любовь между евреями и неевреями. Однако все эти попытки сближения заканчиваются в итоге крахом, прежде всего потому, что слишком велика разница между двумя мирами, слишком различен их образ жизни, их преставления о морали, их духовные ценности.

Йосеф Ша-Лаван в своей книге о Башевисе-Зингере пишет, что «Имение» и «Управляющий» являются одними из самых реалистических романов Зингера; в них почти нет мистики; в них с удивительным мастерством и лиричностью рисуется жизнь Польши XIX века и развитие любовных историй каждого из героев. И вместе с тем уже в «Имении», утверждает Ша-Лаван, Зингер показал, что тот, кто вырос на еврейских ценностях и затем отказался от них, будучи не в состоянии принять ценности иного мира, в итоге утрачивает всякую духовную опору и становится глубоко несчастным человеком. Таким образом, главным «имением» еврея оказывается мир Торы, и именно его он должен сберечь в себе в первую очередь.

Окончательно это проявляется в романе «Управляющий», где мы встречаем тех же героев, но уже в конце XIX века. Дочь

Азриэля Клара выходит замуж за известного врача Калмана Якоби, однако, свободная от пут религии и морали, не считает нужным хранить верность мужу. Их дочь становится фанатичной революционеркой. У самого Азриэля тоже все в жизни идет наперекосяк, и, в конце концов, когда он наотрез отказывается креститься, страстно любимая им Ольга оставляет его.

В финале романа под влиянием Ребе из Аршинова Азриэль возвращается к вере отцов и уезжает в Палестину — в Землю Израиля, на родину своих предков. И снова, по мысли Ше-Лавана, при всей предельной реалистичности этого романа его метафизический смысл просматривается достаточно четко: у евреев нет другого пути сохранить себя и обрести душевное равновесие, кроме как вернуться к вере отцов и… вернуться жить на их землю. Таким образом, при очень большом желании в этом романе Зингера вполне можно усмотреть и сионистские мотивы. Ну, а о том, кого Зингер считает истинным Управляющим людскими судьбами, догадаться, в общем-то, не сложно.

К этой дилогии Башевиса-Зингера примыкает роман «Дер ман фун халоймес» («Человек из снов», 1970–1971), действие которого разворачивается в XIX веке среди люблинских и варшавских последователей Якова Франка, а также «Дер кениг фун ди фелдер» («Князь полей», 1980), посвященный эпохе принятия поляками христианства.

Все эти произведения, насколько известно автору данной книги, также до сих пор не переведены на русский, но зато почти сразу после их выхода они были изданы в Польше и получили там широкое признание. Польские критики увидели в этих книгах живущего в Америке еврейского писателя предельно правдивое изображение жизни своей страны в ее различные эпохи и поставили Зингера в один ряд с такими корифеями своей национальной литературы, как Генрих Сенкевич и Болеслав Прус, что, думается, говорит о многом.

Уже после выхода «Имения» различные общественные организации Польши не раз приглашали писателя посетить его родину, но Зингер каждый раз отказывался — ведь той Польши, которую он знал, больше не существовало. А может, еще и потому, что так и не смог простить полякам той волны антисемитизма, которая буквально захлестнула Польшу в 30-х годах и пошла на убыль лишь после того, как в этой стране практически не осталось евреев…

* * *

Значительный пласт творчества Башевиса-Зингера этого периода составляют рассказы, в которых он то совершает путешествие в прошлое, в польское местечко, то рисует жизнь еврейских иммигрантов в современной ему Америке, то вновь возвращается к теме Катастрофы и той незаживающей ране, которую она оставила в душах прошедших через нее людей.

В статьях и эссе, посвященных творчеству Башевиса-Зингера, часто можно прочесть, что ему лучше, чем кому-либо другому из еврейских писателей, удалось отобразить мироощущение евреев после Катастрофы. Причем Зингер сумел сделать это, не будучи очевидцем тех страшных событий, а лишь выслушивая свидетельства таких очевидцев. Но удалось это ему опять-таки в значительной степени благодаря его пристальному вниманию к сексуальной стороне жизни человека. Чудовищный след, оставленный Холокостом не на теле, а в первую очередь в душах людей проявляется во всех произведениях Зингера именно через их неспособность к нормальным сексуальным отношениям.

Они либо считают, что «не годятся для секса» и избегают его, как героиня рассказа «Ханка» (и как затем Тамара в романе «Враги»); либо убеждены, что Катастрофа доказала небытие или равнодушие Бога, и, в соответствии с формулой Достоевского «раз Бога нет, то все позволено», освобождают себя в вопросах секса от всяких моральных оков, как это делают герои рассказа «Сестры» (а также Маша и Цлова во «Врагах», Мирьям из «Мешуги», да и на определенном этапе своей биографии герой «Раскаявшегося» Иосиф Шапиро).

И вновь и вновь писатель возвращается к мысли, не освещенное светом духовности, освобожденное от пут морали, неразрывно связанных в его сознании с Богом, сексуальное влечение «нетто» в итоге разрушает человека и духовно, и физически. Именно так это происходит в рассказе «Сестры», действие которого разворачивается сразу после войны:

«Знаю, знаю, что вам хочется спросить — немного терпения! Да, я жил с ними обеими. Официально женился на Доре в Германии — она мечтала о хупе и добилась своего, — а на самом деле у меня было две жены, обе сестры, точь-в-точь как у праотца Иакова. Недоставало лишь Билхи и Зилпы. А что, собственно, могло остановить человека вроде меня? Не еврейский же Закон и, уж конечно, не гойский. За войну вся человеческая культура рухнула. В лагерях — не только в Германии, но и в России, да и в лагерях для перемещенных лиц, где годами обретались беженцы, — исчезал всякий стыд. На моих глазах с одной стороны женщины лежал муж, с другой — любовник, и вся троица жила вместе. Я был свидетелем такого количества разных дикостей, для меня они

стали нормой. Приходит некий Шикльгрубер или Джугашвили и передвигает стрелки часов на десять тысяч лет назад…»

Как следствие такого взгляда на жизнь и на природу отношений между мужчиной и женщиной Дора становится фригидной, Барделес превращается в импотента, их квартира все больше и больше начинает напоминать звериную нору. Вдобавок ко всему — и это с точки зрения еврейской мистики вполне закономерно — в этой норе из мерзости их отношений рождается и с каждым днем все больше и больше материализуется нечто Темное, Уродливое и Враждебное самому человеку:

«Меня часто посещало одно и то же видение: в темноте возникала какая-то зыбкая фигура, хрупкая и прозрачная, точно паутина, высокая, стройная, длинноволосая… и вдруг фигура оказывалось призрачным скелетом с зияющими глазницами, чудище, беззвучно смеющееся перекошенным ртом. Я успокаивал себя тем, что просто расшатались нервы. А чем иначе все можно было объяснить? В привидения я не верил, не верю и сейчас».

И вновь для знакомого с еврейской демонологией читателя не составляет труда догадаться о том, кем именно является этот Некто — ведь согласно Каббале, демоны и бесы тоже имеют тела, но тела эти сотворены из иного рода материи, чем человеческие, и чем-то похожи на сгустившуюся паутину.

И, наконец, кульминационной точкой рассказа становится схватка Лиона Барделеса с этим демоном:

«Так я и лежал почти окоченевши — не столько от холода, сколько от напряжения. Всматривался в темноту, выискивал "беса" (так я прозвал порождение паутины и теней), но ничего не видел. И одновременно я знал, что он там был — то ли спрятался в углу, то ли притаился за кроватью.

"Не будь идиотом, — сказал я себе, — духов не существует. Если Гитлер уничтожил шесть миллионов евреев, а Америка шлет миллиарды на восстановление Германии, то существуют лишь материальные силы. Духи никогда бы не допустили такой несправедливости…"

Мне понадобилось выйти, а уборная наша — в общем коридоре. Обычно я терплю, но тут приспичило. Слез я с раскладушки и пошаркал к кухонной двери, которая вела наружу. Не успел сделать двух шагов, как меня остановили. Ах, да знаю я всю эту психологическую дребедень! Но тут передо мной стоял человек, он преградил мне дорогу. Я так испугался, что крик застрял у меня в горле. Орать не в моих правилах. Клянусь, я не завопил бы, даже если б меня резали! Ну, а даже закричи я, кто бы помог? Пара полупомешанных сестриц? Я старался оттолкнуть его и чувствовал под руками нечто вроде резины, теста или упругой

пены. Знаете, бывают страхи, от которых ноги становятся ватными?

Мы ожесточенно сцепились. Я отпихнул его, но он сопротивлялся, хотя немного отступил. Сейчас я припоминаю, что меньше боялся этого злого духа, чем вопля, который могли поднять сестры. Сколько длилась наша борьба, трудно сказать — может, минуту, а может, несколько секунд. В один миг я подумал, что пришел конец, однако же стоял и с молчаливым упорством продолжал борьбу с фантомом. Только что мне было холодно, а теперь я вспотел, хоть выжимай. Почему сестры не завизжали, до сих пор не понимаю. Не сомневаюсь, что они проснулись. Вероятно, их тоже душил страх.

Внезапно я почувствовал удар. Нечистый исчез, и я почувствовал, что вместе с ним исчез мой член. Неужто он меня кастрировал? Пижамные брюки упали. Я кинул взгляд на пенис. Нет, он его не вырвал, но вдавил так глубоко, что вместо выпуклости образовалась впадина. Не смотрите на меня так! Я был в уме и тогда и сейчас. Все время, пока длился этот кошмар, я знал, что дело в нервах. Нервозность стала субстанцией. Эйнштейн утверждает, что масса есть энергия. Я настаиваю на том, что масса — это сжатая эмоция.

Нервы материализуются и обретают конкретную форму. Чувства принимают телесный облик или становятся телесными сами по себе. Вот вам ваши диббуки, духи, домовые. На подкашивающихся ногах я выбрался в коридор, доплелся до уборной, но не смог выдавить ни единой капли…»

И вновь у читателя нет ответа, происходила ли эта схватка героя рассказа с бесом в реальности или являлась плодом его воображения. В этом, пожалуй, и заключается один из главных секретов притягательной силы зингеровских рассказов, и не случайно наиболее близкими определениями для характера своего творчества Зингер считал «психологический реализм» и «мистический реализм». А в качестве своих предшественников называл Ф.М.Достоевского и Эдгара Аллана По.

«Величие По, — объяснял Башевис-Зингер в беседе с Ричардом Бурджиным, — заключалось в умении совмещать реальность с мистикой. Его рассказы, с одной стороны, предельно реалистичны, он глубоко проникает в психологию своих героев, и все, даже самые таинственные события, которые в них происходят, можно одновременно объяснить как естественными, так и сверхъестественными причинами. Читатель сам волен выбрать то объяснение, которое его устраивает. К этому стремлюсь и я в большинстве моих рассказов, в которых происходят те или иные необычные вещи».

На этом принципе строятся и многие другие знаменитые «мистические» рассказы Башевиса-Зингера — «Кафетерий», героиня которого Эстер рассказывает автору, что за день до того, как сгорело ее любимое кафе, случайно оказавшись в нем ночью, она видела там Гитлера в окружении нацистов; «Потерянная» — о женщине, у которой среди бела дня терялись вещи, и в итоге она сама пропала неизвестно куда.

Таков и рассказ «Пленник», в котором художник Товия Афанг начинает сожительствовать с вдовой погибшего в Катастрофе художника Зоара Крейтера, пишет поддельные картины под его именем и чувствует, что стал его «реинкарнацией», и многие другие. Именно этим рассказам Башевис-Зингер во многом и был обязан своей славой «писателя-оккультитста».

Причем Зингеру крайне важно было создать у читателя ощущение предельной реалистичности всего происходящего. Потому-то он уделяет во всех своих рассказах такое огромное внимание бытовым деталям, подробно рассказывает, где и при каких обстоятельствах познакомился с героем, легко вплетает в ткань повествования историю его жизни и в итоге создает предельно достоверный с психологической точки зрения образ. В этом смысле Башевис-Зингер, вне сомнения, остается последователем той самой русской реалистической школы, которая вышла из гоголевской «Шинели», хотя он сам в качестве своих учителей называл Достоевского и Чехова.

И перипетии судеб героев, кажется, сами собой подсказывают естественные объяснения происходящих с ними событий.

Вспомним рассказ «Единственный постоялец» — гостиница, в которой остановился герой, неожиданно объявляет о своем банкротстве, что вряд ли можно отнести к сверхъестественным событиям. Затем герою подворачивается очень дешевая и совершенно пустая гостиница, что также не удивительно для Майами после окончания туристического сезона. Наконец, к герою с откровенным предложением переспать с ней и таким образом изменить жене является томимая желанием консьержка гостиницы — молодая уродливая кубинка.

Все предельно естественно, если «забыть» о том, что вначале герой мечтает о том, чтобы сменить шумную, переполненную гостиницу на пустой, тихий отель, а оказавшись в этом отеле, начинает мечтать о любовной интрижке с какой-нибудь такой же, как он, одинокой постоялицей гостиницы. Тут-то и возникает мысль, что этот рассказ — своеобразная иллюстрация к старой еврейской поговорке о том, что «если Бог хочет наказать человека, он исполняет его желания». А за ней — и мысль о том, что все происходящее — отнюдь не так естественно, как это

кажется на первый взгляд; в нем явно задействованы некие потусторонние силы, играющие с героем в старую недобрую игру и пытающиеся погубить его душу.

Окончательно это становится понятно, когда Зингер описывает явившуюся к нему в номер молодую кубинку:

«Сверкнула молния, и я увидел сидящее в кресле уродливое создание в слишком просторной ночной рубашке, с горбатой спиной, с растрепанными волосами, с длинными волосатыми руками и кривыми, как у чахоточной обезьяны, ногами. Глаза ее горели животным страхом».

Именно так в еврейских сказках описывается Махлат — дочь самого владыки Ада Ашмодея.

Но далее опять следует удивительно достоверная сцена, в которой густо перемешаны и жалость, и страх, и отвращение, и тайное побуждение сердца, так что вновь непонятно, с кем же ведет свой поединок рассказчик — с дьяволицей или просто некрасивой, несчастной женщиной с изломанным телом и судьбой, молящей о любви из жалости и потому чем-то напоминающую несчастную Терезу Штайн из «Цитаты из Клопштока».

В рассказе «Кафетерий» автор сам напряженно ищет рациональное объяснение рассказу Эстер, якобы видевшей ночью в нью-йоркском кафе Гитлера и его приспешников:

«Мы оба молчали. Затем я проговорил:

— У вас было видение.

— Что значит — видение?

— Прошлое не исчезает. Образы минувших лет остаются существовать где-то в четвертом измерении и в определенные моменты всплывают перед нами.

— Насколько мне известно, Гитлер никогда не облачался в длинный белый халат.

— Кто знает, может быть, и облачался.

— А почему же кафетерий сгорел именно той ночью? — не успокаивалась Эстер.

— Быть может, огонь и вызвал видение.

— Не было там никакого огня. Я как предчувствовала, что вы именно так мне станете объяснять. Если то было видением, то наш теперешний разговор — тоже видение.

— А иначе быть не может. Даже если Гитлер жив и скрывается в Соединенных Штатах, он не станет встречаться со своими дружками в кафетерии на Бродвее, где, ко всему прочему, владелец — еврей.

— Я его видела, как вас сейчас.

— Перед вами всплыл образ из прошлого.

— Ладно, пусть так. Но с тех пор я потеряла покой. Думаю только об этом. Если мне суждено лишиться рассудка, то это — прямой путь.

Зазвонил телефон, я метнулся к нему, но оказалось, кто-то ошибся номером. Я опять устроился в кресле.

— А что с тем психиатром, которого рекомендовал ваш адвокат? Расскажите ему это — и получите полную компенсацию.

Эстер бросила на меня косой и недружелюбный взгляд.

— Понимаю, понимаю, к чему вы клоните. Так низко я еще не пала».

И вновь, когда вроде бы кажется, что желанное объяснение найдено, выясняется, что его недостаточно — спустя какое-то время после смерти Эстер автор видит ее стоящей на перроне метро с одним из завсегдатаев кафе, который, как он вспомнит позже, тоже был давным-давно мертв. И если мертвецы и в самом деле могут так свободно разгуливать после смерти по улицам, то не был ли и рассказ самой Эстер о Гитлере отнюдь не видением, не плодом ее воображения, а самой что ни есть чистой правдой?

В этой двойственности, в постоянном смешении рационального и иррационального, в возможности объяснения происходящего как с позиций мистика, так и закоренелого скептика, и заключается позаимствованный Башевисом-Зингером у Эдгара По метод «метареализма».

Причем пример Башевиса-Зингера оказался явно заразительным. Именно Башевис-Зингер, а не По оказал решающее влияние на целый ряд еврейских писателей, работающих в том же ключе, — от классика американской литературы Бернарда Меламуда до только подбирающегося к подлинной литературной славе русскоязычного Якова Шехтера.

Одним из вершинных мистических рассказов Башевиса-Зингера 60-х годов стала «Эстер-Крейндл Вторая». В основу положена фольклорная история о том, как душа умершей женщины вселяется в тело юной девущки, почти подростка, и велит ей выйти замуж за своего мужа. Зингер мастерски совмещает в этом рассказе мистический сюжет с предельно реалистичным описанием жизни еврейского местечка, его быта и нравов и точным описанием реакции людей на подобное чудо.

Наконец, именно в 60-е годы был написан рассказ «Йохид и Йохида» — в переводе с иврита эти имена означают Единственный и Единственная. Этот вошедший в золотой фонд литературы XX века рассказ представляет собой несколько вульгаризированную версию каббалистического взгляда на мир: само рождение человека с этой точки зрения является следствием наказания, вынесения «смертного приговора» его душе. То есть

то, что нам самим представляется жизнью, для обитателей неких Высших миров является не чем иным, как смертью, а наш мир для них — это мир мертвецов, огромное кладбище. И потому-то у читателя, уже проникшего в суть авторского замысла, рассуждения студента Йохида о том, что мы живем только один раз и никакого другого мира не существует, вызывают легкую улыбку. Но все это уже неважно: важно, что две предназначенные друг для друга во всех мирах души встретились и теперь приведут в этот мир мертвых третью, уже дожидающуюся казни в «горних» мирах:

«Йохида знала, что это — ее будущая дочь. И, уже просыпаясь, услышала голос:

— Могила и могильщик нашли друг друга. Погребение сегодня ночью!»

* * *

Мы уже не раз говорили на этих страницах о том, как много значила для Зингера занимательность сюжета любого его произведения, ибо сама литература, по его мнению, родилась именно как лекарство от съедающей человечество еще на самой заре его существования скуке и таковой и должна оставаться. Но не раз и не два делая подобные декларации в своих лекциях, интервью и эссе, Зингер одновременно был убежден и в том, что эта занимательность невозможна и без проникновения писателя в ходе повествования в самые глубины человеческой психологии, помогающие человеку лучше разобраться в самом себе. История, положенная в основу любого рассказа, говорил он во всем том же программном интервью с Ричардом Бурджиным, должна быть необычна и герой этой истории тоже должен быть необычным, так как банальные герои и ситуации никому неинтересны. Вместе с тем задача писателя заключается в том, что, развлекая читателя той или иной необычной историей, он одновременно невольно заставляет его примерить на себя «шкуру» героя, ощутить всю реальность повествования и вынести из прочитанного некий новый духовный опыт.

С этой точки зрения как в своих романах, так и в новеллах и рассказах Башевис-Зингер предстает как один из самых выдающихся мастеров психологической прозы XX века. Лучшие его рассказы притягивают к себе читателя отнюдь не остротой сюжета, а именно содержащейся в них психологической загадкой. Необычен у него не сюжет — необычны сами персонажи, находящиеся в центре повествования, и связывающие их

взаимоотношения. Но и здесь Зингер самой логикой повествования уходит от ответов на все вопросы и избегает вынесения какого-либо приговора своим героям.

К примеру, героиня рассказа «Танец» одновременно предстает и несчастной, самозабвенно любящей женой и матерью и, одновременно, вампиршей, высасывающей из тех, кого она вроде бы любит, все жизненные соки, опустошающая их и доводящая до безумия. Это безумие и проявляется в том самозабвенном танце, который она танцует по ночам с сыном, ненавидящим мать и в то же время уже не способным вести самостоятельную жизнь, так и обреченным до конца дней кружиться по ночам в танце по ночной квартире. Еще более загадочным и одновременно удивительно живым и зримым является образ Гарри — главного героя рассказа «Новогодний вечер». Этакий своеобразный «американский вариант» Гимпладурня, он большую часть жизни позволяет понукать собой своему другу Борису Лемкину; он выполняет все его прихоти; он отдал ему любимую женщину… Все это — при том, что, как выясняется, Гарри куда более умен и в чем-то даже образованнее Лемкина, который и сам это признает. И даже после того, как Борис Лемкин умер, не оставив Гарри ни цента, именно Гарри решает поставить на его могиле надгробный памятник, выведя на нем странную надпись: «Дорогой Борис, будь здоров и счастлив, где бы ты сейчас ни был».

Так кто же он такой, этот Гарри? Духовный мазохист, получающий удовольствие от собственного унижения? Альтруист, настолько преданный другу детства, что готов стерпеть от него все и простить ему, что угодно? Вся гениальность этого рассказа Зингера и созданного им образа осознается лишь в финале, который можно понять как угодно, но который все же приоткрывает завесу над тайной:

«— Вы один из самых благородных людей, каких я видел в своей жизни, — сказал я.

— А что такого я сделал? Мы были друзьями.

— Я не знал, что такая дружба еще встречается.

Гарри вопросительно посмотрел на меня. Потом встал, протянул мне руку и пробормотал:

— Один Бог знает всю правду».

А кто такая Элизабет де Соллар, героиня рассказа «Поклонница» — полусумасшедшая истеричка или жертва своего безумного мужа и деспотичной матери? Вновь Зингер уходит от ответа на этот вопрос, но читатель вновь вынужден признать, что все герои и сама абсурдная ситуация, о которой идет речь, предельно убедительна.

* * *

Лучшим сборником рассказов Башевиса-Зингера второй половины 60-х годов стал сборник «Сеанс» и другие истории» (1968), название которому дал рассказ «Спиритический сеанс». Главный герой рассказа философ Зорах Калишер воплощает в себе всю трагедию той части еврейской интеллигенции, которая сумела спастись от Катастрофы, эмигрировав в США, но так и не нашла себе места в этой стране.

Не имея не только будущего, но и настоящего, живя исключительно воспоминаниями о прошлом и мучась чувством вины перед любимыми людьми за то, что они не сумели их спасти от нацистов, эти эмигранты превращаются в импотентов как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Разуверившись во всем, в том числе и в созданных ими надуманных философских концепциях, они мечутся по жизни, ища призрачное утешение в том же спиритизме, даже не особенно в него веря. И Зингер опять завершает картину происходящего с его героем точной и одновременно символической физиологической подробностью:

«Доктор Калишер вздрогнул и вдруг почувствовал, что между ног у него стало тепло. Он описался, как маленький ребенок».

И все же Зингер в заключительных фразах рассказа оставляет надежду и себе, и своему герою и читателю — устами госпожи Капицкой он высказывает ту же мысль, которую позже выскажет и Хаймеле в последней главе «Шоши»; которую высказывают многие его герои:

«Вы смеетесь? А зря. Смерти нет, нет. Мы не умираем и наша любовь не умирает. Это чистая правда».

Эту «чистую правду» Зингер и пытался донести до своих читателей. И для того, чтобы она стала правдой, он и писал об обитателях еврейского местечка, о «бегущих в никуда» евреях Варшавы, материализуя на страницах свой книг канувший в небытие мир. И, как ни странно это прозвучит, этой же мыслью он был одержим, когда писал свои сказки и рассказы для детей.

Глава 12
Сказки для живых детей. Исаак Башевис-Зингер как детский писатель. 1950-1980-е годы

Главным событием 1969 года для Зингера стало присуждение ему Национальной премии по детской литературе за автобиографические очерки «День удовольствий. Истории о мальчике, выросшем в Варшаве». Как уже догадался читатель, большая часть этих очерков представляла собой переработанные и переведенные на английский язык главы из книги «В суде моего отца». Очерки эти и в самом деле получили большую известность в Штатах, и американские критики хором отмечали их «большое воспитательное значение» и рекомендовали «к семейному чтению».

Однако вне сомнения эта премия была одновременно признанием вклада, внесенного Башевисом-Зингером в мировую детскую литературу, так как к тому времени уже вышли и были переведены на многие языки мира несколько книг его сказок и рассказов для детей: «Коза Злата и другие истории» (1966), «Мазель и Шлимазель, или Львиное молоко» (1967) и др.

В последующие годы Башевис-Зингер написал еще целый ряд сказок и историй для детей, вошедших в книги «Иосиф и коза» (1970), «Хелмские дураки и другие рассказы» (1973), «Рассказы для детей» (1984) и многие другие.

В начале 80-х годов также для детей Зингер написал сказочную повесть «Голем», переведенную на английский язык в 1984 году — к официальному 80-летию писателя и сразу же ставшую бестселлером.

И в предисловиях к своим книгам, и в многочисленных интервью Зингер всегда отмечал, что стал детским писателем благодаря редактору и переводчице Элизабет Шуб, бывшую, как не трудно догадаться, горячей поклонницей его творчества. Небезосновательно считая, что детская литература на идиш крайне бедна, что в ней явно ощущается недостаток сказочников вроде Пройслера или рассказчиков типа Николая Носова, она еще в середине 50-х годов обратилась к Башевису-Зингеру с просьбой попробовать себя в качестве детского писателя. В конце концов, считала Шуб, кому же еще не писать настоящие еврейские сказки, как не художнику, творчество которого в значительной степени основано на фольклоре и в произведениях которого герои то и

дело сталкиваются с различными сверхъестественными явлениями, лежащими, по сути дела, в основе любой сказки? Башевиса-Зингера это предложение захватило, что называется, врасплох — он-то считал, что как раз пишет на темы и сюжеты, отнюдь не предназначенные для детских ушей; более того — откровенно шокирующие многих взрослых читателей.

Однако Элизабет Шуб настаивала на своем и, в конце концов, убедила Зингера попробовать написать несколько сказок, которые были бы интересны детям 8–9 лет. Но, несомненно, дело заключалось не только и не столько в том даре убеждения, которым обладала Шуб, — Башевису-Зингеру и самому стало интересно, насколько он преуспеет на новом для себя поприще. Работа над произведениями для детей, с одной стороны, давала ему возможность окунуться в детство, почувствовать себя снова маленьким еврейским мальчиком из Радзимина, Билгорая или Варшавы, а с другой стороны…

С другой стороны, каждый раз, приступая к написанию очередной сказки или рассказа для детей, он ощущал себя соперником Андерсена, братьев Гримм и других великих сказочников, и это ощущение подстегивало его писательский азарт.

В то же время даже при написании этих произведений великий «мистический реалист» Башевис-Зингер оставался прагматиком. Литература вплоть до конца 70-х годов, была для него прежде всего работой, ремеслом, которое должно было обеспечить ему уже, правда, не средства к существованию, а ставший привычным высокий уровень жизни, и, приступая к каждому новому произведению, Зингер хотел быть твердо уверенным, что оно будет напечатано и достойно оплачено. Именно поэтому значительная часть его произведений для детей представляет собой так называемые «ханукальные истории» — рассказы и сказки, приуроченные к еврейскому празднику Ханука и публиковавшиеся на страницах различных еврейских изданий (прежде всего, того же «Форвертса») в канун этого праздника.

Сама история этого праздника, посвященного освобождению Маккавеями Иерусалимского Храма и последовавшему затем великому чуду с маслом для храмового светильника, невольно настраивала на рассказы о чудесах.

Вдобавок ко всему, один из дней Хануки обычно совпадал с празднованием Рождества, и чтобы еврейские дети не чувствовали себя в это время обделенными по сравнению с другими своими сверстниками, возникла традиция уделять в Хануку особое внимание детям — дарить им ханукальные деньги («хануке-гелт»), устраивать азартные игры с ханукальным

волчком (дрейдлом) и т. д. Еврейские же издания охотно печатали в эти дни рассказы для детей, напоминающие традиционные рождественские истории, но посвященные Хануке.

«Ханука в родительском доме», «Менаше и Рохл», «Господин», «Сила света», «Бабушкина сказка», «Козни дьявола» — вот далеко не полный перечень «ханукальных историй» для детей, написанных Башевисом-Зингером.

При этом часть из них и в самом деле представляют собой классические сказки, написанные обычно на основе фольклорного предания. Так в «Бабушкиной сказке» в гости к детям, заигравшимся допоздна в ханукальный волчок, является сам Сатана. Он тоже поначалу играет в дрейдл, а затем, когда старший из мальчиков, обращает внимание на то, что у странного гостя нет тени, устраивает в доме вместе со своей свитой самый настоящий дьявольский дебош — и исчезает с первым криком петуха. А вот у маленького Довида из «Козней дьявола» в первый день Хануки пропадают родители, и мальчик выходит их искать. Но перед тем как выйти на эти поиски он, как и полагается хорошему еврею, зажигает первую ханукальную свечу, и в итоге именно благодаря этой свече ему не только удается убежать от Дьявола и его жены Лилит, но и прищемить Нечистому хвост. После этого умный Довид начинает угрожать Дьяволу, что отрубит ему хвост, если тот не вернет его родителей, так что Дьяволу не остается ничего другого, как выполнить это требование.

Разумеется, маленький читатель этой сказки увлеченно следил за приключениями Довида и его препирательством с Дьяволом, невольно ставил себя на место героя и даже не прочитывал, а проглатывал эту историю от первой до последней страницы.

Сказка «Господин» — это тоже классическая ханукальная история, только на этот раз ее действие разворачивается на вполне реалистическом фоне, в Билгорае, в некогда обеспеченной, а теперь доведенной обстоятельствами до крайней бедности семье, продавшей все свои ценные вещи, за исключением старинного и дорогого ханукального подсвечника. И все же вдовец Фалик не разрешает продать сыну этот подсвечник до окончания Хануки — верный еврейской традиции, он на последние деньги покупает не хлеб для себя и своих детей, а масло и фитили для светильника. Голодный и холодный дом озаряет свет ханукальной свечи, и тут-то и возникает на их пороге таинственный Господин, сначала предложивший купить подсвечник за огромную сумму, а затем садящийся с детьми играть в дрейдл и проигравшим им в итоге 500 гульденов —

громадные деньги…

А вдобавок ко всему после его отъезда смертельно больной глава семейства Фалик чудесным образом выздоравливает.

Старый реб Бериш, рассказывающий детям эту историю, не берется ответить на вопрос, кто же именно — ангел или пророк Элиягу (Илья) посетил дом Фалика в тот первый ханукальный вечер. Но зато Башевис-Зингер очень осторожно, так, чтобы это не выглядело нравоучением (больше всего Зингер опасался в свои детских произведениях скатиться до дешевого морализаторства) вкладывает в уста ребе Бериша следующую сентенцию, в которой тот спорит со своим незримым оппонентом-скептиком:

«…Насколько мне известно, ханукальный светильник оставался у Фалика и его детей всю жизнь. Один раввин говорил, что когда Господь Бог совершает чудо, то Он зачастую делает так, чтобы оно выглядело естественным. Были в Билгорае и такие, кто в чудо не поверил: они утверждали, что это был настоящий помещик, мот и транжира, и ему пришла охота пошвыряться деньгами. Те, кто отрицает Бога, всегда пытаются объяснить чудеса и видят в них то самый обычный случай, то совпадение…»

В новелле «Ханука в родительском доме» Башевис-Зингер воскрешает атмосферу празднования Хануки в традиционной еврейской семье. Как бы мимоходом он напоминает своему читателю историю этого праздника и правила игры в волчок, но в центре новеллы находится традиционная еврейская «майса», то есть, то ли сказка, то ли быль, которую отец семейства рассказывает детям в ответ на вопрос старшего брата, почему Бог в наше время не творит чудеса. Герой сказки — маленький мальчик Цадок (в переводе его имя означает «Праведник») отправляется в лес, чтобы набрать хвороста для больного, замерзающего в своем доме от холода портного — совершенно постороннего дня него человека.

«Малыш Цадок заблудился, и он бы замерз и умер, но тут увидел во тьме три ханукальные свечи. Они возникли прямо перед ним и медленно поплыли по воздуху. Цадок пошел за ними следом, и они вывели его к деревне, прямо к домику, где жил со своей семьей бедный портной. У самой двери свечи опустились на порог и вдруг превратились в три золотые монеты. Больной портной смог купить и хлеба своей семье, и дров, и масла для ханукальных светильников. Вскоре он совсем поправился и мог снова зарабатывать себе на жизнь…»

Финал новеллы симптоматичен:

«— Опять ты их поучал? — не без укора спросила мама.

— Я не поучал, а рассказал им одну историю, — ответил

отец. — Хочу, чтобы они поняли: то, что делал Бог две тысячи лет назад, Он может делать и теперь».

Таким образом, сверхзадача «ханукальных историй» Башевиса-Зингера просматривается предельно четко и, в общем-то, является традиционной для этого жанра. Они призваны были напомнить еврейским детям и, прежде всего, детям из начавших ассимилироваться еврейских семей об их принадлежности к еврейскому народу, о прекрасных еврейских традициях и — прежде всего — о том, что все эти традиции основаны на глубочайшей вере в Бога.

Если в рассказах и романах Зингера для взрослых герои то и дело выражают свое разочарование в Боге, выражают свое сомнение в его существовании или даже отрицают его, то в «ханукальных историях» для таких сомнений нет места или, даже если они возникают, то тут же получают должный отпор. И дело не только в том, что Зингер в данном случае стремился к сохранению «чистоты жанра», педантичному следованию его правилам. С годами, по мере, происходившей в нем самом духовной эволюции и все большему возвращению к исповедованию ценностей традиционного, ортодоксального иудаизма, тема существования Бога и веры, что в решающий момент Он всегда придет на помощь человеку, звучит в его произведениях для детей все сильнее и глубже.

С этой точки зрения крайне жаль, что ортодоксальные еврейские семьи, подвергая творчество Башевиса-Зингера остракизму, одновременно накладывают «вето» и на его рассказы и сказки для детей. Многие из них, и уж, по меньшей мере, точно «ханукальные истории» являются поистине образцовыми произведениями для юных читателей из таких семей. Даже те из них, которые выписаны в реалистическом ключе — например, «Ханука в богадельне» и «Сила света» — невольно напоминают детям о том, что сам этот праздник не только в прошлом, но и во все времена помогал евреям оставаться евреями, и спасал их.

Так, героям полусказочной новеллы «Сила света», живущим в годы войны в Варшавском гетто Довиду и Ривке свет зажженной ими ханукальной свечи дает силы решиться на побег, благодаря чему они выживают и, в конце концов, добираются до Израиля, чтобы стать там мужем и женой. Главный герой рассказа «Ханука в богадельне», отданный мальчиком в солдаты как раз накануне Хануки на протяжении всей своей жизни зажигает ханукальные свечи, и память о Хануке в итоге помогает ему сохранить память о том, кто он такой, и вернуться к семье…

* * *

Однако даже в своих «ханукальных историях», не говоря уже о других произведениях для детей, Башевис-Зингер остается верен своей главной теме — теме любви как высшему проявлению человеческой природы, как величайшему из всех чувств, без которого попросту не может быть человеческого счастья.

Та же новелла «Сила света» — это одновременно новелла о любви Довида и Ривки, озаряющей своим светом их существование в гетто. И «Ханука в богадельне» — это тоже, прежде всего, новелла о любви, вспыхнувшей между ее героями еще в детстве и пронесенной через всю жизнь. Узнав, что его возлюбленная Рейзл умерла, герой этой новеллы, убежавший из царской армии и с огромными трудностями добравшийся до дома, отказывается создавать семью и бродит по свету, храня верность своей зародившейся еще в детстве любви.

И уж совсем особняком среди «ханукальных историй» стоит новелла «Менаше и Рохл», действие которой разворачивается в Люблинском приюте до Второй мировой войны.

Ханука в этом рассказе для писателя — лишь предлог для того, чтобы рассказать о том, как воспринимают окружающий мир, и о той любви, которую испытывают друг к другу слепой мальчик Менаше и слепая девочка Рохл. Психологическая достоверность этого рассказа — от признания Рохл, что она «видит» мир внутренним зрением, и до поцелуя, которым тайком обмениваются двое маленьких влюбленных, поистине потрясает.

Если учесть, что тема любви между детьми всегда освещалась в литературе крайне скудно, по-ханжески боязливо или сусально, как, к примеру, любовь Кая и Герды у Андерсена, то Башевис-Зингер наряду с Астрид Линдгрен с ее «Рони, дочь разбойника» предстает в этом смысле едва ли не революционером. И нет никакого сомнения, что этот рассказ всегда читался и будет еще не раз с восторгом и любопытством прочитан детьми в самых разных уголках планеты — ведь они-то порой с пятилетнего возраста (а иногда и раньше) прекрасно знают, что такое любовь и какие чувства и желания испытывает влюбленный в их возрасте. Догадаться о том, каким образом Башевису-Зингеру удалось с такой художественной силой и точностью передать чувства, владеющие Менаше и Рохл, не так уж и трудно. Зингер в беседе с Ричардом Бурджином утверждал, что писатель, помимо прочего, тем и отличается от других людей, что умеет помнить то, что они забыли и возвращать им через свой жизненный опыт память об этом. При этом Зингер с гордостью утверждал, что помнит свое детство до мельчайших подробностей — не только лица окружавших его людей, но и их запахи, голоса и т. д. И, само

собой, он помнил обо всех своих детских влюбленностях…

Любовь оказывается в итоге и центральной темой сказки «Заклятая корчма», в которой ешиботник Лейбл, благодаря своему знанию каббалы и чудесному мелу, одерживает победу над ведьмой Добошовой и ее мужем получертом-получеловеком Лапитутом. После того, как все попытки нечистой силы помочь оказавшимся в магическом круге Добошове и Лапитуту оказались безрезультатными и те дали подписку кровью больше не вредить людям, трое забредших в корчму юношей решают пожениться на трех служанках бывших хозяев корчмы. Причем всем шестерым так не терпится, что три настоящие еврейские свадьбы играются прямо тут же, в корчме.

Но самой прекрасной сказкой о любви, созданной Башевисом-Зингером для детей, является, безусловно, повесть «Голем». Как уже указывалось, Зингер написал эту сказку на пороге своего 80-летия, словно желая доказать, что и в этом возрасте сохранил поистине поразительную силу фантазии.

В основу сказки положена хорошо известная во всем мире легенда о том, как для защиты евреев Праги от кровавого навета великий пражский раввин Лейб Магарал создал глиняного истукана Голема и с помощью каббалы оживил его. Эта легенда всегда привлекала к себе как еврейских, так и нееврейских писателей, однако Башевис-Зингер совершенно переиначил ее сюжет, внеся в него новые, неведомые до того краски.

Голем у Зингера не просто оживает — на определенном этапе он выходит из подчинения рабби Лейба, но выходит именно потому, что с каждым днем все больше и больше превращается в человека. Как любой человек, он предъявляет свое право на свободу выбора и, в конце концов, как и положено человеку, влюбляется в живущую в доме раввина девочку-сироту Мириам.

Однако раввину важно вернуть Голема в его первичное состояние, и он уговаривает Мириам усыпить ее возлюбленного. И когда опьяневший от вина Голем засыпает, рабби Лейб стирает с его лба Божественное имя, и он снова превращается в кусок глины.

Страницы, на которых Голем начинает вести себя как человек, своим косноязычным языком задает раввину вопросы о том, кто его мать и отец, и, разумеется, те, что рассказывают о любви Голема и Мириам, пронизаны при всей их внешней простоте огромной художественной силой. И той же силой наполнен финал этой драмы, звучащий как напутствие старого, умудренного жизнью писателя своим юным читателям:

«Удивительное событие произошло в гетто: пропала Мириам. Вечером Генендл видела и слышала, как она пошла спать, и, перед

тем как заснуть, прочитала молитву «Шма, Исроэл». А утром ее постель была пуста. Одни люди говорили, что будто бы кто-то видел, как она на рассвете шла к реке — очевидно, чтобы утопиться. Другие верили, что в ночной темноте ее встретил Голем и унес туда, где обитают любящие души. Кто знает? Может быть, любовь еще более действенная сила, чем Священное имя. Любовь, раз начертанную в сердце, невозможно стереть. Она живет вечно».

* * *

Один американский критик (к сожалению, я не помню его имени) назвал все эти произведения Башевиса-Зингера «сказками для мертвых детей».

В самом деле, действие всех сказок, рассказов и историй Зингера разворачивается в штетлах, еврейских местечках. Их персонажами являются мудрые раввины, прилежные ешиботники, недалекие лидеры местной общины; все они учат Тору; произносят в положенное время необходимые молитвы и благословения. Все эти приметы еврейской жизни были близки и понятны любому ребенку из местечка или еврейских кварталов больших городов. Им, безусловно, было бы интересно читать и о ханукальном вечере в Люблинском приюте, и о заколдованной корчме, и о сироте Менаше, попавшем во сне в чудесный замок, где живут его мертвые родители, бабушки и дедушки.

Но Холокост, унесший жизни полутора миллионов еврейских детей, по мнению этого критика, лишил Зингера и самых благодарных его читателей — тех, кто мог бы прочесть эти сказки и истории в оригинале и по достоинству оценить их. Но вот для американских и европейских детей в этих произведениях открывается, по большому счету, чужой и непонятный им мир, и потому они вряд ли могут вызвать в их сердцах тот отклик, на который рассчитывал сам Зингер.

Как, к примеру, объяснить им, кто такой Шлемиль или Шлимазел?! Как заставить их осознать жизненный подвиг героя «Хануки в богадельне», зажигавшего ханукальный светильник даже тогда, когда это грозило ему смертельной опасностью?!

Да и разве сам Башевис-Зингер прямо не говорит об этом в предисловии к сборнику своих рассказов «Коза Злата и другие истории»:

«Я посвящаю эту книгу всем детям, которым не дано было повзрослеть. Виной тому жестокие войны и преследования, которые опустошали города и обрекали на смерть невинные

семьи…»

Однако не стоит забывать, что эта фраза имеет свое продолжение:

«Я надеюсь, что, когда читатели этих сказок станут взрослыми мужчинами и женщинами, они будут любить не только своих собственных детей, но всех добрых детей в этом мире».

Повторю, Зингер, безусловно, был мистиком, но мистиком чрезвычайно прагматичным. Он никогда бы не стал писать даже самого короткого рассказа, если бы не знал, что тот не найдет своего читателя. И Элизабет Шуб удалось убедить его взяться за перо именно своим доводом, что все эти еврейские сказки и истории не только придутся по вкусу, но и крайне важны и нужны детям. В первую очередь, безусловно, еврейским детям США и других стран диаспоры. Да, они смогут прочесть их только в переводе, так как большинство современных еврейских детей не знает идиш. Но в любом случае эти сказки станут важным средством сохранения у них чувства причастности к еврейскому народу и его культуре, помогут приобщить их к своим национальным и культурным ценностям.

В конце концов, горячо говорила Шуб, разве воспитание маленького немца в лоне немецкой культуры не начинается именно со сказок братьев Гримм? Разве можно представить чешского мальчика, не читавшего «Старинных чешских сказаний» Ирасека, или русского ребенка, не слышавшего пушкинской строчки «Там русский дух, там Русью пахнет»?!

Кроме того, Шуб была убеждена, что сказки, пронизанные еврейским колоритом, найдут своего читателя во всем мире — ведь дети любят читать народные сказки самых разных народов, а не только того народа, к которому принадлежат сами, и факт этот хорошо известен. Более того — они куда быстрее, чем взрослые, осваиваются с национальным колоритом таких сказок.

В итоге и сам Башевис-Зингер пришел к такому же выводу.

«В детской литературе одно из самых важных мест занимает фольклор. Трагедия современной взрослой литературы в том, что она полностью отгородилась от фольклора, — писал Зингер в своем известном эссе «Почему дети — лучшие литературные критики». *— Многие современные писатели утратили свои корни. Они не принадлежат и не желают принадлежать ни к какой определенной группе, боятся, что их обвинят в клановости, национализме или шовинизме.*

На самом деле литературы без корней не существует. Нельзя писать хорошие книги о человеке вообще. В литературе, так же как и в жизни, все имеет свои особенности. Каждый человек наделен духовными и не только духовными свойствами. Да,

действительно, в некоторых баснях они не нужны или даже излишни, но литература не сводится к одним лишь басням. Чем больше писатель укоренен в своей среде, тем лучше его понимают все люди. Чем более он национален, тем более интернациональным становится.

Когда я начал писать сборник рассказов «Коза Злата», я понимал, что его будут читать не только еврейские дети, но и дети других национальностей. Я писал о еврейских детях. Еврейских мудрецах, еврейских дураках, еврейских женихах и еврейских невестах. События, которые я излагал, происходили не на ничейной земле, а в городах и деревнях, которые я хорошо знаю, в которых я рос. Мои святые — это еврейские святые, а демоны — еврейские демоны. И эта книга была переведена на многие языки.

Во многих современных книгах для детей нет ни местного колорита, ни этнических особенностей. Писатели так стараются быть интернациональными и производить товар, который понравится всем, что их творения не нравятся никому…»

Таким образом, Башевис-Зингер писал свои сказки все-таки именно для живых детей, причем для детей всего мира.

При этом он не раз и в своих лекциях, и в эссе, и в беседах с журналистами возвращался к мысли, что именно дети являются самыми честными, беспристрастными и самыми благодарными читателями. Он объяснял это тем, что если взрослый человек может быть ослеплен ложными авторитетами, если он нередко берет в руки книгу потому, что речь идет о произведении модного, рекомендуемого критиками писателя и по этой же причине заставляет себя прочитать книгу до конца, даже если она ему неинтересна, то ребенок не станет обманывать самого себя — он просто захлопнет не интересную ему книгу.

Резко выступая против любых попыток подменить литературу проповедью тех или иных идейных установок автора, Башевис-Зингер был убежден, что эти попытки, как и любая назидательность, тем более неприемлемы для детской литературы — как неприемлемы для нее и попытки привнести те или иные модернистские выверты. Детской литературе, писал Зингер, «нужны хорошо написанные и придуманные истории, а не банальные идеи», в рассказах для детей необходима «ясность изложения и даже такая устаревшая штука, как пунктуация». То есть даже если речь в сказке или истории идет о чудесах или о чем-то сверхъестественном, в этом рассказе должна присутствовать своя логика. Любопытно, что в качестве образчика того, как надо писать для детей, Зингер любил приводить Библию.

При этом писатель не скрывал, что пытается в своих сказках

и рассказах для детей пробудить в них религиозность, напомнить им о Боге и Его заповедях и отнюдь не усматривал в этом нарушения того же требования о предельной логичности произведения. «Дети по своей природе расположены к мистике, — пишет он в уже упоминавшемся здесь эссе. — Они верят в Бога, в черта, в добрых духов и злых, верят во всякое волшебство. Однако они требуют от этих рассказов истинной логики и последовательности. В религии зачастую куда больше логики, чем в материализме. А что мир создал себя сам, нередко утверждают люди, пренебрегающие здравым смыслом».

Все эти мысли Башевиса-Зингера о природе и задачах детской литературе остаются актуальными и сегодня. И многим детским писателям не мешало бы время от времени перечитывать его заметки по этому поводу.

* * *

Элизабет Шуб потом вспоминала, что на самом деле вхождение Зингера в детскую литературу было отнюдь не простым. Она и в самом деле долго уговаривала Айзека попробовать себя в качестве детского писателя. Наконец, он согласился и вскоре пригласил ее послушать написанный им первый рассказ для детей.

«Когда он начал мне его читать, я поняла, что это просто ужасно — рассказ был написан из рук вон плохо; Башевис, видимо, думал, что такие рассказы нужно писать особым «детским» языком, и в результате выходило сплошное сюсюканье, — рассказывала Шуб. — Я долго думала, как ему это сказать, и, в конце концов, решила, что нужно говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды.

— Это никуда не годится! — сказала я.

— Что ты понимаешь?! — вспыхнул Башевис.

В тот вечер мы расстались едва ли не врагами, и когда спустя два дня Башевис пригласил меня послушать его новый рассказ для детей, я боялась, что все опять повторится, лгать я не смогу, и нашим отношениям придет конец.

Я пришла, он начал читать «Козу Злату», и мне не осталось ничего другого, как замереть от восхищения.

Башевис был явно очень доволен.

— Ну вот, а кто-то говорил, что я не умею писать для детей! — пробурчал он».

* * *

Зингер не случайно говорил о тесной связи между детской литературой и фольклором — он сам постоянно обращался в поисках сюжетов к фольклорным мотивам.

Однако созданный им цикл о знаменитых хелмских мудрецах, на взгляд автора этой книги, вряд ли стоит отнести к большим удачам художника. Большинство рассказанных им в этом цикле историй хорошо известны, использовались многими еврейскими поэтами и прозаиками, причем зачастую с гораздо большим остроумием.

Чтобы понять это, достаточно перечитать хотя бы знаменитый цикл баллад о Хелме Овсея Дриза. Сказка «Толи-ловкач и Лезер-скряга» тоже представляет собой простой пересказ известной еврейской народной сказки, варианты которой имеются в фольклоре почти всех народов мира.

Исключение в этом смысле представляет разве что новелла «Как Шлемиль в Варшаву отправился» — о незадачливом простаке Шлемиле, который, выйдя из Хелма, заснул на дороге, а затем из-за шутки кузнеца, перевернувшего его сапоги, вернулся в родное местечко, но был убежден, что пришел в некий другой Хелм, являющийся точной копией первого.

Это тоже, в общем-то, хорошо знакомая еврейскому читателю история, однако Зингер насыщает ее такими точными жизненными деталями, делает образы Шлемиля и его жены настолько полнокровными, что она и в самом деле превращается в совершенно оригинальное произведение.

Очень хороша и история «День, когда я потерялся» — о рассеянном профессоре Шлемиле, который в завершение всех своих несчастий, забыл свой собственный адрес и стоял под дождем до тех пор, пока мимо не проехал на машине спешивший к нему на день рождения приятель…

Рассказ «Первый Шлемиль» также основан на старом, набившем оскомину сюжете, но насыщенный придуманными Зингером удивительно вкусными подробностями — такими же вкусными, как то клубничное варенье, которое сварила мадам Шлемиль и, чтобы уберечь его от мужа, выдала за яд.

К лучшим же произведениям Башевиса-Зингера для детей, вне сомнения, следует отнести такие рассказы, как «Сон Менаше», «Коза Злата» и «Рай для дураков».

Мистический «Сон Менаше» не столько призван убедить детей в существовании загробного мира, сколько в том, что пока мы помним об ушедших от нас людях, они остаются живы; что наши память и наше воображение вместе образуют поистине чудесный замок, вмещающий в себя и прошлое, и будущее. История мальчика-сироты, обидевшегося на дядю и тетю и

ушедшего из дому, также близка и понятна сердцу каждого ребенка, и потому не удивительно, что эта сказка переиздается вновь и вновь.

Ну, а рассказ о том, как лентяй Ацел решил умереть и попасть в рай, чтобы наслаждаться там бездельем, не только смешна, но и, безусловно, поучительна. По совету доктора Йоца родители Ацела инсценируют его попадание в рай, и вот тут-то до Ацела и начинает доходить, насколько ограничен тот рай, который он себе представлял, и как, пусть и порой трудна, но прекрасна жизнь. «Но каков рай, на самом деле неведомо никому!» — этой многозначительной фразой заканчивается сказка «Рай для дураков».

Что касается новеллы «Коза Злата», с которой Зингер начался как детский писатель, то в ней он, безусловно, хотел передать детям свое личное убеждение, что забой животных — великий грех, и бывают ситуации, в которых животное может оказаться самым близким другом и даже спасителем. Но в итоге у Башевиса-Зингера вышла занимательная и пронизанная огромным гуманистическим зарядом история о дружбе между козой и мальчиком, о тех мыслях и чувствах, которые испытывает этот мальчик к животным, о его переживаниях в тот момент, когда он оказался в беде. Эта история, безусловно, не превратит всех детей в вегетарианцев, но зато точно воспитает в них доброту, сострадание и чувство благодарности.

Все эти особенности и обеспечили лучшим произведениям Башевиса-Зингера для детей место в золотом фонде мировой детской литературы; и, вне сомнения, к ним еще долго будут обращаться все новые и новые поколения читателей.

* * *

Так, без каких-либо особых потрясений, но наполненные самыми различными событиями, промелькнули в жизни Башевиса-Зингера 60-е годы. Судьба подарила ему в этот период и счастье творческого подъема, и мгновения славы, и — что там скрывать! — женские ласки, являвшиеся для него величайшим творческим стимулом.

«Жизнь удалась!» — вполне мог сказать приближавшийся к своему 70-летию писатель, ибо он и в самом деле вел тот образ жизни, который его устраивал и о котором, по большому счету, он мечтал с юности.

И все же самые звездные мгновения этой жизни были еще впереди.

Часть 3
Там, где сбываются мечты

«И увидел я, что нет ничего лучшего человеку, чем радоваться делам своим, ибо это доля его. Ибо кто приведет взглянуть на то, что будет после него?..»

(Экклезиаст, 3:22).

Глава 1
Между Метатроном и Сандалфоном. «Враги. История любви» (1972)

Роман «Враги. История любви» входит в число если не лучших, то, по меньшей мере, самых известных романов Башевиса-Зингера — и отнюдь не только благодаря тому, что был экранизирован режиссером Полом Мазурским, как это принято думать.

Сразу после своего выхода в свет в 1972 году это произведение привлекло к себе внимание необычайно широкого круга американских читателей. Прежде всего, это, безусловно, произошло благодаря положенной в его основу захватывающей любовной истории, где вместо традиционного «треугольника» читателя ждал куда более драматичный четырехугольник.

«Враги» стал первым романом Зингера, действие которого разворачивается в Америке, но, в сущности, он продолжает и во многом повторяет те темы и мотивы, которые являются центральными во многих его рассказах этого периода. Перед читателем предстают изломанные судьбы и души евреев, переживших Холокост, силящихся вернуть свою жизнь в нормальное русло, но уже не способные ни жить, ни осознавать мир так, как его осознает большинство «нормальных» людей, не имеющих их страшного опыта. И одновременно «Враги» — это одно из самых блестящих художественных исследований психологии любви, бросающее вызов всем представлениям о природе этого чувства, сформированного классической мировой литературой.

Главный герой романа Герман Бродер, выпускник философского факультета университета, знаток как еврейской религиозной, так и европейской философии, выживает в Холокосте благодаря Ядвиге — бывшей горничной своих родителей, укрывшей его на сеновале своего дома. В течение нескольких лет Ядвига, движимая любовью, втайне от своей семьи таскала на сеновал еду для Германа, выносила его испражнения, и не удивительно, что он чувствует себя обязанным ей за свое спасение.

Уже после войны, узнав, что его жена и дети погибли, Герман вместе с Ядвигой добирается до Америки, где сочетается с ней гражданским браком. Однако этот его жест движим отнюдь не только благодарностью. Германа, безусловно, влечет к Ядвиге; ему нравится ее тело, ее запах, его трогает ее крестьянская

чистота и наивность. Однако с той же силой его влечет к Маше, вместе со своей матерью Шифрой-Фаей прибывшей в числе других прошедших через концлагеря евреев в Америку и, как и он, живущей больше прошлым, чем настоящим. Маша, зная о том, что Герман официально женился на Ядвиге, тем не менее, требует, чтобы он развелся со своей «шиксой»[48] и сочетался с ней традиционным еврейским браком. Однако для этого она, в свою очередь, должна развестись с бросившим ее мужем — Леоном Тортшинером.

Маша и Шифра-Фая становятся второй семьей Германа, и это тоже вполне объяснимо: он чувствует с этими женщинами куда большее духовное родство, чем с Ядвигой; их сближает не только принадлежность к одному и тому же народу, но и общность мироощущения, культурных кодов. И не случайно, как бы ни старалась Ядвига сделать так, чтобы ее дом и ее кухня походили на еврейские дом и кухню, по-настоящему дома Герман ощущает себя только оказавшись вместе с Машей и Шифрой-Фаей.

Эта двойная жизнь заставляет его постоянно лгать и изворачиваться, и тут в этой жизни появляется еще одна женщина из прошлого: Герман узнает, что его первой жене Тамаре удалось выжить, и она также находится в Нью-Йорке. При встрече с ней, неожиданно для себя, Герман открывает, что, несмотря на все их прошлые скандалы и ссоры, он по-прежнему любит Тамару и не хочет потерять ее. Да и Тамара, как выяснилось, сумела, пройдя через ад сталинских лагерей, сохранить верность Герману.

Таким образом, Герман оказывается перед нелегким выбором.

Он должен официально развестись либо с Тамарой, либо с Ядвигой, так как американский закон запрещает многоженство и, его, еще совсем «зеленого» эмигранта, могут за нарушение этого закона либо отправить в тюрьму, либо вообще депортировать из Штатов. К тому же он обещал Маше жениться на ней по еврейскому закону, то есть в любом случае стать двоеженцем. И Герман понимает, что простого, общепринятого решения той ситуации, в которой он оказался, не существует, так как он и в самом деле любит — именно любит! — сразу трех женщин:

«…«Я должен поговорить с юристом, мне следует прямо сейчас пойти к юристу!» Но как он объяснит подобную ситуацию? У американских юристов на все есть простые решения: «Кого из них вы любите? Разведитесь с другой. Порвите с любовницей. Найдите работу, сходите к психоаналитику». Герман представил себе судью, который выносит ему приговор, тыкая указующем перстом: «Вы злоупотребили американским гостеприимством!»

«Я хочу сохранить всех трех, такова постыдная правда», — признался он себе. Тамара стала гораздо привлекательнее,

спокойнее, интереснее. Она прошла через еще худший ад, чем Маша. Развестись с ней значило бы отдать ее другим мужчинам. А что касается любви, то американские профессионалы употребляют это слово так, словно существует его ясное определение, — хотя никто еще не открыл его действительного значения».

Так в образе Германа Башевис-Зингер утверждает свое глубокое, пришедшее к нему еще в юности убеждение в том, что, вопреки всем утверждениям классиков, любовь — по меньшей мере, для мужчины — отнюдь не является всепоглощающим чувством, направленным на одного человека. Мужчина одновременно может любить сразу двух, а то и больше женщин, каждая из которых оказывается по-своему дорога и близка ему. И дело тут не в стремлении завести любовную интрижку на стороне, не в нежелании и неумении расстаться со второй или даже третьей женщиной из чувства ответственности, а в самой сложности натуры человека, бесконечности космоса его души.

Мысль эта была достаточно новая для литературы, причем она была выражена Зингером в куда менее физиологической и куда более глубокой психологической форме, чем это сделал, скажем, Генри Миллер в своем «Тропике Рака».

Безусловно, многие черты главного героя «Врагов» несут на себя отпечатки личности самого Башевиса-Зингера. Параллели между биографиями автора и его героя просматриваются предельно ясно: как и реальный Зингер, Бродер вырос в религиозной семье, но затем отошел от религиозных ценностей и от самой веры в Бога; как и Зингер в 30-40-е годы, Бродер зарабатывает в качестве «литературного негра» рабби Лемперта, сочиняя за него статьи и книги об иудаизме и проповедуя в них те идеи, в которые и сам не очень-то верит. Да и страшная рассеянность Бродера; то, что он постоянно теряет все и вся; его неспособность ориентироваться в пространстве — во всем этом, безусловно, узнается сам Исаак Башевис-Зингер. Ну, а история взаимоотношений Германа с Тамарой, в прошлом фанатичной коммунистки, история их странного брака, в котором «случайно» появились дети — это, вне сомнения, отголосок сложных взаимоотношений писателя с Руней Шапира, подарившей ему сына Исраэля.

Однако на этом автобиографические элементы романа и заканчиваются. Все остальные коллизии «Врагов» созданы воображением писателем и, одновременно, несут в себе довольно типичные коллизии своего времени. Сотни евреев после войны женились на спасших их от нацистов нееврейках; тысячи евреев, будучи уверенными, что мужья и жены погибли, создавали затем новые семьи, а потом вдруг выяснялось, что известие об их

гибели было ложным…

Ложное ощущение документальности и даже автобиографичности возникает в романе благодаря все тому же мастерству Зингера-рассказчика, его умению избегать мелодраматических эффектов, вести повествование в лаконичном, обыденном стиле, одновременно незаметно, но щедро приправляя его бытовыми деталями, окончательно убеждающими читателя в достоверности происходящего.

Не случайно полицейская-негритянка, работавшая в аэропорту Кеннеди, проверяя документы Исраэля Замира и узнав, что он — сын писателя Исаака Башевиса-Зингера, восторженно всплеснула руками. «Так ты — сын Ядвиги!» — воскликнула она.

Под это же впечатление попал даже режиссер Поль Мазурский. Завершая свой первый разговор с писателем о возможности экранизации «Врагов», Мазурский не удержался от вопроса:

— Скажите, господин Зингер, вы и есть Герман?

— Мы все — Германы! — усмехнувшись, ответил Зингер, имея в виду, очевидно, что попытался в этом романе более глубоко, чем в других свои произведениях, проникнуть в психологию мужчины.

Однако Мазурский, похоже, не очень поверил в этот ответ и постарался подобрать на роль Германа Бродера актера, внешне напоминавшего Башевиса-Зингера в дни его молодости.

* * *

Чрезвычайно важным для Зингера было и воссоздание самого мироощущения евреев, переживших Холокост, их чувств и переживаний, их неспособности даже на сколько-нибудь короткое время отрешиться от воспоминаний о пережитом кошмаре. Если Ядвига, которую Герман взял на прогулку, покатал на карусели и накормил дешевыми сладостями, способна полностью отдаться ощущению радости и счастья, то ни Герману, ни Маше, ни Тамаре (как и всем другим героям писателя, пережившим Катастрофу) этого не дано.

Где бы он ни оказался — в уборной, в кафе, в доме Маши или дяди Тамары, даже на вечеринке в доме рабби Лемперта — Герман спрашивает себя о том, смог ли бы он найти здесь убежище в случае, если бы Нью-Йорк оккупировали фашисты. В своих фантасмагорических сновидениях он продолжает вести войну с нацистами, уничтожая их с помощью различного оружия. Даже зоопарк, в который он выбрался с Машей, вызывает у

Германа ассоциацию именно с концлагерем.

Точно так же ведут себя Маша и ее мать:

«Другие беженцы говорили, что со временем многое забывается, но ни Шифра-Фая, ни Маша никогда не могли бы ничего забыть. Напротив, чем дальше отодвигалась Катастрофа, тем, казалось, они были ближе к ней. Маша могла нападать на мать за то, что она так много горюет о погибших. Но когда та замолкала, она сама возвращалась к той же теме…»

Сами любовные ласки Германа и Маши для них обоих так остры и сладостны именно потому, что в них всегда присутствует Смерть, в них, говоря в терминах фрейдистов, тесно переплетены Эрос и Танатос. Герои многих рассказов Зингера, вспоминая об ужасах немецких и сталинских лагерей, не раз повторяют, что близость смерти усиливала сексуальность их обитателей, однако во «Врагах» Зингер пытается доказать, что многие из них сохранили эту гиперсексуальность и после войны, подстегивая ее воспоминаниями и извращенными фантазиями:

«Герман знал, что она приготовила для их свидания какую-нибудь необычную историю. Маша сравнивала себя с Шехерезадой. Поцелуи, ласки, страстные объятия всегда сопровождались историями, связанными с гетто, с лагерями, с ее собственными странствиями по развалинам Польши. Во всех этих историях мужчины преследовали ее: в бункерах, в лесу, в госпитале, где она работала медсестрой…

…Несмотря на то, что ни Маша, ни Герман не были извращенцами, они постоянно толковали о всевозможных извращениях. Получала бы она удовольствие, пытая нацистского убийцу? А могла бы она наслаждаться любовью с женщиной, если бы на земле не осталось мужчин? Мог бы Герман стать гомосексуалистом? Мог бы он совокупляться с животными, если бы все люди погибли?..»

Тамара, для которой секс без подлинной любви невозможен, испытывает несколько иные, но в главном схожие с Машей и Германом чувства — сама жизнь, само ее существование после того как она видела торжество Смерти, кажется ей ирреальным. И, предъявляя Герману счет за прошлое, за его равнодушное отношение к их общим детям, она одновременно освобождает его от каких-либо обязательств перед собой на том основании, что она уже не принадлежит миру живых:

«— Нет, я не та же самая. Ты смотришь на другую женщину. Тамара, которая оставила своих убитых детей и пробралась в Скибу — так называлась та деревня — это другая Тамара. Я мертва, а когда жена мертва, ее муж может поступать так, как ему нравится…»

Многие еврейские писатели и критики, начиная с 50-х годов и вплоть до самой смерти Исаака Башевиса-Зингера, едва ли не ставили ему в вину то, что он не разделил судьбу большей части европейского еврейства. Некоторые доходили в своих статьях до утверждения, что по этой причине у Зингера нет права и писать на эту тему. Однако, пожалуй, ни одному другому еврейскому писателю не удалось рассказать о том, что сделал Холокост с теми евреями, которым удалось выжить в нем, так предельно откровенно и честно и с такой силой, с какой это сделал Башевис-Зингер в целом ряде своих рассказов, а также в романах «Враги. История любви» и «Мешуга», пусть последний и является не самым удачным его детищем.

* * *

Самую большую, самую главную загадку своего романа, заложенную в нем сверхидею, Башевис-Зингер, как всегда, спрятал в самом его названии. Нужно сказать, что название, обозначенное в русском переводе — «Враги. История любви» — не совсем верно. Если переводить название оригинала буквально, то оно скорее звучит как «Ненавистники. История любви».

Но, в самом деле, кто в этом романе приходится врагами друг другу? У Ядвиги, Маши и Тамар, любящих одного и того же мужчину, есть, безусловно, причина не испытывать симпатии друг к другу, но все их претензии справедливо обращены к самому Герману, не способному выбрать между ними, а не друг к другу. В их взаимоотношениях нет ни вражды, ни ненависти — и личная встреча Тамар и Ядвиги, а затем и финал романа только подтверждают это. Само собой, нет вражды и ненависти в отношении Германа к рабби Лемперту, беззастенчиво пользующемуся плодами его труда. Можно с большой натяжкой предположить, что вражда-ненависть существует в отношениях Маши с ее бывшим мужем Леоном Торшинером, но ведь это явно второстепенная линия романа.

Так кто же они, эти самые «враги-ненавистники» и что за историю любви рассказывает в этом произведении Башевис-Зингер, по своему обыкновению, тщательно драпируя сокровенный, мистический смысл очередной своей вещи в одежды замысловатой, но, в общем-то, вполне бытовой любовной истории?

Для того чтобы понять, это, достаточно обратить внимание на слово, которое в этом романе звучит, как ни странно, даже чаще, чем имена его главных героев. И слово это — «Бог».

Как и во многих других произведениях Башевиса-Зингера, проблема взаимоотношения человека с Богом является во «Врагах» центральной.

О Боге и Его природе постоянно размышляет Герман. О Боге непрестанно спорят между собой Маша и Шифра-Фая, и этот их спор продолжается, по сути дела, до последних дней матери и дочери:

«— Вообрази себя на сеновале в Липске, представь, что твоя крестьянка притащила тебе кусок свинины. Откуда нам знать, что принесет завтрашний день? Все может опять повториться. Страдания евреев — это часть природы. Евреи должны страдать — вот чего хочет Бог.

— Доченька, ты разрываешь мне сердце.

— Это правда. Папа всегда говорил, что все идет от Бога. И ты говоришь это, мама. Но если Бог мог позволить, чтобы евреи Европы были убиты, то где основания думать, что он предотвратит уничтожение евреев Америки? Богу все равно. Такой уж Бог. Правда, Герман?

— Кто знает?

— У тебя на все один и тот же ответ: «Кто знает?» Каждый должен знать! Если Бог вездесущ и всемогущ, Он должен был постоять за свой ЛЮБИМЫЙ народ. Если Он сидит на небесах и молчит, значит, это беспокоит Его не больше, чем прошлогодний снег…»

Демонстрируя свою ненависть к Богу, Маша доходит до того, что плюет на мезузу. Тамара также утверждает, что «Единственное, что я знаю, — милосердного Бога, в которого мы верили, не существует».

Но то, что «милосердного Бога не существует», отнюдь не означает, что Его не существует вообще. И, осуждая Бога, порой едва ли не понося Его, отрицая Его существование, почти все герои книги хранят Ему странную верность — Маша продолжает зажигать субботние свечи; и она, и Тамар, и Герман постятся в Судный день, все они продолжают соблюдать данные Им диетарные законы, то есть продолжают… любить Его и верить Ему.

И именно историю этой странной любви, в которой так много ненависти, и рассказывает Башевис-Зингер в романе «Враги. История любви». Эта любовь евреев и Бога, причинивших друг другу немало боли, не поддается логическому объяснению. Она вне разума и логики, как вне разума и логики любая подлинная любовь мужчины и женщины, их неодолимое влечение, их потребность в соитии друг с другом. Эта мысль предельно отчетливо звучит в той беседе Маши и Германа, где они

обсуждают, как проведут Машин отпуск:

«— Я уже забыла, что такое зеленая трава и глоток свежего воздуха. Даже в лагерях воздух не был так отравлен, как здесь. Мне придется оставить мать одну, но в ее глазах я — проститутка. Господь ниспослал на нее всевозможные кары, а она трясется от страха из-за того, что иногда не делает какую-то малость ради Него. А правда в том, что все, чего хотел Господь, уже сделал Гитлер.

— Тогда зачем ты зажигаешь свечи по субботам? Для чего молиться в Йом-Кипур?

— Не ради Него. На самом деле, Господь ненавидит нас, но мы мечтаем об идоле, который нас любит и сделал нас избранным народом… Во сколько Ты придешь к нам в воскресенье?

— В четыре часа.

— Ты и Бог, и в то же время убийца. Ладно, доброй тебе Субботы».

Сравнение Германа с Богом и есть, по сути дела, признание Маши в любви к Последнему. Да, Он — великий обманщик. Он играет ее судьбой. Он ломает ей жизнь. Но отказаться от Бога, как и от Германа, она не в силах.

Эта любовь отнюдь не отменяет поиска и героями романа, и самим Зингером ответа на вопрос, почему Бог так поступил со своим ЛЮБИМЫМ народом? Причем и Герман, и Маша отвергают не устраивающее, не приемлемое для них (но не для автора!!!) объяснение, что Катастрофа была наказанием евреям за их грехи (то есть, по сути дела, измену Богу) и ставила своей целью напомнить им о Его существовании. Мораль всех рассказываемых Машей Герману историй как раз и заключалась в том, что

«…если целью Бога было усовершенствовать избранный Им народ посредством гитлеровских гонений, то Он потерпел неудачу. Религиозные евреи практически были уничтожены. Мирские евреи, которым удалось спастись, за редким исключением, ничему не научились на опыте террора…»

И в то же время, глядя на своего дядю реба Абрахама, Тамара убеждается, что подлинная, глубокая вера и безграничная преданность Ему является единственным способом сохранить себя в том аду, через который им всем пришлось пройти.

«И поскольку они верят в это, то пройдут через любой ад и останутся душевно здоровыми и цельными»,

— говорит Тамара о дяде и его жене.

И наоборот: отказ от веры в Него ведет выросшего на этой вере еврея к полному краху и к гибели.

Не случайно в финале романа решившая окончательно отказаться от Бога, а вместе с Ним и от любых моральных

принципов, Маша кончает с собой; Герман исчезает непонятно куда, но Тамара, а также перешедшая в иудаизм, принявшая идею Единого Бога Ядвига продолжают жить и воспитывать оставшуюся от Германа дочь. Они выживают потому, что на их стороне в итоге оказывается вечные нормы морали. А потому — и сам Бог.

* * *

Развязка сюжета романа, как и полагается у Зингера, одновременно предельно реалистична и пронизана мистикой.

Автор сбрасывает маски со своих героев и начинает называть их подлинными именами — в соответствии с их намерениями и поступками. Разумеется, рационалистично настроенный читатель не придаст этим словам никакого значения или отнесется к ним с иронией, но Башевис-Зингер роняет их, безусловно, не случайно:

«Герман коротко рассказал ей обо всем случившемся.

— Ты возвратился к своей Тамар?

— Вовсе нет, но она тоже АНГЕЛ.

— Познакомь ее с рабби. Два ангела породят одного Бога. МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ДЬЯВОЛЫ, и только терзаем друг друга.

— Я не могу начать собирать свои вещи прямо сейчас, посреди ночи.

— Не собирай ничего… Бросай все, как раб в Библии.

— Какой раб? Это убьет ее.

— Она крепкая крестьянка. Она найдет кого-нибудь и будет счастлива. Она может отдать ребенка на усыновление. Рабби связан с таким агентством. У него везде есть связи. Если ты захочешь, мы сможем иметь детей. Но время разговоров кончилось. Если Авраам мог принести в жертву Исаака, ты можешь принести в жертву Исава. Или потом мы можем взять ее ребенка, чтобы он жил с нами. Итак, каков твой ответ?..»

Это — не просто ультиматум законченной эгоистки. Это — самое настоящее соблазнение дьяволицы, со всеми ее уловками, с применением ложного довода о жертвоприношении Исаака, с ложным утверждением, что ребенок, который носит Ядвига — это Исав, то есть нееврейский ребенок, хотя Ядвига теперь с точки зрения иудаизма такая же еврейка, как и Маша. Это — требование предательства той женщины, которой Герман обязан жизнью и требование предательства его будущего ребенка. Воистину более чудовищные требования, более страшное падение трудно представить, и Герман это понимает:

«— Что я должен сделать?

— Одеться и приехать сюда. Такое делается каждый день.

— Я боюсь Бога.

— Если боишься, оставайся с ней, прощай навсегда!

— Подожди, Маша, подожди.

— Да или нет?

— Да…»

Последняя преграда — страх перед Богом — упала, и теперь, говоря известными словами Достоевского, «все позволено».

И слова Тамары о том, что «женщина, которая требует таких жертв, не заслуживает их», уже летят в пустоту. Герман запутался не только в своих отношениях с женщинами — он запутался в куда более важных и глобальных вопросах. И путаница эта началась в его душе еще раньше, что отчетливо видно из той ошибки, которую он допустил в написанной за рабби Лемпертом статье, приведшей к конфузу этого дельца от религии перед своими коллегами.

Ошибка эта заключалась в том, что Герман в этой статье перепутал двух верховных ангелов — Метатрона и Сандалфона. Зингер сообщает об этой ошибке в коротком диалоге рабби Лемперта с Германом, и затем вроде бы забывает о ней, а между тем она — важнейший ключ ко всему происходящему.

Ошибка эта тем более пикантна, что в еврейской ангелологии Метатрон и Сандалфон — ангелы-близнецы. Но если первый несет в своем имени слово «мита», «смерть», и записывает по поручению Бога имена тех, кто должен умереть, то Сандалфон является ангелом, выполняющим роль связного между Богом и людьми, и, в частности, отвечающим за зачатие новой жизни. Один Ангел олицетворяет собой Смерть по высшему, небесному приговору, второй — Рождение, Жизнь, Помощь, посылаемую человеку Свыше. Кто знает, может быть, роль Сандалфона и была призвана исполнить в жизни Германа воскресшая из мертвых Тамар.

Но, пойдя на поводу у эгоистичного, аморального по сути требования Маши, Герман принимает Метатрона за Сандалфона, и это-то и есть его роковая ошибка. В финале Герман и Маша, став духовными близнецами, «дьяволами», меняются местами: требуя от Маши оставить тело матери и уйти, Герман настаивает на попрании ею всех не только еврейских, но и общечеловеческих законов, и признает это. «Мы и так уже прокляты!» — говорит он.

В итоге Герман решает «покинуть всех», но что это означает, так остается непонятным и для Тамары с Ядвигой, и для читателей. Он выбирает побег, однако куда именно он бежит — в Смерть, с Метатроном, или в некую новую жизнь, с Сандалфоном, остается неясным.

Но в том, что Ядвига и Тамар вместе воспитывают дочь

Германа, которую зовут Маша, несомненно, можно усмотреть некий высший смысл. Жизнь продолжается, и вместе с ней продолжается странная история любви-ненависти Бога и Его народа…

Глава 2
В поисках ответа. «Раскаявшийся» (1973)

В январе 1973 года, открыв очередной номер газеты «Форвертс», читатели увидели, что на ее страницах начала публиковаться новая повесть Исаака Башевиса-Зингера «Дер бааль-тшуве».

В переводе на русский Виталия Ананьева она была названа «Раскаявшийся», и этот перевод верен, и глубоко неверен одновременно.

«Бааль-тшува» в иврите и идише и в самом деле обозначает еврея, который долгие годы вел светский образ жизни, был атеистом, а затем решил обратиться к вере в Бога и начать исполнять предписания иудаизма. То есть переводчик понял основной смысл этого слова совершенно правильно: «бааль-тшува» — это тот, кто раскаялся в своем прежнем образе жизни, в своих грехах и стал жить принципиально иначе.

Вместе с тем смысл и этого термина, и самого названия повести Зингера, безусловно, куда глубже. Слово «тшува» на иврите означает «ответ», и в буквальном переводе «бааль-тшува» — это «муж ответа», «человек, нашедший ответ на свои вопросы». Сам процесс обращения светского еврея к вере своих предков обозначается выражением «хазар ле-тшува» — «возвращение к ответу».

Этот небольшой экскурс в еврейскую фразеологию кажется автору этих строк крайне важным, так как без него невозможно понять глубинный смысл этого, небольшого по объему, но одного из самых значительных произведений Башевиса-Зингера до сих пор в силу целого ряда причин не оцененного по достоинству ни еврейским, ни мировым читателем.

Между тем, еще до того, как в марте 1973 года в «Форвертсе» были напечатаны последние главы повести, она вызвала яростные споры в различных еврейских кругах, и споры эти после каждого ее переиздания вспыхивают с новой силой.

Само обращение Зингера к этой теме именно в начале 70-х годов было, безусловно, не случайно.

Вскоре после окончания Шестидневной войны 1967 года, на рубеже двух десятилетий, в сознании евреев США и Израиля четко обозначился новый мировоззренческий поворот. После возникшего на фоне Холокоста массового разочарования в религии, отказа от веры в Бога и исполнения его заповедей, резкого ускорения ассимиляционных процессов неожиданно

началось почти столь же массовое возвращение к религиозному мировоззрению и его ценностям. Опустевшие было американские и израильские синагоги стали вновь заполняться прихожанами. Люди самых разных возрастов — от убеленных сединами солидных отцов семейства до совсем юных студентов и кибуцников — спешили по вечерам в иешивы на лекции по иудаизму и уроки Торы и Талмуда, переходили на употребление кошерной пищи и начинали строго следовать всем ограничениям, накладываемым иудаизмом на евреев в субботу.

Однако подавляющее большинство еврейских писателей, пишущих на разных языках, но, как правило, стоявших на одних и тех же так называемых светско-либеральных позициях упорно отказывались признавать, что речь и в самом деле идет о серьезном общественном явлении, требующем своего, в том числе, и художественного, осмысления. Даже когда кумир израильской богемы, ее своеобразный символ, выдающийся режиссер Ури Зоар вдруг надел кипу, отрастил пейсы и на глазах превратился из проповедника свободной любви в религиозного ультраортодокса, это было объяснено его бывшими коллегами исключительно следствием его галлюцинаций и помешательства на почве неумеренного употребления наркотиков.

Исаак Башевис-Зингер стал, таким образом, первым, кто попытался осмыслить это явление, постигнуть те движущие силы, которые побуждают евреев возвращаться к религии своих предков; понять те перемены, которые происходят при этом в их душах и мироощущении; проникнуть в саму их психологию. И сделал он это в «Раскаявшемся» поистине с огромной художественной силой.

Сам Башевис-Зингер на протяжении почти полутора последних десятилетий своей жизни и в статьях, и в многочисленных интервью, и на лекциях не раз подчеркивал, что «история Йосефа Шапиро — это исключительно индивидуальная история Йосефа Шапиро», она уникальна, и, если бы это было не так, то он никогда не взялся бы за написание данной повести.

Однако Зингер, вероятнее всего, в данном случае, как обычно, лукавил, или кокетничал. Сила «Раскаявшегося» — именно в его типичности; в том, что тот путь, который проходит герой его повести, те перемены, которые происходят в его душе и взгляде на мир в процессе «возвращения», характерны для большинства людей, проделавших такой путь. Сами «баалей тшува» не раз отмечали именно эту потрясающую психологическую точность повествования Башевиса-Зингера, и не случайно сегодня в Израиле живут десятки людей, которые претендуют на роль прототипа героя этой повести, а еще тысячи

могут сказать о себе, что они вполне могли бы быть такими прототипами.

Эта точность, вне сомнения, во многом объясняется тем, что «Раскаявшийся» суммирует опыт, приобретенный писателем в беседах с «вернувшимися к ответу» как в США, так и в Израиле. Хотя, забегая вперед, скажу, что, вне сомнения, правы и те исследователи, которые считают, что в повести отражен и личный духовный опыт самого Башевиса-Зингера.

Герой повести, еще не старый еврей Йосеф Шапиро, и сам считает свою судьбу достаточно обычной если не для миллионов, то для сотен тысяч евреев, сумевших спастись от нацистов. Бежав из Польши в Россию, он после войны возвращается на родину, здесь встречает свою невесту Цилю, женится на ней, после чего они вместе эмигрируют в Штаты, где Шапиро постепенно становится преуспевающим бизнесменом. Спустя какое-то время он заводит любовницу, но не столько потому, что жена его не удовлетворяла, сколько потому, что так было принято в его кругу, да и нужно же богатому человеку как-то развлекаться!

Очень скоро ему становится ясно, что его любовница Лиза и ее дочь его попросту используют, но он продолжает жить такой жизнью и потому, что она его в определенной степени устраивает, и потому что никакой другой альтернативы он не видит. Возвращение к религии и ее ценностям кажется ему бессмысленным, так как и по своим взглядам на религиозные вопросы он является обычным для своего времени американским евреем.

«Я никогда не был настолько слеп или глуп, — говорит о себе Йосиф Шапиро, — чтобы не видеть всей этой грязи и постоянных обманов, но тем не менее продолжал жить по-старому, потому что такая жизнь казалась мне удобной, а еще потому, что мне просто было некуда идти, или, возможно, я убеждал себя, что мне некуда идти. Что я мог сделать? Отрастить бороду и пейсы и стать набожным евреем? Таким же, какими были мой отец и дед? Как вы сами уже сказали, для этого нужно верить, а я не верил, что Моисей дал народу Тору, которую получил прямо с небес. Я читал критиков Библии, которые утверждали, что каждое слово в наших священных книгах — ложь. Разве не превращает Мишна один закон Пятикнижия в восемнадцать, а Гемара — восемнадцать законов мишны в семьдесят? Разве не добавляет каждое поколение раввинов все новые и новые ограничения к уже существующим?..»

И далее, сразу же, без отступлений Зингер устами своего героя переходит к важнейшему вопросу еврейского бытия после Холокоста. И объясняет — опять-таки его устами — почему те, кто требует ответа на этот вопрос, его не находят:

«Иногда набожные евреи с бородами, пейсами и в шляпах, такие, каким сейчас стал я и сам, приходили в мой кабинет просить пожертвования на иешивы. Я нехотя давал им несколько долларов. Меня раздражал такой паразитизм. Я спрашивал у них: «Кому нужно столько иешив? И как эти иешивы помогли вам, когда Гитлер пришел к власти? Где был Бог, когда нацисты сжигали Его Тору и заставляли тех, кто изучал ее, рыть себе могилы?» У евреев не было ответа на эти вопросы, или, может быть, мне это казалось. На самом деле каждый раз, когда они пытались мне что-то объяснять, я перебивал их и говорил, что у меня нет времени. Я заранее был убежден, что они не смогут внятно ответить на мои вопросы…»

Отвратительный скандал между Лизой и ее дочерью, во время которого окончательно проясняется истинное отношение Лизы к Иосифу, заставляет его посреди ночи покинуть дом любовницы и направиться к себе, к жене, которая, как он думает, хранит ему верность. Но в ходе его неожиданного возвращения выясняется, что и у Цили есть любовник. Это открытие потрясает Иосифа. Он вдруг осознает, что в том мире, в котором он жил, не осталось даже крошечного островка, где нашлось бы место для чистоты, верности, морали, то есть тех ценностей, которые он сам, по сути дела, давно отверг.

И подобно многим другим героя Зингера, Иосиф Шапиро бежит. Бежит из дома, из того мира, частью которого он так долго был и в котором достаточно преуспел; бежит, по сути дела, от самого себя.

И, как и в «Люблинском штукаре», очень быстро выясняется, что, по сути дела, бежать он может не вперед, а только назад — к вере и ценностям своих предков, к Богу, без которого, как он начинает понимать, человек обречен жить в грязи и лжи. Как Герман из «Врагов», он обрывает все свои связи с прошлым, и, одновременно, подобно Яше Мазуру из «Штукаря», «совершенно случайно» (хотя уже другой, раскаявшийся Шапиро, как и Зингер, точно знает, что случайностей не бывает, и за каждым событием стоит Божественное провидение) оказывается в синагоге. И там испытывает то же чувство, которое испытывает Аса-Гешл в «Семье Мускат» и Яша Мазур в «Люблинском штукаре» — чувство возвращения домой, где его, в отличие от того места, которое он много лет считал своим домом, «давно уже ждали».

Далее следует встреча со старым раввином, с прихожанами маленькой синагоги, олицетворяющими собой подлинный дух иудаизма, и, наконец, Йосефу Шапиро становится ясно, куда именно он должен направить свой побег — он решает уехать в Израиль, в то государство, которое называет себя еврейским. Так

возвращение к вере отцов становится для него одновременно и возвращением на землю своих предков, к истокам собственной веры и национальной истории.

* * *

Однако сразу, как только Иосиф Шапиро решает вернуться к религии предков, в его душе начинается вполне понятная ожесточенная борьба с самим собой.

С психологической точки зрения это вполне понятная борьба между его прежним и новым, только нарождающимся мировоззрением; между стремлением измениться и изменить свою жизнь и страхом перед этими переменами.

Еврейская традиция, которой, конечно, были хорошо знакомы все эти душевные муки человека, решившего «вернуться к ответу» всегда трактовала эту борьбу несколько иначе: как столкновение «йецер ха-тов» и «йецер ха-ра», «доброго» и «злого», духовного и материального начал, сидящих в каждом человеке. Если первое подталкивает человека к Богу, подсказывает, почему он должен выбрать путь возвращения к Нему, то, второе, напротив, стремится убедить его поставить желания своего тела выше всего остального, доказывает ему ненужность, бессмысленность духовного поиска.

Одновременно, утверждает эта традиция, в борьбу за душу такого человека вступают и некие Высшие силы.

Сам Бог тем или иным образом пытается прийти на помощь «раскаявшемуся», опекает его, подстраивает жизненные ситуации так, чтобы тот вновь и вновь убеждался в Его существовании и правильности избранного им пути. Вместе с тем Сатана, этот вечный Ангел-обвинитель, требует от Бога права испытать такого человека на прочность его раскаяния, и для этого внушает ему свои контрдоводы против такого шага, а заодно посылает ему различные соблазны, призванные сбить его с этого пути.

Но конечный выбор между этими двумя контрапунктами остается за самим человеком — и в этом-то и заключается провозглашаемая иудаизмом свобода выбора как главной силы, определяющей судьбу и каждого отдельного человека, и всего человечества в целом.

Башевис-Зингер, описывая бурю, бушующую в душе его героя, остается верен своему принципу метареализма. Все происходящее с Йосефом Шапиро можно объяснить как вполне естественными, рациональными особенностями человеческой психики, так и борьбой между мистическими силами Тьмы и Света — и пусть

уже каждый читатель решает для себя, какое из этих объяснений является более верным. Главное же заключается в том, что он, во-первых, с потрясающей точностью, чрезвычайно убедительно описывает мысли и чувства своего героя, а. во-вторых, предоставляет читателю полный набор тех аргументов, которыми обычно оперируют как сторонники «возвращения к Богу», так и тех, кто относится к подобным «возвращенцам» с сарказмом закоренелых атеистов. И первый вопрос, который возникает в подобной ситуации и у самого человека, и у его окружения — это вопрос о том, насколько искренним является его обращение к Богу? Не минует этот вопрос и Йосефа Шапиро:

«Я постоянно повторял себе, что у меня остался только один путь: вернуться к иудаизму. И не к какому-нибудь реформированному его течению, а к религии моих предков. И вот тут-то и вставал самый главный вопрос: а была ли у меня их вера? Ответ на него был откровенен и прост: нет. «В таком случае, какой же смысл возвращаться к иудаизму предков? — спрашивал мой внутренний голос. — Ты не станешь настоящим евреем, ты просто будешь играть в еврейство. Ты будешь походить на актеров, что на сцене надевают молитвенные покрывала и изображают праведников и раввинов, а потом идут домой и вновь возвращаются к своим грязным делишкам». Голос продолжал: «Не выставляй себя дураком и не порти понапрасну жизнь. Ты — такой же, как и другие неверующие, ты должен жить их жизнью. Если жена изменяет тебе, найди другую, которая окажется тебе верна, или заведи любовницу, которая будет выполнять все твои прихоти. Бросаться в иудаизм, не веря, что каждое слово «Шулхан аруха»[49] *священно, — это все равно что, как говорит еврейская поговорка, класть здоровую голову на больную подушку. Нельзя сидеть сразу на двух стульях — это лицемерие».*

Но другой голос восклицал: «Все пути, кроме строжайшего иудаизма, в итоге приводят ко лжи и разврату, которые ты презираешь. Если ты не веришь в «Шулхан арух», значит, веришь во зло и всевозможные пустые теории, которые ведут в пропасть…»…»

Затем, уже после молитвы и встречи с раввином, у Иосифа Шапиро начинается следующий виток сомнений. На этот раз он (или Дьявол — Шапиро и сам затрудняется в ответе на этот вопрос) начинает играть на естественном страхе человека перед крутыми переменами, убеждая, что та жизнь, от которой он собирается отказаться, не так плоха, как ему кажется; что всему случившемуся есть оправдание, а вот его намерения — это всего лишь «игра в романтику», которая не только никому не нужна, но и, вдобавок ко всему, может плохо для него кончиться:

«До этой минуты дьявол во мне молчал, но сейчас и он подал голос. «Иди домой! — приказывал он. — Там твоя квартира, твои вещи. Если ты хочешь развестись с Цилей, найми адвоката… Зайди к своим партнерам. С чего это вдруг ты должен оставлять им свою долю в бизнесе и превращаться в нищего бродягу? Хочешь быть набожным евреем? Будь им, но у себя дома. Не уезжай из Америки…»

Дух зла или зверь внутри меня продолжал: «Не осталось больше ни верных жен, ни верных мужей. Ты должен смириться с тем, что и секс можно разделять с другими… И это к лучшему. Верность заставляет супругов ненавидеть друг друга. Это то же самое, что изо дня в день есть одно и то же блюдо на обед…»

Дьявол доказывал: «Наверняка Циля уже ищет тебя, обрывает телефон, раскаивается в содеянном. Да, она спала с этим стариком профессором, но ведь это же была только минутная прихоть, или, возможно, месть за твои измены, или результат постоянной скуки…»

Выбор, перед которым оказывается Шапиро, предельно ясен: он может вернуться в свою прежнюю квартиру и прежнюю жизнь или продолжить свой побег к новой жизни. И он все-таки выбирает второе, когда едет в аэропорт Кеннеди, чтобы сесть на самолет, летящий в Израиль. И все его существование ликует от этой победы над самим собой и одновременно втайне осознает, что есть Некто, кто помогает ему сделать такой выбор:

«Евреи и прежде уезжали в Израиль, но это были другие евреи, в других обстоятельствах. Я сидел в зале ожидания, пораженный тем, что со мной происходило, недоумевая, откуда у меня взялись в силы, чтобы совершить такой поступок. Конечно, я прошел через множество испытаний, пережил немало опасностей во время войны, но тогда я действовал по необходимости, гонимый голодом и страхом. Теперь же я руководствовался только своей свободной волей. Еврей во мне внезапно взял верх над язычником».

В этот момент Шапиро и ждет самое главное испытание — встреча с Присциллой. Присцилла летит в Израиль к своему жениху, но одновременно не прочь завести любовную интрижку с незнакомцем в дороге и получить от нее плотское удовольствие, так как, будучи в курсе всех социальных, философских и прочих современных теорий, она, как и до недавнего времени Иосиф Шапиро, убеждена, что институт семьи безнадежно устарел. Типичная ассимилированная еврейка, она не только ничего не знает о своем еврействе, но и не желает знать, даже стыдится его…

Но Присцилла — и это, вне сомнения, ясно любому знакомому с еврейской традицией читателю — это еще и

дьяволица Лилит, жена князя Тьмы Асмодея, Великая Соблазнительница, способная принимать обличье любой женщины. Не случайно, когда Шапиро дает себе слово не заговаривать с соседкой по креслу, та заговаривает с ним первой. Не случайно она как бы ненароком забирает у него священную нравоучительную книгу «Путь праведника». При этом Зингер со своим героем обращает внимание на то, что «ее острые, словно птичьи коготки, были покрыты лаком кроваво-красного цвета» и сразу после этого следует фраза: «что-то подсказывало мне, что не стоило давать ей эту книгу».

Острые, словно птичьи коготки, покрытые кроваво-красным лаком, вызывают в памяти классические образы женщин-хищниц, каковой Присцилла, вне сомнения, является. Но ведь птичьи лапки с острыми когтками — это еще неотъемлемая внешняя примета бесов в еврейской демонологии! Да и, как заметит потом Шапиро, зубы у нее были в ярких пятнах помады (или все-таки — крови?!).

И то ли Присцилла, то ли Лилит добивается своего — герой повести буквально чувствует, как поддается ее чарам, как отступают назад все его недавние благие намерения, и вот он уже ласкает ее колени…

Сатана и Лилит могут торжествовать: новоявленный «раскаявшийся» угодил в расставленную ему ловушку. И, сознавая всю тщетность своих усилий стать чище и лучше, Шапиро уже готов купить в Риме билет обратно, в Нью-Йорк.

Но в строгом соответствии с законами еврейской мистики, Бог в эту минуту останавливает Искусителя и требует дать человеку еще один шанс, напомнив ему о том мире, в который он совсем недавно стремился и от которого так легко отказывается:

«Внезапно мимо прошел какой-то мужчина. У него были окладистая борода, пейсы, на голове широкополая шляпа, под пальто традиционная одежда с кистями. Моя соседка взглянула на него и усмехнулась. В ее взгляде сквозило недоумение и презрение…»

Иосиф Шапиро мгновенно разгадывает поданный ему Свыше намек:

«Именно тогда я понял, что без пейсов и традиционной одежды нельзя стать настоящим евреем. Солдат, служащий императору, носит мундир — то же относится к солдату, который служит Всемогущему. Если бы я носил такую одежду сегодняшней ночью, то не поддался бы искушению. То, как человек одевается, выражает его образ жизни, его обязанности перед Небесами. Если он не покажет всему миру, кто он, во что верит, то окажется открытым для греха, сопротивляться которому просто не сможет».

Зингер и дальше продолжает пристально всматриваться во все происходящее в душе его героя, одновременно приводя все характерные доводы, которыми обмениваются в споре друг с другом атеисты и глубоко религиозные евреи, но спор этот выглядит более естественным, так как он идет внутри самого Иосифа Шапиро. И вместе с тем, чем дальше, тем больше становится понятным, что этот спор ведет с самим собой и сам автор:

«Думая об ограничениях, я вспоминаю всех тех, кто интересуется современной литературой, театром, музыкой, модой, женщинами и прочими мирскими страстями. Я где-то читал, что Флобер никогда не использовал дважды одно и то же слово в одной главе. Есть и такие богатые и элегантные женщины, которые не надевают два раза одно платье. Да, светский мир тоже полон ограничений… Но стоит им встретить религиозного еврея, как они тут же начинают спрашивать: «Где в Торе сказано, что ты не должен брить бороду? А где говорится, что надо носить лапсердак?»…»

Битва между «старым» и «новым» Иосифом Шапиро продолжается и после его приезда в Израиль. И Присцилла-Лилит в нем снова напоминает о себе. Причем напоминает именно в тот день, когда Шапиро вновь начинают одолевать сомнения в правильности своего выбора и он забывает помолиться.

Но жизнь в Израиле поначалу оборачивается разочарованием: его знакомство с Тель-Авивом и посещение кибуца окончательно убеждает его в том, что светские евреи Израиля, исповедующие сионистские или социалистические воззрения, по своему морально-духовному облику мало чем отличаются его американских знакомых и современных людей во всем мире. И даже те из них, кто верил в Бога, исповедовали «холодный, вялый иудаизм».

Лишь оказавшись в иерусалимском квартале Меа-Шеарим, этой цитадели еврейской ортодоксии, Шапиро понимает, что вновь встречается с подлинным, не подменным иудаизмом. Здесь вновь прозвучат слова о возвращении домой, здесь он встретит своего духовного наставника и свою Сару — свою «Йохиду», Единственную, предназначенную ему Свыше истинную пару. Здесь он обретает подлинный душевный покой и подлинное счастье с любимой, принадлежащей только ему одному женщиной, что отнюдь не мешает им наслаждаться друг другом…

Последний диалог Иосифа Шапиро с Присциллой — это захватывающая схватка между двумя мировоззрениями; между современной европейской и еврейской цивилизациями; между смесью самых прогрессивных и либеральных идеологий и

«средневековой» еврейской моралью. Он довольно длинен, но в нем столько страсти подлинного интеллектуального поединка, что эти страницы «Раскаявшегося» прочитываются на одном дыхании.

При этом Зингер остается предельно честен: он не отдает предпочтения ни одной из сторон; более того — Шапиро так и не находит, что сказать этой девушке в ответ на ее напоминание о Катастрофе. Но Иосиф Шапиро уже сделал свой выбор, и этот выбор оказался в пользу вечных еврейских ценностей…

* * *

Вскоре после того, как была закончена публикация «Раскаявшегося» в «Форвертсе», эта повесть вышла отдельной книгой на идиш в израильском издательстве «Перец Ферлаг». Но — и в этом сказался весь конформизм личности Башевиса-Зингера — он прекрасно понимал, что западным и светским читателем эта книга будет воспринята как «реакционная», как пропаганда идей еврейской ортодоксии и может нанести удар по его имиджу и популярности, приклеив к нему ярлык «религиозного фанатика». А потому Зингер не спешил с ее переводом на английский и иврит, и дал свое согласие на такой перевод уже после получения им Нобелевской премии, когда его популярности у «либерального» западного читателя уже ничто не грозило.

Таким образом, в течение нескольких лет это, в определенном смысле программное произведение писателя оставалось лишь достоянием тех, кто мог читать его в оригинале. Иначе как трусостью такое поведение художника не назовешь, но в этом и заключается коренное отличие Башевиса-Зингера от таких писателей, как, скажем, Толстой и Достоевский. Последние были великими писателями не только в силу своего художественного гения, но и в силу масштабности, величия собственной личности. Но гениальный писатель Исаак Башевис-Зингер великой личностью на деле никогда не был. Сила его художественного дара, способного поднимать важнейшие вопросы национального и общечеловеческого бытия, была куда больше, чем масштабы его личности.

В сущности, струсив, Зингер не ошибся. Появление «Раскаявшегося» на английском в переводе племянника писателя Иосифа Зингера и на иврите в переводе его сына Исраэля Замира вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Симпатии Зингера к традиционному ультраортодоксальному

иудаизму, его сарказм по отношению к современной западной цивилизации были настолько очевидны, а его доводы в пользу возвращения евреев к образу жизни и мировоззрению предков настолько убедительны, что критики в один голос пришли к мнению, что прототипом Иосифа Шапиро является сам автор.

В рецензиях, опубликованных в израильской прессе, прямо высказывалось мнение о том, что Башевис-Зингер, скорее всего, написал о самом себе, о своем собственном возвращении в лоно ортодоксального иудаизма. Подтверждение этой своей мысли они находили в совпадении многих событий в жизни Иосифа Шапиро с известными фактами биографии самого Башевиса-Зингера. Например, описание похода Шапиро к проститутке, во время которого он «вдруг почувствовал такое отвращение, что буквально не сумел сдержать рвоты», безусловно, было взято им из собственной жизни — он уже описал эту историю в рассказе «Друг Кафки», а чуть позже в повести «Молодой человек в поисках любви» признался, что это было не с Кафкой, а с ним самим. Иосиф Шапиро решает стать вегетарианцем, но к тому времени всем поклонникам таланта Башевиса-Зингера уже было известно, что он — убежденный вегетарианец, причем по тем же идейным соображениям, что и его герой, уверенный в том, что «пока люди не перестанут проливать кровь живых существ, мир на земле не настанет. Проливший сегодня кровь животного, завтра может пролить кровь человека».

Наконец, сама несовместимость внутренних моральных принципов, которые Шапиро считал единственно верными с его внешним образом жизни, так же была весьма характерна для самого Зингера:

«Я был лжецом, но ненавидел ложь и криводушие. Я был распутником, но питал отвращение к разврату…»

Однако Башевис-Зингер воспринял эти предположения критиков едва ли не как личное оскорбление. В беседе с сыном по поводу «Раскаявшегося» он с возмущением говорил о примитивности подобного взгляда. Безусловно, пояснял он, каждый писатель вкладывает в почти каждого своего героя и свой личный жизненный опыт, но отождествлять их друг с другом — значит не понимать, что такое литература. Он описал судьбу, мысли и чувства Иосифа Шапиро, и только Иосифа Шапиро, причем сам он отнюдь не разделяет образ мышления своего героя и избранный им путь.

«Шапиро в поисках выхода из той ситуации, в которой он оказался, предпочитает побег, побег в Меа-Шеарим, то есть как можно дальше от реальной жизни, — сказал Зингер в беседе с сыном летом 1989 года. — Именно так поступают многие мои

герои. Яша Мазур бежит от себя в свое заточение; Яков из «Раба» и Герман из «Врагов» тоже выбирают побег как выход их ситуации. Но лично для меня такой путь неприемлем. Шапиро — это литературный образ, и не более того. Я лишь старался, чтобы образ этот получился как можно более правдивым».

Об этом же Башевис-Зингер писал в своем послесловии к третьему изданию «Раскаявшегося» на английском языке. Однако тот, кто внимательно прочтет это послесловие, найдет его довольно путанным: с одной стороны, Зингер пишет, что Иосиф Шапиро, возможно, и смирился с несправедливостью жизни, а он нет, а с другой… А с другой высказывает свою глубокую приверженность к вере в Бога и уверенность, что «между бунтом и молитвой нет непреодолимых противоречий».

Но вот в заключительных фразах этого послесловия Башевис-Зингер предельно четко определяет ту задачу, которую он ставил перед собой при написании этого произведения:

«Кризис, пережитый Иосифом Шапиро, его разочарование могут в определенной степени подтолкнуть к пересмотру взглядов как людей верующих, так и скептиков. Средства, которые он предлагает, конечно же, не помогут исцелить раны всех и каждого, но природа самой болезни будет, я надеюсь, выявлена».

Таким образом, для писателя крайне важно было в этой книге выявить «природу той болезни», которой заражена современная западная цивилизация, и потому он постоянно сравнивает не только два мировоззрения — светское и религиозное, но и два мира, порожденных этими мировоззрениями. И сравнение это оказывается отнюдь не в пользу первого.

Уже на первых страницах «Раскаявшегося», еще прежде чем герой подойдет к поворотным события своей жизни, он выносит суровый приговор всей массовой западной культуре XX столетия, несущей, по его мнению, основную ответственность за моральное разложение человечества:

«Люди, с которыми я общался, постоянно хвастались своими победами над женщинами. Ох уж эти победы! Одни проводили время с девушками по вызову, обычными шлюхами, которых мадам присылала к ним в мотели. У других были постоянные любовницы. Адюльтер в этом кругу считался высшей добродетелью, истинной сутью жизни. Литература была всего лишь учебником разврата. Театр постоянно показывал измены. Кино и телевидение не отставали. Все эти победы перестали быть победами с тех самых пор, как современные женщины в своем поведении уподобились современным мужчинам. Они читают те же книги, смотрят те же пьесы, а свободного времени у них даже больше, чем у мужчин…»

И в финале, объясняя, почему он так счастлив со своей новой женой, Шапиро говорит:

«Я знаю, о чем вы хотите спросить меня, — интересуюсь ли я все еще сексом? Поверьте, честная, порядочная женщина может доставить мужчине больше физического наслаждения, чем все шлюхи мира вместе взятые. Когда мужчина спит с современной женщиной, он одновременно спит со всеми ее любовниками. Именно потому, что подобным образом мужчина «духовно» спит с бесчисленными другими мужчинами, сегодня так много гомосексуалистов. Кроме того, мужчина постоянно старается показаться в постели лучше других партнеров — ведь женщине есть с чем сравнивать. Отсюда рождается импотенция, которой страдают многие…»

Панорама современного мира вновь открывается перед Иосифом Шапиро, когда он наутро после своего ухода из дома он читает свежую газету — он не находит в ней ничего, кроме «рассказов о войнах, убийствах и изнасилованиях, панегириков революциям, циничного вранья политиков, статей, полных лжи; дифирамбов плохим книгам, пьесам и фильмам…»

Но, оказавшись в синагоге, он одновременно оказывается в совершенно противоположном мире:

«Здесь не презирали старость. Здесь не бравировали своими сексуальными успехами или количеством выпитого накануне. К старшим тут обращались с уважением и смирением. Тут никто не красил волос, пытаясь походить на восьмидесятилетнего юнца, и не совершал других подобных пошлостей, столь распространенных среди нынешних стариков.

До того дня я усердно читал газеты, журналы и книги… Все, что я читал, доказывало один тезис: миром правили и править будут грубая сила и коварный обман. Вся современная литература на разные лады повторяла одно и то же: «Мы живем одновременно на бойне и в борделе, так было и так будет всегда». И вдруг я услышал слова, исполненные света и оптимизма…»

Поочередно проходя то через один, то через другой мир, Иосиф Шапиро непрестанно продолжает их сравнивать, вновь и вновь приходя к выводу, что общество, отказавшееся от веры в Бога и связанной с ней незыблемости, абсолютности нравственных ценностей, неминуемо обречена на моральную деградацию. В отношении к евреям, сама история и само бытие которых на протяжении всей истории было связано с Богом, это даже более верно, чем в отношении к другим народам. Все атеистические идеологии, пытавшиеся подменить собой Божественный моральный кодекс так называемыми «гуманистическими идеалами» в итоге оборачивались

антиморалью и антигуманизмом. И в последнем диалоге с Присциллой Зингер безусловно вкладывает в слова Иосифа Шапиро собственные убеждения:

«Нравственности без религии не существует. Если ты не хочешь служить одному идолу, то приходится служить другому. Из всех обманов этого мира самый грандиозный — гуманизм. Гуманизм служит не одному идолу, а сразу всем. Все они были гуманистами: Муссолини, Гитлер, Сталин. А патриоты во всех странах? Сотни тысяч англичан погибли, чтобы Виктория несла титул императрицы. Наполеон посылал на верную гибель миллионы, чтобы возложить корону себе на голову. Набожные евреи, евреи Талмуда, никогда не служили королям или князьям. Они умирали, но не теряли свободы выбора…»

И дальше следует парадоксальный вывод: даже если Тора не дана Богом; даже, если не все, что утверждает иудаизм — правда, даже если Бога все равно не существует (Иосиф Шапиро этого, разумеется, допустить уже не может, но Зингер вполне допускает) — верить в этот обман и следовать его предписаниям все равно гораздо предпочтительнее, чем жить той жизнью, какую вел Иосиф Шапиро до сих пор. (Любопытно, что к подобному же выводу в свое время пришел и Достоевский, писавший, что даже если вся история Христа оказалась бы ложью, он все равно предпочел бы остаться с Христом, чем без него).

При этом Йосеф Шапиро утверждает, что он вовсе не собирается идеализировать религиозных евреев:

«Да, не все такие евреи святые. Есть среди них и те, кто поступает непорядочно… Но даже худшие из них не убивают, не насилуют, не защищают убийц, не вынашивают планов уничтожения целых рас и классов и не превращают семейную жизнь в фарс. К тому же, почему бы не взять в качестве примера лучших? Грязь есть везде…»

Безусловно, Зингер не забывает и не дает читателю забыть о том, что речь идет о человеке, занимающем весьма экзальтированную позицию и смотрящем на все происходящее уже именно с этой позиции. Но при этом он предлагает читателю самостоятельно найти бреши в рассуждениях своего героя — либо согласиться с ним.

Стоит вспомнить, что Зингер не раз с раздражением говорил, что литература не должна подменять собой философию, психологию, социологию и прочие общественные науки. Однако в «Раскаявшемся» он, возможно, впервые позволяет себе немало облеченного в одежды беллетристики резонерства по важнейшим проблемам всех этих наук, приходя в итоге к безжалостному выводу об их полном банкротстве в попытке указать человечеству

путь если не к счастью, то к подлинной духовности и нравственности. Именно этим банкротством и объясняется душевный кризис, настигший в середине жизни Иосифа Шапиро.

Таким образом, в «Раскаявшемся» Зингер поставил свой диагноз современному ему человечеству, и в качестве одного из путей исцеления от поразивших цивилизацию болезней предложил возвращение к традиционной религиозной системе ценностей. И идущие сегодня в России, в Украине, в США, в Израиле процессы, массовое возвращение людей к вере в Бога доказывает, что в этом смысле Башевис-Зингер был во многом прав.

Глава 3
Парадоксы любви. Драматургия Зингера. «Тойбеле и ее демон» (1977)

Драматургическое наследие Исаака Башевиса-Зингера невелико. Однако нет никаких сомнений, что еще с юности он мечтал о карьере драматурга. Зингер любил вспоминать, как, будучи мальчиком, гуляя с отцом по Варшаве, он увидел величественное здание театра и расклеенные возле него афиши.

— Пойдем отсюда! — потянул его за руку отец. — Это — один из главных рассадников разврата! Еврею стоит держаться подальше от таких мест!

Впервые в театре Башевис-Зингер оказался видимо, лишь в 1921 году, когда начал самостоятельную жизнь в Варшаве, однако его посещение отнюдь не вызвало у него восторга. Скорее наоборот, идущие там низкопробные пьесы убедили его в том, что отец был не так уж далек от истины, и надолго отвратили его от желания посещать театр. С классической драматургией молодой Иче-Герц Зингер предпочитал знакомиться, читая текст пьесы, а не сидя в зрительном зале.

Лишь в конце 20-х годов, в период своего увлечения Стриндбергом, Зингер впервые попытался попробовать себя в качестве драматурга, но эти опыты оказались неудачными. Об одном из своих провалов того времени — попытке написать пьесу о знаменитой Люблинской деве — он рассказывает на страницах романа «Шоша».

Кардинальным образом отношение Башевиса-Зингера к театру изменилось лишь в 1935 году, когда, как уже рассказывалось, будучи в Париже, он посмотрел спектакль «Йоше-Эгель», поставленный по повести его брата. Ошеломленный успехом, который имел этот спектакль у парижской публики и, возможно, в глубине души позавидовав ему, Башевис-Зингер стал подумывать о том, чтобы переделать свой роман «Сатана в Горае» в пятиактную пьесу. Сразу же после приезда в Штаты он поделился этой идеей с Исраэлем-Иешуа. Тому эта идея пришлась по душе, но ИИ, как уже рассказывалось, тут же заметил, что если Иче-Герц и в самом деле хочет что-либо сделать на театральном поприще, то ему следует спешить: идишские театры в Америке находятся на грани закрытия.

Однако последовавший вскоре после приезда в Нью-Йорк творческий кризис заставил Башевиса-Зингера забыть и об идее инсценировки «Сатаны в Горае».

Еще один шанс начать карьеру драматурга Исааку Башевису-Зингеру представился в 1936–1937 гг., когда в Нью-Йорке группа молодых еврейских артистов попыталась создать новый еврейский театр. Чтобы привлечь зрителей, создатели театра решили обратиться к мистической теме, которая могла быть в равной степени интересна не только еврейским иммигрантам, но и широкой американской публике. В качестве дебютной постановки в театре решили избрать известную, основанную на еврейском фольклоре драму И.-Л.Переца «Ночь на старом рынке».

Однако очень скоро выяснилось, что, несмотря на захватывающий сюжет, за те десятилетия, которые прошли со времени ее написания, эта классическая пьеса несколько устарела и нуждается в коренной переработке. Ее нужно было переписать с учетом возможностей театра, современных требований драматургии и т. д. С просьбой осуществить такую переработку и обратились к Башевису-Зингеру — в конце концов, кто мог лучше справиться с фольклорным материалом и внести в эту пьесу новую любовную линию, чем автор «сексуально-мистического бестселлера» «Сатана в Горае»?!

Зингер поначалу с энтузиазмом взялся за эту работу, но очень быстро к ней охладел. Трудно сказать, были ли тому виной та самая «творческая импотенция», которой он «болел» в те годы, или же он просто не поверил в возможность грандиозного сценического успеха даже переработанного варианта «Ночи на старом рынке», но эта работа так и не была завершена им до конца. Однако, вероятнее всего, именно в это время у него появилась идея написания принципиально новой пьесы на основе еврейского фольклора, приковывающей внимание зрителя не только своим национальным колоритом, но и захватывающей историей любви и заставляющей зрителей вновь и вновь задумываться над природой этого великого чувства.

В 1963 году Башевис-Зингер, движимый в первую очередь желанием заработать деньги, написал инсценировку своего рассказа «Гимпл-дурень», которая была поставлена на сцене нью-йоркского театра «Мэримейд». Несмотря на то, что «Нью-Йорк таймс» весьма высоко оценил этот спектакль, особого успеха он не имел и быстро сошел со сцены.

Вначале 1970-х годов Башевис-Зингер вновь решил обратиться к драматургии и попытаться реализовать свои давние замыслы. Снятый по его сценарию в 1972 году Брюсом Дэвидсоном документально-художественный фильм «Кошмары Зингера и борода госпожи Пупко», в котором его личные воспоминания чередовались со сценами из его известного рассказа «Борода», был показан по телевидению и получил

высокие оценки. Но вот две написанные им в 1973–1974 гг. пьесы — «Игры демонов» и «Первый Шлемиэль» были приняты к постановке на Бродвее, но выдержали всего несколько спектаклей, после чего были сняты с репертуара. Башевис-Зингер крайне болезненно переживал этот свой провал в качестве драматурга, и когда в 1975 году в его квартире появился режиссер Роберт Кальфин и предложил написать инсценировку на основе его рассказа «Йентл», он воспринял эту идею без особого энтузиазма.

— Я не думаю, что можно создать хорошую пьесу на основе рассказа или повести, — сказал Зингер Кальфину. — Это два совершенно разных вида искусства. Не случайно все великие пьесы Шекспира, Мольера, Ибсена, Стриндберга изначально писались именно как пьесы, а не являлись прозой, переложенной в драматические диалоги. Как говорила моя тетя Йентл, ты можешь превратить куриный суп в помои, но еще никому не удавалось превратить помои в куриный суп.

Однако Кальфин продолжал настаивать, и в конце концов Башевис-Зингер согласился. 71-летнему писателю показалось соблазнительным доказать всему миру и самому себе, что он может создать пьесу на еврейскую тему, рассказывающую о прошлом, но способную покорить современного зрителя. В помощь писателю Кальфин привлек Лею Наполи, которая помогла ему превратить рассказ в захватывающий мюзикл.

Премьера «Йентла» состоялась 23 октября 1975 года, и успех мюзикла превзошел все ожидания — во многом благодаря исполнительнице главной роли Тове Фельдуш. Спектакль выдержал только на Бродвее более 200 постановок и время от времени возобновляется до сих пор.

Популярности первой постановки «Йентла» во многом способствовали сообщения в газетах о вспыхнувших вокруг него скандалах. На одном из первых спектаклей уже через пятнадцать минут после его начала пришедшие посмотреть его нью-йоркские иешиботники устроили самый настоящий дебош. На другом спектакле репортеры заметили, как находившиеся среди зрителей религиозные ультраортодоксы закрывают своими шляпами лица женам в тот момент, когда актеры начинали раздеваться на сцене. Хотя правда заключалась в том, что актеры на сцене не раздевались: они лишь делали первые движения, призванные убедить зрителя, что они вот-вот начнут раздеваться, а дальше шло затемнение.

Не было в те дни ни одной газеты в Штатах, которая не рассказала бы о скандальном спектакле, причем большинство критиков утверждало, что доминирующей в нем является

эротическая, более того — гомосексуальная тема, и таким образом представляли стареющего еврейского писателя как борца за свободу женщин и права сексуальных меньшинств.

Зингер, с одной стороны, был чрезвычайно доволен успехом «Йентла» и полученными за него гонорарами, а с другой приходил в бешенство, читая подобные рецензии. Он дал несколько интервью различным изданиям, в которых указывал, что «попытки трактовать «Йентла» с феминистской или какой-либо другой точки зрения просто неуместны; Йентл — отнюдь не извращенка, и переодеться в мужчину ее заставили не лесбийские наклонности, а страсть к изучению Торы, желание проникнуть в ее тайны».

Нужно заметить, что идишские критики встретили мюзикл в штыки, назвав его очередной клеветой Зингера на еврейские нравы, а в Израиле, где публика была хорошо знакома с образом жизни еврейских ортодоксов, критики заявили, что речь идет об истории настолько оторванной от реальной действительности, что она не заслуживает внимания.

В 1977 году Зингер засел за инсценировку другого своего рассказа — «Тойбеле и ее демон». Причем, как убедится читатель, он сам же опроверг выдвинутую им концепцию: написанная на основе рассказа пьеса оказалась гораздо сильнее и глубже своего прозаического «первоисточника». Премьера «Тойбеле и ее демона» состоялась 16 декабря 1979 года на сцене нью-йоркского театра «Брокс Аткинсон» на Бродвее, то есть уже после получения Зингером Нобелевской премии.

Как ни странно, американский зритель «Тойбеле и ее демона» не принял; критики, отметив великолепную игру актеров, весьма невысоко отозвались о самой пьесе, и вскоре спектакль был снят с репертуара. Но зато эта пьеса Зингера совершенно неожиданно для писателя, была необычайно тепло принята в Бельгии, где режиссер решил поставить ее модернистском стиле, так что Эльханан превратился в ней в акробата, спускающегося в кровать Тойбеле по канату.

На волне этого успеха «Тойбеле и ее демоном» заинтересовались в Израиле. После того как «Тойбеле» была переведена на иврит, режиссер Ханан Шнир отправился к отдыхавшему в Швейцарии Зингеру, чтобы согласовать с ним текст пьесы, и был поражен тем, насколько свободно писатель владел языком ТАНАХа. Идея постановки «Тойбеле и ее демона» на сцене национального израильского театра «Габима» настолько увлекла Зингера, что он, забросив все остальные дела, вместе со Шниром засел за работу над новой редакцией пьесы, ввел в нее несколько новых сцен и даже специально для нее написал

несколько песен.

* * *

Как уже было сказано, в основу пьесы «Тойбеле и ее демон» Башевис-Зингер положил свой рассказ с таким же названием.

Сюжет рассказа, переносящего нас в еврейское местечко Лашник прост: после смерти детей муж Тойбеле уходит из дому и оставляет ее «соломенной вдовой» — так как неизвестно, жив он или мертв, Тойбеле не может снова выйти замуж. Целые дни и вечера она коротает с подругами, которым пересказывает прочитанные ею дешевые книжки на идиш, и однажды рассказывает им историю о том, как к одной молодой еврейке по ночам стал прилетать демон и жить с ней, как с женой. Этот ее рассказ случайно подслушивает давно уже тайно влюбленный в Тойбеле нищий помощник учителя Эльханан и решает использовать его для того, чтобы удовлетворить свою страсть.

Ночью под видом демона страсти Гурмизаха он является к Тойбеле и заставляет ее покориться своей воле. После этого он начинает являться к ней регулярно, не только предаваясь с ней любовным утехам, но и развлекая Тойбеле почерпнутыми им из кабалистических книг и народных сказок историями о жизни в царстве Асмодея и о своих женах-демоницах. Проходит несколько месяцев, наступает зима, и, пробираясь холодными зимними ночам в дом Тойбеле в надетом на голое тело кафтане Эльханан заболевает и умирает. Так Тойбеле окончательно остается одна, не узнав, кто именно был все это время ее страстным любовником, уверенная в том, что «сначала ее бросил аскет, а потом и дьявол».

У пьесы «Тойбеле и ее демон» тот же сюжет, однако Башевис-Зингер значительно расширяет его, разворачивая на его основе глубочайшую психологическую драму. Действие пьесы разворачивается уже не в местечке, а в маленьком польском городке Фрамполе, в котором давно уже ничего не происходит, в котором живут маленькие люди, так что практически невозможно поверить, что здесь может развернуться история большой любви, сравнимой по своей силе и драматизму с историями Библии. Но уже в прологе пьесы Эльханан говорит своему другу Менаше, что мечтает именно о такой любви, и убежден, что она может прийти к человеку где угодно, даже во Фрамполе.

Дальше все поначалу происходит так же, как и в рассказе: Эльханан подслушивает разговор Тойбеле со своей подругой Генендель, узнает о прочитанной ею книге и ночью является к

ней под видом демона Гурмизаха. Но теперь Зингер подробно, в диалогах, разворачивает сцену соблазнения Тойбеле, одновременно широко распахивая перед зрителем двери в еврейскую спальню, показывая, что порой сексуальное невежество еврейских мужчин и множество догм и запретов делали несчастными и их самих, и их жен, порождая глубокую неудовлетворенность своей супружеской жизнью. Откровенность этой сцены и ее эротический накал поистине поражает, и я не могу отказать себе в удовольствии процитировать некоторые отрывки из нее:

«Тойбеле. Чего ты хочешь от меня? Я — замужняя женщина.

Эльханан. Твой муж мертв.

Тойбеле. Как? Когда?

Эльханан. Уже прошел год и семь месяцев. Он умер от холеры в городе Лейпциге, и вместе с другими демонами я следовал за его гробом.

Тойбеле. С демонами?

Эльханан. Злые дела порождают демонов. Мы дети греха.

Тойбеле. Моше Маттас не грешил. Он был праведником.

Эльханан. Мужчина, бросивший жену, не может быть праведником. Он отплясывал со своими хасидами. Вкушал аква витэ, а тебя бросил одну. Он не касался твоего тела ночью после того как ты совершила омовение. А если и касался, то не мог удовлетворить тебя. Он грешил Онаном, и от каждой капли его семени рождался демон. Когда он умер, все они устремились за его телом и называли его отцом. Так он был опозорен…

…Тойбеле. Только прикоснись ко мне, и я умру.

Эльханан. Ты не умрешь. Я столько лет желал тебя, и мне известны все твои тайные помыслы. Я следовал за тобой, когда ты шла совершать омовение. Я не мог оторвать глаз от твоего тела. Не надо меня стыдиться. Я видел тебя голой много раз. У тебя белые груди и красные соски. Ведь так?

Тойбеле. Так.

Эльханан. Тогда я еще не имел власти над тобой, но я говорил с тобой безмолвно и щекотал тебя в нежных местах…»

Ночи с Эльхананом превращаются для Тойбеле в эротическое приключение, сопровождаемое увлекательными рассказами о потусторонних мерах, невиданных ею никогда странах, различных людях, в телах которых к ней, якобы, является Гурмизах, и, в конце концов, ее сердцем овладевает любовь к нему. Любовь настолько сильная, что Тойбеле уже не в состоянии скрывать ее ни от самой себя, ни от Бога, которого она молит сохранить ей ее демона — даже если он демон!

Тут-то друг Эльханана Менаше и придумывает уловку,

которая позволит Эльханану соединиться с Тойбеле: он приносит ложное свидетельство о том, что муж Тойбеле мертв, после чего все преграды к ее браку с Эльхананом вроде бы отпадают.

«Гурмизах», в свою очередь, сообщает Тойбеле, что он больше не сможет к ней приходить и дает ей наказ выйти замуж за Эльханана, открывая ей, что тот совсем не простой человек, а великий знаток Торы и каббалист. И когда Эльханан сватается к Тойбеле, она, помня слова Гурмизаха, что этот брак предопределен Свыше, соглашается.

Казалось бы, достигнут хэппи-энд, влюбленные соединились. Но очень скоро выясняется, что никакого хэппи-энда нет и в помине, а брак Тойбеле с Эльхананом обернулся для них обоих трагедией — ведь Тойбеле любит не Эльханана, а Гурмизаха. Эльханана же она, наоборот, начинает ненавидеть, несмотря на все его доброе отношение к жене. Тойбеле настолько ослеплена любовью к своему Гурмизаху, что отказывается признать в теле Эльханана тело своего любимого — потому что для подлинной любви, как выясняется, тела совсем недостаточно. И души тоже — чем лучше Эльханан относится к Тойбеле, тем больше она его ненавидит, сама признаваясь в иррациональности, неоправданности такого отношения к нему. Но что поделаешь, если ей нужен Гурмизах и только Гурмизах?!

Да и Эльханан, кстати, скинув маску Гурмизаха, оказывается куда менее умелым рассказчиком и соблазнителем.

И лишь когда он снова притворяется Гурмизахом, к Тойбеле возвращается прежняя страсть, хотя она и сетует своему любимому на то, что он воспользовался телом столь ненавистного ей Эльханана …

Так Башевис-Зингер подводит читателя к кульминации драмы: любовь Эльханана к Тойбеле, его желание доставить ей подлинное наслаждение так велика, что он соглашается на то, чтобы Менаше вошел к ней под видом Гурмизаха, таким образом, окончательно переступая через все нравственные и религиозные барьеры в своей душе. Когда же все раскрывается, Тойбеле наотрез отказывается поверить в то, что Эльханан и был ее Гурмизахом:

«Ребе. Как все это случилось?

Эльяханан. Я соблазнил Тойбеле, притворившись демоном Гурмизахом. Нет, я не демон, но я продал душу демонам.

Тойбеле. Это был демон. Демон Гурмизах.

Эльханан. Это был всего лишь я.

Тойбеле. Ты Гурмизах?! Лжец!

Эльханан. Я был демоном.

Ребе. А ну-ка свяжите их.

Тойбеле. Убейте меня, евреи! Убейте!

Ребе. Враг рода человеческого явился во Фрамполь.

Тойбеле. Ребе, он лжет. Это был Гурмизах. Гурмизах был настоящий демон…»

Наконец, после года, проведенного в посте и молитвах, Эльханан по приказу раввина возвращается во Фрамполь, и тот велит Эльханану, во-первых, сказать Тойбеле, что он обманул ее и не был Гурмизахом, а во-вторых… снова явиться к ней под видом Гурмизаха, чтобы помочь ей умереть.

Финальная сцена пьесы поистине потрясает:

«Эльяханан (задыхаясь). Тойбеле… Тойбеле… (Поворачивается к двери).

Тойбеле (стонет). Гурмизах.

(Несколько секунд Эльханан борется с собой, стоя на пороге, затем поворачивается и возвращается в комнату.)

Эльханан (мягко). Я здесь.

Тойбеле. Ты вернулся ко мне, мой демон?

Эльханан. Да, Тойбеле. (Он приподнимает ее и прижимает к себе.)

Тойбеле. Душа моя, счастье мое, ты вернулся!

Эльханан. Да, Тойбеле, я вернулся. Божий вестник сказал мне, что Господь сжалился над тобой, и бесконечная милость Его наполнила мою душу таким светом, что я покинул царство Асмодея и темные пещеры ада. Я пронесся через тысячу миров, чтобы еще раз обнять тебя. Теперь мы отправимся в путь вместе.

Тойбеле. Куда ты поведешь меня?

Эльханан. В вечность.

Тойбеле. Это далеко?

Эльханан. Это здесь, Тойбеле. Здесь и везде. Повсюду, где есть место страсти и милосердию. Мы сольемся в одно целое, и больше не будет разлук. Я расскажу тебе все сказки, какие знаю. Мы будем танцевать, и я спою тебе:

Тойбеле-мойбеле,
сладкий поцелуй;
Еще разик, Тойбеле,
Со мной потанцуй.

(Тойбеле тихо смеется. Пауза.)

Тойбеле. Я умираю?

Эльханан. Смерти нет, Тойбеле. Есть только вечная любовь.

Тойбеле. Как это будет прекрасно!

Эльханан. Я люблю тебя, Тойбеле! Я всегда любил тебя. Иди ко мне, суженая моя.

Тойбеле. Возьми меня, мой любимый. Супруг мой, мой единственный. Мой демон.

(Умирает).

Эльханан баюкает ее в своих объятиях, как маленького ребенка. (Затемнение)».

* * *

Так заканчивается еще одна прекрасная история о любви, подаренная Башевисом-Зингером человечеству. История, заметим, психологически вполне объяснимая и от того выглядящая вполне убедительно.

Точнее, как и большинство подобных историй Башевиса-Зингера, ее можно объяснить с двух позиций одновременно — как с реалистической, так и с мистической.

С реалистической точки зрения история любви Тойбеле к демону Гурмизаху представляет собой изысканную, но не очень сложную психологическую головоломку. Подлинная любовь всегда конкретна и уникальна. Как в своей духовной, так и телесной ипостаси она направлена на одного человека, или, применительно к данной пьесе, на одного конкретного индивидуума, или — еще точнее — тот образ, который данный индивидуум сам себе создал, ту маску, которую он на себя надел.

Идея эта отнюдь не нова ни для мировой литературы, ни для Башевиса-Зингера. Вспомним хотя бы его гениальный рассказ «Сэм Палка и Давид Вишковер». Миллионер Сэм Палка, представившийся наивной еврейской девушке Хане-Басе бедным и несчастным коммивояжером Давидом Вишковером, на протяжении десятилетий продолжает играть эту свою роль. И даже тогда, когда все внешние препятствия для их брака исчезают, и он может перевезти Хану-Басю в свои роскошные апартаменты и превратить ее из Золушки в принцессу, Сэм не делает этого, понимая, что если он откроет любимой женщине правду, это станет для нее страшным ударом и может разрушить их отношения. Давид Вишковер, оказывается, уже стал существовать совершенно отдельно от Сэма Палки.

«Не смейтесь, он живой человек для меня, — с грустью замечает герой рассказа в его финале. *— Я так с ним сроднился, что он ближе мне теперь, чем Сэм Палка. Кто такой Сэм Палка? Старый развратник, не знающий что делать со своими миллионами. А Давид Вишковер — это человек вроде моего отца, мир его праху. Да и что делалось бы с Ханой-Басей, узнай она всю правду? Вполне возможно, что вместо того, чтобы стать женой Сэма Палки, она превратилась бы во вдову Давида Вишковера».*

И все же вдумчивый зритель или читатель пьесы «Тойбеле и

ее демон» наверняка обратит внимание на целый ряд деталей, вступающих в противоречие с такой вполне, повторю, реалистичной версией.

Хорошо, допустим, описывая в таких подробностях жизнь преисподней и его обитателей, Эльханан опирался на просчитанные им книги по еврейской мистике. Но ведь иногда он открыто спорит с авторами этих книг и смеется над ними, рассказывая Тойбеле, что не все написанное в них соответствует действительности!

Для рационалиста может существовать лишь единственное объяснение этому — Эльханан попросту фантазирует, используя свое богатое воображение.

Но как объяснить то, что Эльханан-Гурмизах точно знал, как прошла первая брачная ночь Тойбеле — о том, что ее муж не сумел тогда овладеть ею и излился ей на колени?

Очевидно, что с помощью этих несостыковок Башевис-Зингер пытается подвести читателя к иной версии: к Тойбеле в теле Эльханана и в самом деле приходил демон Гурмизах. Именно Гурмизах говорил с Тойбеле и занимался с ней любовью. Именно демон Гурмизах, вселившись в богобоязненного Эльханана, толкает его сначала на прелюбодеяние с Тойбеле, затем на лжесвидетельство, а потом доводит и до крайней степени морального падения, уговорив передать свою жену другому.

Об этом, сам того не сознавая, говорит Эльханан, когда произносит слова «Я был демоном». Об этом же говорит и старый мудрый раввин в финале пьесы, уговаривая Эльханана снова стать Гурмизахом: «Притворяясь демоном, ты был демоном!»

Башевис-Зингер, кстати, трактовал свою пьесу именно так.

«Сам Эльханан, — объяснил он как-то в беседе с сыном, — будучи богобоязненным евреем, никогда решился бы пробраться ночью к соломенной вдове. А если бы и решился, то от страха перед тем, что он делает, просто лишился бы и способности к сексу, и дара речи, а не изливал бы перед Тойбеле настоящий поток красноречия. И значит, всему описанному мною существует только одно объяснение: к Тойбеле действительно приходил демон».

Впрочем, автор прекрасно понимает, что обе эти версии (как это опять-таки часто бывает у Зингера) вполне можно свести к одной — скажем, к тому, что Эльханан, проникая к Тойбеле под видом Гурмизаха, так вживался в свою роль, что и сам начинал верить, что он является Гурмизахом.

Саму пьесу «Тойбеле и ее демон» можно с этой точки зрения представить как историю вечной борьбы заложенных в человеке все того же высокого, Божественного, и низменного, животного

начала — «йецер ха-ра» и «йецер ха-тов». Кстати, и само имя «Тойбеле» в буквальном переводе означает «добрая, хорошая», и название рассказа и пьесы Зингера можно при желании перевести как «Добро и бес».

Таким образом, в «Тойбеле и ее демоне» Башевис-Зингер, с одной стороны, отказывается признать такое высокое чувство, как любовь, порождением «злого начала», но, с другой, показывает, что попытка завоевать любовь и обрести счастье путем обмана и греха в итоге приносит влюбленным лишь несчастье, и вместо ощущения полета сбрасывает их в глубочайшую моральную пропасть.

Впрочем, Башевис-Зингер, как уже не раз говорилось на страницах этой книги, всегда подчеркивал, что меньше всего в своем творчестве стремился быть моралистом. Он был и остался рассказчиком, а уж выводы из рассказанной им истории почитатели его таланта должны были делать исключительно сами.

* * *

Обращение Башевиса-Зингера в 70-е годы к еврейской мистике было тем более не случайно, что с годами писатель все больше укреплялся в своей вере в демонов, бесов и в другие потусторонние силы, то и дело незримо вмешивающихся в дела человека. Он продолжал активно собирать различные «странные», не поддающиеся логическому объяснению истории и связывал с этими потусторонними силами все происходящее с ним самим.

Например, то, что он как-то долго не мог найти ключ от квартиры, лежащий почти у него перед глазами, он объяснял тем, что некий преследующий и насмехающийся над ним демон попросту сначала украл ключ, а затем положил его на место. (Впоследствии он взял эту историю за основу сюжета своего рассказа «Ключ»).

Однажды Башевис-Зингер вместо рукописи своего нового рассказа принес в редакцию «Форвертса» рассказ, присланный ему для отзыва молодого писателя, и в беседе с сотрудниками газеты стал уверять их в том, что взял из дома именно свою рукопись, но по дороге демон каким-то образом исхитрился и подменил ее. Когда же выяснилось, что во время уборки домработница Зингеров попросту переложила приготовленную им для сдачи в печать рукопись в другое место, писатель лишь немного скорректировал эту версию — значит, констатировал он, демон решил действовать через домработницу.

При этом он вновь и вновь повторял, что если наука еще не доказала реальность существования этих сил, это отнюдь не означает, что их не существует вовсе — в конце концов, большая часть знаний, которые приобрело человечество в XX веке, для жителей XIX века представлялось бы такой же чушью, как и разговоры о существовании ангелов, бесов и демонов.

Что касается Эльмы, то, будучи убежденной материалисткой, она объясняла все эти «загадочные происшествия» тем, что с годами Башевис-Зингер стал еще более рассеян, чем в молодости.

Однако во всем остальном Башевис-Зингер отнюдь не проявлял признаков старения. Он по-прежнему «крутил романы» на стороне. Как-то во время откровенного разговора с сыном писатель похвастался, что по-прежнему способен удовлетворить женщину, которая на несколько десятков лет моложе его.

Но, самое главное, и как писатель Башевис-Зингер находился в эти годы в «прекрасной спортивной форме», и лучшим доказательством тому являются написанные им в этот период произведения.

Глава 4
Игра в мемуары. «Шоша» (1974-78). «Мешуга» (1982)

В начале 70-х годов Башевис-Зингер приступает к работе над автобиографической трилогией «Мальчик в поисках Бога», «Молодой человек в поисках Любви» и «Затерянный в Америке». В этот же период он совершенно неожиданно и для читателей, и для издателей приступает к созданию романа «Шоша», написанного вроде бы на том же самом автобиографическом материале. Не случайно поначалу критики высказали некоторое разочарование новым романом писателя — те из них, кто был хорошо знаком с его творчеством, без труда угадывали в «Шоше» героев и ситуации его прежних книг, не находя в этом произведении почти ничего нового. «В своей тематике Зингеру нет равных, однако он повторяется, играет один и тот же мотив снова и снова», — писал Ирвинг Хоу. И был отчасти, безусловно, прав — личный жизненный опыт писателя был весьма ограничен, и временами действительно создается впечатление, что он ходит по замкнутому кругу тем и образов.

Однако, вопреки ожиданиям, «Шоша» была очень тепло встречена самыми широкими кругами читателей, стала выдерживать одно издание за другим, и вскоре стало ясно, что речь идет об одном из вершинных произведений не только самого Башевиса-Зингера, но и всей литературы XX века.

История любви главного героя романа молодого писателя Ареле Грейдингера к странной, порой, как кажется, полубезумной, больной девушки, словно магнитом, притягивала к себе внимание читателей всего мира. Образ наивной и чистой «дурочки» Шоши вдруг стал осознаваться как один из самых великих, знаковых женских образов мировой литературы, символизирующих собой подлинную женственность и заключенную в ней тайну.

Не случайно «Шоша» была и остается самым популярным романом Башевиса-Зингера из всего множества его романов, переведенных на русский язык. Даже если читатель не в состоянии осознать всю мощь и глубину этого произведения, он все равно чувствует, что в нем заключена некая тайна; он все равно оказывается околдован «голлографичностью», говоря словами Л.Аннинского, протекающей перед ним жизни, одновременной реальностью и ирреальностью рассказываемой ему истории любви.

Ближе всего к разгадке этой магнетической силы романа «Шоша», вне сомнения, подобрался все тот же Лев Аннинский в своем предисловии к ее первому изданию на русском языке.

«Потрясающая сила этого образа, достойного войти, как я уверен, в мировой пантеон праведниц, в том, что еврейская праведница соткана не из отрицаний, а из тысячелетних элементарных бытовых обыкновенностей, утверждаемых жизнью, — писал Л.Аннинский. — Сходить в лавку за товаром. Испугаться, когда страшно. Любить маму. Выйти замуж по любви. Реакции и чувства нормального человека — ненормально в Шоше только одно: она во все это действительно верит. По отдельности. По пунктам. Так, словно нет сжигающей все химерической «антисвязи» фактов».

Но даже такой искушенный критик, как Л.Аннинский, не смог ускользнуть от той ловушки, которую расставил в этом романе для читателя Башевис-Зингер — даже он поверил в то, что роман написан на автобиографической основе и описанные в нем события в том или ином виде имели место в действительности.

«Ареле, повествователь в «Шоше», — пишет он, — это, в сущности, и есть Зингер, Айзек Зингер, Ицхок Башевис-Зингер…»

Однако на самом деле это, безусловно, не так. Да, «Шоша» щедро пересыпана подробностями из жизни самого писателя. Да, часть ее действия разворачивается на той же Крохмальной улице, которая подробно описана и в «Семействе Мускат», и «В суде моего отца», и в «Мальчике в поисках Бога», и в целом ряде других его произведений. Да, в ней легко узнаются быт и типажи еврейской Варшавы, просматриваются четкие параллели с героями той же «Семьи Мускат», и все же меньше всего этот роман можно назвать автобиографическим и вообще построенным на какой-то реальной основе.

Описываемые в нем события никогда не происходили с Зингером, за исключением разве что упоминаемых в «Шоше» его взаимоотношений с коммунисткой Дорой, в которых легко угадываются черты его первой жены Руни Шапира.

Не было в его варшавской жизни ни актрисы Бетси, ни спонсирующего ее бизнесмена Сэма Дреймана, ни Хаймла и Селии. Точнее, последняя пара очень сильно напоминает писателя И.Тронка и его жену, с которыми Зингер был очень дружен в последний период своей варшавской жизни (Тронк помогал Башевису-Зингеру и Цейтлину издавать журнал «Глобус»). Но при этом Зингер никогда не был любовником жены этого своего друга.

Не было, наконец, никакой любви и женитьбы на Шоше, хотя удивительно светлая, болезненная девочка с таким именем и в

самом деле жила по соседству с Зингерами на Крохмальной улице, и в детстве будущий писатель и в самом деле любил играть с ней куда больше, чем с другими детьми. Но куда ближе к тому, что имело место на самом деле, та история Шоши, которую Зингер рассказал в «Семье Мускат», где она предстает дочерью Копла, выходит замуж за молодого сиониста и вместе с ним уезжает в Палестину, спасаясь таким образом от надвигающейся Катастрофы.

Нет, повторю, весь сюжет и вся фабула «Шоши» выдумана почти от начала до конца. «Шоша» — это ни в коем случае не мемуары, а некая «игра в мемуары», своего рода попытка предположить, «что было бы, если…», а, следовательно, не имеет никакого отношения к документальной прозе. Ощущение мемуарности, документальности повествования — это всего лишь одна из многих иллюзий, созданных в романе силой художественного гения Башевиса-Зингера.

Сам писатель не раз говорил, что считает «Шошу» главным своим произведением, в котором пытался довести до совершенства свои собственные художественные принципы; отточить стиль настолько, чтобы приблизиться к стилю Библии, который он считал идеальным. В «Шоше», как утверждал Зингер, ему удалось, наконец, перейти к предельно коротким предложениями, добиваясь одновременно, чтобы любое описание, портрет любого персонажа был и предельно зримым, и оставлял достаточный простор для воображения.

Сухой, «документальный» стиль «Шоши», призванный, кажется, запечатлеть не для читателя — для историка все детали быта, нравов, образа жизни ушедшей в небытие и ясно предчувствующей этот уход еврейской Варшавы 1939 года, и в самом деле завораживает. Перед читателем проходит галерея еврейских типов того времени, напоминающая альбом со старыми черно-белыми фотографиями. Коммунистка Дора, истово преданная идеям Ленина-Сталина, мечтающая уехать в Россию и не желающая признать ложность этих идей даже тогда, когда ей, казалось бы, открывается вся правда о происходящем в Советском Союзе…

Философ и бабник Морис Файтельзон — то ли ученый, то ли литератор, отвергающий предрассудки предков и ощущающий себя полноправным наследником общеевропейской, а никак не еврейской культуры…

Полусветская Селия, испытывающая столь понятное неудовлетворение своей обеспеченной, отлаженной, как часы, жизнью…

Ее муж Хаимл, который так и остался ребенком во всем, в том

числе и в постели…

Престарелый американский миллионер Сэм Дрейман, Бетси…

А вот и «альтер эго» самого Зингера — молодой писатель Аарон Грейдингер, получивший от Селии смешное прозвище Цуцик, так же, как и сам Зингер, выходец из очень религиозной семьи, еще в юности порвавший с традиционным еврейским образом жизни и вынужденный ради куска хлеба заниматься литературной поденщиной, не приносящей ни заработка, ни удовлетворения.

В тот самый момент, когда Грейдингер оказывается на краю духовного и финансового краха, Морис Файтельзон знакомит его с прибывшим в Варшаву Сэмом Дрейманом и его любовницей Бетти. Они заказывают начинающему писателю пьесу, которая вознесла бы Бетти на вершину славы в еврейском театре. Так Грейдингер начинает писать пьесу о Любомирской деве — героине, довольно близкой по духу к зингеровской «Йентл».

Все предельно реалистично, все достоверно, но вместе с тем "Шоша" — несомненно, самое мистическое произведение Исаака Башевиса-Зингера. Может, даже куда более мистическое, чем "Йохида и Йохид", "Огонь" или "Кафетерий". Но, как всякая подлинная мистика, она прячется под толстым слоем бытовых и, казалось бы, ни к чему не обязывающих деталей, истинный смысл которых дано постичь не каждому, как не каждому дано прикоснуться к миру духов — куда легче принять их легкие шаги за дуновение ветра, а их глухой сдавленный стон — за скрип несмазанной двери.

* * *

Если вглядеться в "Шошу" чуть-чуть пристальней, то можно увидеть, что она строится по тому же принципу, что и десятки дешевых, канувших в Лету, морализаторских книжонок на идише, которыми зачитывались почтенные еврейские дамы на рубеже двух минувших столетий и которые сегодня с тем же успехом заменены слезливыми любовными романами.

Герой такой книжки всенепременно в начале совершает "хета" (грехопадение), но затем находит в себе силы для "тшувы" (раскаяния) и, в конце концов, проходит "тикун" (исправление). Книжечки эти обрыдли еврейскому читателю и стали объектом насмешек и пародий еще в 20-х годах XX века, и интеллигентному человеку следовало брать их в руки не иначе, как с выражением крайней брезгливости и презрения. И тем не

менее, Зингер строит "Шошу" именно по этой схеме, еще раз подтверждая старую истину, что в искусстве не бывает затертых сюжетов и ходульных композиций.

Впрочем, его герой Аарон Грейдингер никак не ощущает своего грехопадения. Порвавший с той средой, в которой он вырос, забывший дорогу на Крохмальную улицу, где прошло его детство, он с удовольствием вращается в кругах варшавской еврейской богемы, слушает длинные, сумбурные рассуждения Файтельзона, спит с Дорой, сближается с Селией, ходит, как и положено молодому человеку его круга, в писательский клуб.

Его преследуют неудачи, но Ареле Грейдингер слишком далеко ушел от Крохмальной улицы, слишком глубоко упрятал свое еврейство под костюмом модного покроя, чтобы задуматься над тем, не являются ли эти неудачи расплатой за неправедный образ жизни — он вообще давно уже перестал задумываться над такими вещами и искать подобные связи.

А тут к тому же его "добрый гений" Морис Файтельзон знакомит Ареле с Сэмом Дрейманом и очаровательной Бетси. И появляются большие деньги в качестве аванса за еще ненаписанную пьесу; появляется надежда на столь вожделенный успех, признание и все, что с этим связано.

Ареле Грейдингер, он же Цуцик, испытывает при встрече с Бетси странные чувства. В разговоре с Файтельзоном он дает ей противоречивые характеристики; она притягивает и отталкивает его одновременно; но он увлеченно беседует с ней о пьесе, и говорит, что будущая героиня может быть влюблена во вселившегося в нее духа — диббука:

"Я начал рассказывать. Она слушала. Сначала смотрела на меня с опаской, потом с интересом.

— Это означает, что у меня будут любовные дела со мною же?

— Да. Но в каком-то смысле у всех так…"

Старая, истрепанная истина — любить можно только самого себя, и в самых дорогих и близких нам людях мы, в принципе, ищем себя и любим прежде всего себя. Но Зингер бросает эту фразу не случайно и, разумеется, еще не раз вернется к ней по ходу романа.

Самое удивительное, что на Крохмальную улицу — улицу его детства — Цуцика приводит именно Бетси. Как зачарованные бродят они оба вдоль иешив, синагог, старых лавок и потеменевших от копоти домов, с наслаждением вдыхая "привычную вонь дешевого мыла, смальца и лошадиной мочи". Еврейская улица пробуждает в них обоих давние воспоминания, ностальгию по детству, по тому миру, от которого они

отказались, — миру, живущему в своем особом ритме, по своим законам; миру такому неказистому снаружи, но наполненному тем особым смыслом и светом, постичь который можно только оказавшись внутри него.

"Если бы все это можно было увезти в Америку!" — вздыхает Бетси.

Но увезти, чтобы потом посещать это улицу как своеобразный этнографический музей, как раз ничего нельзя. И Бетси спешит побыстрее освободиться от накатившегося на нее наваждения, стряхнуть его, вернуться в ставший привычным такой уютный мир, где нет этих допотопных, бранящихся, неприятно пахнущих евреев и где принято говорить о Боге с легкой иронией.

Бетси торопит Цуцика, начинает, как ребенок, ныть о том, что она проголодалась, но тот словно ее не слышит. В отличие от Бетси, ему нравится бродить по Крохмальной, он вдруг начинает осознавать, что этот мир ему куда ближе, чем тот, из которого они только что сюда пришли, и сознательно растягивает свое пребывание в нем.

Это еще не раскаяние, не покаяние, но Цуцик явно переживает то, что на иврите и на идиш обозначается тем же словом, что и "раскаяние". Это — "тшува", возвращение.

И окончательно это возвращение происходит, когда он встречается с Шошей — инфантильной, может быть (а может и не быть), психически не совсем полноценной подругой своего детства.

Чудо заключается уже в том, что Шоша жива — он-то, Цуцик, был твердо уверен, что Шоши давно нет на свете. Все жизненные обстоятельства, вся логика событий, сама хрупкая субстанция Шоши не должны были позволить выжить в эти страшные годы войн, голода и пандемий.

Но она жива! Жива попреки этой самой логике, вопреки своей хрупкой субстанции и самое главное — она почти не изменилась за эти годы. "Шоша не выросла и не повзрослела", — сообщает Зингер и ставит точку в этой короткой, рубленой фразе.

А Шоша, узнав в Цуцике Ареле, забрасывает его вопросами, напоминает ему о счастливых днях их детства, и Грейдингеру приходится сделать над собой усилие, чтобы внять просьбам Бетти и покинуть дом Шоши и ее матери Башеле.

В ту же ночь он впервые спит с Бетси, спит с любовницей своего благодетеля, валится с ней в постель, пытаясь вслед за ней стряхнуть в неистовом блуде наваждение этого дня.

Но наваждение не желает стряхиваться, и Ареле вновь и вновь возвращается на Крохмальную улицу, чтобы продолжить свой странный роман с Шошей.

И вроде бы он и сам, как и Бетси, прекрасно понимает всю нелепость, всю ненормальность этого романа — и одновременно чувствует, что не в силах от него отказаться!

То ли с нежностью, то ли с иронией наблюдает он за тем, как Шоша не может выбрать конфету из шоколадной коробки, и вспоминает, как в какой-то книге по психиатрии он вычитал, что невозможность сделать выбор даже в мелочах — симптом психического расстройства. С той же то ли нежностью, то ли иронией выслушивает он признание Шоши, что она до сих пор мочится в постель, что у нее не наладились месячные, и все больше и больше привязывается к ней, уже не мысля своей жизни без этих поездок на Крохмальную улицу — улицу своего детства.

"Что это? Акт мазохизма? Помешательство? Что ты вообще нашел в этой Шоше?!" — спрашивает Цуцика Бетси.

"Себя", — коротко отвечает он.

* * *

Что же такое Шоша?

Что притягивает молодого, подающего надежды, образованного, современного Грейдингера к этой полудевочке с расстроенной психикой, оторванной от реальности современного мира, мочащейся в постель? Почему этот образ так дорог Башевису-Зингеру и что он, собственно говоря, хотел в него вложить?

Безусловно, Шоша — это само воплощение женственности, и именно это делает ее образ одним из самых мощных женских образов не только в нашей национальной, но и всей мировой литературе. Она чувственна и невинна одновременно ("Ареле, сделай со мной ты сам знаешь что", — так она просит о близости). Она — образец верности и преданности, она — тот самый идеал женщины, о котором, в принципе, втайне мечтает каждый мужчина…

И все-таки Башевис-Зингер вкладывает в этот образ куда больше, с усмешкой скрывая разгадку главной идеи книги за уменьшительным, почти пренебрежительным именем своей героини.

И для того, чтобы понять это, нужно вспомнить, что полное имя Шоши — Шушана. А Шушана на иврите — это лилия, тот самый цветок, который является в Библии символом и олицетворением народа Израиля.

"Как лилия между тернами, так подруга моя меж дев", — говорится в "Песне песней".

В своем классическом комментарии к «Песне песней» Раши поясняет: это означает, что «народ Израиля средь других народов дорог Богу и любим Богом, как лилия — прекрасный и совершенный цветок, выросший посреди терний».

После этого многое становится понятным.

Да, Шоша, конечно, не умеет сделать выбор, когда речь заходит о мелочах, так что со стороны она вполне может показаться сумасшедшей, девушкой-недоумком, остановившейся в своем развитии. Но когда речь заходит о главном, когда нужно сделать нравственный выбор, она не испытывает никаких колебаний, так как, в отличие от Бетти, четко знает, что такое хорошо и что такое плохо, что нравственно, а что — нет.

Да, ее представления об окружающем мире смешны своей наивностью, но когда она задает вопросы о природе Бога и Его взаимоотношениях с человеком, сами эти вопросы неожиданно поражают своей глубиной и точностью.

Но разве не таков и еврейский народ — цепко, как Шоша, удерживающий в своей памяти все детали своего прошлого, кажущийся порой безумным и наивным в своей вере, в своем нежелании идти в ногу со временем, упорно не замечающий, как меняются окружающие его реалии и вместе с тем непрестанно погруженный в размышления над своей Торой, мучающийся вечными вопросами о сущности Бога и Его взаимоотношениях с человеком?!

И потому вряд ли стоит удивляться тому, что за годы разлуки с Ареле Шоша "не выросла и не постарела" — ведь Израиль не может постареть или вырасти, и не случайно еще одним его символом является годовалый агнец — именно агнец, а не овен!

Живший в XIX веке раввин Шимшон-Рафаэль Гирш в своих замечательных комментариях к Торе, объясняя сущность этого символа, подчеркивает, что агнец "еврейского символизма" принципиально отличается от "агнца" с другой, нееврейской точки зрения. Если у неевреев, пишет Гирш, агнец — это "символ постоянного страдания и мученичества", то "в еврейском мышлении ягненок символизирует постоянно радующееся, непорочное существо в расцвете непреходящей юности…"

Шоша не может вырасти и измениться, потому что она не только Лилия, но и Агнец — "постоянно радующееся, непорочное существо в расцвете непреходящей юности".

Стоит заметить, что еще в самом начале романа Исаак Башевис-Зингер подсказывает читателю такую трактовку образа Шоши. Не случайно маленький Ареле Грейдингер пересказывает Шоше "Песнь песней" и говорит, что когда-нибудь она будет его царицей, будет восседать на троне, а генеральская дочь будет

мыть ей ноги: ведь именно такое чудесное превращение, согласно еврейской эсхатологии, должно произойти в конце времен с еврейским народом, когда Иерусалим станет столицей мира и в нем воцарится Мессия.

Встреча с Шошей и возвращение к ней — это встреча и возвращение Грейдингера к своему народу, к тем неизменным ценностям и понятиям, на которых тот строил свою жизнь в течение тысячелетий. Это, говоря словами Бориса Слуцкого, "возвращение из точки в пространство"…

Но одновременно — это и встреча со СВОЕЙ женщиной, с существом, которое обозначается в Каббале понятием "истинная пара", "Йохида" — единственная. И все женщины, которые были у Ареле Грейдингера до этого по сравнению с Шошей — лишь наложницы царя в сравнении с настоящей царицей.

Но если Шоша — это одновременно и символ Израиля, и "истинная пара" героя, то кто же такая Бетси?

Ответ опять-таки лежит на поверхности.

Ну, конечно же, Бетси — это все та же Лилит, Великая Соблазнительница, связь с которой, на первый взгляд, сулит деньги, славу, спасение, а на деле неминуемо оборачивается падением в глубочайшую нравственную пропасть и крушением всех надежд.

Вся фабула романа призвана лишь подтвердить это: Цуцик-Ареле, которому встреча с Бетси обещает долгожданное материальное благополучие, возможность спокойно заниматься любимым делом и писательское признание, в итоге создает совершенно провальную пьесу и оказывается, может быть, даже еще дальше от заветной мечты о славе, чем до этой встречи. От денег остается пшик, и Цуцик вновь впадает в такую ужасающую нищету, что у него возникает мысль о самоубийстве.

"Ареле не ходи к ней… Она хочет отобрать тебя у меня. Она похожа на ведьму!" — говорит Шоша, шестым чувством понимающая, что же такое Бетси.

А тем временем, Бетси, безусловно, не осознающая этой своей зловещей роли, медленно подталкивает Ареле Грейдингера к сделке с Дьяволом.

И кажется, что еще немного — и он вступит в эту сделку, после чего ему уже будет поздно думать о спасении своей души.

Но Ареле останавливается в полушаге от той пропасти, в которую заманивает его Лилит. Останавливается — и делает несколько поспешных шагов назад.

* * *

События Йом Кипура — Дня Искупления, последнего Судного дня накануне Второй мировой войны — занимают центральное место в "Шоше", и не случайно этот день жизни Аарона Грейдингера расписан Зингером буквально по часам.

Стоит вспомнить, что, согласно еврейской традиции, каждый Новый год всем народам мира и каждому человеку в отдельности в Высших мирах выносится приговор, предопределяющий, каким будет для них грядущий год — какой из народов ждет мир, а какой — война, какой — голод, а какой процветание; кому из людей суждена жизнь и кому — смерть, и если все-таки смерть, то какая — от ножа, от пожара, от болезни и т. д. И лишь евреям предоставляется дополнительная возможность раскаяться, заслужить прощение и таким образом изменить вынесенный на Небесах тяжелый приговор. Но реализовать эту возможность можно только до Йом Кипура — Судного дня, Дня Искупления, дня поста и самозабвенной молитвы о прощении.

И Аарон Грейдингер неожиданно для себя принимает решение поститься в Йом Кипур. "Не потому, что верю, будто это Божья воля, а чтобы соблюсти то, что делали мои предки и остальные евреи на протяжении веков", — объясняет он Файтельзону. Он решительно отказывается от предложенного ему коньяка и уже одним этим — с точки зрения все той же еврейской традиции — делает еще один шаг к "тшуве", раскаянию.

Тут-то и бьет час главного испытания героя. Глубокой ночью Судного дня к Грейдингеру звонит Бетси. Звонит и вызывает в отель к тяжело больному Сэму Дрейману. Звонит, чтобы предложить сделку…

Суть сделки проста: по воле Сэма Дреймана, Грейдингер должен жениться на Бетти, которая станет наследницей его огромного состояния, но пока он, Дрейман, жив, Бетти должна оставаться с ним. Взамен, как муж Бетти, Грейдингер сможет получить американскую визу и спастись от надвигающейся Катастрофы, которая — это уже ясно! — сметет с лица земли польское еврейство.

С точки зрения Бетси, сделка эта настолько выгодна, что отказаться от нее может только безумец. Цуцику предлагают спасение, жизнь перед лицом надвигающейся гибели, и вдобавок — будущую финансовую независимость, возможность свободно заниматься любимым делом. Что его может удержать? Шоша? Но Бетти предлагает взять ее с собой в Америку, она даже готова закрыть голову на его связь с этой "карлицей", потратить деньги на ее лечение у лучших американских психотерапевтов. Таким образом, все рациональные препоны на пути к этому браку вроде бы сметены…

"Муж мой, это Божий промысел ведет нас", — с пафосом шепчет ему Бетси, уверенная, что у Грейдингера не будет силы отказаться от подобного предложения.

И Цуцик — подающий надежды блудливый мальчик без четких нравственных ориентиров — действительно начинает колебаться. Но другая его ипостась — та, что выражается именем Ареле, именем перевосвященника Аарона — яростно протестует против этого брака, понимая, что речь идет отнюдь не о Божьем промысле, а о сделке с Дьяволом.

Он уже немало натворил в этой жизни, Аарон Грейдингер.

Он отрекся от своего Бога, он отказался следовать его заповедям. Он прелюбодействовал, сожительствуя с чужой женой; в нем вроде бы не так много и осталось от классического представления о еврее. И вот сейчас ему предлагают сделать последний шаг к отказу от тех принципов, на основе которых жили его предки — ему, как какому-то жиголо, предлагают брак с блудницей. Да, брак унизительный, преступный, но зато открывающий такие перспективы! Брак — в обмен на жизнь и богатство.

И в точном соответствии с канонами дешевых морализаторских романов, но одновременно и в точном соответствии с Каббалой, Цуцика-Ареле не оставляют в эту минуту один на один с темными силами. То ли в видении, то ли в его воспаленном воображении Грейдингеру является его отец, бросающий ему в лицо обжигающие гневом и болью фразы:

"Не позорь меня! Не позорь свою мать и всех остальных предков. Все твои поступки известны на небесах… Язычник! Предатель Израиля! Видишь, что бывает с теми, кто отрицает Всемогущего!"

Так и не приняв окончательного решения, Цуцик, по сути дела, бежит от Бетси и заходит в парикмахерскую, грубо нарушая законы Судного дня! И парикмахер, принявший его за поляка, оборачивает его "белой простыней, как саваном" и начинает задушевный разговор о евреях и о том, как "Гитлер выкурит пархатых из всех щелей". Близко-близко мелькает бритва парикмахера от горла Ареле, и, кажется, что сама Смерть ухмыляется в эти минуты ему в лицо, а парикмахер все говорит, говорит, говорит…

Так выясняется, что евреи, пытающиеся убежать от своего еврейства, еще более ненавистны полякам, чем те, кто остался верен своему еврейству.

"Я вот что вам скажу, шановный пан, — говорит парикмахер. — Эти теперешние евреи — те, что бреются, говорят чисто по-польски и притворяются поляками, — они даже хуже,

чем прежние Шмули и Срули в длинных лапсердаках и с белыми бородами и пейсами…"

И Ареле понимает, что бежать — некуда; что весь тот страшный бег от самих себя, которым загонял себя он, Файтельзон, сотни и тысячи других евреев, был бегом по кругу, ничего собственно не изменившем ни в них самих, ни в том, как на них смотрят другие народы. Более того, может быть, грядущая Катастрофа — лишь расплата за этот бег, ибо ничего, кроме озлобления и обвинения евреев во всех их бедах, он у других народов не вызывает.

Ареле возвращается — возвращается в дом Шоши и Баси, проводит остаток Йом Кипура у них в доме и, в конце концов, решается сделать Шоше предложение.

Это и есть его покаяние — предложение Шоше.

Поставленный перед выбором между Шошей и Бетси, между последним шансом сохранить верность высокой, основанной на Торе морали предков или полной окончательной измене этой морали в обмен на призрачное спасение, Ареле — именно Ареле, а не Цуцик! — Грейдингер делает свой выбор. И, возможно, именно в этот момент и изменяется уже вынесенный ему приговор, и предопределяется его выживание в той адской мясорубке, которая ждет еврейский народ. Ибо, выбирая между Жизнью и Смертью, Ареле Грейдингер выбрал Жизнь.

— Скажи мне, отчего, — спросит его потом Бетси, — все вы — и распутники, и фанатичные евреи — с теми же предрассудками, что и ваши прапрадедушки. Как это получается?

— Мы уходим прочь, а гора Синайская идет за нами. Эта погоня превратила нас в неврастеников и безумцев, — ответит Грейдингер.

Сам он решил остановиться и подчиниться "горе Синайской" — той самой горе, возле которой Всевышний сказал евреям: "Вот Я даю тебе сегодня выбор: Жизнь и Смерть. Так выбери Жизнь!" Тот же Раши, о котором здесь уже упоминалось, говорит, что Жизнь в данном случае следует понимать как следование законам Торы. Ареле выбирает Жизнь — и получает свое право на спасение, но получает его отнюдь не из рук Бетти.

А Бася, узнав о предложении, сделанном Шоше, счастливо всплескивает руками: "Что же это со мной?! Он же постился весь день, сокровище мое, милый мой наследничек!"

Но что, спрашивается, нищая Бася может передать в наследство?! Да то, что нельзя купить ни за какие долары Сэма Дреймана — живой огонь еврейской души, великое умение оставаться евреем при любых обстоятельствах, свою неспособность совершить ни одного нечистоплотного поступка,

свою глубинную и естественную, как дыхание, верность Торе и ее законам.

Так закачивается "тшува", покаяние Ареле Грейдингера, и начинается его "тикун" — исправление.

Сразу после того, как он делает предложение Шоше, с Ареле происходит еще одно чудо — ему начинает везти и в писательских делах, его цикл рассказов о лжемессии Яакове Франке заинтересовывает издателя, а затем и приносит ему долгожданную известность.

Случайность? Но еврейская традиция, а вслед за ней и писатель, как известно, отрицает понятие "случайность". И Башевис-Зингер намеренно строит повествование так, чтобы просматривалась четкая связь между браком его героя с Шошей и его удачей в делах. Он опять следует классическому канону, демонстрируя таким образом, что такое "ашгахат прати" — каббалистический термин, означающий, что каждому ступающему на путь «тикуна» обеспечена особая опека и особая поддержка Всевышнего.

* * *

С момента упоминания рассказов о Яакове Франке в "Шошу" властно входит новая тема — тема лжемессии. На первый взгляд, может показаться, что это — лишь еще одна автобиографическая деталь, напоминание о романе «Сатана в Горае», принесшем писателю известность. Но «Сатана в Горае» был не о Франке, а о Шаббтае Цви; два романа, посвященные Франку и его последователям, были написаны писателем уже в Штатах; так что непонятно, зачем автор так настойчиво несколько раз использует это имя, казалось бы, совершенно необязательное и ничего нового в повествование не вносящее?

Но в том-то и дело, что обязательное! И чтобы понять это, нужно вспомнить, кто же был такой этот самый Яаков Франк.

Основная идея Яакова Франка, развившего идеи Шаббтая Цви, заключалась в том, что для того, чтобы обрести подлинное спасение и реализовать свою историческую миссию, еврейский народ "должен сойти в бездну". "Чем хуже — тем лучше, — учил Франк. — Тот, кто опускается на самое дно, скорее увидит свет. Человеческие страсти — это искры Божьи, и нужно дать им выход, поправ стыд и отменив всякие моральные границы…"

У Франка нашлось немало последователей среди евреев во всей Европе, и мистические обряды франкистов неизменно заканчивались попойками и самыми разнузданными оргиями, во

время которых женщинам приказывалось отдаваться чужим мужчинам в присутствии своих мужей…

Ну, а теперь вспомним рассказ Хаимла Ченчинера о последних днях и последних речах Мориса Файтельзона: "Истинная религиозность, учил Морис, вовсе не в том, чтобы служить Богу, а чтобы досаждать ему, делать ему назло…"

Но ведь в этих словах — вся концепция Яакова Франка!

Да, безусловно, Морис Файтельзон, человек, о котором мельком говорится, что в молодости он продал свою возлюбленную богатому американцу за пятьсот злотых, переполненный гордостью за свои любовные победы, открыто живущий с Селией на глазах ее мужа Хаимла — это и есть Яаков Франк, лжемессия.

И как бы ни очаровывали его философские пассажи и его европейская образованность, следует помнить, что он — Лжемессия, что тот путь, по которому он идет сам и на который увлекает других, — это путь к моральной деградации и гибели.

И — что опять-таки весьма примечательно — первой эту схожесть между Франком и Файтельзоном в романе опять-таки подмечает все та же «дурочка» Шоша.

Само время, в котором выпало жить Ареле и Шоше — это время ложных идей и ложных пророков, время Лжемесии. И не так уж и важно, как именно зовут этого Великого Лжеца — куда важнее быть так же далеко от него, как была Шоша…

* * *

Так о чем же все-таки этот роман — "Шоша"?!

Безусловно, о судьбе целого поколения евреев, вырвавшихся из душного мира своих отцов и дедов к тому, что им казалось Светом и Истиной. Об их безумном стремлении убежать от самих себя, перестать быть евреями, об их фанатичном служении различным лжемессианским идеям и о том, как немногим из них удалось осознать, что подлинный Свет остался там, за спиной — осознать и вернуться к нему.

Для Башевиса-Зингера, самого в определенном смысле слова прошедшего по этому кругу, было несомненно ясно, что еврей, отказывающийся от наследия собственного народа, отвергающий Бога, в итоге утрачивает ту самую нравственную опору, которая единственно и позволяет ему остаться не только евреем, но и человеком вообще. С грустной иронией рассказывает он в "Шоше" о том, как смешны любые попытки заменить эту опору какой-либо другой, и приходит к горькому и почти математически точному

выводу о том, что они неизбежно заканчиваются крахом и Смертью — как в физическом, так и в духовном смысле этого слова. Смерть эта может прийти отнюдь не только от рук Гитлера — не случайно в эпилоге выясняется, что Бетси покончила жизнь самоубийством, осознав всю бесплодность своего существования.

Смерть Шоши в дороге, на следующий день после ее ухода с Грейдингером из Варшавы тоже, безусловно, не случайна — она символизирует собой смерть, уход того польского еврейства, олицетворением которого была Шоша. И Зингер не случайно роняет, что она умерла как «праматерь Рахиль» — несмотря на то, что по Библии Рахель была матерью только Иосифа и Биньямина, в еврейской традиции она, как ни странно, воспринимается как Праматерь всего еврейского народа и Главная Заступница его перед Богом.

Мир после Катастрофы, мир без Шоши — это уже другой, безумный, изломанный мир, и именно эта мысль и становится лейтмотивом в последнем романе Башевиса-Зингера «Мешуга» («Сумасшедший»).

* * *

Роман «Мешуга» был написан в 1982 году явно на волне успеха, завоеванного «Шошей», и объявлен автором своеобразным ее продолжением, хотя, по большому счету, это произведение связано с «Шошей» только одним общим героем — все тем же Ареле Грейдингером, живущим теперь в Америке. Роман этот, по общему и, следует признать, справедливому мнению критиков, значительно слабее «Шоши», хотя и в нем есть немало интересных, ярко написанных страниц.

Если и считать «Мешугу» продолжением «Шоши», то продолжение это, в первую очередь, экзистенциальное.

Во-первых, как и «Шоша», «Мешуга» представляет собой продолжение «игры в мемуары». Некоторые герои романа знакомы читателю по прежним, псевдоавтобиографическим произведениям Башевиса-Зингера, прежде всего, опять-таки, по повестям «Молодой человек в поисках Любви» и «Заблудившийся в Америке», однако на самом деле речь идет о художественном вымысле, о своеобразной игре с Зингера с собственной судьбой во «что было бы, если…».

Во-вторых — и это, по видимому, главное — основная коллизия «Мешуги» совпадает с основной коллизией «Шоши». Но на этот раз, оказавшись в схожих обстоятельствах, Ареле Грейдингер делает совершенно иной выбор: он соглашается

жениться на Мирьям, которая одновременно любит и его, и старого, смертельно больного Макса Абердама и какое-то время сожительствует с ними обоими, не будучи при этом официально разведена с мужем.

Впрочем, на этот раз в романе нет ни одного героя, о котором можно было бы сказать, что он ведет нравственный с еврейской точки зрения образ жизни. Макс Абердам спит практически со всеми знакомыми ему женщинами. Мирьям спит с Абердамом и одновременно с готовностью ложится в постель с Грейдингером. Грейдингер продолжает любовные отношения со Стефой, что совсем не мешает ее престарелому мужу Леону, затем он заводит интрижку со служанкой Абердамов Цловой, и время от времени заглядывает в гости к другой своей давней любовнице Фрейдл… Линн Страллнер, богатая американка, за ребенком которой присматривает Мириам, оказывается лесбиянкой…

В мире, где нет Шоши, не находится места и для Бога и Его заповедей, а значит, «все позволено», значит, нужно жить единственным днем, никак не сдерживая любые свои страсти и желания.

Во второй части романа его герои предпринимают бессмысленное и совершенно безумное путешествие в Израиль, но и там ни один из них не обретает ни смысла жизни, ни покоя. Финал романа многозначителен:

«Мириам перестала плакать. Развалившись на кровати, она сказала:

— Если у нас будет ребенок, мы назовем его Максом.

— Не будет никаких детей, — сказал я.

— Почему нет? — спросила она.

— Мы с тобой похожи на мулов, — ответил я, — последние в поколении».

И все. Финальная точка, поставленная после, по сути дела, той же мысли, на основе которой строится Шоша: отказ от Бога и тех нравственных императивов, на которых все предыдущие поколения евреев строили свою жизнь, ведет к полному вырождению, к появлению бесплодного во всех смыслах поколения, означает, по сути дела, смерть самого еврейского народа. И как тут не вспомнить знаменитое восклицание Достоевского: «Да и можно ли представить еврея без Бога?!»

Однако перед этим горьким финалом Зингер вводит вроде бы совершенно малозначительную сцену:

«Не успели мы войти в квартиру, как зазвонил телефон. Корректор из «Форварда» нашел в одной из моих статей ошибку и спрашивал разрешения исправить ее. Я сказал ему:

— Вы не должны просить разрешения, потому что это

главная цель вашего существования: исправлять промахи писателей, где бы вы их ни находили».

Согласитесь, что весь этот разговор звучит, по меньшей мере, странно: даже далекий от журналистики человек прекрасно знает, что ни один корректор не станет спрашивать, исправлять ли ему допущенные тем или иным автором ошибки, или нет — ведь исправление ошибок является его прямой обязанностью. И, очевидно, речь тут идет о некоем ином Корректоре, который вдруг решил вступить в диалог с автором и задать ему, в общем-то риторический вопрос о том, может ли он исправить допущенную тем ошибку. Сама цель существования этого Великого Корректора, напоминает Зингер, заключается в исправлении допущенных людьми ошибок и Ему незачем спрашивать разрешение на такое исправление. Да, каждый из людей сам пишет книгу своей жизни, но трудно представить, во что бы превратился этот мир без его Главного Корректора, исправляющего человеческие ляпы, нравится это самим людям или нет.

Так финал романа «Мешуга» неожиданно перекликается с финалом «Шоши» — и там, и тут возникает все то же напоминание о Боге и все тот же вечный вопрос о высшем смысле бытия.

«Мы ждем ответа», — этими словами заканчивается «Шоша».

Сам Башевис-Зингер утверждал, что такого ответа не существует. И, тем не менее, он продолжал его ждать…

Глава 5
Триумфатор

Во второй половине 70-х годов Исаак и Эльма Зингер проводили в купленной ими второй квартире в Майами. Климат Майами подходил страдающей артритом Эльме куда лучше, чем климат Нью-Йорка, да и к тому же в Майами в этот период стало селиться много пожилых еврейских пар, и потому там не было недостатка в общении.

Утром 4 октября 1978 года супруги Исаак и Эльма Зингер, по заведенной ими после переезда в этот город традиции, как обычно, завтракали в своем любимом кафе «Шелдонс». Они уже перешли к кофе, когда к их столику подошел официант и сообщил, что миссис Зингер просят к телефону.

Оставив мужа, Эльма прошла к стойке с телефонным аппаратом, но уже через минуту торопливым шагом, почти бегом вернулась назад.

— Кто это звонил? — исключительно из вежливости поинтересовался Башевис-Зингер.

— Неважно кто, а важно, что он сказал! Только что по радио передали, что ты стал лауреатом Нобелевской премии! — выпалила Эльма.

Ни один мускул не дрогнул на лице ее мужа при этом сообщении.

— Успокойся. Это, видимо, просто какая-то ошибка, — сказал он.

— Нет никакой ошибки! По радио назвали твое имя! Сказали, что ты — лауреат…

— Даже если это и так, может быть, ты все-таки дашь мне спокойно доесть? — ответил Башевис-Зингер, отправляя в рот кусочек булочки.

Мы уже никогда не узнаем, чего ему стоило в те минуты это показное спокойствие. Однако нет никаких сомнений, что на самом деле под маской равнодушия он попытался скрыть ту волну счастья, которая вдруг захлестнула все его существо, едва он услышал это известие. На какое-то мгновение он снова стал маленьким мальчиком, сыном нищего раввина с Крохмальной улицы, которого вдруг пришли известить, что царь Давид назначил его своим наследником, и отныне он, Иче-Герц, будет жить во дворце, править миром и иметь тысячу жен и наложниц…

Башевис-Зингер втайне мечтал об этой минуте больше десяти лет — с того времени, как Нобелевский комитет включил его в

список потенциальных кандидатов на получение этой премии. И все эти годы он скрывал страстное желание стать Нобелевским лауреатом под все той же маской литературного аскета, равнодушного к каким-либо наградам, — так, во всяком случае, считает сын писателя Исраэль Замир.

В своей книге «Мой отец, Башевис-Зингер» Замир вспоминает, как сразу после присуждения Нобелевской премии писавшему на иврите израильскому писателю Шаю Агнону Зингера попросили дать интервью о том, как он относится к этому событию.

— Я от всей души желаю старому еврейскому писателю новых творческих успехов и долгих лет жизни, — ответил Башевис-Зингер.

— Но не кажется ли вам, что присуждение Нобелевской премии Агнону значительно понижает ваши шансы на получение этой награды? — задал дотошный журналист следующий вопрос.

Зингер в ответ только повел плечом.

— Видите ли, мои любимые писатели — Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Гамсун и другие также не были удостоены этой премии, — заметил он. — Настоящие писатели вообще пишут отнюдь не для того, чтобы получить какую-либо премию. Творчество для них — это насущная необходимость, нечто, без чего они просто не могут жить.

Однако от Замира не укрылась та тень, которая пробежала по лицу отца в минуты, когда он давал это интервью, и, дождавшись ухода журналиста, он продолжил этот разговор.

— И все-таки, скажи честно, ты ведь не распрощался с надеждой получить эту премию? — сказал он. — Как-никак книги лауреатов Нобелевской премии выходят огромными тиражами и переводятся на десятки языков. Разве тебе не хочется, чтобы тебя читали во всем мире?!

— Конечно, мне крайне важно, чтобы мои книги выходили во всем мире, — ответил Зингер. — Но даже если бы я знал, что их никогда не прочтет ни один человек, я бы все равно продолжал писать.

Однако Зингер, вне сомнения, продолжал жить надеждой на присуждение ему Нобелевской премии. В 1977 году, поздравляя с это наградой Сола Беллоу, он в разговоре с ним не без грусти заметил, что его шансы стать лауреатом с каждым годом становятся все более призрачными.

И вдруг этот утренний звонок, и лицо Эльмы, сиящее от счастья ярче стоящего над Майами солнца…

Едва подойдя к дверям своей квартиры, Зингеры услышали, как за дверью надрывается телефон, и с этой минуты и вплоть до глубокой ночи они уже не отходили от аппарата. Звонки с

поздравлениями от друзей, родственников и читателей следовали один за другим. Звонили со всех концов Соединенных Штатов, из Канады, Аргентины, Чили, Франции, Израиля…

Восхищенные возгласы давних почитателей его таланта сменяли умоляющие голоса редакторов газет и телеканалов с просьбой как можно быстрее назначить встречу для интервью. А так как речь шла зачастую о ведущих изданиях страны, отказать им Башевис-Зингер чувствовал себя просто не вправе.

Словом, с этой минуты и вплоть до самого своего отъезда в Стокгольм у Зингеров не было ни дня покоя.

Вот как описывает те суматошные дни Исраэль Замир, прилетевший в Штаты, чтобы поздравить отца с осуществлением его заветной мечты.

«Жилище отца изменилась неузнаваемо. Салон превратился то ли в пресс-бюро, то ли в телестудию. Работники различных съемочных групп то и дело входили и выходили из дверей, словно это они были хозяевами этой квартиры. То и дело стены озаряли блики фотовспышек; журналисты задавали вопросы и торопливо заносили ответы в блокноты; корреспонденты радио подносили к лицу отца свои микрофоны…

Сам отец сидел в своем любимом кресле, явно пребывая в состоянии душевного смятения. Эльма попыталась подвести меня к нему или хотя бы сообщить о моем приезде, но какой-то фотограф отодвинул ее в сторону, заявив, что ее крупная фигура закрывает от него лицо лауреата и мешает ему найти нужный ракурс. Довольно долго я стоял в этой толпе журналистов, и никто не обращал на меня никакого внимания.

Между тем было похоже, что отцу все же понравилась роль «звезды». Большую часть своей жизни он прожил как мало кому известный литератор, брат знаменитого писателя И.И.Зингера, и вдруг, наконец, пробил и его звездный час. Он расточал улыбки, то и дело выдавал какие-то новые остроты, картинно поводил плечами и вообще явно чувствовал себя в роли властелина мира.

Впрочем, большинство его ответов на вопросы не отличались особой оригинальностью — многие из них я слышал десятки раз на различных его лекциях. Неожиданно он, наконец, заметил меня, встал, пожал мне руку, затем поцеловал и, представив меня всем присутствующим как своего сына, сообщил, что я специально прибыл из Израиля, чтобы поздравить его. Отец попросил тележурналистов снять нас для передачи вместе, но ни один из них не проявил интереса к этой идее. В конце концов, с характерной для нашего брата «вежливостью» меня попросили «освободить пространство» и не мешать им вести съемку…»

В числе прочих Башевиса-Зингера навестила в эти дни и

съемочная группа польского телевидения. Ее визит был вполне предсказуем. В конце концов, именно в Польше разворачивается действие большинства произведений писателя; поляки давно уже не без оснований называли Зингера «польско-еврейским писателем», и все его книги переводились на польский сразу же после их выхода в США.

Однако когда режиссер съемочной группы предложил Башевису-Зингеру дать интервью в камеру на польском языке, тот категорически отказался.

— Но почему?! — удивился режиссер. — Разве пану Зингеру не хочется поговорить на языке своего детства?!

— Я действительно понимаю по-польски, так что вы можете задавать свои вопросы на родном вам языке, но отвечать я буду на английском, — ответил Зингер. — Видите ли, я не говорил на польском больше сорока лет, так что боюсь, что моя речь будет пестреть ошибками. К тому же, на Крохмальной улице, где прошло мое детство, как вы знаете, говорили не на польском, а на идиш. Так что польский — это отнюдь не язык моего детства!

Это был хлесткий, язвительный ответ, призванный напомнить гостям о том, как в свое время в Польше относились к евреям, и одновременно настолько безупречно вежливый, что обижаться на Зингера вроде бы было не за что.

— Пан Зингер, — обратился к писателю режиссер, одновременно незаметно давая оператору указание начать съемку, — у меня с собой есть карта Варшавы. Вы могли бы сейчас, спустя, как вы сами сказали, сорок с лишним лет, показать на ней улицу, на которой жили?

Башевис-Зингер склонился над картой, и его лицо вдруг изменилось, глаза заблестели, и он сам не заметил, как начал нашептывать названия улиц на языке Мицкевича и Пруса. Почти мгновенно он нашел место, где располагалась улица Крохмальная, от нее он легко повел пальцем к Гнойной, где находился когда-то еврейский рынок, а затем с его губ начали один за другим срываться названия улиц, которые ему были дороги. Он рассказывал гостям из Польши об улице Ляшно, на которой когда-то снимал квартиру; о Маршаллковской, бывшей излюбленным местом его прогулок; о Тальмоцкой, где располагался клуб идишских писателей…

В памяти Зингера оживали названия варшавских гостиниц и популярных кафе, облик стоявших в центре города домов. Он вновь и вновь обращался к молодым полякам с вопросом о том, существуют ли еще эти кафе, гостиницы, здания, и те в ответ лишь недоуменно пожимали плечами: большинство перечисляемых Зингером названий им совершенно ничего не

говорило. И уж само собой, ничего не говорили этим людям перечисляемые им с упоением имена классиков идишской литературы, бывших завсегдатаями писательского клуба.

— Значит, нацисты и в самом деле уничтожили все, — прошептал Зингер. — Той Польши, которую я знал, больше нет. Совсем. Она осталась только в моем сердце…

* * *

Если в американских литературных кругах сообщение о присуждении Башевису-Зингеру Нобелевской премии было воспринято как сенсация, но сенсация исключительно в том смысле, что этой премии был удостоен писатель-эмигрант, так и не перешедший в своем творчестве на английский язык, то в еврейских газетах США, Аргентины, Израиля началась самая настоящая свистопляска.

Большинство критиков и мэтров идишской литературы сходилось во мнении, что премия вручена Башевису-Зингеру совершенно незаслуженно, и на самом деле ее должен был получить другой крупный идишский поэт и прозаик — Хаим Градэ. Назывались и другие «более достойные» кандидаты на Нобелевскую премию — поэты Яков Глатстейн и Авром Суцкевер[50]. Многие сходились во мнении, что если бы старший брат писателя Исраэль-Иешуа Зингер был жив, премия досталась бы ему.

Ожесточенный спор вокруг присуждения Башевису-Зингеру Нобелевской премии затянулся даже не на годы, а на десятилетия, и продолжается до сих пор, уже после его смерти. Инна Градэ, вдова Хаима Градэ, вообще посвятила все последние десятилетия своей жизни «разоблачению» Башевиса-Зингера и критике решения Нобелевского комитета.

В 1980 году, выступая на церемонии вручения ей звания почетного доктора еврейского «Йешива-университи», Инна Градэ посвятила большую часть своей речи уничижительной критике творчества Башевиса-Зингера, и поднявшийся на трибуну вслед за ней президент университета профессор Норманн Ламм поспешил разделить ее негодование.

В 2001 году в своем программном эссе об идишской литературе ректор израильского университета Бар-Илан рав Эммануэль Рекман и Стивен Вагнер дошли до утверждения: “Факт, что не Хаим Градэ получил Нобелевскую премию… а ее получил наихудший из возможных, наименее приемлемый с еврейской точки зрения автор”.

Уже в 2004 году, когда мир праздновал столетие Башевиса-Зингера, а его самого уже тринадцать лет как не было в живых, 75-летняя Инна Градэ поспешила заявить свой протест против этих юбилейных торжеств.

“Я глубоко презираю его, — с пафосом говорила г-жа Градэ журналистам. — *И очень сожалею, что Америка отмечает юбилей этого богохульного клоуна… Я презираю его именно за то, что он попытался затащить еврейскую литературу и иудаизм, американскую культуру и литературу обратно в Моав.*[51] *Я глубоко презираю также и тех, кто вкушает хлеб, на который помочился этот нечестивый фигляр».*

Знаменитый исследователь идишской литературы раввин и профессор Аллен Нейдлер высказывался в те же дни в сходном духе, ставя Зингеру в вину даже то, что он сумел уцелеть в Катастрофе. “В то время, как Абрам Суцкевер голодал и воевал с нацистами в литовских лесах, под пулями создавая великую поэзию на идише, воспевшую трагическую судьбу евреев, Зингер поедал сырные блинчики в молочном кафетерии на 72-й улице и размышлял о польских шлюхах и еврейских бесах”, — заметил он в своей статье о Зингере, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» все тем же летом 2004 года.

Масло в огонь этих страстей в значительной степени подлил сам Башевис-Зингер, когда в своей благодарственной телеграмме Нобелевскому комитету написал: “Это (Нобелевская премия) — чудесный сюрприз не только мне, но и всем читателям на идише”. Эти его слова были опять-таки восприняты в искаженном свете, как стремление еще раз дистанцироваться от своих собратьев по перу; нежелание с кем-либо разделить свой успех — пусть даже и символически.

* * *

Тем временем дата вручения премии, а значит, и дата поездки в Стокгольм стремительно приближалась. Зингеру надо было представить Нобелевскому комитету список гостей, которых он хотел бы пригласить от себя лично на церемонию вручения премии, переслать в комитет черновой вариант своей Нобелевской лекции и уладить целый ряд других, может быть, не столь важных, но неотложных дел, связанных с поездкой.

В число тех, кто должен был сопровождать его в Стокгольм, Башевис-Зингер включил главного редактора «Форвертса» Шимона Вебера, своего биографа Поля Краша, рава Берковича, у которого он в последние годы брал уроки Гемары, а также

супругов Дориту и Роджерса Штраусов и Роберта Жиро, представлявших собой второе поколение владельцев издательства «Фарар, Штраус и Жиро», издавшего большинство книг Башевиса-Зингера. Эльма добавила к этому списку двух своих подруг по Майами-Бич, а что касается сына писателя Исраэля Замира, то он должен был присоединиться к числу «сопровождающих лиц» уже в Стокгольме, прилетев в шведскую столицу из Израиля.

Стремясь избавиться от назойливых журналистов, Башевис-Зингер снял номер в гостинице, и там по четыре-шесть часов в день готовил вместе с Дворой Менаше-Телушкиной текст своей Нобелевской лекции, а также спичи для тех мероприятий, в которых воленс-ноленс ему придется участвовать как новоиспеченному лауреату.

Первый и самый главный вопрос, который встал перед Зингером при подготовке текста лекции, заключался в том, на каком языке он должен ее произносить.

С одной стороны, писатель страстно желал, чтобы эта лекция с первого до последнего слова была бы написана и озвучена на идиш. В конце концов, Нобелевская премия была вручена ему именно как писателю, пишущему на этом языке, и с самого начала Зингер не раз говорил (хотя трудно сказать, насколько он в данном случае был искренним), что считает эту премию наградой всей идишской литературе. Выступление еврейского писателя с Нобелевской лекцией на идиш было, по мысли Зингера, тем более важно, что таким образом он, во-первых, отдал бы дань памяти миллионам погибшим в Холокосте евреев, а во-вторых, утвердил бы идиш в качестве полноправного языка среди языков других народов мира.

В правоте этой своей позиции писателя убеждали звонки многочисленных поклонников, которые требовали, чтобы он произнес свою речь на идиш и только на идиш. «Ничего с этими гоями не случится, если они полчаса послушают мамэ-лошн! А нам будет приятно!» — сказал ему один из таких поклонников.

Но, с другой стороны, в этом случае ему бы непременно потребовался переводчик, или же он сам вынужден был бы время от времени останавливаться и переводить очередной отрывок своей лекции. Лекция на английском такого перевода не требовала, и к тому же английский был языком той страны, в которой он прожил большую часть своей жизни, которой он, по большому счету, был обязан своей жизнью. Да и разве мировая слава пришла к нему не благодаря переводам его произведений с идиша на английский?!

В конце концов, после долгий колебаний Исаак Башевис-Зингер и Двора Менаше-Телушкина избрали компромиссный

вариант: первую часть лекции он произнесет на идиш; затем остановится, переведет ее и дальше уже продолжит говорить на английском.

Тем не менее, в Нобелевский комитет был, разумеется, отослан английский текст лекции, так что вступление на идиш должно было стать для членов шведской Королевской Академии в определенном смысле сюрпризом.

* * *

За несколько дней до отъезда писателя в Стокгольм произошел инцидент, в значительной степени оказавший влияние и на текст его Нобелевской лекции, и, как мы увидим, в определенной степени и на дальнейшую жизнь Башевиса-Зингера.

В конце ноября 1978 года с официальным визитом в США прибыл премьер-министр Израиля Менахем Бегин. В числе тех, с кем он захотел встретиться, был и Исаак Башевис-Зингер. Это желание главы израильского правительства было вполне понятным. Как-никак, Башевис-Зингер стал вторым «настоящим еврейским писателем», удостоенным Нобелевской премии. Когда секретарь Бегина позвонил Зингеру и пригласил его в гости к премьер-министру Израиля, писатель, несмотря на все хлопоты, связанные с предстоящей поездкой, сразу же согласился на эту встречу.

— Только пришлите за мной машину или такси, — попросил он. — Своего автомобиля у меня нет, да и управлять им я не умею.

— К сожалению, это невозможно, — ответил секретарь. — Эти расходы не запланированы в нашем бюджете. Постарайтесь как-нибудь добраться до нас сами.

Этот ответ огорошил Башевиса-Зингера и был воспринят им как откровенное оскорбление — в США, да и во всем мире принято, чтобы приглашающая в гости сторона позаботилась о том, чтобы приглашенного доставили до места, а затем и отвезли домой.

Тем не менее Зингер решил не устраивать скандал из-за пустяка и, взяв такси, направился в апартаменты Менахема Бегина.

Поначалу беседа между писателем и политиком протекала в самых дружеских тонах. Бегин тепло поздравил новоиспеченного лауреата, заметил, что видит в этой награде как признание его личного вклада в мировую литературу, так и признание огромного значения всей еврейской культуры. Однако в какой-то

момент израильский премьер неожиданно перешел на менторский тон.

— И все же, господин Зингер, — сказал он, — вы должны отдавать себе отчет, что всю жизнь творили на умирающем языке, который на новом этапе истории стал совершенно не нужен нашему народу. Идиш, возможно, идеально подходил для общения евреев внутри местечка, но окончательно изжил себя после того, как мы вновь обрели свое государство. Язык слабых, гонимых и униженных, он абсолютно не годится для сильной, независимой нации. Это видно хотя бы из того, что на идиш нет слов, с помощью которых можно командовать армией, отдавать приказы солдатам, а ведь армия — это основа существования государства. Ну, как вы, к примеру, отдадите на идиш команду «смирно!»?! «Сведите ноги вместе»?! Так что, извините, но при всем уважении к вам лично и к вашему творчеству, я повторю: ваш идиш обречен, и еще через одно поколение будет вообще никому не нужен!

— Вы правы только в одном, господин премьер: идиш — это язык, предназначенный для мира, а не для войны, для любви и уважения, а не для хамства! — ответил Башевис-Зингер, и, не попрощавшись, не подав Бегину руки, вышел из его номера.

Вернувшись домой, он внес целый ряд исправленный в уже законченный было текст Нобелевской лекции — теперь она во многом звучала как ответ Менахему Бегину и тем евреям, кто разделял отношение израильского премьера к идишу.

* * *

В аэропорту Стокгольма Башевиса-Зингера и его гостей встретила сотрудница министерства иностранных дел Швеции Рут Якоби, которой было поручено сопровождать писателя в течение всего времени его пребывания в стране. В задачу Якоби входило тщательно следить за тем, чтобы писатель не опаздывал на все запланированные в рамках церемонии мероприятия, просвещать его о том, в какой одежде он должен являться на каждое из них, а также определять круг его общения. Приступить к своим обязанностям Рут Якоби пришлось уже в лобби гостиницы «Гранд», куда на полагающихся им черных «вольво» были доставлены все лауреаты Нобелевской премии.

— Господин Зингер! Господин Зингер! — подскочил к нему в холле высокий грузный мужчина. — Разрешите пригласить вас на банкет, который я организую в вашу честь в своем доме. От имени еврейской общины Швеции мы будем рады приветствовать вас и

воздать вам давно положенные почести…

— Право не знаю, что ответить, — замялся Зингер. — А когда вы планируете этот банкет?

— К сожалению, господин Зингер не сможет принять участия в вашем банкете, так как у него очень плотный график мероприятий и к тому же ему нужно время от времени отдыхать, — вмешалась Рут Якоби, мягко отстраняя писателя в сторону и вставая между ним и его собеседником. — В этой ситуации он не может отвечать согласием на каждое подобное предложение…

— Что значит «каждое подобное предложение»?! — вскипел мужчина. — Я — владелец одного из крупнейших банков страны, председатель идишского общества, организатор вечеров чтения на идиш! Каждый год за свой счет я издаю несколько десятков книг на нашем языке. Да знаете ли вы, что этот банкет мы запланировали в первый же день после сообщения о решении Нобелевского комитета?!

— И, тем не менее, господин Башевис-Зингер вынужден отклонить ваше предложение! — отрезала Рут Якоби и, взяв своего подопечного под руку, направилась с ним к лифту.

В этот момент к Зингеру подлетело несколько фотографов из различных шведских европейских газет, и писатель остановился, чтобы дать себя сфотографировать. Он улыбнулся в фотокамеры широкой голливудской улыбкой и приветственно помахал рукой.

В первый вечер пребывания в шведской столице организаторы церемонии запланировали проведение коктейля, на котором новоиспеченные Нобелевские лауреаты должны были познакомиться друг с другом. Войдя в ресторан под руку с Эльмой, Башевис-Зингер сразу же узнал среди присутствующих профессора Петра Леонидовича Капицу и направился к нему. Зингер по-прежнему, как и в молодости, страстно интересовался наукой, следил за ее последними достижениями, и ему хотелось поговорить с великим физиком и о сделанных тем открытиях, и о том, насколько эти открытия, с его точки зрения, подтверждают или опровергают идею существования Бога.

— Шолом алейхем, господин Капица! Как вам нравится этот их Стокгольм? — приветствовал Зингер профессора на идиш, протягивая ему руку.

— Простите, но я вас не понимаю, — ответил 84-летний ученый по-русски, пожимая протянутую ему руку и отводя глаза в сторону.

— Что ж, если вы забыли идиш, давайте говорить на английском. Мне бы хотелось вас о многом расспросить, — продолжил Зингер уже по-английски.

— Простите, но я очень плохо говорю по-английски, — ответил Капица и отошел в сторону.

— Странно, — сказал Зингер, усаживаясь за столик. — Я читал биографию Капицы, и помню, что он много лет проработал в Кавендишской лаборатории, был любимым учеником Резерфорда, да к тому же читал лекции по физике в Оксфорде. Как он мог это делать, не зная английского?!

— Вы и в самом деле не понимаете? — спросила Рут Якоби. — Разумеется, профессор Капица великолепно знает английский язык. Но вы, наверное, обратили внимания на стоявших неподалеку от него двух молодых людей в смокингах. Это — сотрудники КГБ, которые следят за каждым его шагом и ловят каждое сказанное им слово. Таковы правила игры в той стране, из которой он прибыл, и ничего тут не поделаешь.

Зато беседа Башевиса-Зингера с лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии профессором Даниэлем Затнисом и его женой затянулась далеко за полночь. Затнис оказался давним поклонником творчества Зингера, с удовольствием рассказывал ему о своих исследованиях, время от времени не забывая вставлять слова о том, что «все чудеса науки меркнут перед чудом вашего творчества». Так как в беседе принимал участие Исраэль Замир, то разговор сам собой перекинулся на Израиль — выяснилось, что Затнис какое-то время работал в израильском Институте им. Вайцмана, а его жена жила в кибуце, и оба они с удовольствием вспоминали об этом этапе своей жизни.

На следующее утро Башевиса-Зингера ждала встреча с 18 членами Шведской королевской Академии по литературе, определяющими, кто именно станет очередным лауреатом Нобелевской премии в этой области. Выйдя из гостиницы, Башевис-Зингер вновь улыбнулся стоящим возле нее фотографам, помахал рукой туристам, пришедшим поглазеть на лауреатов Нобелевской премии этого года, и только затем сел в «вольво».

Сама встреча с академиками проходила в необычайно помпезной обстановке. Писатель тепло поблагодарил их за то, что они остановили свой выбор именно на его кандидатуре, а почтенные ученые мужи, в свою очередь, поинтересовались, что он думает по поводу их творчества? И вот тут Башевис-Зингер понял, что попал в весьма щекотливое положение — он не читал трудов ни одного из этих академиков, и даже их имена были ему совершенно незнакомы. В поисках выхода из этой ситуации Зингер прибег к вечному, как мир, приему — он заметил, что считает их творчество находящимся в русле лучших традиций скандинавской литературы, представленной такими великими

писателями, как Генрик Ибсен, Август Стриндберг, Кнут Гамсун. Отсюда он плавно перешел к рассуждениям о значении литературной традиции вообще, и далее — к истории идишской литературе, о том, какую роль в ней сыграли традиции, заложенные Шолом-Алейхемом, Перецом, Мендель-Мойхер-Сфоримом и другими классиками.

Шведские академики, разумеется, прекрасно разгадали суть этой игры, но будучи хорошо воспитанными людьми, поддержали начатый разговор и стали расспрашивать Зингера о том, что он думает по поводу будущего идиша и литературы на этом языке.

На выходе из здания Академии Зингер снова подставил свое лицо под фотокамеры, снова ослепительно улыбался, явно наслаждаясь этой ванной из лучей славы. Но вернувшись в гостиницу, он столкнулся с холодным, осуждающим взглядом сына.

— Кажется, ты чем-то недоволен, Гиги? Тебе что-то не нравится? — спросил он.

— Да, мне не нравишься ты, твое пошлое поведение! — прямо ответил Исраэль Замир. — Неужели ты сам не чувствуешь, что ведешь себя, как зарвавшаяся голливудская звезда?! Все эти твои улыбки, махания ручкой, позы… просто отвратительны. Да у тебя даже походка в последние дни изменилась! Ты виляешь задницей, как какая-то старая бл…дь!

В ответ Башевис-Зингер подошел к сыну и положил ему на плечо руку.

— Не волнуйся, сынок! — сказал он. — Все, что сейчас происходит, весь этот праздник подобен цветку, который раскрывается только на одну ночь, чтобы затем навсегда закрыться. Деньги и слава на самом деле никогда ничего для меня не значили. По сути дела, мы приехали в Стокгольм только на одну ночь, и эта ночь очень скоро закончится. Да, я пожимаю руки всем этим королям и графьям, я улыбаюсь фотографам, но в душе я остаюсь все тем же бедняком из еврейского местечка. Так что тебе незачем волноваться за мою душу. Когда все закончится, я вернусь в ту же квартиру, где жил, надену тот же халат, который ношу уже сорок лет, влезу в свои сношенные тапки и сяду писать. Я никому не позволю изменить мою жизнь. Да и что нужно такому человеку, как я? Старая мебель, старые фотографии, напоминающие о прошлом. Я по-прежнему буду вставать в семь часов утра, садиться в свое кресло и писать, писать, писать… Я вновь стану рабочей лошадью, которой нужен редакторский кнут, чтобы она продолжала работать. Так что не волнуйся — я останусь тем же Башевисом-Зингером, которого ты знаешь. Поверь, я не голливудская звезда, и вся эта позолота мне

совершенно чужда. Я просто… старый еврейский писатель, рассказывающий людям о чертях и привидениях, в которые они не хотят верить.

В одном из интервью, данном в те дни, Зингер выразил эту мысль еще более лаконично. «Вчера я был просто идишский писатель, — сказал он. — Сегодня я — лауреат Нобелевской премии. Завтра — снова просто идишский писатель».

* * *

Накануне дня выступления Башевиса-Зингера со своей Нобелевской лекцией Рут Якоби объявила, что и самому лауреату, и всем его гостям-мужчинам следует взять напрокат фраки, так как они считается обязательной формой одежды на церемонии вручения диплома Нобелевского лауреата.

— Не знаю, удастся ли подобрать фрак точно по моему размеру, — засомневался Зингер.

— Это не важно, — улыбнулась Якоби. — В магазине портной подгонит фраки так, что будет казаться, будто они сшиты именно для вас.

Однако когда, обмерив Зингера и всех его друзей, работники магазина фраков выдали им брюки и фраки, соответствующие их размерам, Зингер и Вебер, оглядев друг друга, расхохотались.

— Ну, ты выглядишь как законченный шлимазл[52]! — сказал Зингер Веберу.

— Ты лучше на себя посмотри! — не остался тот в долгу. — Форменный Чарли Чаплин!

Но если Веберу, Замиру и всем остальным фраки и в самом деле удалось очень быстро подогнать по фигуре, то с главным виновником торжества вышла довольно длительная заминка. Когда портной укорачивал брюки, они оказывались Зингеру слишком коротки, когда удлинял — слишком длинны и широки, а фрак упорно отказывался приталиваться и не морщить на его костлявой фигуре.

— Эти лауреаты Нобелевской премии всегда одна большая головная боль! — пожаловался вконец измученный этими бесконечными переделками портной.

— Ничего удивительного! — заметил в ответ Башевис-Зингер. — Просто там, «наверху», считают, что еврейскому писателю отнюдь не пристало получать Нобелевскую премию во фраке. Он должен принимать ее, будучи одетым в шелковый субботний халат и со штраймлом[53] на голове — как и полагается настоящему еврею в день его праздника.

В самый разгар примерки в магазин вошли корреспондент израильской газеты «Маарив» Шмуэль Шницер и тот самый шведский банкир, который во что бы то ни стало решил устроить банкет в честь Зингера. Оба они справедливо рассудили, что лучшего места и времени для того, чтобы обойти Рут Якоби, просто не найти.

— А вы действительно банкир? — спросил Зингер, когда тот повторил свое приглашение.

— Действительно, — ответил тот. — Помимо этого, у меня есть большой текстильный бизнес… Но моя душа принадлежит идишу. Как я уже сказал, я выпускаю книги и организую вечера чтения на этом языке.

— А как идет ваш бизнес?

— Слава Богу…

— Это большой бизнес?

— Довольно большой, так что приходится много работать…

— Значит, будучи чрезвычайно занятым человеком, вы находите время для пропаганды идиша? — спросил Зингер. — Да, вы просто сумасшедший! И я обязательно напишу о вас рассказ. Кстати, «банкет у банкира»… Это звучит здорово. Очень хорошая аллитерация. Так что я принимаю ваше предложение!

Когда осчастливленный этим обещанием бизнесмен ушел, Шмуэль Шницер приступил к тщательно продуманному им интервью с писателем.

— Господин Зингер, — начал он, — представляли ли вы когда-либо в свои мечтах, что настанет день — и вы окажетесь подобном магазине в Стокгольме, чтобы подготовиться к церемонии вручения Нобелевской премии?

— Этот мир безумен. В нем возможно все, что угодно, — засмеялся в ответ Зингер. — Хотя трудно понять, каким образом книги, написанные для горстки оставшихся в живых евреев, вдруг стали бестселлерами на многих языках. Думаю, тут все-таки не обошлось без вмешательства неких высших сил…

— А как вы, господин Зингер, объясняете тот факт, что почти половина Нобелевских лауреатов этого года — евреи? — последовал новый вопрос Шницера.

— Как видно, Господь, да будет благословен Он, вложил в создание еврейского народа немало сил. Это — безумный народ. Это — замечательный народ. Это — народ, который отличается от всех прочих…

— Вы хотите сказать, что другие народы были созданы по-другому? — с явной иронией в голосе спросил журналист.

— Все другие народы — это просто народы, — ответил Башевис-Зингер, и наотрез оказался прокомментировать эту свою

фразу.

Наконец, брюки и фрак были более-менее подогнаны по нестандартной фигуре великого писателя.

Время, когда увешанные полотнами великих мастеров, украшенные позолотой и видавшие виды стены Королевской Академии огласит певучий, лукавый, восточноевропейский идиш стремительно приближалось.

* * *

В пятницу 8 декабря 1978 года зал Шведской королевской академии был забит до отказа.

Здесь собралась вся элита шведского общества — аристократы, политики, бизнесмены, ведущие писатели, актеры и режиссеры страны. Были здесь и лидеры местной еврейской общины, и, разумеется, израильские и американские дипломаты. На предназначенной для выступления лауреата кафедре стояла ваза с цветами и стакан воды. С двух сторон от кафедры сидели 18 членов Нобелевского комитета.

Незадолго до начала лекции Башевис-Зингер предупредил их, что намерен начать ее на идиш. «Никто в этом старом, славном зале никогда еще не говорил на идиш, и, вероятнее всего, больше никогда и не заговорит», — пояснил он свое желание, и шведские академики лишь слегка приподняли брови, но ничуть не выказали своего удивления.

Когда отгремели приветственные аплодисменты, писатель оглядел зал и объявил, что сейчас он будет говорить на идиш — языке своего детства и своего народа. «Идиш — это язык, представляющий собой смесь средневекового немецкого и древнееврейского, а также вобравший в себя слова из языков многих народов, среди которых жили евреи», — пояснил он. Затем оперся обеими руками на кафедру и начал:

«Дер гройсе кибуд вас Шведише Академия… — Великая честь, дарованная мне Шведской Академией — это, одновременно, признание языка идиш, языка нашего изгнания. Языка без родины, без границ, языка, который никогда не поддерживался ни одной властью в мире. Идиш — это язык, в котором нет слов для обозначения видов оружия, боеприпасов, военных маневров; нет слов и терминов, которые необходимы для ведения войны. Это язык, который и нееврец, и ассимилированные евреи в равной степени презирали в своем сердце. Но все великие религии в итоге декларировали те самые нравственные и духовные идеалы, которые для тех, кто говорил в гетто на идиш, были просто нормами

повседневной жизни. Это были люди Книги в самом полном смысле этого слова. Не было в их жизни большей радости, чем изучение Торы, Мишны и Гемары. Мораль Торы и тайны Каббалы в значительной степени определили все их взаимоотношения между собой. Нет, гетто отнюдь не было только убежищем для гонимого меньшинства — оно было еще и экспериментальным полем, где люди учились жить в мире друг с другом, где формировались основные принципы уважения к личности и гуманизма. В определенном смысле слова оно существует и сегодня, и не собирается умирать, несмотря на все жестокое отношение к нему окружающего мира…»

Здесь Башевис-Зингер сделал длинную паузу, после которой перешел на английский. В этом своем выступлении он подводил итоги своей жизни, вспоминал своего отца и брата, оказавших решающее влияние на формирование его личности и одновременно высказывал свои взгляды на роль писателя в обществе, на само устройство мироздания и предназначение в нем человека.

Пожалуй, ни до, ни после Зингера слово «Бог» не звучало в речах нобелевских лауреатов так часто, как оно звучало в его выступлении. И, пожалуй, ни один писатель XX века до Зингера не решался определить главную задачу литературы как возвращение человечеству веры в Бога, в провозглашенные Им ценности, а вместе с этим и веры в самого себя:

«Нельзя не видеть, что влияние религии, особенно вера в откровение, сегодня слабее, чем в любую другую эпоху истории человечества, — сказал Башевис-Зингер в этой своей речи. — *Все больше детей растет без веры в Бога, без веры в воздаяние и наказание, в бессмертие души. Без веры в необходимость этических и моральных устоев. Разразилась Вторая мировая война, и все мрачные пророчества Освальда Шпенглера сбылись, стали нашей реальностью. Невероятный технический прогресс никак не может компенсировать то, что произошло с отдельной человеческой личностью: чувство одиночества, подавленности и страха перед новой войной, перед революциями, террором — это живет в каждом из нас. Наше поколение утратило не только веру в Божий промысел. Мы утратили веру в человека, в разумное устройство общества, в доброе отношение близких людей…*

…Мне, сыну народа, на который обрушились самые страшные бедствия из тех, что смогло изобрести человеческое безумие, нельзя не думать о бедствиях человечества, о грядущей о судьбе… Я пришел к неверию, сомнению, к отрицанию Божественного откровения. Но никогда не соглашусь я с теми, кто считает, будто Вселенная — результат слепой эволюции, сочетание случайных

физических и химических процессов. У меня достаточно жизненного опыта, чтобы видеть: много неверного, много штампов и схем в человеческом сознании… Путь для человека — употребить все силы, все свои знания на то, чтобы служить Богу — Тому, Который говорит с нами через дела Его, а не через слова, и язык Которого есть Космос. Не постыжусь признаться, что я принадлежу к тем, кто полагает, что литература способна открыть перед нами новые перспективы, новые горизонты — философские, религиозные, эстетические и даже социальные…»

Завершил Зингер свою лекцию возвращением к вопросам о судьбе идиша и еврейского народа и их роли в истории человечества:

«Несмотря на весь мой скептицизм, на постигавшие меня постоянно разочарования, я неизменно верю в одно: народы могут многому научиться у евреев. Да, у «тех самых евреев»: научиться склонности к размышлению, умению воспитывать детей, умению находить счастье там, где другие не увидят ничего, кроме нищеты и унижения.

Для меня язык идиш и те, кто говорит на нем, — одно целое. Еврейской душе присуще почитание Господа и уважение к нему, ожидание радости от жизни, мессианские чаяния, терпение и глубокое понимание человеческой натуры. А еще — спокойный, мягкий юмор, благодарность Богу за каждый прожитый день, за каждую крупицу успеха, за каждое проявление любви. Все, все это можно выразить на идиш. Еврейская ментальность не признает высокомерия. Евреи не считают, что успех должен прийти сам, и прийти непременно. Нет, менталитет наш таков — не надо ничего требовать от жизни, не надо командовать и распоряжаться: человек с грехом пополам, кое-как пробирается среди сил разрушения, понимая, что Господний план творения лишь в самом начале.

Некоторые считают, что идиш — мертвый язык. Но то же самое говорили про иврит две тысячи лет подряд. Его возрождение в наше время — настоящее чудо. Арамейский — безусловно, мертвый язык. Но он донес до нас свет «Зоара», на нем творили и наши мистики. Непреложный факт: наши классики, что писали на идиш — классики и современной ивритской литературы. Идиш еще не сказал своего последнего слова. Он таит в себе сокровища, доселе еще неведомые миру. Это — язык святых и мучеников за веру, мечтателей и каббалистов. Язык, полный юмора. Язык, который многое помнит — то, что человечество никогда не сможет забыть. Можно сказать еще: идиш — язык мудрости и смирения, способный выразить и страхи, и упования человечества».

Когда писатель закончил говорить, зал встал, грянули

оглушительные аплодисменты, после которых пришло время вопросов и ответов.

— Почему же ни одна из ваших книг не увидела свет на идише — все они выходят на английском? — таков был первый вопрос.

— Мои книги впервые выходят в свет как раз на идише, — ответил Башевис-Зингер. — Другое дело, что они, к сожалению, почти никогда не выдерживают второго издания на этом языке. Издатель, выпускающий книги на идиш, считается успешным, если ему удается распродать тираж в 2000 экземпляров. Он знает, что если распродал такой тираж, то с ним произошло настоящее чудо, и он должен благодарить за него Бога. И потому он обычно не берет на себя риск допечатки этого тиража. Я надеюсь, что деньги, полученные мною в качестве Нобелевской премии, помогут увидеть свет моим произведениям на идиш.

Второй вопрос состоял в том, в чем Зингер видит различие между религиозными евреями Польши времен своего детства и юности и современными религиозными евреями Америки, и почему он пишет именно о канувшем в лету польском еврействе, а не о проблемах современных евреев США?

— Ну, безусловно, между ними есть большое сходство и, вместе с тем, большое различие, — ответил Зингер. — Вы, конечно, знаете, что с возрастом, по мере старения, воспоминания о нашем детстве и молодости, становятся все острее. Там, в Польше, хасид жил жизнью хасида и был хасидом 24 часа в сутки. В Америке он, конечно, тоже хасид, но одновременно и торговец, и адвокат, и бизнесмен. У него нет возможности быть хасидом все время. И все же хасидизм продолжает жить. Умирают люди, но не созданная ими культура. Даже Гитлер и Сталин не смогли уничтожить еврейскую культуру.

Вслед за этим один из лидеров еврейской общины Швеции задал вопрос о том, в чем, по мнению Зингера, заключается различие между «духом идиша и духом иврита»?

— Прежде всего, следует отметить, что есть две ветви иврита, — стал объяснять Башевис-Зингер. — Древний иврит, на котором написаны наши священные книги, и иврит современный. Когда я в 50-х годах посетил Израиль, мне стало любопытно, как на иврите обозначается «такси»? Я спросил об этом у своего друга. «Тебе повезло, что ты спрашиваешь об этом именно сегодня, — ответил он. — Только вчера родилось новое слово для этого понятия — «монит»… Идиш не столь древен, и вместе с тем не столь современен — в этом и заключается основная разница. В идише есть дух прошлого, но нет слов, с помощью которых можно

объяснить устройство атомной бомбы. А иврит удивительно современен! Некоторые утверждают, что идиш — это больной, умирающий язык. Но умный человек понимает, что разница между больным языком и мертвым языком приблизительно такая же, как между больным человеком и мертвецом. У больного человека всегда есть шанс выздороветь…

— Господин Зингер, — начал следующий слушатель, — ваши книги переведены на 50 языков мира. Как вы думаете, не увеличится ли после получения вами Нобелевской премии число этих языков до 150? И еще один вопрос: в интервью шведскому телевидению вы сказали, что давно ищете печатную машинку с идишским шрифтом. Удалось ли вам ее найти?

— Прежде всего, мои книги переведены не на 50, а на 16 языков, — последовал ответ писателя. — Я сказал об этом во время одного из интервью, однако в текст публикации вкралась ошибка и вместо слова «шестнадцать» было напечатано «шестьдесят». До сих пор мне приходится извиняться за эту опечатку. Но может быть сейчас и в самом деле число языков, на которые переведут мои книги, достигнет 60. За свою жизнь мне часто доводилось наблюдать, как самая большая, нелепая ложь вдруг становилась правдой. Что касается пишущей машинки — уже много лет в мире не производят машинок с идишским шрифтом — только с ивритским. Я боюсь, что даже всей Нобелевской премии не хватит на то, чтобы приобрести две новые машинки с идишским шрифтом. Потому я и обращаюсь с телеэкрана к тем, у кого есть такая машинка, и она ему не нужна — может быть, он согласится подарить мне ее. Моей машинке исполнилось уже 43 года, и за это время она превратилась в строгого литературного критика. Каждый раз, когда я пишу что-то, что ее не устраивает, она начинает выделываться. У нее заедают буквы. Я отсылаю ее к мастеру, но тот уверяет, что с машинкой все в порядке и она отказывается у меня работать исключительно по принципиальным творческим соображениям.

В зале раздался громкий смех и снова грянули аплодисменты.

Последний вопрос выпало задавать высокому, стройному шведу, всем своим обликом вызывавшем воспоминания о викингах. Но, как ни странно, он задал «чисто еврейский вопрос» — что Исаак Башевис-Зингер думает о сделанном Мартином Бубером[54] переложении сказок и истории рабби Нахмана из Бреслава?

— Рабби Нахман из Бреслава был удивительным человеком и одним из величайших рассказчиков в мире, — ответил Зингер. — Профессор Мартин Бубер, открыв его для себя, решил творчески

переработать истории рабби Нахмана. Но профессору Буберу не стоило этого делать, потому что крайне важно, чтобы истории рабби Нахмана из Бреслава остались именно в том виде, в каком он их сочинил. Знаете, однажды ко мне пришел молодой человек, который хотел, чтобы я прочитал написанную им книгу «Все пьесы Шекспира, улучшенные, расширенные и переработанные Нахумом Горовицем»…

Продолжить Зингер не сумел: казалось, стены зала вот-вот рухнут от грянувшего хохота.

— Боже упаси, я не хочу сравнивать профессора Бубера с тем самым Горовицем, — произнес Зингер, дождавшись, когда публика отсмеется. — Единственное, что я хочу сказать: рассказы, притчи и сказки рабби Нахмана из Бреслава так прекрасны потому, что именно он, а не кто-то другой рассказал нам их…

На этом встречу с лауреатом Нобелевской премии Исааком Башевисом-Зингером объявили законченной.

— Знаете, — признался потом писателю один из ее участников, — давно я уже не получал такого удовольствия. И еще одно я знаю точно: еще никогда в этом зале за всю его историю так искренне не смеялись…

* * *

На следующее утро, придя в киоск, чтобы купить свежий номер «Нью-Йорк Таймс», ее постоянные читатели не поверили своим глазам: на первой странице газеты вместо привычной латиницы были выведены витиеватые еврейские буквы — первые фразы Нобелевской лекции Башевиса-Зингера. А почти всю первую полосу газеты «Форвертс» занимал набранный гигантским шрифтом длинный заголовок передовицы Вебера — «Башевис-Зингер открыл свою Нобелевскую речь на идиш!!!»

Сам Башевис-Зингер в то субботнее утро вместе с четырьмя другими лауреатами-евреями был приглашен на утреннюю молитву в реформистскую синагогу Стокгольма. Нужно заметить, что это, с еврейской точки зрения, было довольно двусмысленное приглашение. И дело не только в том, что многие не только религиозные, но и светские евреи не признают реформистский иудаизм, считая его профанацией подлинной еврейской веры. Дело заключалось еще и в том, что само это приглашение означало, что все лауреаты должны были нарушить законы соблюдения субботнего покоя — ведь добираться до синагоги надо было на машине, а иудаизм категорически запрещает любые поездки в субботу. И, тем не менее, все лауреаты-евреи приняли

этого приглашение, за исключением профессора Капицы — но тот, разумеется, отказался от него отнюдь не по религиозным соображениям.

Но если два профессора-еврея сделали это, так как давно уже оторвались от своих национальных корней и не имели никакого представления об иудаизме, то Башевис-Зингер, разумеется, не мог не знать о том, что разрешено и что запрещено еврею в субботу. И, несмотря на это, спокойно сел в «вольво» и отправился на ней вместе с сыном в синагогу — так Зингер еще раз продемонстрировал себе и всему еврейскому миру, что он не собирается исполнять «внешние», как он их называл, предписания иудаизма.

В синагоге всех лауреатов, само собой, ждал восторженный прием со стороны ее прихожан — гостей пригласили подняться к чтению Торы, и каждый раз, когда один лауреат Нобелевской премии сменял у священного свитка другого, синагога взрывалась аплодисментами. Зингера как коэна, потомка первосвященника Аарона, вызвали к Торе первым.

Вечером того же дня Башевис-Зингер был приглашен на банкет, устроенный в его честь лидерами еврейской общины. Оказавшись в кругу евреев, говоривших на идиш, писатель оживился, весь вечер пребывал в приподнятом настроении, много шутил и произносил тост за тостом. Большинство его спичей было посвящено прославлению идиша.

— Мне доводилось слышать, что английский считается самым богатым языком в мире, — сказал Зингер. — Но как измерить богатство того или иного языка? Если оно измеряется числом синонимов, соответствующих одному слову, то идиш — особенно, по словам, касающимся определенной сферы человеческой жизни, куда богаче. Скажем, сколько синонимов есть в английском языке у слова «нищий»? Ну, три, ну, пусть четыре… А на идиш в силу обстоятельств нашей жизни у этого слова есть десятки синонимов…

И под общий хохот собравшихся Зингер начал буквально сыпать идишскими словами, обозначающими бедность и нищету — их набралось больше двух десятков.

— Я уже не говорю о тех, словах, которые обозначают бедняка в своем переносном смысле, — продолжил Зингер. — Скажем, когда мы называем человека Ротшильдом, мы отнюдь не имеем в виду, что он — банкир. А сколько у нас есть пословиц и поговорок про бедность?! Да по их количеству с нами опять не сравнится ни один народ! Но пойдем дальше. Как по-английски сказать «сумасшедший»? Опять мы имеем ряд всего из трех-четырех слов. Добавим к ним медицинские термины — и получим

пять-шесть. А на нашем идише… — и Зингер снова выстрелил в собравшихся целым букетом слов.

— Так что, — закончил Зингер, как вы видите, когда речь заходит о бедности и безумии, наш еврейский язык оказывается и в самом деле самым богатым в мире! И потому нет ничего страшного, что в нем нет таких слов, как «автобус» или «метро». Ведь ни один язык в мире не сравнится с ним по богатству и выразительности, когда нужно рассказать о тончайших оттенках человеческих чувств! Кстати, а знаете ли вы, как произносят слово «сумасшедший» почти все американцы? Очень просто: ме-шу-га!

* * *

Ну, а затем настало воскресенье — день вручения Нобелевской премии. Утром в номер Зингера пришла Рут Якоби, чтобы напомнить ему, что он должен педантично следовать всем правилам церемонии и ни на «йоту» от них не уклоняться.

Но одно это требование вывело Башевиса-Зингера из себя — он заявил, что никогда в жизни не следовал каким-либо правилам, не подчинялся чьим-либо указаниям и тем более не собирается это делать ради какой-то паршивой Нобелевской премии. Лишь когда Рут разрыдалась и сказала, что если ее «подопечный» во время церемонии ошибется, то ее уволят из МИДа, Зингер сменил гнев на милость и согласился вместе с молодой женщиной изучить распорядок церемонии, а затем отправился вместе с ней на ее генеральную репетицию в главный концертный зал Стокгольма.

Когда он вернулся с репетиции, времени на отдых не оставалось — церемония вручения Нобелевской премии начиналась ровно в 16.30.

К этому времени главный концертный зал Стокгольма уже был полон народу. Над сценой зала нависал огромный герб Швеции, под которым отсвечивали золотые цифры «1978». Среди одетых во фраки мужчин и щеголявших в вечерних туалетах дам особенно выделились шведские генералы, никогда не участвовавшие в сражениях, но, тем не менее, почему-то обвешанные с ног до головы всевозможными медалями и орденами. Большинство из присутствующих откровенно скучало — все они уже не раз были свидетелями церемонии вручения Нобелевской премии, знали, что она расписана до мелочей, и явились сюда скорее по обязанности, чем из любопытства.

Наконец, герольды протрубили в серебряные трубы, и король

с королевой, а вслед за ними и другие члены королевской семьи стали подниматься на сцену, а за ними медленно, степенно двинулись и лауреаты Нобелевской премии этого года. Башевис-Зингер шел последним, и на его лице застыло какое-то странное, отсутствующее выражение — казалось, он обдумывает свой новый рассказ и все происходящее вокруг его совершенно не касается. Когда все участники церемонии оказались на сцене, председатель Нобелевского фонда профессор Сон Бернжистром объявил церемонию открытой и пригласил членов Нобелевского комитета огласить достижения лауреатов, за которые они были удостоены столь высокой награды.

Каждого лауреата, согласно заведенной традиции, представлял один из членов Нобелевского комитета — как правило, профессор, специализирующийся в той области, за которую «его» лауреат и получил премию. О достижениях Башевиса-Зингера было поручено доложить профессору литературоведения Ларсу Джеленстону.

«Многие образы писателя, — отметил профессор Джеленстон, — уже вошли в пантеон вечных образов мировой литературы….»

Когда потом Башевиса-Зингера спросили, что он чувствовал в те мгновения, писатель ответил, что ему в какой-то момент показалось, что миллионы погибших в Катастрофе говоривших на идиш евреев стоят за его спиной, и он вдруг начинает растворяться среди них, ощущая себя лишь крохотной клеточкой огромного еврейского народа, и это не ему, а всей культуре европейского еврейства воздаются такие почести. Но в следующее мгновение его сердце вдруг сжалось от боли — для полноты счастья ему не хватало, чтобы рядом с ним, на этой сцене, стоял его брат Исраэль-Иешуа Зингер.

После вручения дипломов и памятных медалей лауреатов, согласно правилам церемонии, ее участники направились в старую ратушу Стокгольма на банкет в честь лауреатов, в котором принимало участие 1200 человек. Лауреаты Нобелевской премии шли в этой процессии за королевской четой, под руку с кем-то из членов королевской фамилии. Профессору Капице досталось вести под руку вдовствующую королеву-мать, а вот Башевису-Зингеру волею судьбы в качестве спутницы была назначена юная сестра короля принцесса Кристина.

Обычно марш лауреатов из концертного зала в ратушу проходит в чопорном молчании, однако тогда, в 1978 году, и эта традиция была нарушена — неожиданно тишину прервал громкий, заливистый смех принцессы. Девушка попыталась вернуть себе обычное выражение лица, но через мгновение

начинала снова почти неприлично хохотать — видимо, смеясь над какой-то шуткой, отпущенной Зингером по поводу этого чинного шествия.

— Что ты ей такого сказал, что она просто умирала от смеха? — спросил потом отца Исраэль Замир.

— Гм… А с каких это пор ты стал вмешиваться в мои отношения с женщинами?! — ответил Башевис-Зингер.

Во время банкета в ратуше каждый лауреат должен был выступить с трехминутным спичем — разумеется, тоже очень чопорным и серьезным. Однако Зингер вновь не пожелал следовать установленным традициям — его спич трудно было назвать официальным.

«Время от времени меня спрашивают, почему я пишу на умирающем языке, — сказал он. — Но ведь я люблю писать о призраках, а на каком же языке лучше всего писать о них, как не на умирающем? Чем больше агонизирует язык, тем более живым он становится для мертвецов и призраков. Призраки любят идиш, и, насколько мне известно, все они, как один, умеют говорить на этом языке. Кроме того, что я верю в демонов и призраков, я еще верю и воскрешение мертвых. И я уверен, что когда придет этот день, и миллионы евреев, говоривших на идиш, встанут из своих могил, одним из первых вопросов, который они зададут, будет: «А есть что-нибудь новенькое почитать на идиш?!»…»

Все присутствующие в зале заулыбались, хотя, думается, Башевис-Зингер был в тот момент серьезен, как никогда.

И уже после окончания этого банкета крайне узкий круг гостей пригласили в бальный зал на аудиенцию с королем. Каждый из лауреатов мог выбрать лишь немногих из своих друзей, которые сопровождали бы его на эту беседу с монархом, и Башевис-Зингер пожелал, чтобы рядом с ним в эти минуты находился его сын Исраэль Замир. Вот как Замир вспоминает о встрече Башевиса-Зингера с королем Швеции Густавом XVI:

«Подошла наша очередь. Отец сделал шаг, и я вслед за ним. Возникла неприличная пауза.

В самом деле, о чем говорят с королем? Но и король тоже выглядел смущенным. Что королю до литературы на идише?! Отец пришел в себя первым.

Отец: «Ваше величество, я счастлив находиться здесь…»

Король: «Ну да, конечно…»

Отец: «Трудно поверить, что я все это вижу собственными глазами…»

Король: «Ну да, конечно…»

В этот момент секретарь, стоящий позади короля и шепотом представляющий ему присутствующих, а также подсказывающий

нужные вопросы, напомнил монарху обо мне.

Король: «Я слышал, что вы и ваш сын не встречались друг с другом двадцать лет. Ну, это очень интересно…»

Отец: «О да, но это было давно…»

Король: «Мне рассказали, что вы оба написали новеллы об этой встрече…»

Я: «Вышла книга «Ключ», и там эти два рассказа встречаются друг с другом…»

Отец: «Я снова не дал сыну рассказать историю вместо меня…»

Король: «Ну да, конечно…» — и снова молчание.

Нам намекнули, что время аудиенции закончилось, и мы перешли в комнату для гостей».

Сразу после этого Башевис-Зингер заявил, что очень устал и хочет вернуться в гостиницу.

— Как, вы не останетесь на бал? Не хотите потанцевать и пообщаться с гостями?! — с явным разочарованием в голосе спросила Рут Якоби.

— Я хочу уехать отсюда! — отрезал Башевис-Зингер.

Оказавшись в машине, он резким движением сорвал с себя «бабочку», бросил ее на сидение и расстегнул рубашку.

Праздник кончился.

Ему не терпелось вернуться к работе.

Глава 6
Закат

По возвращении в Нью-Йорк Башевис-Зингер очень быстро понял, что Нобелевская премия не стоила той цены, которую ему пришлось за нее заплатить.

Не успевал он появиться на улице, как многие прохожие мгновенно узнавали его по газетным фотографиям и просили автограф. Когда он подошел к лавочке, где обычно покупал семечки и булочки для того, чтоб покормить голубей в Сентрал-парке, хозяин магазинчика наотрез отказался принять у него деньги, но зато попросил поставить автограф на книге, которую он предусмотрительно купил еще во время пребывания Зингера в Стокгольме. Зингер расписался на обложке книги и стал настаивать, чтобы лавочник принял деньги, но все было тщетно.

В парке прохожие то и дело показывали на него пальцами и многие опять-таки подходили, чтобы попросить автограф.

Спустя несколько дней Зингеру стало ясно, что от кормления голубей, доставлявшего ему столько удовольствия, придется отказаться. Но каждый выход на улицу, каждый поход в кафе все равно превращался для него в ад. Он устал от бесконечных поздравлений, похлопываний по плечу, которые себе позволяли совершенно незнакомые ему люди, просьб об автографах. Кроме того, ему досаждали папарацци, уже с утра дежурившие у его дома, чтобы запечатлеть лауреата Нобелевской премии и продать в газету или журнал снимок «Исаак Башевис-Зингер с женой на прогулке по Бродвею» или «Исаак Башевис-Зингер размышляет о вечности за чашкой кофе в кафе». Некоторые из них умудрялись отснять целые фоторепортажи об одном дне жизни писателя.

Вдобавок ко всему в кафе или на улице к нему подходили какие-то люди, представлявшиеся журналистами, обменивались с ним двумя-тремя фразами, а затем в газетах и журналах выходили пространные интервью, которых он никогда не давал.

Самое же худшее заключалось в том, что он не знал покоя и дома.

Номер домашнего телефона писателя можно было без особого труда получить в справочной, и в течение нескольких месяцев после получения Нобелевской премии к Зингерам непрестанно звонили не только друзья и знакомые, но и друзья друзей и знакомые знакомых, те, с кем он пару раз перемолвился в кафе, да и просто посторонние люди.

Все они не только поздравляли его с получением

Нобелевской премии, но и приглашали на обед, так как в Америке (как, впрочем, и во всем мире) считается необычайно престижным собрать друзей и сослуживцев на ланч с участием нобелевского лауреата. Эти звонки продолжались и после того, как писатель «засекретил» свой номер телефона, и он уже не фигурировал ни в телефонной книге, ни в данных справочной службы.

Однако в обрушившейся на Зингера славе было, несомненно, и немало приятных моментов, не только пополнявших и без того его весьма солидный банковский счет, но и в немалой степени тешивших его самолюбие.

Башевис-Зингер любил рассказывать, как вскоре после получения Нобелевской премии его пригласили читать лекцию в военную академию в Вест-Пойнте. Здесь в честь него был выстроен почетный караул и проведен специальный парад курсантов — таким образом начальство Академии решило отдать должное человеку, «внесшему свой вклад в прославление Америки».

Когда глава Академии в чине генерал-лейтенанта сообщил писателю, что ему предстоит пройти вместе с ним мимо почетного караула, Зингер спросил, должен ли он отдать честь перед строем.

— А вы когда-нибудь служили в армии? — поинтересовался генерал-лейтенант.

— Признаюсь, в свое время я намеренно довел себя до дистрофии, чтобы избежать этого удовольствия, — ответил Зингер.

— Ну, тогда, думаю, отдавать честь вам не стоит, — ответил генерал.

Самое любопытное, что та лекция в Вест-Пойнте, начавшись с гробового молчания собранных в зале курсантов, прошла в итоге с огромным успехом. Оглядев присутствующих и поняв, что вряд ли кто-нибудь из них читал его книги, Зингер начал говорить… о любви и о сексе и о том, что ему лично, как и его героям, никогда не хватало одной женщины. Эта тема вызвала живой интерес у всех присутствующих. Многие поспешили согласиться с писателем в том, что уже сразу после женитьбы любой мужчина мечтает о любовнице, а дальше разговор потек сам собой.

Среди тех вопросов, которые были заданы Башевису-Зингеру, был и вопрос о его отношении к Израилю и к его «оккупационной политике».

— Я люблю Израиль, много раз бывал там и могу заверить вас, что меньше всего израильтяне хотят воевать, — ответил Зингер. — Когда же речь заходит о так называемой «израильской

агрессии», то я вспоминаю, как в годы моей жизни в Польше поляки постоянно советовали евреям «убираться в свою Палестину». Теперь же, когда евреи «убрались в Палестину» и создали там свое государство, им советуют убираться из Палестины. Когда же они осмеливаются защищаться от тех, кто желает их уничтожить, их обвиняют в агрессии. Так куда же, по-вашему, должны убраться евреи?!

Приглашения на подобные лекции или литературные чтения, которые сам писатель называл «словесными концертами», следовали одно за другим, причем обычно за каждую из них Зингер получал по 2000 долларов, а такие деньги, любил говорить он, на улице не валяются. При этом — и лекция в Вест-Пойнте была лишь одним из многих тому подтверждением — великий писатель с легкостью устанавливал контакт с любой аудиторией. Однако больше всего его, разумеется, привлекали встречи, устраиваемые в самых разных частях США в еврейских клубах или загородных гостиницах, в которых пожилые евреи любили пережидать летнюю жару. Оказавшись среди своих читателей, Зингер наслаждался и оказываемым ему вниманием, и возможностью поговорить на идише и вспомнить годы своей молодости. Большинство задаваемых ему вопросов повторялись от встречи к встрече, и потому у Зингера давно уже были заготовлены стандартные и вместе с тем тщательно отшлифованные ответы на них.

Не упускал он возможности и подшутить над устроителями таких лекций или теми, кто отвечал за их проведение. Так, перед одной из них молодой человек, которому было поручено сопровождать Башевиса-Зингера, высказал опасение, что пожилой писатель может растеряться перед незнакомой аудиторией, и спросил, существует ли у него вопрос, на который тому особенно нравится отвечать.

— Я задам вам этот вопрос, и таким образом мы выиграем время, — объяснил этот юноша.

— Спросите меня о том, в чем я вижу сходство своего творчества с творчеством Марка Шагала, — посоветовал ему Зингер.

Когда пришло время задавать вопросы, молодой человек поспешил подняться со своего места и спросил, существует ли некое глубинное сходство между книгами Зингера и полотнами Шагала?

— Это — самый идиотский вопрос, который мне доводилось слышать, — ответил писатель.

Среди тех почестей, которые Америка воздала Башевису-Зингеру за присуждение ему Нобелевской премии, была и

специальная медаль муниципалитета Нью-Йорка, а также появление в Майами-Бич улицы, носящей его имя.

Участились в эти годы и поездки писателя в Европу и в страны Латинской Америки, куда он также выезжал на лекции или литературные вечера, устраиваемые в его честь.

Одновременно по Америке волнами расходились слухи о его победах над женщинами, и в 1985 году журнал «Мак-Кулс» включил его в десятку самых сексуальных мужчин Америки.

И все это время, вплоть до конца 80-х годов, когда болезни начали сжимать вокруг него смертельное кольцо, Башевис-Зингер продолжал писать в своем обычном, поистине титаническом режиме.

Один за другим на страницах все того же «Форвертса» и ряда американских журналов появлялись его новые рассказы, сказки и истории для детей, очередные главы его последнего романа «Мешуга», завершающей автобиографическую трилогию повести «Заблудившийся в Америке» и другие произведения.

В театрах Европы и в израильской «Габиме» с огромным успехом шла его пьеса «Тойбеле и ее демон»; в свет выходили все новые и новые сборники рассказов, в которые наряду с хорошо знакомыми и любимыми читателями всенепременно включались и новые произведения.

Главный режиссер израильского театра «Идишпиль» Шмуэль Ацмон вспоминает, как в середине 80-х, когда он с театром впервые приехал на гастроли в Америку, то немедленно позвонил Зингеру и пригласил его на спектакль.

— А что за спектакль? — поинтересовался Зингер.

— Пьеса по произведениям Шолом-Алейхема, — ответил Ацмон.

— К сожалению, я не смогу прийти, — ответил Зингер. — Понимаете, у меня осталось не так уж много времени, а мне нужно очень многое успеть. Думаю, Шолом-Алейхем меня простит, но вот Тот, Кто ждет, чтобы я сделал всю порученную Им мне работу, может и рассердиться…

В эти годы в рассказах Башевиса-Зингера, наряду с традиционными мистическими мотивами и историями из жизни польского местечка, появляются и навеянные жизнью в Майами рассказы о жизни стареющих еврейских эмигрантов — ровесниках самого писателя: «Гостиница», «Сэм Палка и Давид Вишковер» и др. Подлинным шедевром этого периода стал рассказ «Последняя любовь» — о встретившихся на закате дней Гарри Бендинере и Этель Брокелес. Этель испугалась пришедшего к ней неожиданно чувства, так и не решилась изменить покойному мужу и покончила в итоге жизнь самоубийством. И, тем не менее, так же

как и в рассказе «Гостиница», Зингер утверждает в «Последней любви» мысль о том, что жизнь не кончается до последнего вздоха и сам трагический конец Этель Брокелес подсказывает 82-летнему Бендинеру новый стимул для продолжения жизни:

«Сидя в пластиковом шезлонге, он думал о другой Сильвии — дочери Этели, — поселившейся в палатке в Британской Колумбии. Почему она забралась так далеко? Может быть, из-за смерти отца? Или из-за невыносимых отношений с матерью?..

…Сумасшедшая мысль пришла в голову старику: полететь в Британскую Колумбию, разыскать девушку, приласкать ее, заменить ей отца и, может быть, вместе с ней понять, зачем человек рождается и почему умирает».

«Последняя любовь» как бы венчает множество других рассказов о любви Башевиса-Зингера, в которых он пытался проникнуть в иррациональную природу этого чувства и которые принесли ему заслуженную славу великого мастера любовной новеллы — «Борода», «Он и она», «Ее сын», «Рукопись», «Одержимость» и др.

И достаточно перечитать эти рассказы, чтобы понять, насколько нелепы заявления Инны Градэ о том, что Башевис-Зингер пытался «затащить иудаизм и еврейскую литературу обратно в Моав», то есть в культ животной, сжигающей человека похоти. Да, во всех этих рассказах немало так называемых «физиологических подробностей», но все они служат только для того, чтобы показать, что подлинная любовь далеко не всегда связана с физиологией, а порой и не связана с ней вовсе — герои рассказов «Он и она» и «Последняя любовь», по сути дела, лишены возможности вступать в нормальные отношения с женщинами; герои «Бороды» и «Одержимости» испытывают страсть к женщинам, которые для других мужчин выглядят откровенно отталкивающе и т. д.

Есть у Башевиса-Зингера, безусловно, и рассказы, рисующие аномальную любовь — например, он первый в еврейской литературе в рассказе «Цейтл и Рикл» затронул тему лесбийской любви. Однако сама эта тема интересовала его в том же контексте, что и в рассказах «Страсти» или «Модница» — каким образом та или иная страсть овладевает душой человека и в какие бездны она может увлечь его, если он не сможет преодолеть ее. «Все может стать страстью, даже вера в Бога», — так звучит заключительная фраза рассказа «Страсти», напоминая о том, что подлинный монотеизм тем и отличается от язычества, что исповедующий его человек умеет обуздывать самые темные начала своей души.

Последним романом писателя, над которым он работал до

последних дней своей сознательной жизни, стал роман «Тени над Гудзоном». В нем Башевис-Зингер вновь возвращался к теме Катастрофы, к тому неизбывному чувству вины, которое испытывают выжившие в катастрофе евреи перед своими погибшими соплеменниками. Роман этот, увы, так и остался незаконченным, однако дошедшие до нас его страницы ясно свидетельствуют, что и после 80 лет Башевис-Зингер ничуть не утратил ни писательского мастерства, ни силы воображения.

* * *

В 1979 году президент Израиля Ицхак Навон обратился к Исраэлю Замиру с просьбой помочь организовать официальный приезд Башевиса-Зингера в Израиль. Замир передал отцу свой разговор с президентом, и тот немедленно ответил согласием.

Информация о готовящемся приезде в страну великого писателя была опубликована во всех израильских газетах. Вскоре выяснилось, что в качестве своего гостя его хотят видеть бесчисленное множество различных общественных и не только общественных организаций: кафедра изучения идиша в еврейском университете в Иерусалиме, мемориальный музей Холокоста «Яд ва-Шем», Союз идишских писателей, Объединение выходцев из Варшавы, Объединение выходцев из Люблина, Билгорайское землячество и т. д. Это — не считая президента страны, депутатов кнессета, журналистов, театральных деятелей и т. д.

В связи с огромным числом желающих устроить прием в честь Башевиса-Зингера, прослушать его лекцию или просто встречу с поклонниками был создан специальный Организационный комитет, которому было поручено разработать программу визита Башевиса-Зингера в страну. Однако очень скоро между членами комитета вспыхнули конфликты. Несколько организаций, в том числе Билгорайское землячество, заявили о том, что отказываются принимать участие в его работе. Вслед за этим они направили письма к Башевису-Зингеру, в которых призывали его бойкотировать приглашение комитета и прибыть в страну в качестве их персонального гостя.

Когда же Исраэль Замир переслал отцу составленный Комитетом черновой вариант программы его визита, Зингер пришел в ужас.

— Они там что, совсем с ума посходили?! — спросил он сына по телефону. — Кто-нибудь подумал о том, что мне бывает нужно время от времени хотя бы поссать?! А ведь я бы еще хотел выкроить пару дней и для своих личных встреч с друзьями!

Однако в настоящую ярость Зингер пришел, когда узнал, что в ходе запланированного Комитетом официального приема в кнессете ему придется встретиться с премьер-министром Менахемом Бегином.

— Данный пункт должен быть исключен из программы, — категорически заявил он. — Я не намерен встречаться и пожимать руку этому господину после всего того, что он наговорил мне в Нью-Йорке.

Замир передал эту просьбу (на самом деле, требование) отца Ицхаку Навону. Но тот сказал, что об отмене этого пункта плана не может быть и речи.

— Что ж! — сказал Башевис-Зингер, узнав об ответе президента. — Значит, мой приезд в Израиль отменяется. Я не появлюсь там до тех пор, пока у власти в этой стране стоит человек, презрительно относящийся к идишу. Можешь так и передать господину Навону.

Теперь настала очередь приходить в ярость Ицхаку Навону.

— Да как он вообще смеет?! Что он себе позволяет?! — бушевал Навон в своем президентском дворце. — Его поведение — это проявление крайнего неуважения к еврейскому государству!

Однако все попытки убедить Башевиса-Зингера изменить это свое решение, в том числе и то давление, которое, по просьбе Навона, стали оказывать на него лидеры еврейских организаций США, остались безуспешными. Исаак Башевис-Зингер не изменил своего решения и больше уже до конца жизни так ни разу и не побывал в Израиле.

В то же время вплоть до своей болезни он продолжал активно участвовать в работе Общества друзей Израиля, следил за всем происходящим в этой стране, не раз тепло отзывался о еврейском государстве и защищал его политику на лекциях и в ходе различных интервью.

В книге «Мой отец Башевис-Зингер» Исраэль Замир вспоминает, как летом 1982 года, в первые дни Ливанской войны[55] журналистская судьба свела его с Менахемом Бегиным.

— Господин Замир, ваш отец все еще сердится на меня? — спросил его премьер-министр. — Передайте ему, что он напрасно принял мои тогдашние слова так близко к сердцу и придал им столь большое значение. Хотя я и сейчас считаю, что был прав. Идиш свое отжил, и еврейский народ вершит сейчас свою судьбу здесь, на земле предков, говоря на иврите, а не на жалком языке нашего изгнания. Как жаль, что ваш отец так и не захотел этого понять!

Как жаль, что выдающийся политик Менахем Бегин так и не

захотел понять, за что же именно на него обиделся выдающийся писатель Исаак Башевис-Зингер!

* * *

Начало 80-х годов прошли для Башевиса-Зингера под знаком скандала с Барбарой Стрейзанд. Известная актриса и певица купила у писателя право на экранизацию его мюзикла «Йентл-иешиботник», предложив за него такую сумму, что Зингер не смог отказаться. Однако когда Зингер принес Стрейзанд свой вариант сценария фильма, та категорически отвергла его и заявила, что будет писать все сама.

Зингер попробовал было возразить, но Стрейзанд была неумолима, а договор есть договор. Наняв в качестве консультантов двух раввинов, Барбара Стрейзанд, засучив рукава, принялась за работу. Просмотрев фильм, Башевис-Зингер пришел в ужас.

— Если этой даме захотелось попеть, то пусть бы себе и пела, но при чем здесь мой «Йентл»?! — восклицал Башевис-Зингер, отвечая на вопросы журналистов о том, что он думает об этом фильме. И тут же пояснял свою мысль:

— Слишком много музыки, слишком много эротики и слишком мало Торы!

Вновь и вновь Зингер объяснял, что создатели и актеры этого фильма извратили главную мысль этого его произведения, не поняв, что его коллизия заключается не в том смятении, которое испытывает Авигдор, влюбившийся в Йентл, но, считающий при этом, что она — мужчина, пугающийся противоестественности этой своей страсти. Нет, как уже было сказано, суть положенного в основу «Йентла» конфликта, с точки зрения самого автора повести, состояла в том, что страсть девушки к познанию Торы, к еврейской учености оказывается даже выше любви и становится серьезным препятствием на пути к ее обычному житейскому счастью.

— Эта дама так и не поняла, что Йентл покидает дом отнюдь не в поисках счастья и совсем не потому, что она — прирожденная феминистка или лесбиянка. Стрейзанд попросту извратила мою идею, втоптала ее в грязь! А финал?! Как она смела отправить Йентл в Америку?! Это все равно, что снять фильм по «Преступлению и наказанию», но в финале вместо того, чтобы сослать Раскольникова в Сибирь, сделать его брокером на нью-йоркской бирже! — негодовал Башевис-Зингер.

Он так часто и так едко отзывался за спиной Барбары

Стрейзанд об ее работе в этом фильме, да и обо всех снявшихся в нем актерах, что это окончательно укрепило американскую богему во мнении, что Башевис-Зингер является стариком со столь дурным характером и злым языком, что с ним лучше не связываться.

* * *

В 1986 году, вскоре после объявленной Михаилом Горбачевым «перестройки», в Нью-Йорк прибыла Елена Боннэр — жена опального советского академика Андрея Сахарова.

К тому времени рассказы Башевиса-Зингера ходили в самиздате по рукам советских евреев, и Елена Боннэр, прочитав их, стала страстной поклонницей его творчества. Так что не удивительно, что, оказавшись в Нью-Йорке, она раздобыла телефон любимого писателя и попросила его о встрече. Башевис-Зингер ответил согласием мгновенно — с середины 80-х годов он пристально следил за происходившим в Советском Союзе, и имя академика Сахарова было ему, разумеется, хорошо знакомо. Кроме того, его крайне интересовали затеянные Горбачевым реформы, ему хотелось получить сведения о них не из газет, а из первых рук, и в этом смысле трудно было придумать лучшего собеседника, чем Елена Боннэр, много лет вместе с мужем боровшаяся против тоталитарного коммунистического режима.

Когда же Елена Боннэр рассказала Башевису-Зингеру, что не только прочла в американской прессе массу посвященных ему статей, но и, вырезав из журнала «Таймс» его фотографию, повесила ее на стену в своей комнате, Зингер окончательно растрогался. Он привык к комплиментам со стороны восторженных поклонниц, но ни одна из них никогда не вешала на стену его портретов!

— Прежде всего, я хочу сказать, что я солидарен с борьбой вашего мужа, так как, по-видимому, мы с ним одинаково относимся к коммунистической идеологии и советскому режиму, — сказал Зингер Елене Боннэр, усаживая гостью в кресло. — Мне очень хочется верить, что этот визит в США не обернется для вас по возвращении неприятными последствиями. Мы будем молиться за вас…

— Господин Зингер, — подхватила разговор Елена Боннэр, — если уж вы сами заговорили о Боге, то позвольте вас спросить: вы — религиозный человек?

— Да, я, безусловно, религиозный человек, хотя и не исполняю предписанных нам Богом заповедей, — ответил

Башевис-Зингер. — Я считаю, что сама действительность не позволяет нам отрицать существование Бога, и то, что Он постоянно говорит с нами, пристально следит за всем происходящим на Земле и вмешивается в него. Кстати, именно потому, что я верю в Него, я и являюсь вегетарианцем. Убежден, что заповедь «Не убий!» относится не только к человеку, но и ко всему живому. Так же, как у нас нет права лишить жизни человека, мы не имеем права лишать ее и петуха.

— Мы с мужем читали об этом, — улыбнулась Боннэр. — Я даже так прониклась этой вашей идеей, что решила ввести в доме вегетарианскую кухню. Но Андрей сразу понял, кто именно на меня так повлиял, и спросил, не хочу ли я превратить его в Башевиса-Зингера?

— Ваш муж — великий и очень мужественный человек, — заметил на это Зингер. — И он тоже по-своему глубоко верующий человек. Именно в силе его веры и кроется разгадка его мужества. Можно ведь верить не только в Бога, но и в гуманизм или во что-то другое. Хотя, признаюсь, вера в так называемые гуманистические идеи меня давно уже разочаровала. Многие самые кровавые преступления в истории творились именно под лозунгом верности гуманизму. Вы тоже очень мужественная женщина, настоящая «эшет хейл», если говорить нашими, еврейскими понятиями. Вы и ваш муж — люди действия, а я всего лишь человек слова. Но действие во все времена было важнее любых слов.

— Позвольте с вами не согласиться, — ответила комплиментом на комплимент Боннэр. — Иногда слово не менее важно, чем дело. К тому же, мы никогда не знаем, что чему предшествует — дело слову, или, наоборот, слово делу. Порой слово и есть дело. И все же меня очень интересует именно ваш взгляд на религиозные вопросы. Вы и в самом деле верите в переселение душ?

— О, безусловно! — последовал ответ Зингера. — Душа спускается на землю вновь и вновь, вселяясь в самые разные тела. Иногда, к примеру, мне кажется, что в прошлой жизни я был раввином в каком-то еврейском местечке, и многие мои знания Торы, Мишны, Гемары — именно оттуда. Порой в моей голове возникают целые отрывки из Талмуда, и я не могу наверняка сказать, читал ли я их в этой или в той, прошлой жизни.

— Но если вы настолько религиозны в душе, почему вы не соблюдаете религиозные заповеди? Как это вообще возможно для еврея — верить в Бога и не соблюдать Его предписания?! — озадачено спросила Боннэр.

— О, у него возможно абсолютно все! — с улыбкой заметила

Эльма, следившая за этим разговором.

— Я действительно не исполняю Его заповеди, но как только я оказываюсь в беде, я молюсь Ему, — заметил Башевис-Зингер. — А так как в беде я оказывался в своей жизни достаточно часто, то и молиться мне приходится почти постоянно. Это не молитва из молитвенника, это слова, которые идут от сердца. Я разговариваю с Ним и чувствую, что Он мне всегда отвечает. Мы общаемся. Иногда бывает так, что я застреваю с каким-то своим рассказом, не знаю, как его продолжить, что делать с моими героями. Тогда я тоже обращаюсь к Богу, и Он подсказывает мне, что и как я должен писать. Порой я буквально чувствую, как Он движет моей рукой. Так что в определенном смысле слова Он — мой соавтор и самый взыскательный критик и читатель.

На прощание Башевис-Зингер попросил Елену Боннэр передать его самые теплые пожелания академику Сахарову и сказал, что хотел бы увидеться с ним, если тот когда-нибудь приедет в Нью-Йорк.

— Если мы когда-нибудь и в самом деле приедем в Нью-Йорк, то обязательно придем к вам в гости! — пообещала Боннэр.

К сожалению, эта встреча так и не состоялась, но Башевис-Зингер продолжал жадно наблюдать за разворачивающимися в СССР событиями, и, узнав о том, что его сын с невесткой побывали в служебной командировке в Западной Украине, долго расспрашивал Исраэля Замира о его впечатлениях. Прежде всего, Зингера интересовал вопрос, остались ли там евреи и, если остались, то как они живут, насколько связаны с еврейской традицией.

Когда Исраэль Замир рассказал отцу, что в бывшей большой синагоге в Бродах устроен склад стройматериалов, и что дело не только в советском антисемитизме, но и вообще в отношении Советской власти к религии, так как под такие же склады отданы многие церкви, Зингер заметил:

— Это говорит только об одном — что этот режим обречен. Какие бы усилия ни предпринимал Горбачев, рано или поздно эта система рухнет, так как люди не могут бесконечно долго жить без веры. Когда же они начнут возвращаться к вере в Бога, Советской власти придет конец.

* * *

В 1988 году у Исаака Башевиса-Зингера неожиданно появились тяжелые боли в области живота и сердца.

Осмотрев его, врачи констатировали серьезные проблемы с поджелудочной железой, сердцем, почками, легкими, но на вопрос Эльмы, что делать, только развели руками. «Ничего не поделаешь — это старость, и не удивительно, что различные системы организма начали давать сбои», — объяснили они.

Зингеру прописали множество таблеток и, чтобы он мог постоянно следить за своим состоянием, посоветовали приобрести наручный прибор, постоянно измеряющий частоту пульса и давление.

Однако лекарства помогали мало. Боли в области печени и селезенки непрестанно усиливались, мешали нормально спать, и — что самое главное — не позволяли ему работать. Зингер метался по комнате в надежде, что это хоть как-то успокоит боль, но все было тщетно, и тогда он впадал в ярость, начинал кричать на ухаживавших за ним Эльму и Двору Менаше-Телушкину, чего раньше никогда себе не позволял.

Вскоре вдобавок к этим болям у него возникли трудности с дыханием, и в квартире Зингеров появился кислородный баллон.

Писатель на глазах слабел, у него стали дрожать руки и ноги. Теперь он все реже выходил из дому, а если все-таки и выходил, то передвигался по улице медленными старческими шажками, с трудом добираясь до расположенного неподалеку от его дома, на Бродвее, «Американ ресторанс», где у Зингеров был постоянный столик.

К счастью или к сожалению, к этому времени нью-йоркцы уже забыли о том, что на Манхеттене живет один из лауреатов Нобелевской премии и как он выглядит, и потому на худого, лысого старика обращали внимание разве что разгневанные водители, громко выражавшие свое возмущение тем, как медленно он переходит дорогу.

Прибывший в Америку в 1989 году Исраэль Замир застал отца неузнаваемо изменившимся — похудевшим, ослабевшим, но все еще находящимся, как принято говорить в таких случаях, в здравом уме и трезвой памяти. В качестве подарка Замир привез отцу только что вышедшую в Израиле в его переводе на иврит повесть «Раскаявшийся».

— Почему нельзя было напечатать текст более крупным шрифтом, чтобы книжка была потолще?! Она выглядит, как ученическая тетрадка, — недовольно пробурчал писатель, беря в руки и пролистывая пахнущее свежей типографской краской издание.

Но уже через минуту он с негодованием отшвырнул книгу в сторону.

— Неужели трудно было сделать нормальную корректуру?! Я

только открыл текст — и сразу же нашел опечатку!

— Не может быть! — ответил Замир. — У книги был замечательный корректор. Да я и сам несколько раз прочитал корректуру. Покажи, где ты нашел ошибку?

— Да вот же! — Зингер ткнул пальцем в страницу.

Замир пробежался глазами по тексту.

— Никакой ошибки нет, отец! — сказал он. — Тебе показалось…

Так стало ясно, что, помимо всех прочих проблем, у Зингера настолько ослабело зрение, что он практически лишился возможности не только писать, но и читать.

— Почитай-ка мне ты, — сказал он сыну. — Я хочу послушать, как эта вещь звучит на иврите.

Замир начал читать, а Зингер слушал, закрыв глаза.

— Да, очень хорошо! — наконец, сказал он. — Именно так звучал бы «Раскаявшийся», если бы я написал его на иврите. Думаю, тебе удалось так хорошо перевести эту книгу именно потому, что ты — мой сын. Между нами существует некая связь, которая не подвластна времени и расстоянию; мы думаем одними и теми же словами и в одном и том же ритме.

В тот день, вспоминает Исраэль Замир, они необычайно много говорили, хотя у Зингера то и дело возникали трудности с дыханием, его начинал душить кашель и слова давались ему с трудом. Эльма то и дело напоминала Замиру о том, что врачи запрещают его отцу много разговаривать. После этого они оба на какое-то время замолкали, но затем Зингер сам возобновлял разговор. Он вновь и вновь анализировал «Раскаявшегося», возмущался тем, что критики не понимают сути этой вещи и необычайно много говорил о судьбе идиша и о своей обиде на Израиль за пренебрежение к этому языку.

— Израиль субсидирует изучение и развитие целого ряда языков, но среди них нет идиша, — с горечью говорил Зингер. — Единственная газета на идиш в этой стране с трудом сводит концы с концами — мне рассказывал об этом ее главный редактор Мордехай Цанин. А ведь евреи говорили на идиш сотни лет; они создали на нем великую культуру. Непростительную ошибку допускают те, кто считает, что история народа Израиля начинается с Хаима Вейцмана. Нет, прости, я не могу понять, почему Израиль пренебрегает идишем, почему он плюет в лицо языку, который сопровождал евреев в гетто, с которым они шли на смерть, да и вообще куда угодно! Почему идиш не изучают в израильских школах, на семинарах, в университетах — так, как изучают английский, французский, арабский?! Разве идиш — это не часть нашей культуры? Разве это не тот язык, на котором

говорили наши отцы, деды и прадеды? Неужели в Израиле не понимают, что, отказывая детям в изучении идиша, они настраивают новое поколение евреев против самих себя?!

Когда Эльма и Исаак Зингеры стали собираться в ресторан, Замир обратил внимание на некоторые странности в поведении отца — он то расстраивался, то радовался каким-то вещам в прямом смысле этого слова, как ребенок. В этот момент у него впервые возникло подозрение, что у Башевиса-Зингера начали проявляться первые признаки старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Еще больше эти подозрения усилились, когда по дороге в ресторан Зингер не узнал нескольких своих старых знакомых и не отозвался на их приветствие, но, впрочем, это вполне можно было списать на его плохое зрение.

Однако когда они вошли в ресторан и, сделав заказ, продолжили разговор, Замир мгновенно забыл об этих подозрениях. Зингер вновь говорил не просто трезво и разумно — в его словах была некая высшая мудрость, делавшая его чем-то похожим на легендарных мудрецов Талмуда. Продолжив начатый дома разговор о «Раскаявшемся», Зингер перешел к своей любимой теме — рассуждениям о сущности Бога и несостоятельности атеизма.

— Да, у нас нет никакого представления, как был создан мир, — сказал Зингер, приступая к своему обычному вегетарианскому обеду. — Мой Иосиф Шапиро (главный герой «Раскаявшегося». — П.Л.) объясняет сотворение мира всемогуществом Господа. С его точки зрения, создание Вселенной куда более сложный процесс, чем создание, скажем, часов «Биг-Бен» в Лондоне. Но если никто не думает, что «Биг-Бен» мог быть построен сам собой, то почему считается, что этот мир мог возникнуть «сам собой»? Все эти теории о «большом взрыве» или «великом разломе», который произошел десятки лет назад, совершенно недоказуемы. Я, как и Иосиф Шапиро, верю в то, что мир был сотворен по определенному плану, и что некая Высшая Сила, которую мы называем Богом или Природой стояла за его творением. В этом мире нет ничего случайного! Вера в то, что человек сам является хозяином своей судьбы, сейчас далека от меня, как Восток от Запада. Бог — вот Тот, кто вершит человеческими судьбами и говорит с человеком с помощью тех событий, которые происходят в его жизни!

— Если это так, — не удержался Замир от своего любимого каверзного вопроса, — то как ты объясняешь то, что твой Бог бездействовал во время Катастрофы? Как он допустил, что столько верных ему хасидов и праведников отправились в газовые камеры?

— Да, нам не все понятно, — ответил Зингер. — Господь обещает, но не всегда спешит с исполнением своих обещаний. Он обещал евреям вернуть их на землю обетованную, но прошло две тысячи лет, прежде чем наш народ удостоился исполнения этой Его клятвы. Но, возможно, с Его точки зрения две тысячи лет — это совсем недолго. Я тебе уже не раз говорил, что верю полной верой в Его существование, в Его высшую мудрость, но при этом я никогда не воздавал Ему хвалу за Его милосердие. Помнится, однажды я уже сказал и готов повторить: время от времени я чувствовал потребность выйти на улицу с плакатом, на котором было бы написано: «Бог, почему Ты так жесток к нам?!» В сущности, все неверие в Него основывается на одном вопросе: «Если Он есть, почему мы так страдаем?!» И недавно я нашел ответ на него: «Без страдания нет веры!»

По словам Замира, тот последний его задушевный разговор с отцом в ресторане звучал как духовное завещание.

Когда же они вышли на улицу, и мимо них прошла молодая симпатичная женщина, Башевис-Зингер неожиданно приосанился и в его выцветших глазах на мгновение появился знакомый блеск.

— Что, папа, до сих пор? — спросил Исраэль Замир.

— Да, до сих пор! — ответил Зингер. — До тех пор, пока я дышу… Я, может быть, немного глух, немного слеп, немного страдаю от старческого маразма, но я пока не разучился замечать на улице хорошеньких женщин!

* * *

Состояние здоровья Исаака Башевиса-Зингера стремительно ухудшалось.

Болезнь Альцгеймера прогрессировала, и летом 1990 года он уже не узнавал никого из близких, кроме Эльмы. Эльма сначала окончательно переехала с мужем в Майами, где взяла для него сиделку, а затем, когда ему потребовалось круглосуточное наблюдение медиков, перебралась с ним в престижный дом престарелых «Сант-Френсис», а затем и в другой, предназначенный для смертельно больных людей хоспис «Дугласграндс».

Пожалуй, чтобы понять, что произошло с Зингером в последний год его жизни, лучше всего вновь обратиться к воспоминаниям его сына Исраэля Замира:

«Майами-Бич. Август 1990 года. Влажный тропический воздух. Жара и влажность обволакивают тело, мешают дышать… Газеты пестрят заголовками о Войне в Заливе. На входе меня

встречает вахтер. «Госпожа Зингер просила вам передать, что они обедают в «Натнисе», — сказал он мне и показал, как туда добраться…

Блестящую лысину отца я заметил еще на входе. Он сидел в инвалидном кресле, а напротив него сидели Эльма и его сиделка, госпожа Фаро…

То, что я увидел, поразило меня. Передо мной сидел глубокий старик с изможденным лицом, с закрытыми глазами.

Я подошел к нему и поцеловал его. Он открыл на мгновение глаза и посмотрел на меня пустым взглядом.

— Что это за наглец, который пристает ко мне?

— Это я, Исраэль, твой сын, — произнес я. — Ты помнишь меня, правда?

Его лицо осталось совершено бесстрастным. Эльма предупредила меня по телефону, что при встрече он может меня не узнать. Сиделка повысила голос:

— Мистер Зингер, ваш сын прибыл из Израиля, чтобы повидаться с вами.

Но и ее слова не вызвали никакого отклика.

Он постарел. Его лицо избороздило множество морщин, тело было прикрыто одеялом, и у него дрожали руки. Сиделка кормила его с ложечки, как ребенка.

Несколько минут я молчал, не в силах оторвать от него глаз. Потом сказал:

— Я — твой сын, Гиги, из Варшавы, с улицы Ляшно, 57…

Цифру я специально произнес по-польски в слабой надежде разбудить его память.

Неожиданно он моргнул и произнес, словно делая над собой усилие:

— А, так ты мой сын Гиги? Пришел повидаться со мной? Я рад, что ты пришел.

Я поцеловал его холодную руку. Начал рассказывать ему о его внуках, о правнуке Авихае…

Он взял фотокарточку правнука, пристально рассмотрел его и сказал, что это — он сам в одном из своих предыдущих воплощений.

Я сказал, что моя жена передает ему горячий привет, интересуется его здоровьем, и тут вдруг он поднял свои ставшие чужими глаза и обратился к Эльме:

— Скажи, что это за мужчина, который здесь так долго болтает без умолку?

Связь прервалась. Его лицо застыло. Снова опустилась стена, приподнявшаяся на мгновение. У него еще будут минуты просветления, но большую часть времени он будет оставаться

таким. Болезнь убила его прежде чем он умер, стерев целые куски из его памяти, безупречностью которой он всю жизнь так гордился. Сиделка продолжала кормить его. Неожиданно прямо посреди кормления он поник головой и заснул. Его губы во сне подрагивали, словно он хотел что-то сказать, но на самом деле это были просто бесконтрольные движения его тела.

«В таком состоянии он находится большую часть дня», — сказала Эльма.

Все мои усилия пробудить его провалились. Я проделал такой путь к нему, чтобы сохранить в памяти его еще одну беседу с ним, еще одну его улыбку — и все это было зря.

Эльма напомнила, что она предупреждала меня об этом…»

Глава 7
Смерть

На последнем этапе болезни у Башевиса-Зингера обнаружили рак печени, причинявший ему поистине адские боли. Целыми днями он стонал и плакал от этих болей, и это был плач несмышленого ребенка, маленького Иче-Герца, молящего взрослых о помощи.

Врачи прописали ему сеансы радиотерапии, но, по мнению Эльмы, это только усугубило его страдания. Старое сердце не выдерживало перегрузки, и один инфаркт следовал за другим. Все это время Эльма не отходила от его постели, и Зингер сжимал ее руку, искренне веря, что эта рука его матери Баси, Батшебы, чье имя он увековечил в своем псевдониме.

Наконец, 24 июля 1991 года он в последний раз сделал жадный глоток воздуха, всхлипнул — и все кончилось.

Ночью Исраэлю Замиру позвонила младшая дочь Мираб, студентка университета в Сан-Франциско, и сообщила, что Эльма только что позвонила к ней, чтобы сообщить, что ее дед умер. Замир с женой купил билеты на ближайший рейс в Нью-Йорк, и наутро они вылетели в США.

Как он рассказывает сам, в самолете он неожиданно задался вопросом, должен ли он читать кадиш[56] по отцу? Сам он был и остался атеистом, но ведь и отец, хотя и верил в Бога, с молодости не соблюдал никаких ритуалов. К тому же он даже не прихватил с собой ермолку…

И тогда он вспомнил, как Башевис-Зингер не раз говорил о том, что между ними существует телепатическая связь, что душа бессмертна и что при желании мертвые могут общаться с живыми.

«Что ж, — сказал себе Исраэль Замир, — если отец был прав, то он сейчас явится ко мне, чтобы выразить свою последнюю волю…»

Замир прикрыл глаза, и вдруг то ли во сне, то ли в состоянии полудремы он и впрямь увидел перед собой отца — Исаака Башевиса-Зингера.

Тот стоял в проеме между креслами самолета в своих старых стоптанных тапочках, в выцветшем халате. Это был не тот Башевис-Зингер, которого он видел в последний раз: отец явился к нему таким, каким он выглядел на пороге своего семидесятилетия — уже не молодым, но все еще полным сил и энергии.

— Скажи, — спросил Замир, — ты хотел бы, чтобы я прочел «кадиш» над твоей могилой?

В ответ Зингер наклонил голову и улыбнулся своей обычной застенчивой и хитроватой улыбкой.

— Гиги, — сказал он, — а как ты думаешь, что случится, если ты все-таки скажешь по мне кадиш? Это доставит мне маленькое удовольствие — то, что такой убежденный социалист, как ты, все-таки наденет ермолку и прочтет «кадиш»…

— Кстати, я думаю над тем, чтобы написать небольшую книгу о тебе. Ты не против?

— Поступай, как ты сочтешь нужным. Только не очень сильно меня в ней проклинай. И, само собой, не возвеличивай. Жаль, что я сам не написал книгу о последних годах своей жизни. Иди теперь знай, что напишут обо мне все эти идиоты, оставшиеся на земле…

Здесь материалист и скептик Исраэль Замир проснулся со странным ощущением, что этот последний разговор с отцом был совершенно реальным.

Судя по репортажам в газетах, на церемонию прощания с Исааком Башевисом-Зингером в расположенном на Манхэттене «Доме прощания» собралось около 300 человек — соседи Зингеров по дому, друзья, писатели и немногочисленные журналисты, все еще пишущие на идише.

Первым надгробную речь произнес раввин Беркович — старый друг и учитель писателя, дававший ему вплоть до последних дней сознательной жизни уроки Торы и Гемары; сопровождавший его в свое время в поездке в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии.

— Как-то я спросил Бащевиса-Зингера, чем он объясняет столь огромный успех своего рассказа «Гимпл-дурень», — сказал рав Беркович. — И он ответил мне, что многие читатели просто думают, что в рассказе речь идет об известном универмаге «Гиблис», который не так давно обанкротился. В связи с этим, добавил Зингер, он подумывает написать рассказ под названием «Мейсис» — в честь другого обанкротившегося универмага.

Присутствующие невольно улыбнулись, и рав Беркович понял, что добился своего — напомнил о том, каким огромным, чисто еврейским чувством юмора обладал покойный. В этот момент микрофон стал издавать какие-то странные звуки, напоминающие трубление в шофар[57]. Раввин попытался было позвать кого-либо из служащих «Поминального дома», чтобы те привели микрофон в порядок, но они все куда-то подевались.

— Как видите, герои его произведений, все эти демоны и диббуки, тоже пришли попрощаться со своим любимым

писателем, и один из них даже пробрался в микрофон, — констатировал раввин.

Когда пришло время ехать на кладбище «Бейт-Эль» в Нью-Джерси, где уже была приготовлена могила, выяснилось, что провожать писателя в последний путь собралось лишь чуть более десятка человек — в основном, близкие родственники Эльмы и супруги Замир. Места в заказанном Эльмой лимузине для всех не хватило, и когда Замир попросил Эльму заказать еще одну машину, та наотрез отказалась, заявив, что это слишком дорого. Ее предложение к Исраэлю Замиру вообще отказаться от поездки на кладбище было им с негодованием отвергнуто.

Поймав такси, он с женой поехал вслед за сопровождавшим катафалк лимузином.

В пути катафалк вырвался вперед, и когда эта небольшая процессия прибыла на кладбище, гроб с телом писателя уже опустили в могилу, и ждали родственников для того, чтобы начать ее закапывать. Кто-то из работников еврейского Погребального братства дал Исраэлю Замиру ермолку, и он прочел над свежей могилой вечные слова еврейского кадиша.

На этом все было кончено.

Выходя с кладбища, Исраэль Замир вспомнил, как уговаривал Эльму перевезти прах отца в Израиль, где на его похороны собрались бы тысячи поклонников его творчества, а сама его могила стала бы местом паломничества израильских идишистов. Но Эльма на все эти просьбы отвечала, что у нее нет таких денег, и обида на мачеху неожиданно захлестнула сердце Замира.

Исраэль Замир оказался прав в своих худших предположениях: могила Башевиса-Зингера стоит заброшенной, и ее почти никто не посещает.

Но как знать — может быть, именно этого он и хотел?! Застрявший, подобно последнему бесу из «Тишевицкой сказки», в той Польше, которой давно уже нет, в том времени, о котором остались одни предания, он с полным правом может сказать о себе словами этого беса:

«Пока хватит еврейских словечек — буду жив, пока моль не сожрала последнюю строчку последней страницы — есть над чем посмеяться. А что будет после — я и сказать не хочу»…

Но мы-то знаем, что было после!

Уже после смерти Башевиса-Зингера тираж его книг на разных языках суммарно давно уже превысил 10 миллионов экземпляров, и каждый год они продолжают издаваться вновь и вновь. 100-летие писателя широко отмечалось в США, Польше, Франции и многих других странах мира. В США был проведен целый ряд конференций, посвященных творчеству Башевиса-

Зингера, в интернет-сети его мемориальный сайт, вышло в свет «Полное собрание рассказов» писателя в 3-х томах.

Мы знаем, что было «после» — творчество Башевиса-Зингера приобрело в последнее десятилетие XX века поистине огромную популярность в России, и с 1991 года до рождения этой книги на русский язык была переведена значительная часть произведений писателя. И, думается, правы те исследователи, которые, подобно Рут Вайс, считают, что с каждым годом популярность творчества Башевиса-Зингера будет только расти, и новые поколения читателей «будут открывать его вновь, слой за слоем».

Это неизбежно потому, что, будучи прежде всего еврейским писателем, Башевис-Зингер, по меткому выражению Тэда Хьюза, «поднял свою нацию до символа, и в результате писал уже не о евреях, а о взаимоотношениях человека с Богом». Именно человека уже вне национальности и конкретного вероисповедания.

И по мере того как в той же России, да и во всем мире будет набирать силу процесс духовного возрождения, возвращения к постановке основных мировоззренческих вопросов, неминуемо будет расти и интерес к творчеству Исаака Башевиса-Зингера — одного из немногих великих художников XX века, который видел свою миссию в том, чтобы напоминать людям о Боге, а Богу — о том, что Ему стоит быть по отношении к этим людям чуть милосерднее.

Он был отнюдь не идеален, Исаак Башевис-Зингер. Скорее наоборот — как к человеку из плоти и крови ему можно было предъявить немало претензий. Но будем верить не его поступкам, а его книгам.

Это — прекрасные книги.

И они заслуживают, чтобы мы открывали их снова и снова.

Список использованной литературы

На идиш

Der sotn in goray. — Warsaw: Yiddish PEN-Klub, 1935; New York: Matones, 1943

Di familye moshkat. — 2 vol. — New York: Sklarsky, 1950

Mayn tatns bes-din shtub. — New York: Der Kval, 1956; Tel Aviv: Y. L. Perets, 1979

Gimpel tam un andere dertseylungen. — New York: Tsiko, 1963

Der knekht. — New York: Tsiko, 1967; Tel Aviv: Y. L. Perets, 1980

Der kuntsnmakher fun lublin. — Tel Aviv: Hamenorah, 1971

Mayses fun hintern oyvn — Tel Aviv: Y. L. Perets, 1971

Der bal-tshuve. — Tel Aviv: Y. L. Perets, 1974

Der shpigl un andere dertseylungen. — Jerusalem: Magnes, 1975

Mayn tatns bes-din shtub. — Jerusalem: Magnes, 1996

На английском языке

The Family Moskat / translated by A. H. Gross. — New York: Knopf, 1950

Satan in Goray / translated by Jacob Sloan. — New York: Noonday, 1955

Gimpel the Fool and Other Stories / translated by Saul Bellow and others. — New York: Noonday, 1957

The Magician of Lublin / translated by Elaine Gottlieb and Joseph Singer. — New York: Noonday, 1960

The Spinoza of Market Street and Other Stories / translated by Martha Glicklich, Cecil Hemley, and others. — New York: Farrar, Straus & Cudahy, 1961

The Slave / translated by Isaac Bashevis Singer and Hemley. — New York: Farrar, Straus & Cudahy, 1962

Short Friday, and Other Stories / translated by Joseph Singer, Roger H. Klein, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1964

In My Father's Court / translated by Channah Kleinerman-Goldstein, Gottlieb, and Joseph Singer. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1966

Zlateh the Goat and Other Stories / translated by Elizabeth Shub and Isaac Bashevis Singer. — New York: Harper & Row, 1966

Selected Short Stories of Isaac Bashevis Singer / edited by Irving

Howe. — New York: Modern Library, 1966

Mazel and Shlimazel; or, The Milk of a Lioness / translated by Shub and Isaac Bashevis Singer. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1967

The Manor / translated by Joseph Singer and Gottlieb. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1967

The Fearsome Inn / translated by Shub and Isaac Bashevis Singer. — New York: Scribners, 1967

When Shlemiel Went to Warsaw and Other Stories / translated by Isaac Bashevis Singer and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1968;

The Séance and Other Stories / translated by Roger H. Klein, Hemley, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1968

A Day of Pleasure: Stories of a Boy Growing Up in Warsaw / translated by Kleinerman-Goldstein and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1969

The Estate / translated by Joseph Singer, Gottlieb, and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1969

Joseph and Koza; or, The Sacrifice to the Vistula / translated by Isaac Bashevis Singer and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1970

Elijah the Slave: a Hebrew Legend Retold / translated by Isaac Bashevis Singer and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1970

A Friend of Kafka and Other Stories / translated by Isaac Bashevis Singer, Shub, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1970

An Isaac Bashevis Singer Reader. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1971

Alone in the Wild Forest / translated by Isaac Bashevis Singer and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1971

The Topsy-Turvy Emperor of China / translated by Isaac Bashevis Singer and Shub. — New York: Harper & Row, 1971

Enemies, a Love Story / translated by Aliza Shevrin and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1972

The Wicked City / translated by Isaac Bashevis Singer and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1972

A Crown of Feathers and Other Stories / translated by Isaac Bashevis Singer, Laurie Colwin, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1973

The Hasidim / by Singer and Ira Moskowitz. — New York: Crown, 1973

The Fools of Chelm and Their History / translated by Isaac Bashevis Singer and Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1973

Why Noah Chose the Dove / translated by Shub. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1974

Passions and Other Stories / translated by Isaac Bashevis Singer,

Blanche Nevel, Joseph Nevel, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1975

A Tale of Three Wishes. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1975

A Little Boy in Search of God; or, Mysticism in a Personal Light / translated by Joseph Singer. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976

Naftali the Storyteller and His Horse, Sus, and Other Stories / translated by Joseph Singer, Isaac Bashevis Singer, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1976

Yentl: a Play / by Singer and Leah Napolin. — New York: S. French, 1977

Young Man in Search of Love / translated by Joseph Singer. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1978

Shosha / translated by Joseph Singer and Isaac Bashevis Singer. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1978

Old Love / translated by Joseph Singer, Isaac Bashevis Singer, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1979

Nobel Lecture. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1979

Reaches of Heaven: a Story of the Baal Shem Tov. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1980

The Power of Light: Eight Stories for Hanukkah. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1980

Lost in America / translated by Joseph Singer. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1981

The Collected Stories of Isaac Bashevis Singer. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1982

Isaac Bashevis Singer, Three Complete Novels / translated by Isaac Bashevis Singer and Hemley. — New York: Avenel Books, 1982. — Comprises *The Slave; Enemies, A Love Story;* and *Shosha*

The Golem. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1982

Yentl the Yeshiva Boy / translated by Marion Magid and Elizabeth Pollet. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1983

The Penitent / translated by Joseph Singer. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1983

Love and Exile: a Memoir. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1984. — Comprises *A Little Boy in Search of God; or, Mysticism in a Personal Light; A Young Man in Search of Love;* and *Lost in America*.

Stories for Children. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1984

Teibele and Her Demon / by Singer and Eve Friedman. — New York: S. French, 1984

The Image and Other Stories / translated by Isaac Bashevis Singer, Pollet, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1985

Gifts. — Philadelphia: Jewish Publication Society, 1985

The Death of Methuselah and Other Stories / translated by Isaac

Bashevis Singer, Lester Goran, and others. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1988

The King of the Fields / translated by Isaac Bashevis Singer. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1988

Scum / translated by Rosaline Dukalsky Schwartz. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1991

My Love Affair with Miami Beach / text by Singer, photographs by Richard Nagler. — New York: Simon & Schuster, 1991

The Certificate / translated by Leonard Wolf. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1992

Meshugah / translated by Isaac Bashevis Singer and Nili Wachtel. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1994

Shrewd Todie and Lyzer the Miser & Other Children's Stories. — Boston: Barefoot Books, 1994

Shadows on the Hudson / translated by Joseph Sherman. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1998

More Stories from My Father's Court / translated by Curt Leviant. — New York: Farrar, Straus & Giroux, 2000

Collected stories. — 1. *Gimpel the Fool to The Letter Writer*. — New York: Library of America, 2004

Collected stories. — 2. *A Friend of Kafka to Passions*. — New York: Library of America, 2004

Collected stories. — 3. *One Night in Brazil to The Death of Methuselah*. — New York: Library of America, 2004

Литература о жизни и творчестве Исаака Башевиса-Зингера

На английском языке

The Achievement of Isaac Bashevis Singer / ed. by Marcia Allentuck. — Carbondale: Southern Ill. U.P., 1969

Critical Views of Isaac Bashevis Singer / ed. by Irving Malin. — New York: New York Univ. Press, 1969

Zamir, Israel, *Journey to My Father, Isaac Bashevis Singer*. — New York: Arcade, 1995

Hadda, Janet, *Isaac Bashevis Singer: a Life*. — New York: Oxford University Press, 1997

Telushkin, Dvorah, *Master of Dreams: a Memoir of Isaac Bashevis Singer*. — New York: Morrow, 1997

Tuszynska, Agata, *Lost Landscapes: in Search of Isaac Bashevis Singer and the Jews of Polan*d. — New York: William Morrow, 1998

Noiville, Florence, *Isaac Bashevis Singer*. — Paris: Stock, 2003

Isaac Bashevis Singer: an Album / edited by Ilan Stavans; biographical commentary by James Gibbons. — New York: Library of America, 2004

На русском языке

Л. Аннинский. Где взять сил на безумие? Тайна и реальность Исаака Башевиса-Зингера. — в кн. Исаак Башевис Зингер. Шоша. Текст. М.,1991.

Р. Баумволь. Об авторе. — В кн. Ицхак Башевис-Зингер. Раб. М., 1999.

М. Дорфман. БАШЕВИС-ЗИНГЕР: ПОРТРЕТ, КОТОРЫЙ НИ В КАКИЕ РАМКИ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ. http://www.jewniverse.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1217

Зверев А. Pentimento: Зингер и история. — В кн. Исаак Башевис Зингер. В суде у моего отца. Люблинский штукарь. СПб., Лимбус-Пресс, 1997.

Людмила Кафанова. Исаак Башевис Зингер: Евреи — мои герои. "Чайка" #14(25) от 16 июля 2004 г.

Зоя Копельман. Столетию со дня рождения Исаака Башевиса-Зингера посвящается. «Еврейский книгоноша», № 5, 2005.

Ефим Левертов. Катастрофа европейского еврейства в

произведениях Исаака Башевиса Зингера. http://hedir.openu.ac.il/kurs/skorb-poznanuya/levertov.doc

Т. Ротенберг. Предисловие. — в кн. Исаак Башевис Зингер. Сын из Америки. Рассказы. М., изд. группа «Прогресс»-«Культура», 1993.

Н.Рубинштейн. Последний из Штетла. — В кн. И.Башевис-Зингер. Гаснущие огни. Библиотека-Алия. Иерусалим, 1990.

А.В.Слепова. Специфика жанра новеллы в творчестве Исаака Башевиса Зингера. Москва. ПроСофт-М, 2006.

Другие источники

Б.Бурцев. Личность Достоевского. Л., Советский писатель, 1979.

Рут Вайс. Современный еврейский литературный канон. Путешествие по языкам и странам. Мосты культуры — Гешарим, М.-И-м, 2008.

notes

Примечания

1

Яков Глатштейн (1898–1971) — великий еврейский поэт; Вместе с А.Гланцем-Лейелесом и Н.Минковым он основал литературное движение инзихистов (от «ин зих» — "в себе"). Сочетал изобретательность в создании неологизмов и неожиданных словосочетаний с особо бережным отношением к родному языку.

2

Хаим Градэ — (1910, Вильно — 1982, Нью-Йорк), еврейский писатель. Начинал как поэт в 1930-х годах. С 1948 г. жил в США. После Катастрофы издал пять сборников стихов, а также сборники рассказов, романы "Ди агунэ" ("Соломенная вдова", 1961), "Цемах Атлас" (тт.1–2, 1967-68, воскрешающие жизнь и нравы евреев Вильно.

3

Свинина — запрещенное евреям Библией мясо: символ всего запретного и «нечистого» вообще.

4

Катастрофа (Холокост, ивр. «Шоа») — термин, употребляемый для обозначения политики немецких нацистов по планомерному уничтожению еврейского народа в 1935-45 гг. В Катастрофе было уничтожено 6 млн. евреев — треть еврейского населения планеты.

5

Тора — в узком смысле слова «Пятикнижие Моисеево»; первая часть «Ветхого Завета»; в широком смысле евреи употребляют это слово для обозначения всего корпуса книг своего Священного Писания и еврейского религиозного учения в целом.

6

Талмуд — (ивр. «учение, учёба») — многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, включающий в себя высказывания и споры еврейских мудрецов, религиозные установления и устные предания, дополняющие книги ТАНАХа («Ветхого Завета»).

7

Мешугене литератэр (идиш, ирон.) — сумасшедший писатель

8

Бес-дин (идиш; на иврите — бейт-дин) — еврейский религиозный суд при рассмотрении дел руководствующийся еврейским религиозным правом

9

Арн-койдеш (арон ха-кодеш, букв. Ковчег Завета) — специальный ларь, в котором в Иерусалимском храме хранились Скрижали Завета с 10 заповедями; затем — специальный шкаф в синагоге, предназначенный для хранения свитков Торы.

10

Мезуза — пергаменный свиток с написанными на нем двумя отрывками из Пятикнижия в металлическом или деревянном футляре, прикрепленный к дверному косяку в домах ортодоксальных евреев.

11

Хасидизм — мистическое течение в иудаизме, основанное после краха мессианского движения Шабтая Цви и резни евреев, устроенной казаками Богдана Хмельницкого. Основателем хасидизма считается ребе Исраэль Бен Элизер (1698–1760) из Меджибожа. Хасидизм обычно противопоставляется литовскому (митнагедскому) направлению в иудаизме. В отличие от последнего он ставит религиозный экстаз и непосредственный мистический опыт выше как талмудической учёности, так и аскетических практик Каббалы.

12

Казенный раввин — в 1857–1917 гг. выборная должность в еврейских общинах Российской империи. Кандидатом в казенные раввины мог быть выпускник раввинского училища (с 1873 г. — еврейского учительского института) или общих высших и средних учебных заведений. Его избрание утверждалось губернскими властями, от которых он получал и свидетельство на звание раввина… В обязанности казенного раввина входило принимать присягу у евреев-новобранцев, вести книги записи рождений, бракосочетаний и смертей, в дни государственных праздников и тезоименитства императора произносить в синагоге патриотические проповеди (чаще всего на русском языке).

13

Иешива (в русской традиции — ешибот) — высшее еврейское учебное религиозное заведение, предназначенным для изучения Священного Писания, главным образом Талмуда

14

Раббанит (также реббецен) — жена раввина.

15

Рабби Акива и Бен-Зома — два еврейских мудреца, участники многих талмудических дискуссий.

16

Мессия — (от ивр. Маши́ах; др. — греч. Χριστός, Христо́с) — букв. «помазанник». В еврейской эсхатологии идеальный царь, потомок царя Давида, который будет послан Богом, чтобы осуществить духовное и физическое избавление еврейского народа и спасение человечества.

17

Каббала — (ивр. «получение, принятие, предание») — еврейское мистическое учение, связанное с осмыслением Творца и Творения, роли и целей Творца, природы человека, смысла существования. Каббала включает в себя философские размышления, медитации и практическую деятельность с целью изучения, демонстрации и применения мистических сил.

18

Бейт-мидраш (ивр., букв. «дом учения, толкования») — синагога и иешива одновременно.

19

“Ха-Цфира» (ивр. «Гудок») — еженедельная газета на иврите, выходившая в Варшаве с 1861 г. по 1931 гг. в целях популяризации естественных и математических наук.

20

Сионисты — последователи сионизма, политического течения, провозглашавшего необходимость создания светского еврейского государства в Палестине, на исторической родине еврейского народа.

21

Бундовцы — члены БУНДа (Всеобщего еврейского рабочего союза в Беларуси, Литве, Польше и России), левой антисионистской еврейской партии.

22

Мидраш (от древнеевр. "дараш" — "искать", "исследовать", "истолковывать"), жанр раввинистической литературы, гомилетическое и экзегетическое толкование Библии.

23

Эпикойрес (по имени др. — гр. философа Эпикура) — еретик, человек, отступившийся от иудаизма и придерживающийся чуждых ему мировоззренческих взглядов.

24

Раби Нахман из Бреслава — (1772–1810/) — один из духовных вождей хасидизма на Украине, основатель его брацлавского течения, выдающийся религиозный философ и мистик.

25

Виленский гаон — раввин Элиягу Шломо Бен Залман; 1720–1797) — один из самых выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.

26

Эмануил Сведенборг — шведский духовидец и теософ, 1688–1772. С 1745 ему стали появляться разные видения; тогда С. бросил свои научные занятия и написал, как ему казалось, при внушении Свыше, свое основное теософское сочинение: "Arcana Coelestia" (1749-56), аллегорический комментарий к двум первым книгам "Пятикнижия".

27

Еврейский календарь — лунно-солнечный ежегодный календарь, используемый в иудаизме для определения еврейских праздников, соответствующих частей Торы для публичного чтения, йорцайт (дня памяти умерших родственников) и пр. Включает в себя 12 месяцев, названия которых имеют арамейское происхождение. Для корректировки еврейского календаря в високосные годы вводится дополнительный месяц удар.

28

Шабтай Цви — (26 июля 1626(16260726)—30 сентября 1676) — каббалист, один из самых известных еврейских лжемессий; лидер массового движения XVII века, охватившего почти все еврейские общины; мессианское движение почти прекратилось, когда он неожиданно принял ислам; считается, что родился и умер в один день 9 ава — день скорби по поводу разрушения Храма.

29

Шехина — в иудаизме — термин, обозначающий присутствие Господа, в том числе и в физическом аспекте.

30

Херувимы и офанимы — виды ангелов; херувимы уподобляются многоглазым крылатым существам; офанимы — огненным колесам.

31

Микша — бассейн для ритуального омовения с целью очищения от духовной нечистоты (тумъы).

32

Пен-клуб — ПЕН-клуб — международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных жанрах художественной литературы. Название клуба — ПЕН — это аббревиатура от английских слов «поэт», «эссеист», «новеллист», складывающаяся в слово «пен» (pen) — авторучка.

33

Мишна — (букв. «повторение») — является первым письменным текстом, содержащим в себе религиозные предписания ортодоксального иудаизма. Часть Устного Закона, переданного, согласно традиции, Всевышним Моисею на горе Синай вместе с Пятикнижием (Письменной Торой). Со временем, когда возникла опасность, что устное учение будет забыто, мудрецами было принято решение записать его в виде Мишны.

Мазлтов (идиш, ивр.) — поздравляю

35

Менора — семисвечник, стоявший в Иерусалимском храме; здесь — подсвечник, сделанный по его подобию.

36

Бима (в букв. переводе «сцена») — кафедра, за которой в синагоге читается свиток Торы.

37

Ты — Гиги? (ивр.)

38

Кибуц — сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении.

39

Пурим — еврейский праздник, отмечаемый в честь отмены персидским царем Артаксерксом указа об истреблении еврейского народа. Обычно приходится на февраль. На Пурим принято посылать небольшие подарки с вином и сладостями друзьям, соседям и родственникам.

40

Респонсы — или респонса (лат. responsa, «ответы) — «вопросы и ответы», один из жанров галахической литературы, состоящий из бытовых или законодательных вопросов и ответных мнений (рекомендаций) тех или иных галахических авторитетов. Таким образом, представляют из себя прецедентные решения раввинов в реальных жизненных случаях.

41

Хедер (в букв. перев. «комната») — еврейская начальная религиозная школа

42

Мессия сын Иосифов — согласно еврейской эсхатологии, прежде, чем придет Мессия из рода царя Давида, во главе еврейского народа станет потомок библейского Иосифа. Он будет возглавлять еврейское государство, сумеет собрать евреев на Святой земле, однако погибнет в одном из боев, когда народы всего мира ополчатся на еврейское государство. Уже после его гибели придет Мессия сын Давидов, который разгромит всех врагов Израиля и установит на Земле царство всеобщего благоденствия и справедливости.

43

Кадиш — еврейская поминальная молитва.

Гой (ивр., идиш) — нееврей; гоя, гойка — нееврейка.

45

Гиюр — обряд перехода нееврея в иудаизм.

46

«Господин наш, учитель нащ, раввин наш» — традиционное обращение хасидов к своему ребе. Аббревиатура из этих слов на иврите — адмор — является титулом хасидских цадиков.

47

Герберт Маркузе — (1898–1979) — немецко-американский философ и социолог. Согласно Маркузе, развитие науки и техники позволяет господствующему классу современного капиталистического общества сформировать через механизм потребностей новый тип массового "одномерного человека" с атрофированным социально-критическим отношением к обществу и тем самым "сдерживать и предотвращать социальные изменения". Включаясь под воздействием навязываемых ему "ложных" потребностей в потребительскую гонку, рабочий класс стран развитого капитализма "интегрируется" в социальное целое и утрачивает свою революционную роль. В этих условиях революционная инициатива, по М., переходит в рамках "развитого" общества к "аутсайдерам" (люмпены, преследуемые национальные меньшинства, безработные и т. п.), а также к радикальным слоям студенчества и гуманитарной интеллигенции.

48

Шикса (идиш) — презрительное обозначение женщины-нееврейки

49

«Шухан арух» (ивр., букв. "Накрытый стол") — классический свод религиозных законов и предписаний, составленный р. Йосефом Каро (16 в.).

50

Авром (Абрам) Суцкевер (род. в 1913 г в местечке Сморгонь, Белоруссия), выдающийся еврейский поэт и прозаик. Жил в Сибири, Вильно, Варшаве. Публикуется с 1933 г. Вторую мировую войну провел в Виленском гетто, затем был бойцом партизанского отряда в Нарочанских лесах. В 1946 г. Выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. В 1948–49 гг. служил в израильской армии военным корреспондентом. Многие стихи и поэмы Суцкевера вошли в золотой фонд как еврейской, так и мировой литературы.

51

Моав — государство, упоминаемое в Библии. Согласно Пятикнижию, царь Моава решил погубить еврейский народ, ввергнув его в грех блуда с дочерьми своего народа. В еврейской традиции Моав и моавитянки — символ похоти и разврата.

52

Шлимазл (идиш) — недотепа, придурок.

53

Штраймл — хасидский субботний головной убор; обычно это черная бархатная ермолка, отороченная черными или коричневыми лисьими хвостами.

Мартин Бубер —

55

Ливанская война — военная операция против баз террористов в Южном Ливане. Начатая Израилем в ночь с 5 на 6 июня 1982 г. как военная операция «Мир Галилее», повлекла за собой длительное стратегическое присутствие израильских сил (формально — до июня 1985 г.) в Ливане.

56

Кадиш (ивр., букв. «освящение») — еврейская поминальная молитва.

57

Шофар — бараний рог, в который трубят в синагогах в дни ряда еврейских праздников. Считается, что трубление в шофар имеет огромное мистическое значение — оно как бы заглушает и «сбивает с мысли» Сатану, обвиняющего еврейский народ в различных грехах, а заодно напоминает Богу о его завете с еврейским народом, заключенным во время жертвоприношения Исаака.